ДМ. ПЕТРОВ (БИРЮК)

КОНДРАТ БУЛАВИН

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Р2
П30

ДМ. ПЕТРОВ (БИРЮК)

КОНДРАТ БУЛАВИН

РОМАН

318439

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

Р2
П30

Издание осуществляется под общей редакцией
Л. КЛИМОВИЧА, С. МАШИНСКОГО, С. ПЕТРОВА,
Б. РЕИЗОВА, Н. ТОМАШЕВСКОГО, Е. ЧЕЛЫШЕВА

Вступительная статья и примечания
Д. ТЕРЕНТЬЕВОЙ

Художник
Б. ДИОДОРОВ

7-3-2
106—70

Д. И. ПЕТРОВ (БИРЮК) И ЕГО РОМАН «КОНДРАТ БУЛАВИН»

Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) вошел в советскую литературу как автор исторических романов. Его произведения «На Хопре», «Сказание о казаках», «Кондрат Булавин», «Сыны степей донских», «Юг в огне», «Перед лицом Родины», «История моей юности», «Степные рыцари», «Братья Грузиновы» и другие посвящены важнейшим событиям в истории донского казачества, с которым связана и жизнь писателя, и все его творчество.

На Дону (в 1900 г.) он родился, на Дону прошли его детство и юность. Семнадцатилетним пареньком изъездил он с комсомольскими отрядами весь север Дона в погоне за бело-зелеными бандами, которыми кишели леса Хоперского округа и Тамбовщины. В 1920 году, двадцатилетним юношей, Петров вступил в партию.

Печататься начал Петров в 1925 году под псевдонимом Бирюк. Это были статьи на партийные темы, публиковавшиеся на страницах журнала «Деревенский коммунист». Вскоре в качестве заместителя редактора его направляют на работу в окружную газету «Красный Хопер», а затем он — сотрудник крестьянской газеты «Беднота», где публикует немало своих очерков. Нужно сказать, что газета была для будущего писателя хорошей литературной и политической школой, она учила его наблюдать жизнь и помогала собирать материал.

В 1931 году в издательстве «Крестьянская газета» вышла его первая книжка очерков «Колхозный Хопер». «Сейчас смешно об этом вспоминать,— пишет Дмитрий Ильич в своей автобиографии,— но в то время, когда я держал в руках первый, еще пахнущий типографскими красками экземпляр этой книжки, я пережи-

вал необычайные минуты радости, такой радости, какую я еще никогда не испытывал до этого. Если бы кто-нибудь заглянул тогда в мою душу, то прочел бы в ней страстное желание, чтобы брошюрка эта попала в хутор, в котором я рос, жил, в котором прошли мое детство и отрочество, и котором я научился любить и ненавидеть. Мне хотелось, чтобы книжку прочитали те люди, которые меня когда-то обижали и презирали как самого беднейшего в хуторе батрака, не имевшего даже своего собственного крова. Меня глубоко удовлетворило, если бы из уст этих людей я услышал: «Вон он какой, Митрий-то, книжки пишет!..»

Однако первая книжка принесла молодому автору не только радость, но и огорчение: слишком очевидны были ее литературные недостатки.

Началом настоящей литературной деятельности писателя явился его роман «На Хопре» (1934). Свидетель и участник событий, происходивших в Хоперском округе в 1929—1930 годах, он написал правдивый роман об острейшей классовой борьбе на Дону в период коллективизации.

С этого времени казачий Дон прочно входит в произведения Петрова (Бирюка), то его далекое прошлое, то современность, но в том и другом случае всегда писателя привлекали события бурные, драматичные, на много лет вперед определившие судьбы народа, всегда героями его книг становились личности яркие, значительные, оставившие след и в истории, и в памяти людской.

Это и трилогия «Сказание о казаках» (1937), в которой прослежена судьба трех поколений, начиная с девятисотых годов, кончая Отечественной войной с фашистскими захватчиками. Это и роман «Сыны степей донских» (1953), где автор создает образ «вихорь-атамана» М. И. Платова, прославившегося вместе со своими казаками в войне 1812 года и поражавшего современников своей необыкновенной храбростью. Это и роман «Степные рыцари» (1964) о героизме небольшой группы донских казаков, которые вместе с запорожцами в течение пяти лет (1637—1642) мужественно отстаивали Азов от стотысячной турецкой армии. Это и недавно вышедший роман «Братья Грузиновы» (1969), где рассказывается о двух рядовых казаках, дослужившихся до высоких воинских званий и сыгравших немалую роль в заговоре против царя Павла I.

Это, наконец, и роман «Кондрат Булавин» (1945), который можно отнести к лучшим произведениям Петрова (Бирюка) и в котором наиболее ярко проявилась плодотворная тенденция писателя раскрывать то или иное событие в его слитности с историей всей России, с теми ее «трагическими и творческими эпохами, в которых завязывался русский характер».

* * *

Художественное воплощение «старины глубокой» всегда было делом нелегким. Из огромного потока исторических романов остаются лишь те, в которых читатель находит прежде всего истину века, историческую правду эпохи, то, что составляет главное ее содержание.

Роман Петрова (Бирюка) «Кондрат Булавин» как раз и интересен тем, что представляет собой одну из первых попыток советской художественной литературы воскресить в главных конфликтах, в основном историческом предназначении одну из интереснейших страниц истории государства Российского — восстание 1707—1708 годов под руководством Кондрата Булавина.

Из всех народных движений Булавинское восстание долгое время было самым малоизученным, к тому же значение и смысл его грубо извращались. Чего только не писали о Булавине историки и летописцы прошлого, утверждавшие, что Булавин и его сподвижники не кто иные, как «охотники до гулянья», и «гуляют» они только потому, что в них сила богатырская по жилочкам переливается и что им «грузно от силушки». Были и такие, кто считал восстание Булавина чисто раскольническим движением. Дворянские и буржуазные историки упорно доказывали реакционный характер движения 1707—1708 годов, якобы направленного против преобразовательной деятельности Петра. Они объявляли Булавина изменником России, приписывая ему связь с Мазепой и даже с Карлом XII, а Петр I во всех своих указах и предписаниях называл его не иначе, как только разбойником и вором. Отголоски этих взглядов мы встречаем даже в поэме А. Пушкина «Полтава». Имея в виду Мазепу, Пушкин пишет:

Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги:
Там на Дону казачьи круги
Они с Булавиным мутят.

Нужно сказать, что Булавинское восстание волновало Пушкина и после «Полтавы». В его подготовительных текстах к «Истории Петра» мы находим довольно много материала о Кондрате Булавине.

Советская историческая наука сумела восстановить истину о Кондрате Булавине, смыв с него позорное прозвище изменника и разбойника и поставив его в один ряд с именами Болотникова, Разина, Пугачева. Восстания под их руководством, по меткому выражению Горького, были «главнейшими битвами крестьян против

бояр, дворян, помещиков». Великую историческую миссию Болотникова, Булавина, Разина, Пугачева еще в 1879 году хорошо понял Г. В. Плеханов, называвший их «титанами народно-революционной обороны».

Известно, что А. Н. Толстой предполагал включить в свой роман «Петр Первый» события Булавинского восстания и что в его архивах есть немало интересного материала, связанного с именем Кондрата Булавина. К сожалению, намерение Толстого осталось неосуществленным. А. Толстой не успел закончить работу над романом.

Но важно, что крупнейший советский романист, искавший в работе над эпохой Петра I «разгадку русского народа и русской государственности», понимал, что нельзя найти эту разгадку, не постигнув исторического смысла Булавинского восстания. И хотя на страницах романа А. Толстого «Петр Первый» мы не встречаем имени Кондрата Булавина, через все произведение отчетливо проходит тема народного гнева и тема казачьего Дона, а первая книга, как известно, заканчивается словами: «Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове», которые свидетельствуют о том, что Алексей Толстой подводил события своего романа к народным выступлениям начала XVIII века, в том числе к восстанию под руководством Булавина.

Нужно сказать, что и для историков, и для исторических романистов нелегко добираться до истины в освещении народных движений, совпадавших с царствованием Петра. Не сразу удалось и Петрову (Бирюку) постигнуть всю сложность исторической обстановки в России самого начала XVIII века.

В его романе, называвшемся первоначально «Дикое поле», Булавинское восстание, вспыхнувшее во время войны со Швецией, трактовалось как восстание, игравшее на руку врагам, как восстание, тормозившее прогрессивные начинания Петра. Роман кончался раскаяниями Кондрата в содеянном, сомнением в правоте той правды, за которую боролся.

Кондрат ставил себя на место царя и спрашивал, что сделал бы он, «если победе над внешним врагом мешали бы мятежи и восстания». И отвечал: «Жестоко подавил бы... А как же иначе? Ведь эти восстания и бунты только помогают врагу, ослабляют родину».

Автор преувеличивал любовь Петра к народу, все реформы и преобразования его истолковывал как реформы в интересах народа. В произведении Петр явно идеализировался и возвеличивался.

Со временем автор изменил не только название романа, тщательно была переработана вся историческая концепция произведения, понята была историческая диалектика эпохи.

Восстание 1707—1708 годов интересно не только тем, что в этом событии обнажилась кричащая противоречивость деятельности Петра. Булавинское движение — это, прежде всего, история народа, это свидетельство его силы, его прозрения и готовности постоять за себя.

В романе «Кондрат Булавин» (он начал так называться с 1951 года) восстание казаков под руководством Булавина уже предстает как открытый протест против усилившейся во время правления Петра I эксплуатации казачьей голытьбы и беглого населения Дона. Это не было выступление против преобразований Петра, оно не было изменой России. Писатель изображает Булавинское восстание как близкое по духу и целям разинскому движению. Почти сорок лет отделяют одно восстание от другого, но не угас в казаках бунтарский разинский дух. Он проявлялся в постоянной готовности бедного казачества и холопов с оружием в руках постоять за свои права, что постоянно чувствуют атаманы и домовитые казаки и что заставляет их хитрить и лавировать с казаками. Они сами говорят: «Ежели растравишь казачьи сердца — худо будет».

Часто вспоминают казаки добрым словом Степана Разина, пьют бражный мед «по дедушке Ермаку, по донскому казаку». Более того, автор не побоялся сюжетно связать эти два крупнейших народных движения образом старого казака Ивана Лоскуты, участника разинского восстания, каким-то чудом избежавшего наказания. Жестокая расправа с Разиным и разинцами не отбила в нем желания бороться с боярами и помещиками. Он, несмотря на возраст, становится крупной фигурой в Булавинском восстании.

Это правдивое воспроизведение развернувшегося на Дону и в Придонье в начале XVIII века антифеодального движения, основные события которого — расправа повстанцев с карательным отрядом князя Юрия Долгорукого, бой на Айдаре с войском низовых казаков, поездка Булавина в Запорожскую Сечь, возобновление крестьянского движения в Придонье и в верховых городах Дона весной 1708 года, возвращение Булавина на Дон и поход восставших на Черкасск — составляют основу сюжета романа.

Автор следует за исторической хронологией не из-за писательской робости и боязни оказаться в чем-то не точным, отступить от фактов истории. Сумев сделать основные исторические факты глав-

ным сюжетным стержнем своего романа, он достиг большой его познавательности.

История русского народа богата событиями и личностями, которые, помимо огромной исторической роли, несут в себе эмоциональный заряд высокого напряжения, и эти факты и личности рано или поздно становятся предметом внимания писателей или художников, скульпторов или музыкантов. Заслуга Петрова (Бирюка) в том, что он за довольно сухими и не очень уж обильными страницами исторических материалов и исследований о Булавинском восстании разглядел и почувствовал в нем нравственный и духовный взлет русского народа, не оставшегося пассивным к «узде железной», которой Петр I, по меткому образу Пушкина, «Россию поднял на дыбы». Нужно учесть, что это восстание вспыхнуло всего через два года после того, как правительство в 1705 году жестоко расправилось с восстанием в Астрахани, когда «...в Москве на Красной площади отсекли головы 30 человекам, 242 человека были повешены на виселицах на дорогах к Москве, 43 человека были обезглавлены в селе Преображенском» [1].

В романе «Кондрат Булавин» восстание 1707—1708 годов предстает не как случайный и незначительный факт истории, а были и такие утверждения историков, а как событие, исторически неизбежное, обусловленное и экономически и социально, событие, без которого невозможно представить русскую историю самого начала XVIII века. Неслучаен интерес автора к предыстории восстания, к его причинам, которые раскрыты автором не в экономических выкладках, а в судьбах человеческих.

Роман этот еще раз убеждает в неисчерпаемости темы народной. Не побоялся автор ввести в роман героев с изломанными, драматичными, а порой и трагичными судьбами, в которых отчетливо и зримо предстает трагедия всего народа.

Типична судьба деда Никанора, попавшего на Дон далеко не по доброй воле, а бежавшего сюда после того, как отомстил боярину-сластолюбцу, по чьей вине погибла его жена, с которой жили «...ладно, любили друг дружку», может быть и «...прожили б в любви и согласии до самого гроба...». Бежал Никанор на Дон с надеждой на вольную жизнь, но атаман Зерщиков приставил его к своему табуну «задарма работать». И вот уже тридцать лет Никанор на Дону, и все в холопах, все в пастухах, не хочет атаман его в казаки приписать, не выгодно это атаману. А тут еще указ Петра вернуть всех беглых, а за непослушание — каторга вечная, а прежде муки адовы: «Или нос отрежут, или языка лишат». Бес-

[1] «Очерки истории СССР. XVIII век», М. 1962, стр. 245.

помощи, незащищен беглый холоп ни перед боярином, ни перед казачьим атаманом, ни перед указом царским.

Как известно, В. И. Ленин одним из признаков крепостного права считал «личную несвободу». Порой «личная несвобода» становилась главнейшей причиной мук народных.

Нельзя сказать, что писатель искусственно драматизирует судьбы своих героев, что он умышленно нагнетает ужасы и несчастья. Все, что произошло с дедом Никанором,— все социально обусловлено, все исторически объяснено, как все социально обусловлено и еще более трагической судьбе Митьки Туляя.

Положение Митьки усугубляется тем, что он только Никанора духовно, что он, несмотря на удары судьбы, не утратил желания счастья. Он пошел на Дон по той же причине, что и Никанор: бежал от своего помещика, бежал после того, как, по приказанию помещика, Туляя нещадно избили, избили так, что он две недели боролся за жизнь. А убежав на Дон, долго тосковал «...по земле, по ее тленному, влажному запаху». Страдал Митька Туляй и от одиночества, велико было желание иметь жену, семью. И казалось, счастье улыбнулось Туляю. Правда, дико, безобразно нашел он себе жену, но нашел, а как — Митьке было все равно. Притащил один казак сильну жену на казачий круг и бросил: «А ну, атаманы-молодцы, налетай, кто хошь! Не люба мне стала... Ежеля есть желающие — бери, владей, только магарыч добрый ставь!»

Митька пригляделся к плачущей женщине, сидевшей на корточках на земле, уткнувшись лицом в колени. Растолкав казаков, он рванулся к ней и прикрыл полой ветхого зипуна.

— Будь мне женой! — сказал он взволнованно и неуверенно.

— В добрый час!.. В добрый час, Митька! — весело откликнулись казаки».

Так круг казачий поженил Митьку с турчанкой. И поставил Митька магарыч — сапоги новые и рупь на пропой. А потом уговорил попа, тоже беглого черпеца, повенчать его с Матреной, не хотел Митька Туляй невенчанным жить, не по православному это жить с бабой не по закону: «Кто она мне — не то жена, не то полюбовница. А вот ужо повенчаюсь, буду знать, что она мне законная жена, богом данная...» И хотя смеялись казаки, что где там богом, Сережкой Воробьевым данная, да еще и пропитая, Митька Туляй стоял на своем — «все богом делается». Потом родился у Туляя сын, через сорок дней от роду посвятил Туляй его в казаки, а еще через несколько дней, возвратившись из похода, не нашел Митька своего куреня, от его развалин, «лениво клубясь, медленно поднимался дым. Долго искал Митька что-то, старательно разгребая палкой головешки». И только утром увидел на

«суку сохи» своего сына с раздробленным черепом. А жену не нашел совсем. Это калмыки отомстили казакам за старые обиды.

Опять осиротел Митька Туляй, не давалось в руки счастье бедному казаку, бывшему холопу. Оно ушло от него так же неожиданно и дико, как неожиданно и дико пришло к нему. Никто никогда не заступился за Митьку, никто и никогда не помог ему. И поэтому, когда «воскрутился да возмутился батюшка тихий Дон со поршпушки вилоть до устьица, до того ли городу до Черкасска», подобные Митьке Тулию составили главную силу восстания, в котором крепостная голытьба мстила за свои обиды и слезы и требовала возмездия. Так за, казалось бы, сугубо частными судьбами людскими проглядываются и осознаются объективные закономерности истории, без выявления которых мы уже не представляем себе советского исторического романа.

Роман «Кондрат Булавин» полемизирует с теми книгами, в которых поэтизировалась и идеализировалась жизнь донского казачества, казачья вольница, его быт. У Петрова (Бирюка) казаки чаще поют грустные песни, чем веселые, чаще воюют, чем играют свадьбы.

Всякий писатель, рискнувший взяться за роман о народном движении, встает перед труднейшей задачей создания образа народного вождя. С нелегкой художественной задачей столкнулся и Петров (Бирюк). Его работа над образом Кондрата Булавина осложнялась тем, что о личности Булавина почти не сохранилось никаких материалов, а дошедшие до нас сведения к тому же очень противоречивы.

Оставалось положиться на творческое воображение и рисовать образ Булавина, исходя из чисто исторических фактов, оставалось представить себе, каким мог быть человек, сумевший всколыхнуть чуть не весь Дон, объединить одной целью и бедных казаков, и холопов, захвативший центр донского казачества — Черкасск и мечтавший о походе на Москву.

Нельзя не почувствовать, что образ Булавина создавался писателем под сильным влиянием народных представлений о нем, которые вот уже около трех веков живут в народных песнях:

Кондрат парень не простак, а удалый он казак.
Ой да вот, удалый он казак.
Зипун, шитый серебром, сабля вострая при нем,
Ой да вот он, сабля вострая при нем.
Сабля вострая при нем, а глаза горят огнем.
Ой да вот он, а глаза горят огнем.
Шапку носит набекрень, не дотронься, не задень.
Ой да вот он, не дотронься, не задень.
Он по улице пройдет — поводе шапочки не гнет,

Ой да вот он, воеводе шапочки не гнет.
Воеводо шапочки не гнет, только глазом поводет,
Ой да вот он, только глазом поведет.

Писатель не побоялся сохранить портретное сходство и основные черты его характера с фольклорным образом Булавина, подчеркивая, что Кондрат Булавин храбрый казак, высокий ростом, с гордостью носит он на поясе, «на серебряных застежках», кривую турецкую саблю с белой костяной ручкой, а на черной курчавой голове — «бархатную шапку, опушенную каракулевым мехом».

Но роман не песня, он требует раскрытия сути исторической деятельности героя и конкретизации его образа. И нужно обладать особым чутьем, чтобы представить себе личность Кондрата Булавина не только в его исторической предназначенности, но и в его частных моментах или, как говорил Белинский «... не только в парадном историческом мундире, но и в халате с колпаком» [1]. Автор романа не идеализирует Кондрата Булавина. Его талант вожака проявляется далеко не сразу, как далеко не сразу поймет Булавин свои ошибки. Сначала разгромом первых отрядов, а затем всего восстания и своей собственной преждевременной смертью заплатит Булавин за иллюзорную идею о казачестве как единой силе, за свою веру в союз с казачьей верхушкой и в доброго царя.

Писатель не наделяет Кондрата Булавина какими-то исключительными чертами и способностями. Сила его в слитности с народом, который он всколыхнул и возглавил. Автор показывает своего героя и в минуты неудач, и в дни напряженной работы. Мы видим скитания Кондрата Булавина по степи, когда он один пробирается в Запорожскую Сечь в надежде на помощь запорожских казаков. Мы видим его в темной почьо в доме Зерщикова после первого поражения своих войск, а потом тайно в костюме монаха присутствующим на казни своих товарищей.

В лице Кондрата Булавина голытьба и простой люд нашли отважного, а главное — преданного вожака, не изменившего народным интересам. (В Булавинском восстании было много самых неожиданных и коварных предательств, что явилось одной из причин поражения восстания и гибели самого Булавина.)

Кондрат Булавин в изображении писателя не лишен и личного обаяния. Булавин храбр и жесток в бою, но мягок и сердечен дома, с женой и детьми. Он нежный, но и требовательный отец. Таким возник образ Кондрата Булавина в творческом воображении писателя.

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. V, Изд-во АН СССР, М. 1954, стр. 41.

Картина Булавинского восстания в романе не предстала бы перед нами во всем его огромном историческом значении и вместе с тем и неизбежно трагическом финале, не свяжи писатель тему открытого народного возмущения, каковым было движение 1707—1708 годов, с государственной политикой Петра, с его деятельностью по преобразованию России. Причем этот, как бы второй план введен автором не как фон, не как застывшая историческая панорама, не как сухая государственная хроника. Писатель смело связывает сюжетно события, происходившие на Дону, с событиями в Москве, в царском дворе, с русско-шведской войной, с азовскими походами 1695—1696 годов, с личностью самого Петра. Это дает возможность раздвинуть рамки изображаемых событий и посмотреть на них не только с точки зрения истории донского казачества, а и с точки зрения истории всего государства Российского с учетом острейших противоречий времени.

Трудно найти другую историческую личность в прошлом России, которая бы так волновала воображение романистов, как Петр I. Он уже перестал быть «...загадкой в историческом тумане». И в этом великая заслуга прежде всего Алексея Толстого, сумевшего разглядеть и «все пятна на его камзоле» и понять, что Петр I принадлежит к числу исторических деятелей, которые «черпают мотивы своих действий не в мелочных индивидуальных прихотях, а в том историческом потоке, который их несет»[1].

Но, отдавая должное огромной обобщающей силе образа Петра I, созданного Алексеем Толстым, нельзя не приветствовать и попытки других авторов, пытающихся развеять «исторический туман», долго окутывавший фигуру Петра.

Было бы большим преувеличением сказать, что Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) создал совершенно новый образ Петра. Но хочется отметить, что писатель изображает его в новых событиях и конфликтах. В «Кондрате Булавине» наибольший интерес представляют картины сложнейших взаимоотношений Петра с казачеством, его политика на Дону. К этому следует добавить, что образ Петра в романе не лишен живости, эмоциональности и исторической достоверности.

Петр I лично знаком со многими участниками восстания еще по азовским походам. В свой приезд в Черкасск, с описания которого и начинается произведение, Петр узнает Булавина, готов щедро одарить его за то, что Кондрат в 1696 году «первый со своей сотней на азовские рискаты вбежал», но это не помешало

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, 2-е изд., т. 29, стр. 492.

Петру отказать в просьбе Булавина оставить за донскими казаками соляные варницы, а через несколько лет жестоко расправиться с булавинцами. Петр и сам задумается над отношением к нему народа, когда узнает, что ближайшим помощником и верным другом Кондрата Булавина был Гришка Банников, тот самый казак, который на поле бон со шведами спас Петру жизнь. Но ничто не смягчило душу царя, его приказы о подавлении восстания были жестоки, он не останавливался ни перед чем, «чтобы сей огонь потушить». Он предписывал Василию Долгорукому, в жестокости и ревнительности которого был уверен, «ходить по городкам и деревням... которые пристают к воровству, и оные жечь без остатку, и людей рубить...»

Тема Петр I и народ пронизывает весь роман, все время углубляясь и развиваясь. Если еще во время первого приезда народ выражал свою любовь к царю и надеялся на его милость, то совсем иначе встречает народ Петра в 1709 году. В ту весну в Черкасске не пели разбойных песен молодые казаки, не водили хороводов девушки, не пили брагный мед старики, не вспоминали прошлые удалые походы. И когда разнеслась по городу весть о приезде самого великого государя, народ не повалил на городской стружемент. Встречала царя только жидкая толпа домовитых казаков. На сей раз и колокола тоскливо возвестили о прибытии царя, и толпа слабо прокричала «ура». Да и с царских кораблей на приветствие не ответили.

Этой символичной сценой молчаливой враждебности между народом и царем заканчивается роман.

Перед каждым автором, берущимся за историческое повествование, встает много нелегких задач. Главная из них, как говорил А. Толстой, восстановить живую картину эпохи по отрывкам документов. Исторических героев нужно ввести в действие, одеть их, оживить, заставить любить, ненавидеть, мыслить, чувствовать, переживать, не модернизируя эти чувства и мысли. Нужно раскрыть характеры, мироощущение, быт. Всего этого требуют законы художественного творчества.

Петров (Бирюк) принадлежит к числу романистов, которые бережно относятся к историческим материалам и самой истории, не позволяя себе нарушать историческую достоверность ради занимательности и чисто художественных задач. Булавинское восстание само по себе представляет благодатный материал для художественного воплощения и по глубине социальных конфликтов, и по противоречивости, по яркости и колоритности личностей, прини-

мавших в нем участие, но трагичности отдельных судеб и всего восстания в целом. Нужно сказать, что в романе немало ярких, по-настоящему драматичных и живописных сцен, но не все сцены художественно полноценны. Автору явно менее удаются лирические, интимные картины и более удачны — исторические и бытовые.

Заслуживает внимания мастерство Петрова (Бирюка) в создании батальных картин. Они не однообразны, а главное — не безлики. В них участвуют конкретные герои, поэтому и читаются батальные сцены в романе с интересом.

Стремясь проникнуть в дух и характер времени, Петров (Бирюк) пытается воскресить события разного характера, подчас сталкивая их. Так подчеркнутая торжественность сборов атамана Максимова и других домовитых казаков встречать государя Петра I, пожаловавшего самолично в Черкасск, сменяется сценой безудержного казачьего веселья, что разрушает торжественность, с которой атаман хотел встретить царя, и придает описанию жизненность, реальность, конкретность.

Зная жизнь современного казачества, Петров (Бирюк) сумел воскресить и особенности казачьего быта конца XVII — начала XVIII века во всей их красочности и социальной контрастности. Писатель показывает поэтичность казачьих песен и обрядов. Он владеет живописной словесной палитрой, не боится многоцветья, когда описывает не только яркий костюм и дорогие украшения атамана, но и «алый потрепанный зипун» Мишки Сазонова, в котором тот пришел встречать царя-батюшку, и ветхий зипун Митьки Туляя.

В вечном движении жизни медленнее всего изменяется природа, поэтому может показаться, что в историческом романе проще всего воспроизводить пейзажи. Но и с картин природы нельзя смывать следы «старины глубокой», и здесь опасна модернизация, и здесь автор не может не учитывать временных особенностей восприятия природы.

Петров (Бирюк) видел суть исторической эпохи не во внешних ее атрибутах, а в туго затянутом клубке социальных противоречий, он пытался, обращаясь к истории Булавинского восстания, понять и осмыслить дальнейшую судьбу России. Это и помогло ему создать книгу, которая, по словам одного из крупнейших исследователей восстания под руководством Кондрата Булавина профессора В. Лебедева, «...дает читателю развернутую картину антифеодального народного движения на Дону и в Придонье», чем, собственно, и объясняется успех книги Петрова (Бирюка) у нашего читателя, которого не может не волновать «земли родной минувшая судьба».

Д. Терентьева

384439

ГЛАВА I

Войсковой атаман * Лукьян Васильевич Максимов беспокойно поднял с подушки взъерошенную, заспанную голову и прислушался. Сквозь железный ставень с улицы проникал гомон людских голосов. Атаман вспомнил, что сегодня необычный день. Сердце его болезненно сжалось, он торопливо сбросил с постели на пол сухие, мускулистые ноги и судорожно зевнул.

— Господи Исусе,— мелко закрестился он,— забот-то ныне сколько, забот-то... Напасть-то какая...

Подойдя к оконцу, атаман отодвинул засов и открыл ставень. На слюдяных глазках ослепительно заиграли солнечные лучи, по низкому, со сводами, потолку запрыгал радужный зайчик.

Атаман постепенно, но тщательно умылся, помолился богу и, подойдя к венецианскому зеркальцу, висевшему на пышном, вытканном золотом ковре, расчесал гребенкой лохматую голову и русую бороду. Звонко щелкнув внутренним замком, вынул из кованного железом сундука новые синие шаровары, расшитые узором, просунул в них ноги и натянул узкие красные сафьяновые сапоги с яркой астраханской расшивкой. Надев свой лучший голубой бархатный кафтан, отороченный серебряным галуном, атаман подпоясался широким синим кушаком, усыпанным дорогими украшениями. За кушак засунул турский пистоль с искусной резьбой на костяной рукоятке, привесил кривую саблю в серебряных ножнах и снова подошел к зеркальцу. С удовольствием оглядел себя, надвинул на голову, чуть набекрень, шапку с алым бархатным шлыком, с которого свисала кисть, унизанная жемчугом.

Максимов, широкоплечий, крепко сбитый казак, чуть выше среднего роста, обладал огромной силой и бычьим здоровьем. Он еще не стар, ему всего сорок пять лет. Лицо круглое, румяное. На лбу кольцами вьются русые, не тронутые сединой кудри. Из-под лохматых, густых бровей смело и решительно смотрят большие серые глаза. Его можно было бы назвать русским красавцем-богатырем, если б правую щеку не безобразил багровый сабельный шрам от раны, полученной в бою под Азовом. Взяв булаву *, Максимов собрался уходить. В горенку вошла атаманша, молодая, дородная, пышногрудая казачка.

— Уж уходишь, Луня? — окинула она своего статного мужа взглядом.

— Надобно идти,— вздохнул атаман и озабоченно проговорил: — Ты, Варварушка, будь наготове. Может, царь-то Петр Алексеевич пожелает охоту пожаловать к нам на обед. Бражного меду да фряжского * вина надобно побольше. Царь-то до хмельного охоч... Домрачеев да девок-плясуниц покличь...

— Не бойся, Луня,— усмехнулась атаманша, показывая свои чудесные белые зубы.— Не прогневлю царя-батюшку, сумею ему, сердешному, угодить... Будет доволен...

— Да уж знаю, знаю, атаманша,— ласково улыбнулся Максимов.— Баба ты ловкая, когда захочешь, то любому можешь угодить...

Потрепав жену по румяной щеке, атаман вышел.

На улицах Черкасска было необычайное оживление. Несмотря на раннее утро, сновали толпы народа.

Ждали прибытия Петра Первого.

Царь плыл на кораблях из Воронежа в Азов. Хотя о его приезде не объявлялось, молва об этом сразу облетела окрестные городки и станицы. Люди отовсюду стекались в Черкасск, чтобы увидеть царя.

Казаки в цветных кафтанах и зипунах, увешанные оружием, казачки в азиатских ярких нарядах, татары в полосатых халатах, калмыки в ерчаках * из жеребячьей шкуры, иноземные купцы, старики и ребятишки шумно заполняли улицу.

В торговых рядах купцы торопливо открывали лавки и лари, выбрасывали на полки разнообразные диковинные товары.

Толпы людей ходили от ларя к ларю, от лавки к лавке и изумлялись невиданным заманчивым вещам. Полки

расцветились шелковыми и камковыми материями, парчовыми тканями, яхонтами, жемчугами. На нитках висели золотые и серебряные, с дорогими камешьми, женские украшения. Кучами лежал сафьян всех цветов, сапоги, расшитые узорами чудесной азиатской работы. Морской пеной взбивалась кисея. Ослепляюще отсвечивали на солнце стеклянная заморская посуда, восточные медные кувшины с тонкой шеей, турецкое и генуэзское оружие, венецианские зеркала. Лежали вороха азиатских сладостей, сухих варений. Пирамидами громоздились бочонки с фряжскими винами, фруктовыми наливками, водкой.

У стружемента *, покачиваясь на волне, стояли греческие, турецкие и итальянские корабли и галеры, доставившие в Черкасск грузы. Хозяева судов, распродав товар, толпились около татарских мурз *, торговавших ясырью *. Десятка три оборванных и грязных невольников — ногайцев и кавказских горцев — угрюмо сидели со связанными руками на привязи у столбов и покорно ждали своей участи.

В тени мохнатой вербы сидел на разостланном зипуне старый домрачей с длинными запорожскими седыми усами. Рассеянно поглядывая вокруг мутными старческими глазами, он дергал звонкие струны домры и тихим, слегка дребезжащим голосом пел:

Ой, да на славной було, братцы, на речушке,
Да на славной було, братцы, на Камышинке,
Собиралися там люди вольные —
Все донские, гребенские, козаки яицкие.
Собирались воны, братцы, во единый круг.
Во кругу-то стоят воны, думу думают...

— Дед Остап! — удивленно воскликнул молодой казак в алом суконном кафтане, останавливаясь около старика.— Хай тебе лихо, да неужто ты?.. Здоров был, дед!

— Слава богу, сынку,— недоуменно поднял на него выцветшие глаза домрачей.— Правду гутаришь, я дид Остап... А ты кто такий, а?

— Ай не признаешь, дед? — радостно смеясь, нагнулся к нему казак.— Не признаешь, а-а?..

— Ни, сынку, не признаю.

— Эх ты, дед! — укоризненно сказал казак.— Стало быть, не хочешь признавать старых друзей, а?.. Гришку-то Банникова помнишь али нет?.. Помнишь, как в

Азове вместе турок били? Неужто забыл, старый, Гришку, а?

— Ге-ге, Грицько! — обрадованно воскликнул старик.— Ха, бисов сын!

Старик хрипло рассмеялся и с необычной для его лет живостью поднялся и расцеловал Григория.

— Здоров, здоров будь, козаче!.. Ге-ге, да який же ты громадный стал,— с удивлением рассматривал он молодого казака с ног до головы.— Ты ж пид Азовом совсем махоньким хлопчиком был... Як же годы швидко бегут, ой-ей-ей!.. Вы, молодые, растете да гарными козаками становитесь, а мы свий вик отживаем,— вздохнул старик.

— Стало быть, признал, старый? — удовлетворенно засмеялся Григорий.— Что ж тут делаешь, дед, а?..

— А вот сижу, Грицько, да песни людям граю, про старое вольное козачье товарищество пою... Себе пропитание добываю... Який добрый чоловик грош бросит, а який ломоть хлеба подаст, або кусок сала, ай яичко... Вот и сыт бываю... Так и живе старий рубака, дид Остап...

— Плохо, видно, ты живешь, дед.

— Ни, гарно, Грицько!.. Мне бильшего не надобно. Ей-богу, гарно! Меня уси любят и уважают...

— Ну как же тебя, дед, не любить! Ты же хороший старик.

— Хороший,— согласился старик и спросил: — Где ж вараз, Грицько, обретаешься?

— О, дед, я в начальных людях,— самодовольно сказал Григорий.— В Бахмут-городке на соляных варницах. С Кондратием Булавиным вместе, есаулом к нему приставлен... А ныне приехали мы с тем Кондратием в Черкасск царя встречать. Челом бить будем. Забижают нас, дед, черкасы * с полковником Шидловским, хотят наши донские варницы отобрать.

— Так, так,— качал седой головой старик,— изюмцы, что ль, забижают-то?

— Да не только они — и другие.

— Ну, сынку, царь разберет, на чьей стороне правда.

— И мы так думаем... Ну, пойдем, дед, в кабак, угощу со встречи.

— Що ж, Грицько, дело це дуже гарное. Пидемо,— охотно согласился старый запорожец и, закинув домру за плечо, пошел вслед за Банниковым.

Кабак стоял в центре городка, недалеко от атаман-

ского дома, близ церкви. Ничем особым он не отличался от других в ряду стоявших с ним куреней. Лишь длинный шест у дверей с расколотым горшком наверху да сорокаведерная бочка с вином у крыльца указывали на то, что это был кабак.

Григорий толкнул ногой дверь. Она со скрипом распахнулась. Из кабака повеяло винным перегаром и табаком.

— Входи, дед,— пропустил впереди себя старика Григорий и шагнул через порог вслед за ним.

В кабаке, несмотря на ранний час, уже сидело с десяток казаков за жбаном вина.

— Га, Гришка!.. Банник!.. — послышались веселые голоса.— Садись с нами. Садись и ты, дед Остап!

Казаки раздвинулись на скамьях, освобождая место Григорию и домрачею.

— Ну, братцы,— сказал Григорий, усаживаясь за стол,— угощать буду я... Якудра! — крикнул он кабатчику. — Пои нас вином, чтоб ажно носы посинели.

Вытащив из кармана туго набитый деньгами кошель, бросил кабатчику. Тот на лету поймал его и налил огромный жбан вина. Прислужник едва донес его до стола.

— Пей, братцы! — радушно угощал Григорий.— В кошеле у меня денег много, да и Якудра еще сдачи даст.

Когда выпили по нескольку ковшей, Григорий, хмелея, стал взволнованно размахивать руками.

— Ведь вы же поймите, братцы,— жаловался он,— вечно мы, донские казаки, владеем речками Бахмутом, Красной да Жеребцом. На речке Бахмуте мы нашли соленые воды, выкопали там колодцы, начали варить соль. Другим завидно стало, начали к нам приходить разные люди: мячане, торяне, изюмцы, тож поровят соль варить... А полковник Шидловский своим казакам по той речке городки строит. Да разве ж это не обидно нам? Обижают донских казаков. Где ж правда?

— Была правда, да заржавела,— вздохнул дед Остап.

— Ототрем, дед, ржавчину! Вот те господь, ототрем!— запальчиво сказал Григорий.— Расскажем царю о наших обидах, рассудит он по-справедливому.

— Здорово были! — раздался у дверей веселый басовитый голос.

Все обернулись на возглас. В дверях стоял высокий, стройный казак в бархатном, вишневого цвета кафтане.

Вид у него был щеголеватый, бравый. Широкий пояс, подбитый голубым бархатом, расшитый золочеными нитками и украшенный каменьями, туго охватывал его стан. На поясе, на серебряных застежках, висела кривая турецкая сабля с белой костяной ручкой.

Казаку было лет под сорок. Смуглое красивое лицо его было бронзовым от загара. Мягкая черная бородка обрамляла худощавые щеки.

— А, Кондратий! — воскликнул Григорий.— Заходи. Выпей за здоровье Донского войска.

— Это можно,— усмехнулся Булавин и, подойдя к столу, поздоровался с казаками.— Здоровы были, братцы!

— Здорово, Кондратий... здорово! — приветливо откликнулись сидящие.

Григорий налил в ковш вина, подал Кондрату.

— Пей.

Кондрат сдернул с черной курчавой головы бархатную шапку, опушенную каракулевым мехом, и взял ковш.

— За ваше здоровье, казаки,— кивнул он головой. В левом ухе у него блеснула крупная золотая серьга с изумрудом.— Выпьем, чтоб родня не журилась.

Поднеся ковш ко рту, Кондратий заметил старого запорожца, который не спускал с него глаз.

— Дед Остап, неужто ты?

— Угу, сынку, угадал,— ощерил беззубый рот старик. — Я, дед Остап, на ногах стоять ослаб.

— Здоров, здоров был, старина! — расцеловал его Кондрат.— Где ж ты пропадал эти годы?

— Эге, Кондратий! — воскликнул старик.— Да де ж я не был за ци годы! Был в Московии, был на Украине, был везде, где люди православные живут... Дуже богато исходил я за ци годыны путий-дорозий... Много бачил горя и слез людских, тильки радостей мало... Вот я и ходил, веселил людей...

— Подвинься, дед,— сказал Кондрат,— сяду возле тебя, погутарим, старое вспомним...

— Садись, садись, Кондратий,— радостно подвинулся старик.— Давненько не видались, побалакаем...

Обняв старика, Булавин стал расспрашивать его о житье-бытье. Лицо Кондрата светилось ласковой улыбкой. Он рад был видеть старого домрачея.

Булавин немало провел со старым запорожцем бурных дней и ночей в набегах и битвах с крымскими тата-

рами, погайцами, турками. Никогда не расставался этот веселый старик со своей звонкой домрой. В грустные минуты он умел веселить и тешить казаков.

— А ну, дед Остап, вспомним старину,— хлопнул старика по плечу Кондрат,— сыграй веселую.

— Веселую? — озорно взглянул старый запорожец из-под лохматых бровей на Кондрата.— Ладно. Хай буде так.

Дернув струны, он запел:

Стой, хлопче, не валяй,
Кубелек * не марай.
Кубелек мой кумашной
Работы домашной.
Кубелек я сниму,
Потом тебя обниму...

Несколько казаков пустились в пляс.

Кондрат, сверкнув золотой серьгой, сорвался с лавки и также пошел плясать, вздергивая широкими плечами.

Казаки, посмеиваясь, подпевали:

Кубелек я сниму,
Тебя крепко обниму...

— Оце добре, казакови! — воскликнул домрачей, когда Кондрат, вспотевший и багровый, тяжело дыша, опять сел рядом с ним.— Дуже добре, дай поцелую.

Они расцеловались.

Потом снова пили, плясали, пели песни. Кондрат поднялся.

— Хватит, браты! Пошли встречать царя.

Казаки шумно повставали и веселой гурьбой, с шутками, со смехом вывалились на улицу.

У кабака стояла толпа. Маленький, тщедушный рябой казачок, с редкой белесой бороденкой, в алом потрепанном кунтуше, размахивая руками, что-то рассказывал. Окружающие смеялись.

— А вот кабы такую распить, атаманы-молодцы,— указал казачок на сорокаведерную винную бочку у крыльца,— душа сразу взыграла б...

Увидев выходивших из кабака казаков и среди них Григория Башмакова, он обрадованно закричал:

— Гришка!.. Башмак!.. Поломай тебя грец, ты что ж это, с Бахмут-городка приехал, денег много привез, сам пьешь, а друзяков своих не угощаешь? Эх ты, а еще однокурсум... *

Бапников осоловевшими глазами вгляделся в рябого казачишку.

— А, Мишка Сазонов!.. Здорово!.. Иди, олух, угощу...

Сазонов облизнул губы, подошел к Григорию. Подмигнув казакам, он сказал:

— Пропили отца, пропьем брата, еще матушка брюхата, что-нибудь да родит.

Казаки захохотали. Мишка Сазонов был весельчак. Что бы он ни сказал, все вызывало смех у толпы.

Григорий полез в карманы, но они были пусты.

— Ноту денег, все пропил.

— Жадничаешь,— сказал Мишка обиженно.— Жалко тебе ковш поставить...

— Я жадничаю? — изумился Григорий. В глазах его вспыхнули гневные огоньки.— Ах ты, рябая тетеря, да я тебя до смерти запою. Якудра! Яшка!..— заорал он кабатчику.— Какая цена твоей бочке? — пнул он ее ногой.

Кабатчик, краснолицый, здоровенный детина в синей суконной однорядке, раздумывая, почесал затылок.

— Не трогай, Григорий,— сказал он,— все едино у тебя грошей нет...

— Замолчи! — свирепо крикнул на него Григорий и, отстегнув красный пояс с саблей, сбросил с себя нарядный кафтан, кинул его кабатчику.

— Хватит за бочку?

Яшка отрицательно мотнул лохматой головой.

— Мало.

Григорий, распаленный, гневный, молча опустился на крыльцо, стащил с ног сафьяновые сапоги, бросил кабатчику.

— А теперь хватит?

— Мало,— качнул снова головой кабатчик.

— Грицько,— пьяно пошатываясь, подошел дед Остап к Григорию.— Пидемо видциля... Хай их к бису... Пойдем побачим царя... Голому ж срамно на царевы очи показаться. Пойдем...

Но Григорий был сильно раззадорен.

— Не лезь, дед Остап,— отстранил он старика,— не может быть того, чтобы Гришка Бапников жадным был... Не может!..

Он сорвал с себя полотняную, расшитую цветными нитками рубаху и бросил Яшке.

— На, анчутка!

Яшка пощупал заскорузлыми пальцами рубаху, кинул ее на кафтан.

— Мало, Гришка,— вздохнул он,— вино дороже стоит...

— У-у... дьявол! — скрипнул зубами Григорий и, шатаясь, с трудом стащил с себя штаны и даже подштанники.— А теперь хватит?

— Да ладно уж,— проговорил кабатчик,— хоть и в убыток, но пользуйся на здоровье. Бог с тобой.

— Будет-те дурить-то, Гришка,— строго сказал Кондрат, подходя к Баннику.— Ты что, ай белены объелся? Надевай свои причиндалы, пойдем.

— Отстань, Кондратий,— оттолкнул его Григорий,— дай душе казачьей взыграться!

— Ну, леший с тобой,— махнул рукой Булавин и, твердо держась на ногах, упругой походкой пошел на пристань. Он знал неукротимо буйный нрав Башпикова.

— Якудра, ковш! — потребовал Григорий и, подвязав на голый живот кушак с саблей, сунул за него пистоль. Надвинув на голову шапку с красным шлыком, выхватил из ножен саблю, сбил с бочки затычку.

Кабатчик подал ему ковш.

— Подходи, атаманы-молодцы! — загремел Григорий.— Подходи, честная станица!.. Гришка Башпиков ныне угощает всех. Подходи, молодцы!..

Казаки тесно обступили его. Проходившие мимо по улице бабы и девки заинтересовались, кого это так тесно обступили казаки, заглядывали через плечи. Увидев оголенного казака на бочке, с визгом отскакивали:

— Ой, девоньки ми-илые! Голый, голый там!..

Григорий, сев верхом на бочку, зачерпнул ковшом вина, подал Сазонову.

— На, рябой вахлак, пей, антихрист, покуда с ног не упадешь.

Взяв ковш, Мишка Сазонов посоветовал Григорию:

— А ты, Гришка, прикрылся бы... а то вон бабы-то смеются.

— Замолчи, рябой! Не твое дело.

— Ну, тогда будь здоров,— смиренно сказал Мишка.— По дедушке Ермаку, по донскому казаку... Наше дело маленькое: дают — бери, бьют — беги...— И махом опорожнил ковш.— Спасет тебя Христос, Гришка,— сказал он, причмокивая языком и обтирая ребром ладони усы,— доброе винцо... Дай бог, чтоб вовек не переводилось...

— Пей еще,— зачерпнул снова Григорий.

— Погоди, Гришка,— отстранился Сазонов.— Пусть другие пьют, а я покуда пообожду.

— Нет, дьявол, пей! — грозно закричал Григорий.— Пей, анчутка!.. Пей! Не то так дам в твою поганую морду, кровью умоешься... Жадный, говоришь? Пей, покуда не упадешь.

— Ну что ж, наша душа кривая, все приймае,— с шутовской ужимкой взял ковш Мишка.

Казаки, переминаясь возле Мишки, нетерпеливо поглядывали на него и бросали жадные взгляды на бочку.

— Пей еще! — свирепо гаркнул Григорий на Мишку, когда тот вздумал было отказаться от нового ковша.

Мишка подряд выпил пять ковшей, шестого не осилил и, свалившись у бочки, захрапел.

Григорий злорадно ухмыльнулся и, вырвав из рук Мишки ковш, зачерпнул из бочки.

— Подходи новый! — крикнул он.— Пою всех. Подходи любой! Дед Остап, играй веселую. Гуля-им!..

Раздались пушечные выстрелы. К городу подходили царские корабли.

На стружементе, пестрея яркой, разноцветной одеждой, царских кораблей ожидала огромная толпа. Впереди всех стояли войсковые старшины во главе с атаманом Максимовым, держа в руках дарованные царями Донскому войску знамена, бунчуки *, хоругви, клейноды *.

Махальные, расставленные на берегу Дона на много верст вверх от Черкасска, уже часа два как сообщили, что царские корабли показались. Но кораблей все еще не было, и народ нетерпеливо томился в ожидании, напряженно вглядываясь в песчаную луку, из-за которой они должны были вот-вот появиться...

Из-за мыса, обросшего яркой кудрявой зеленью кустарников, трепеща на ветру царским флагом, показалось судно. Толпа на берегу разразилась радостными криками.

Вслед за царским кораблем из-за мыса появились и остальные. На колокольнях в захлебывающемся перезвоне ликующе заголосили колокола. С городских стен загрохотали пушки. На кораблях вспыхнули белые дымки — отвечали на салют.

На берегу толпа бурно ревела. С кораблей тоже что-то кричали и размахивали шляпами. На корме переднего

корабля, опершись на эфес шпаги, недвижно стоял высокий человек.

— Он!.. Он!..— из уст в уста пробежало в толпе.

Корабль со страшной нептуньей мордой, заскрипев о песок, ткнулся носом, как телок в вымя, в мягкий берег. Матросы засуетились, причаливая и сбрасывая сходни.

Высокий человек в нитяных черных чулках, облегавших мускулистые икры, в черном бархатном кафтане с обшитыми золотом пуговицами, в кружевном белом галстуке, поправив на голове черную треуголку, быстро сошел с корабля на берег.

— Ура-а! — неистово заорала толпа.

Высокий человек остановился, оглянул кричавшую толпу, взмахнул шляпой.

Атаман Максимов, бросив наземь булаву, плюхнулся ему в ноги. Высокий человек нахмурил густые черные брови.

— Встань,— сказал он недовольно,— не люблю, чтоб в ногах валялись.

Атаман поднялся и, низко поклонившись, растроганно сказал:

— Великий государь, царь и великий князь...

— Ну-ну, ты это оставь,— поднял руку Петр, отмахиваясь от Максимова.— Говори попроще, Лупька.

— ...мы, твои холопы,— сбитый с толку, сконфуженно проговорил атаман,— донские атаманы с товарищами и все войско Донское с низу до верху, челом бьем... Не гневись, великий государь, отведать донского хлеба-соли.

Из толпы к царю шагнул войсковой старшина Илья Зерщиков и с низким поклоном подал ему на серебряном подносе пышный зарумянившийся пшеничный каравай с солью в позолоченной солонке.

Илья Зерщиков был долговязый, сухощавый казак лет под пятьдесят, черный, как цыган, с беспокойно бегающими плутовскими глазами и большим носом, изогнутым, как клюв у хищной птицы. Пышная черная борода веером стлалась на груди. Одет он был нарядно — в синий суконный кафтан, украшенный золотым шитьем.

Петр остро взглянул на него и, взяв из его рук поднос с хлебом-солью, сунул одному из свитских офицеров.

— Спасибо, молодцы донские атаманы и все ваше войско Донское, за хлеб-соль! — сказал он громко.— Жалую вас за вашу верную, добрую службу своей милостью!

— Ура-а! — взмахивая булавой и глядя на толпу, тонкоголосо закричал атаман.

— Ура-а! — подхватила толпа.— Ура-а!

Петр помахал шляпой и сказал атаману:

— Ну, пойдем, Лунька, в городок.

Царь шагнул на толпу. Народ попятился, давая ему дорогу.

Хотя атаман Максимов был не мал ростом, но, чтоб разговаривать с царем, ему приходилось задирать голову.

— Батюшка государь, Петр Алексеевич,— пытаясь уловить милостивый взгляд царя, заговорил атаман,— изъявим свою милость отведать угощения моей атаманши Варвары. Ужо попотчует тебя, милостивца, чем богаты...

— Ну что ж, атаман,— согласился Петр.— Ведь... в дороге горло пересохло,— хрипло засмеялся он.— Надобно маленько промочить...

Петр раньше бывал в Черкасске и знал, где жил Максимов. Он быстро зашагал к атаманскому дому. Лукьян Максимов, старшины и вся свита рысцой трусили за ним, едва поспевая: больно уж быстро ходил царь. По пути он все время кивал головой, отвечая на приветствия народа, густо заполнявшего улицы. Внезапно Петр остановился перед кабаком.

— Что это, Лунька? — указал он.

Атаман глянул, куда указывал царь, и обомлел от ужаса.

У кабака, верхом на бочке, сидел голый Григорий Банников. Кроме лихо заломленной набекрень запорожской шапки, на нем ничего не было. Голое пузо опоясывал кушак с саблей, из-за которого торчала рукоятка пистоля. Григорий, пьяно раскачиваясь на бочке, кособоко держал ковш, проливая вино, и бессмысленно поводил глазами. Кругом лежали вповалку спящие пьяные казаки. Прислонясь спиной к крыльцу, сидел дед Остап. Заливаясь пьяными слезами, обводя печальным взглядом спящих казаков, он ожесточенно дергал струны домры и хрипло пел:

Огурчики мои-и
Огородненькие-е,
Я вас садила-а,
По-оли-ива-ала-а...

Петр с минуту молча смотрел на эту живописную картину и вдруг захохотал:

— Бахус!.. Ей-ей, Бахус!.. Лунька, почему он голый, и с оружием?..

— Великий государь,— смущенно сказал атаман,— казак все может пропить, вплоть до сподников и портянок, но оружия он никогда не пропьет.

Петр, глядя на Григория, весело хохотал. Хохотали старшины и есаулы, хохотала свита, хохотал и народ. А Григорий, покачиваясь на бочке, недоумевающе осоловевшими, тоскливыми глазами смотрел на смеющихся людей, не понимая, над чем они смеются. Потом, сожалеюще покачав головой, страдальчески сказал:

— Пошли вы... — Он сказал такое, от чего царь пришел в еще больший восторг.

Григорий поднес к губам ковш, выпил из него без передышки и, покачнувшись, свалился на Мишку Сазонова и захрапел.

Шагая через тела спящих казаков, Петр пробрался к Григорию и попробовал было снять с него саблю. Григорий сразу же очнулся и осыпал царя градом отборнейших ругательств.

— Молодец! — искренне восхищенный, сказал Петр.— Пьян, пьян, а зело крепко бережет свое оружье. Лунька,— обратился он к войсковому атаману, — отныне будет у тебя такая войсковая печать: голый казак верхом на бочке, с чаркой и ружьем в руках...

ГЛАВА II

За большими дубовыми столами, накрытыми синими, расшитыми серебряными травами и золотыми серпами скатертями, расселись гости. Царь сел в переднем углу, под образа. По правую руку уселся хозяин, атаман Максимов, по левую — Илья Зерщиков. Свитских генералов и офицеров рассадили между войсковой старшиной *.

Немало турецкого и татарского добра, добытого в набегах, хранилось в кладовых атамана. В честь великого государя он вытащил из кладовых на стол самую дорогую посуду.

Взгляды гостей внимательно скользили по золоченым кувшинам, серебряным ендовам * с фряжскими винами и бражными медами разных сортов, по дорогим, с каменьями, кубкам и ковшам.

Десяток огромных золоченых и серебряных блюд и раз-

посов был доверху заполнен сладостями: пряниками, коврижками, обсыпанными маком, кильками *, печениками, трубочками *, чилипенами *, разными марафетами * и фруктами.

Взглянув на богатства, выставленные на столе, царь с любопытством окинул быстрыми черными глазами горницу. Стены обвешаны богатыми коврами, на коврах ятаганы с ручками из рыбьего зуба, разных образцов пистоли, сабли, ружья, сайдаки *. Все это — в золоте, серебре, в дорогих каменьях.

— Богато ты живешь, Лунька,— подмигнул Петр.

— Не гневим бога, государь,— вздохнул Лукьян.— Все это добыто, великий государь, у нехристей в турских да татарских землях кровью наших отцов да дедов...

И тотчас же ему пришло в голову: зачем он все это выставил на столы? Как бы не отобрал Петр его богатства. Прослышал он, что все монастыри обобрал царь и боярской казны коснулся, все на вооружение войска обратил.

— Тут моего-то добра мало, государь,— дрогнул голос у атамана,— войсковое это добро, не дуванное *.

Петр понял его и, смеясь глазами, сказал:

— Пожертвовал бы, Лунька, малую толику в казну царскую. Зело великую нужду терпим. Воевать не с чем со шведом.

У Лукьяна тоскливо заныло сердце. «Ну вот, так и знал».

— Да уж какое тут добро, государь? — невесело сказал он.— Так это, дермо пустое... Да и войсковое оно.

— У тебя тож, Лунька, поди, добра немало? — насмешливо посмотрел на него царь. — Поди, на своем веку нажил знатно?

— Да нет, великий государь, — уклончиво ответил атаман, — где уж нам? Ныне турка да татарва захудалая пошла, не то что в старину... Бедно стали жить... Нечем поживиться у них дюже...

И, желая поскорей переменить неприятный разговор, Лукьян налил вина в высокий золотой кубок на птичьей ножке, с поклоном подал царю.

— Прошу покорно, великий милостивец, отведай. Варварушка, — позвал он жену, — пусть ясырки обед подают...

Петр, подняв высоко кубок, весело взглянул на разру-

мянившуюся от хлопот красивую чернобровую атаманшу, нарядившуюся в лучшие, праздничные одежды.

— Выпьем за здоровье атаманши Варварушки! За ее щи и пироги!

Атаманша зарделась еще больше, польщенная вниманием царя.

— Кушай на здоровье, царь-батюшка, — поясно поклонилась она, — не гневись на нас, холопей твоих. Чем богаты, тем и рады угостить...

— На тебя, Варварушка, — засмеялся царь, — никак нельзя гневаться... Ишь ведь ты какая ласковая, приветливая...

Он опорожнил кубок и зачмокал губами.

— Винцо доброе... Свое, Лунька, ай нет?

— Привозное, великий государь, заморское, — проговорил доселе молчавший Илья Зерщиков.— Свое-то у нас, государь, больно кислое.

— Что же своего доброго вина не заводите?

— Винограды плохие.

— Плохие? — нахмурился Петр. — У нас самый раз бы добрые виноградники разводить: земли знатные... Вот сходил я со струга в Цимлянском городке, ковырял палкой землю. Земля-то такая же, как и на Рейне либо в Бургундии. Добрая у вас земля под виноградники... Вот уж, Лунька, пришлю я тебе заморских черенков виноградных, повтыкайте в своих городках, как приеду в другой раз, чтоб угощали меня своими добрыми винами и виноградами...

— Ужо угостим милостивца, — льстиво сказал Зерщиков, плутовато забегав глазками, — доволен будешь своими холопами.

Петр, о чем-то вспомнив, озабоченно полез в карман.

— Зело богатый ваш край. Богатый, а вы о том и не ведаете... Вот, — извлек он из своего кармана несколько черных блестящих камней и разложил их на столе, — великое богатство наше... И все это на вашей, донской земле...

Лукьян Максимов и Зерщиков изумленно переглянулись и недоверчиво взглянули на царя — дескать, не шутит ли он. Но лицо царя было серьезно и задумчиво.

— Великий государь, — усмехнулся Лукьян,— такого дерма у нас, на Старом поле, великое множество. Хоть

Дон пруди им... Только невдомек мне, великий государь, какое же это богатство? Ума не приложу, для чего эти камни. Правда, в студеную пору пастухи те камни в костры бросают, обогреваются, знатно горят они...

— Вот-вот! — оживился Петр. — В том-то и дело, что они зело знатно горят...

Глядя на черные камни, лежавшие перед ним, Петр глубоко задумался.

— Не ведаю, дойдут ли мои руки до этого камня, — раздумчиво проговорил он, — но сей минерал если не нам, то нашим потомкам будет весьма полезен...*

Бережно собрав со стола камни, он снова положил их в карман.

— Богатая у вас, Лунька, земля, богатая. Только не умеете вы из нее богатства брать.

Ясырки — пленные турчанки и татарки — начали подавать обед.

Обед начался с кругляков — пирогов, начиненных рубленными перепелками. За ними последовали холодные закуски: студень, говяжьи языки с солеными огурцами, жареный поросенок. Ясырки не спускали глаз с гостей и, как только одно блюдо поедалось, подавали другое.

После холодных закусок принесли горячие блюда: щи, похлебку из кур, сваренную с сарацинским пшеном и изюмом, суп из баранины с морковью, дулму из капусты с рубленым мясом и огурцами.

Атаман с каждым новым блюдом подливал в кубок вина. Поднимая кубок, провозглашал:

— Здравствуй, наш великий царь-государь в кременной Москве, а мы, донские казаки, на тихом Дону!

Во время одной из таких здравиц бахмутский атаман Булавин Кондрат порывисто поднялся со скамьи и, высоко подняв ковш, звонко крикнул:

— Здравствуй, войско Донское с верху до низу и с низу до верху!

И, выпив ковш до дна, опрокинул его над своей головой.

Петр остро взглянул на Кондрата, поманил его.

— А ну, молодец, подь сюда. Где я тебя встречал? Обличье твое мне что-то зело знатно...

— Под Азовом, великий государь, в тысяча шестьсот девяносто шестом году, — почтительно, но с достоинством

ответил Кондрат. — Я первый со своей сотней на азовские раскаты вбежал...

— Помню, — сказал Петр. — Я тебя не наградил тогда. Какой награды хочешь, казак?

Заметив, что ясырки уставляют стол новыми блюдами — блинцами, лапшевниками, сюзьмой, он хрипло рассмеялся:

— Лунька, что это ты нынче хлебосольный такой? Гляди, обкормишь, беда будет...

— Не обессудь, государь, — наклонил голову атаман, — для своего милостивца, царя-батюшки, ничего не жалко...

— Не жалко? — захохотал Петр. — А вот пожертвовать в казну жалеешь.

Видя, что эти слова не по душе Максимову, захохотал еще громче. Потом, обрывая смех, спросил у Кондрата:

— Так какой награды, атаман, хочешь?

— Никакой награды, государь, мне не надо,— сказал Булавин и поклонился. — Спасет тебя Христос, государь, на добром слове... Дозволь, государь, челом бить. Выслушай твоих верных холопов, донских казаков...

— Говори, — разрешил Петр, с любопытством глядя на крепко сложенную фигуру бахмутского атамана.

— С незапамятных времен, великий государь, мы, донские казаки, владеем речками Бахмутом, Красной и Жеребцом. Понастроили мы там соляных варниц. А ныне вот начал нас полковник Шидловский со своими изюмскими казаками обижать. Приходят они к нам, дерутся, ругаются, похваляются побить нас до смерти. Хотят, чтоб мы ушли с тех речек, а они б там заселились... Повели, великий государь, тому полковнику Шидловскому не обижать нас. Пусть он со своими казаками уйдет с наших земель...

Петр задумался.

— Великий государь,— сказал Илья Зерщиков,— правду истинную говорит атаман Кондратий Булавин: дюже забижает нас полковник Шидловский со своими казаками.

— Ладно, будь по-вашему, — произнес Петр, — разберусь... А сейчас не будем о том говорить... Лей, атаман, вина,— подставил он Лукьяну пустой кубок.

Наполнив кубки и ковши вином, Максимов позвал

домрачеев, которые чинно расселись на скамьях в углу. Атаман кивнул головой, домрачеи дернули струны и запели:

Против моего двора
Прикатила гора,
Прикатила, прилита,
Башмачками прибита...

Из дверей в горницу впорхнули девки-плясуницы с тулумбасами *. Ударяя в них, плясуньи закружились по горнице, сверкая озорными глазами, серебряными и жемчужными ожерельями, монистами.

Все они были молоды, цветущи; наряды их красивы, ярки.

Гости поднялись и отодвинули столы к стене, давая простор танцовщицам. Домрачеи пели:

Подломился каблучок,
А я, млада, на бочок...

Струны звенели: дрын... дрын... дрын...

Звонкоголосо подпевали девки-плясуницы, колотя в тулумбасы и притаптывая цветными сапожками с колокольцами:

Я упала да лежу,
Во все стороны гляжу...

Сливались девичьи голоса с мужскими, нежно звенели домры и сломпицы под искусным перебором старых музыкантов, гремели бубны, стучали каблуки с колокольцами.

...Туда глядь, сюда глядь,
Меня некому поднять.

Шум и гам пропякали на улицу через распахнутые настежь узкие оконца атаманского дома. На улице толпа народа прислушивалась к веселью; переговаривались, посмеиваясь:

— Загуляли атаман с царем.

Вечерело. Ясырки зажигали позолоченные шандалы *. Петр, захмелев от вина и духоты, вышел на крыльцо подышать свежим воздухом. В темных сенях кто-то зашуршал.

— Кто это? — обернулся царь.

— Это я, царь-батюшка, — тихо ответил женский голос, — доглядеть вышла, не приключилось бы чего с тобой плохого...

По голосу Петр узнал атаманшу.

— Подь сюда, Варварушка, — позвал он ее.

Шурша атласными шальварами, атаманша подошла к царю. Он притянул ее к себе.

— Ой, Варварушка-свет, в голове шумит.

— А ты приляг, милостивец, все пройдет.

— Нет, уж лучше постою на ветру, голова посвежеет... Ух ты, какая же ты ладная, пригожая, — засмеялся он, обнимая атаманшу. — Раскормил тебя Лукьян на вольных хлебах. Дай тебя поцелую, женка, сладко...

Он разыскал своими горячими губами ее губы и крепко поцеловал. Атаманша захихикала.

— Ой, царь-батюшка, да и горяч же ты больно!

— Ты тож, женка, горяча, как жар, — усмехнулся Петр и заглянул ей в глаза.

В сумеречной мгле глаза у атаманши поблескивали ласково, маняще...

На городских колокольнях в ликующем перезвоне захлебывались колокола по случаю пребывания царя в казачьей столице.

ГЛАВА III

Царь Петр придавал большое значение своей поездке в Азов и на Дон. Россия недавно одержала победу над злейшим врагом — турками и овладела первоклассной по тому времени турецкой крепостью Азовом. Как бельмо на глазу, эта турецкая крепость на протяжении более двух веков мешала русским людям видеть мир и общаться с ним. Турки заперли перед русским народом выход в южные моря — Азовское, Черное, Средиземное, закрыли путь в южные страны. Петр теперь создавал русскую могучую линию обороны на побережье Азовского моря — восстанавливал и усиливал Азов, возводил неприступные укрепления в Таганьем роге, Троицком и других прибрежных местах.

На воронежских верфях строился русский флот. Усиленно комплектовались матросские команды. Мощные корабли один за другим по Дону-реке отправлялись на охрану отвоеванного морского берега.

Из Москвы и других городов России в Азов и Таганий рог огромными толпами шли работные люди с лопатами, пилами, топорами. Работа по строительству кре-

постей полась кипучая, большая. Царь Петр прислал в распоряжение азовского губернатора целый отряд инженерных офицеров, обученных по новейшим фортификационным наукам.

Шли на побережье Азовского моря и солдатские полки. Петр знал, что турки не так легко уступят Азов, что они еще попробуют его снова отнять. Поэтому оборону на Азовском побережье надо было иметь крепкую, надежную.

Делами по укреплению Азовского побережья Петр занимался сам, никому не передоверяя. Теперь он решил поехать в Азов.

Еще задолго до своей поездки он надумал побывать в Черкасске-городке и потолковать с донскими старшинами. А поговорить с ними надо было о делах немалых.

Спаянные товарищеской железной дисциплиной, казачьи отряды представляли собой грозную силу. Хотя они большей частью бежали на вольный Дон из внутренних русских уездов от крепостного гнета, жили своими особыми, вольными порядками вдали от родных мест, не раз поднимались на борьбу за свои права, за волю крестьянскую против крепостников, — казаки были верными сынами русского народа, горячо любили родину и были страстно преданы ей всем своим горячим, неугомонным сердцем.

Казаки на южной окраине Русского государства всегда были зоркими, надежными стражами. Немало турецких, крымских, калмыцких и ногайских голов устлало далекую степь. Казачья сабля живо настигала врага, вздумавшего посягнуть на русскую землю.

Петр отлично все это понимал.

На следующий день после пира у атамана Максимова царь встал рано. Он вышел на крыльцо в нижней полотняной рубахе, с засученными рукавами. У дома стояла стража. Тотчас же появился дежурный офицер. Позевывая, царь стал смотреть вдоль улицы.

Розоватый от восходящего солнца легкий туман окутывал просыпающийся городок. На влажных листьях сирени и акаций ярко сверкали капли утренней росы. В чистом, словно умытом, нарядном небе кувыркались голосистые жаворонки.

Кое-где из труб куреней поднимались густые столбы дыма: казачки уже готовили раннюю снедь.

Из дверей выскочил босой, взлохмаченный и заспанный атаман Максимов.

— Царь-батюшка,— встревоженно сказал он,— да что же это ты, милостивец, так ранехонько-то встал, а?.. Вишь, бабы еще и коров-то не доили.

— Не люблю в постели нежиться, — мотнул головой Петр. — Дело надобно делать... Принеси-ка мне, Лунька, ведро студеной воды да окати-ка меня... А то что-то голова с похмелья трещит...

— А ты, милостивец, хлебни фряжского винца,— хихикнул Лукьян.— До разу все пройдет... Принесть ковш, а?..

— Споить опять хочешь? — строго посмотрел на атамана Петр. — Погуляли — хватит!.. Сказал — дело надобно делать. Давай воды!..

— Сейчас, государь, — метнулся Максимов.

Он выбежал во двор, даже не стал будить ясырок, сам схватил ведро и проворно достал из колодца холодной воды.

— Милостивый государь, — таща ведро с водой, сказал атаман, — может, на Дон пойдем искупаемся?

— Опосля пойдем, — отмахнулся Петр, — а сейчас ты мне студеную воду на голову лей.

Петр сошел с крыльца во двор и скинул с себя рубаху, обнажив широкую, богатырскую грудь.

— У-у! — закинув за голову руки, потянулся он. На руках его шарами вздулись мускулы.

— Ого! — ухмыльнулся Максимов и почтительно тронул пальцем бицепс Петра. — Ох, да и силен же ты, милостивый государь!.. Силища у тебя, как у богатыря...

Петр самодовольно усмехнулся.

— Не гневлю бога. Есть силенка. Да ведь ты ж, Лунька, тож, черт, видать, сильный. Может, поборемся, а? — шутливо потянулся руками к нему Петр.

Максимов испуганно отпрянул, расплескивая из ведра воду.

— Ну, где уж мне, государь, с тобой тягаться! Ты мне сразу хребет сломаешь...

— Ну, ладно, лей!

Петр нагнулся, подставил Максимову голову. Тот, подняв ведро, облил голову царя. Петр от удовольствия зафыркал.

— Хоро-ошо!.. Хоро-ошо!.. Лей еще, Лунька!.. Ого-го! Здорово, черт!..

— Ой, родимые мои! — запричитала атаманша Варвара, сбегая с полотенцем в руках с крылечка. — Что ж ты меня, Луня, не разбудил-то?.. Вот, царь-батюшка, рушник тебе... Может, тебе спинку-то вытереть, а?

— Ну, вытри, что ль, атаманша, коль охота есть, — добродушно проговорил Петр, подставляя ей свою широкую, мускулистую спину.

Атаманша, вся розовая от сна, красивая, пышногрудая, неизвестно когда уже успевшая принарядиться и посурьмить брови, усердно начала вытирать царю спину.

— Ну, ладно, атаманша, хватит. Спасибо тебе.

Царь быстро надел рубашку и крикнул:

— Давай кафтан!

Молоденький офицер, заспанный и полураздетый, кубарем скатился по ступенькам крыльца, неся Петру его иноземного покроя шкиперский с позументами, черный кафтан.

Вскоре царь, свита, атаман Максимов и старшины осматривали город.

— Стены-то градские у вас рушатся, — указал Петр. — Надобно починить, атаманы-молодцы. Зело беспечно живете. Время сейчас военное... Только ли со шведами придется воевать? Не ровен час, а ну турки али крымцы нападение сделают, что тогда?.. Вот в эти пробоины прорвутся и побьют вас всех... Беспременно почините.

— Починим, государь, — пробормотал Максимов, удрученный тем, что дотошный царь Петр во все дырки совал свой нос, все подмечал.

— Городок-то ваш хоть и хорош, — говорил Петр, — но зело неудобен. Зря ваши предки селились тут... Вода со всех сторон омывает, на острове живете... Росту населения нет, негде селиться... А ваш город должен расти, потому стольный град для вашего казачества.

— Милостивый государь, дозволь слово молвить, — проговорил тихо Зерщиков. — Ведь потому наши предки тут селились, на острове, чтобы упастись водой от нападения супостатов...

— Разумно сделали, — сказал Петр. — Но придет время, когда столицу вашу перенесут отсель в другое место *.

Они подошли к станичному майдану. Внимание

Петра привлекли какие-то странные предметы, лежавшие на площади.

— Что это такое?

— Где, государь? — оглянулся Максимов, недоумевая, на что это мог обратить внимание царь.

— А вот.

Петр указал на заросшие травой, проржавевшие огромные чугунные ворота и коромысло от гигантских весов. Видимо, эти предметы пролежали здесь десятки лет.

— А-а, — протянул Максимов. — Турские это... из града Азова.

Но царь был любопытен.

— Ты скажи, Лукьян, как они попали-то сюда, а?

Максимов ничего не мог толком объяснить. Он сбивчиво начал говорить о том, что эти старые реликвии отвоеваны-де казаками у турок.

Илья Зерщиков насмешливо смотрел на атамана и, не вытерпев, спросил у Петра разрешения говорить.

— Расскажи, расскажи, Илья, — обратился раздосадованный Петр к нему. — От него, бестолкового, ничего не уразумеешь.

— Великий государь, — с достоинством проговорил Зерщиков. — Сии ворота от турской крепости Азова притащены сюда казаками в тысяча шестьсот сорок втором году... И городские весы тож. Память это о казачьих лихих делах большая...

— Память? — заинтересовался Петр. — А ну, расскажи полнее.

В тысяча шестьсот тридцать седьмом году, в царствование царя Михаила, — сдержанно начал Зерщиков, — наши донские казаки собрались огулом, тысячи так это три, а может, и пять, порешили сделать набег на турскую крепость Азов и взять ее. Потому как, великий государь, помеха она была казакам. Ни проехать мимо нее казаку не можно было, ни пройтить. А казаку от того прямо разор. Не можно на море на стругах пойти погулять, зипунов добыть в супостатских землях. Как, бывало, завидят турские ратники наши казачьи струги, ну и давай с башен по ним из пушек палить... Обида казакам от того была большая. Ну и порешили они помеху сию устранить. Мне о том мой дед покойник сказывал, царство ему небесное,— набожно перекрестился

Зерщиков. Выбрали они ночку темную, ненастную... Гроза была сильная, дождь как из ведра лил... Стражи-то турские на стенах крепостных от непогоды в ухоронку укрылись. А это казакам на руку. Взобрались казаки на стены крепостные, стражу перебили и рипулись в крепость. Ну, и началась тут потеха. Турков прямо тепленьких, в постелях, в обнимку с турячками, захватывали... Сколько тут нехристей перебили — уйму!.. Так вот и овладели казаки крепостью Азовом. Пять лет подряд, вилоть до тысяча шестьсот сорок второго года, сидели казаки в Азове-городке, обороняясь от турского войска. И ни в жизнь не сдали бы они турчанам Азова, ежели б царь наш, превеликий государь Михаил Федорович, не повелел казакам оставить Азов и отдать его турчанам опять. Не хотел, вишь, царь-то наш во вражду с турским султаном вступать. Не могли ослушаться казаки царева указа, сдали нехристям крепость, а во память того, что донские казаки в Азове пять лет сидели, они вот сии турские ворота и весы сюда приволокли...

Петр захохотал.

— Зело молодцы казаки! История о том, как казаки в Азовской крепости сидели, мне отменно известна. Но вот о том, что они турецкие крепостные ворота и городские весы притащили, я не знал. На спинах, что ли, своих они их притащили, Илья, а?

— А о том мне, великий государь, неведомо, — ответил Илья. — Может, и на спинах, а скорее всего на стругах доставили.

Петр задумчиво смотрел на ворота.

— Да, — сказал он. — Преотменно храбры казаки. Велика их заслуга перед отчизной и престолом нашим.

Помолчав, он внушительно проговорил, посмотрев на Максимова и Зерщикова:

— Сейчас, атаманы-молодцы, времена зело лихие для нас наступили. Шведы прут, как отлаженные черти. Войско мне надобно, доброе войско, надежное... А тут и турки, того и гляди, полезут. В обиде они большой на нас за Азов...

Максимов и Зерщиков, примолкнув, слушали царя, опустив глаза. Они уже чувствовали, к чему царь ведет разговор.

— Скажу вам прямо, атаманы-молодцы, — сказал

Петр,— собирайте мне казачьи полки свои да посылайте быстрехонько на шведов... Да отряд казаков для гарнизонной службы в Азове соберите.

— Милостивец превеликий! — воскликнул Максимов. — Да где ж мы наберемся войска-то такого?.. Ведь послали мы уже один отряд казачий на шведов-то!

— Что мне твой отряд! — сердито крикнул Петр. — Мне сто таких отрядов надобно! Завтра ж, Лукьян, собирай казаков, посылай гонцов в городки.

Максимов и Зерщиков молчали. Они знали, что противоречить царю было бесполезно, лишь в гнев введешь его.

Петр, сопровождаемый Максимовым и Зерщиковым, продолжал обход городка.

— А это что? — указал Петр на груду кирпичей, напаленных на площади. — Что хотите строить?

— Да храм божий хотели было построить, — заговорил Максимов. — Да силов, государь, нет его воздвигнуть. Ни лесу, ни мастеров нет... А желание у казаков есть большое построить храм от усердия своего... И денег было немного собрали...

— Храм, — усмехнулся Петр. — Вы бы вот лучше крепость-то свою обстроили, а то развалится стена-то скоро.

— Крепость крепостью, великий государь, а храм нам тож нужен. Видишь, какие церковки-то у нас убогие, маленькие. Народу негде вместиться послушать богослужение.

Петр подумал.

— Ладно, атаманы-молодцы, — сказал он, — за службу вашу верную мне и отчизне своей помогу вам построить храм богоугодный... Да такой, атаманы-молодцы, храм, что и в Москве бы ему пристойно стоять. Построим храм такой, что и крепостью вам он при нужде послужит *. Каменный, с бойницами. На случай чего, чтоб в нем можно не токмо петь, но и десять лет от басурманов отсидеться... Сам набросаю чертежи... Ну, а теперь пошли полдничать, — весело закончил Петр, — а то нас небось дожидалась Варварушка-атаманша с горячими пирогами.

Максимов и Зерщиков переглянулись, повеселели: осмотр городка кончился.

— Пополдничаем, — озабоченно добавил Петр, — да надобно плыть в Азов.

Проводив царя в Азов, атаман Максимов и старшины принялись за составление списка казаков для похода на шведов.

— А сколь же ты их, Лукьян, хочешь набрать-то? — спросил старшина Василий Позднеев.

— Да ведь как, по-вашему, атаманы-молодцы? — вопрошающим взглядом обвел Максимов сидевших за столом старшин. — Два полка, должно, надобно... Говори, тыщу человек.

— А не мало, а? — подал голос кто-то из старшин.

— Где там мало! — вспылил Илья Зерщиков. — Ведь еще надобно человек триста послать в азовский гарнизон.

— Пиши, Илья, — сказал атаман. — Давай начнем с северных городков. Пиши: Пристанский городок. Десять казаков. Быть конными и оружными...

— При-иста-анский, — выводил гусиным пером по бумаге Зерщиков. — Де-есять... Не много ли, Лукьян? Городок-то захудалый. Бедно казаки живут, да и коней и оружия у них нет... Давай шесть запишем.

— Ну, пиши шесть, — согласился атаман. — Михайловский. Это городок многолюдный, и живут будто справно... Пиши, Илья, двенадцать казаков.

— Две-енадцать, — записал Илья. — На шведов?

— На шведов, — подтвердил Максимов. — Теперь пиши: Котовский. Это малолюдный городок. Восемь казаков. Пиши их, Илья, в азовский гарнизон.

— Восемь, — записал Илья. — В га-арнизон...

— Урюпинский. Десять, на шведов.

— Десять... На шведов.

Допоздна составляли списки казаков старшины. Когда подсчитали, то оказалось в списках 1520 казаков.

— Больно много, — проворчал Зерщиков, утомленный составлением списков. — Двести двадцать казаков надобно снять.

И они снова начали проверять списки.

— Пристанский городок, — читал Зерщиков, — шесть.

— Снимай двух, — сказал Максимов. — Четырех хватит...

— Михайловский. Двенадцать.

— Снимай трех. Девять останется.

— Котовский. Восемь.

— Оставляй шесть.

Когда закончили подсчет, то оказалось, что сняли со списков слишком много. Надо было снова прибавить девятнадцать три казака.

— Пристанский,— хрипел Зерщиков.— Четыре казака.

— Прибавь одного. Нехай будет пять.

— Михайловский. Девять...

Все пошло сызнова.

Только к утру наконец были составлены списки. В них значилось ровно тысяча триста казаков — ни больше, ни меньше. Тысяча посылалась в Ингрию *, против шведов, и триста — в распоряжение азовского губернатора для гарнизонной службы.

— Ну слава те, господи! — набожно перекрестился Илья Зерщиков.— Теперь закончили это дело. Царь будет не в обиде на нас...

— Погодите, атаманы-молодцы, не все еще,— прервал осиплый Максимов.

— А что еще?

— Надобно ведь атамана походного. Вести кому полки в Ингрию?

— Ну, это можно опосля,— отмахнулся Зерщиков.

— Как же опосля? — встревоженно проговорил Максимов.— Царь будет возвращаться из Азова, спросит: кто начальник отряда? Что ему в ответ скажу?

— Василия Фролова походным атаманом пиши,— предложил один из старшин.

— Правда истинная,— поддержал Василий Позднеев.— Казак хороший.

Старшины согласились поставить Василия Фролова походным атаманом.

— Ну, в добрый час! — облегченно проговорил Максимов.— Сделали это дело — и гора с плеч.

Старшины разошлись, а атаман Максимов, не сомкнув глаз, составлял с писарем указы станичным атаманам о сборе казаков.

В станицах указы были встречены с большим воодушевлением, с казацкой страстностью.

— Испокон веку казак — защитник русской земли, бьет супостатов, — говорили казаки.

Закипела работа. Готовили оружие, коней, одежду, продовольствие для далекого похода — «на Сине море», «супротив свейского немца» *.

ГЛАВА IV

Наступила осень, холодная, ветреная.

Лукьян Максимов, прислушиваясь к завываниям ветра за окопцем, раздевался, готовясь ко сну.

Дверь в горенку со скрипом приоткрылась, из-за двери выглянул Зерщиков.

— Во имя отца и сына и святого духа...— проговорил он.

— Аминь! — ответил Лукьян, оглядываясь.— Ты, Илья Григорьич? Заходи.

Осторожно ступая длинными ногами, Илья Зерщиков вошел в горенку. Он молча прошагал к жарко накаленной изразцовой лежанке с причудливыми рисунками искусных мастеров, сел на лавку, поежился:

— Студено на улице.

— Студено,— подтвердил атаман.

В красном углу, перед образами в серебряных массивных ризах, завешенных парчовой занавеской с золотыми кружевами, тускло мерцала лампадка, роняя скупой свет. Атаман накинул на себя кафтан и, сунув босые ноги в теплые комнатные чирики *, подошел к Зерщикову, сел рядом.

— Что, Илья Григорьевич, скажешь? — с нотками тревоги в голосе спросил он, взглядывая на позднего гостя.

Зерщиков молчаливо посмотрел на атаманшу Варвару, снимавшую с себя перед зеркалом унизанную жемчугами кику. Атаман, поняв его взгляд, сказал жене:

— Подь-ка пока, Варвара, погляди, кто это там, никак, вошел...

Варвара недовольно фыркнула и, положив кику на стол, вышла, сердито хлопнув дверью.

Казаки проследили за ней глазами, и, когда дверь за Варварой захлопнулась, Зерщиков со злостью выкрикнул:

— До каких это пор мы будем терпеть?

— Ты о чем, Григорьич? — недоумевающе посмотрел на него атаман.

— Тебя, Лукьян, видно, ничего не тревожит? — спросил Зерщиков, сверля атамана злыми глазами.

— Нет,— простодушно ответил Максимов.

— Хм... тебе все хорошо...

— Да ты о чем это? — заморгал атаман.— Толком скажи, толком.

— А вот и толком,— горячась, начал выкладывать обиды Зерщиков.— Что стали делать с нами, донскими вольными казаками? А? Что? Тебя я спрашиваю, атаман. Кровушку мы свою проливали под Азовом,— желчно выкрикнул он,— думали-гадали: вот-де теперь нам польза будет от того, что забрали турскую крепость... Ан дело обернулось клином. Теперь этот Азов нам, как, все едино, бельмо на глазу... Царь запретил нам зипуны добывать в турских да татарских землях. Азовскому губернатору заказано не пускать наших стругов в море...

— Правда, правда истинная,— сокрушенно вздохнул Максимов.

— То-то правда... Мало того, что не пускает нас в набеги воевода азовский, он еще требует, чтоб казаки гарнизонную службу несли. А когда это было видано, чтобы казаки в гарнизоне служили?.. Ну и порядочки установил царь-батюшка!

— К чему речь-то свою ведешь, Илья? — осторожно спросил атаман.

Но Зерщиков, не ответив, продолжал раздраженно:

— В скольких местах запрет на рыбную ловлю наложили!.. Скоро негде будет казаку рыбу ловить! Как казаку жить? А ежели какую рыбешку в недозволенном месте потайно поймаешь, то как ее продать? Сыск поведут, грозят смертной казнью. Лесу нарубить на постройку курени ныне тоже не всюду дозволяется... Хлеб сеять — нельзя... Да что ж можно казаку, а-а? Что можно?.. Скажи, атаман? Как теперь жить, как кормиться?

Лукьян вздохнул.

— Да-а... тяжелое времечко подошло, Илья. Трудно вольному казаку... А тут, Григорьич, слыхал ай нет, получен государев указ, чтоб из верховых городков казаков, кои живут по речкам Хопру и Медведице, перевести и поселить по двум дорогам к Азову-городу: одних — от города Валуйки, других — от Рыбного...

— Это зачем же? — пристально взглянул Зерщиков на атамана.

— А затем,— пояснил атаман,— чтоб те казаки купили себе лошадей и сбрую и были почтарями. Будут возить летом и зимой почту из Москвы в Черкасск да Азов...

— Надумал царь-батюшка дело,— недобро усмехнулся Зерщиков.

— А тут еще, Илья,— наклонившись к уху Зерщикова, зашептал атаман,— жди скоро гостей на Дон.

— Это кого ж нечистая сила несет?

— Слыхал, будто царские стольники * Кологривов да Пушкин приедут.

— За каким таким нечистым?

Максимов усмехнулся.

— Царь хочет всех беглых людей повязовить на Дону да сызнова к боярам отослать...

— Быть того не может! — вскричал Зерщиков, вскакивая.— Когда это было видано, чтоб беглых людей с Дона выдавали?

Новость эта его сильно поразила. Несколько минут он молчал, размышляя.

— О господи! — тяжело вздохнул он.— Что ж это делается на белом свете? Да вот у меня живет, к тому, человек пятнадцать беглецов, разве ж я их отдам?.. Да ни в жизнь!.. Кто ж у меня тогда по хозяйству управляться будет? А кто будет рыбалить? Кто будет скот стеречь? Кто будет на соляных варницах соль вываривать?.. Нет, царь-батюшка, не будет по-твоему, не будет! — озлобленно кричал он.— Васильич, у тебя тож человек пятнадцать беглых холопов живет, ты их отдашь? Отдашь, атаман, скажи?

— Погоди, погоди, Григорьич,— успокаивал его Лукьян,— больно уж ты горяч... Надо в этом деле толком разобраться... Господь не допустит — свинья не съест.

— Нет, царь-батюшка,— зловеще прошипел Зерщиков,— не дело ты затеял, не дело... Ежели растравишь казачьи сердца — худо будет...

— Что ты говоришь, Илья! Господь с тобой! — испуганно ухватил его за рукав Лукьян. — Не говори таких слов. Не говори! Не дай господь, кто подслушивает...— атаман оглянулся на дверь,— беды горькой наживешь.

— Ты, атаман, не крути! — грубо прикрикнул Зерщиков на атамана.— Ты хочешь хвостом крутить так и этак... И нашим и вашим. Это дело надо напрямик решать. Сколь веревку ни вить, а конец должен быть.

— Да как же решать-то? — растерялся Лукьян.— Не в нашей это воле.

— Нет, в нашей. Надобно царю прямо сказать, что у нас, мол, с Дона беглых не выдают. Закон, мол, установлен такой нашими дедами.

— Ты хоть, Илья, человек и с умом,— сказал обиженно атаман,— а говоришь дурость. Разве ж можно так делать? Ты вот лучше послушай меня. Я уже думал над этим делом. Вот когда приедут эти стольники, созовем войсковой круг, послухаем царевых послов, поговорим на круге, да и ответ свой обскажем им...

— Какой ответ?

— А ответ наш будет такой, — подмигнул Лукьян, — нет-де у нас беглых холопов. Кои, мол, поразбежались, а коих мы-де боярам сами отправили... А ты, Илья, тем временем поговори с казаками, пусти слушок по станицам и городкам, чтобы беглецы-то посхоронились. Не дадим, Илья, ни единого человека с Дона,— вот тебе Христос, не дадим... Верь мне... Кто ж у нас будет работать тогда?

Зерщиков задумчиво слушал атамана. Слова Максимова казались ему убедительными. Атаман, глянув на дверь, сказал:

— Не горячись ты, Илья, не горячись! Все по-хорошему обернется. А теперь иди спать, с богом. Запоздались мы... Моя атаманша, поди, злится, спать хочет.

— Ну, прощевай коль, Лукьян,— приподнялся Илья.— С казаками я потолкую по этому делу.

— Поговори, поговори, Илья.

После ухода Ильи Зерщикова в горенку вошла раздраженная Варвара.

— Что это у вас за тайные дела с Ильюшкой? — подозрительно спросила она у мужа.

— Да так это,— уклончиво ответил Лукьян.

— Гляди, так ли,— строго посмотрела она на него.— Не люблю я твоего длинноногого Ильюшку. Глаза, как у разбойника. Глядит на всех коршуном, того и гляди, клюнет своим носом... Ох, смотри, Лупя, беды ты с ним наживешь. Подведет он тебя под беду, а сам сухонький будет... Не якшайся ты с ним, ради бога.

— Ну-ну, будет тебе, Варварушка...

ГЛАВА V

Ветер с моря погнал на север серые лохматые тучи. Выглянуло солнце, непривычно горячее, ослепляющее.

Резво и неутомимо помчались по степи мутные ручьи. Встретив на своем пути преграду, они сердито журчат, пу-

скают пузыри, пенятся и, прорвавшись, снова несутся со звоном вперед...

Река, скованная льдом, в задумчивом оцепенении слушает восторженный говор весенних ручьев. Вбирая в себя взбалмошные вешние воды, она грузнеет, набухает и, притихшая, молчаливая, как бы готовится к чему-то неизбежному, таинственно важному.

Берега налились бурой водой, и посиневший, ноздреватый, распухший лед поднялся, всплыл.

В субботу, на пятой неделе великого поста, перед рассветом с реки послышались гулкие залпы, словно там стреляли из пушек. Наутро, неудержимый в своем величественном стремлении, Дон, кроша и ломая лед, понес голубые глыбы и шершь * в зампачивые дали. Неведомо откуда полая вода прибывала все больше и больше, заливая улицы... Казалось, бурные воды смоют городок с насиженного места и унесут его с собой в сказочные далекие края.

Шли дни, воздух насыщался ароматом набухающих почек. И там, где еще совсем недавно неслись бурные весенние потоки, рассыпались цветы. Сквозь прель прошлогодней травы зелеными щетинками пробивались они на свет и вспыхивали разноцветными огоньками.

Вечерами, при закате, в пламени кровавых пожаров, в городке, как в Венеции, по улицам двигались каюки и лодки. В них сидели молодые казаки и распевали буйные разбойные песни. Девушки смотрели на них из оконцев своих горенок и томно вздыхали.

На высоких крылечках сидели седобородые старики. Прислушиваясь к удалым песням, они вспоминали минувшие дни — молодость, свою казацкую силу, набеги на Тавриду *, Кафу *, Синоп *, возвращение с лихими, звонкими песнями на славный тихий Дон. Возвращались на стругах, наполненных дорогим грузом, в обнимку с черноокими пленницами...

Чудесно было в Черкасске-городке во время весеннего разлива...

Однажды вечером к городскому стружементу причалили два небольших струга. Со стругов сошли мужчины в коротких кафтанах, в шляпах и черных, до колен, нитяных чулках. Не успели они сойти на берег, как по городу уже разнеслась весть: прибыли царские стольники Кологривов и Пушкин.

Ранним утром следующего дня есаулец, огромный рыжий детина в стареньком атласном кафтане, ходил по тем улицам, где можно было пройти, а где нельзя — плыл на лодке и оглушающе бил палкой по котлу-литавре, висевшей у него на груди.

— Атаманы-молодцы! — выкрикивал он.— Ка-за-ки!.. Все войско Донское!.. На круг... На кру-уг!.. Честная станица, сходись на беседу ради государева дела!..

И на его зов сходились казаки на городской майдан. Собираясь группами, они взволнованно обсуждали приезд царских стольников.

Илья Зерщиков, долговязый, как цапля, одетый в синий бархатный кафтан нараспашку, из-под которого виднелся голубой узкий шелковый домашний чекмень, озабоченно перебегал от одной группы к другой.

— Браты,— говорил он,— так помни уговор: говорят, что, мол, у нас нет беглых холопов... Были, мол, да ушли...

— Не дадим!..— возбужденно гудел рыжебородый казак в лазоревом зипуне, с жемчужным ожерельем на шее.— Не дадим! Дон никого не выдаст! Никого, браты! — потрясал он кулаком.

— Правда истинная! — тонкоголосо вторил ему маленький казачок в синем бархатном полукафтане и в лаптях.— Не выдадим!..

— Не выдадим, Илья Григорьич, не выдадим! — заверяли Зерщикова взволнованные голоса.

На площадь прибывали все новые и новые толпы. Вскоре городской майдан был переполнен народом и гудел, как встревоженный пчелиный рой.

Толпы были пестрые, цветистые, в одеждах разных народов. Русское, черкесское, татарское, турецкое платье образовало яркую смесь. У большинства на шелковых персидских кушаках висело богатое оружие.

Все уже знали о цели приезда стольников.

— Не выдадим!.. Не выдадим!..— гневно выкрикивали казаки.

Из становой избы вышли и направились к майдану войсковой атаман Лукьян Васильевич Максимов с булавой в правой руке, старшины, есаулы и царские стольники Кологривов и Пушкин. На майдане гомон сразу же замолк.

Атаман прошел в середину круга. Стольники последовали за ним.

Есаулы Позднеев и Иванов бросили наземь шапки, по-

ложили перед атаманом бунчук, как полагалось по обычаю, Максимов поднял его. Позднеев громко крикнул:

— Послухай, честная станица! Атаман трухменку гнет!*

Максимов снял шапку и обратился к казакам:

— Атаманы-молодцы и все войско Донское! К нам, царевым холопам, приехали царские послы с указом великого государя Петра Алексеевича... Послухайте, атаманы-молодцы, сей царев указ... Сейчас его прочтет нам стольник Максим Никифорович Кологривов... Послухайте, молодцы, да обскажите свой ответ.

Из толпы послышались раздраженные выкрики:

— Нехай прочтет!

— Ужо обскажем! Обскажем!..

Кологривов, сухой, бритый старик, снял треуголку, поправил парик, откашлялся.

— Донские атаманы и все храброе войско,— начал он,— челом бьем!

Оба стольника низко поклонились.

— По именному указу великого государя,— продолжал Кологривов,— велено мне со стольником Пушкиным ехать в казачьи ваши, государевых холопов, городки для сыску новоприплых на Дон после тысяча шестьсот девяносто пятого года, бежавших всяких чинов людей...

Кологривов развернул указ и начал нараспев гнусаво читать:

— «...На Дону до Паншина, и по Хопру, и по Медведице, и по Бузулуку, и по Северскому Донцу, и по Каменке, и по Белой и Черной Калитвам, и по Быстрой, и по Березовой, и по Яблоневой речкам в казачьих старых и в новопоселенных городках у атаманов и казаков взять сказки, откуда те казаки пришли и нет ли у них в городках беглых ратных людей, боярских холопей, крестьян и других чинов людей...»

— Ишь ты, дьяволы, зачем приехали! — одиноко донесся чей-то озлобленный голос.

По толпе прошел приглушенный ропот.

— Помолчите, атаманы-молодцы,— застучал булавой по бунчуку атаман.— Дослушайте царев указ.

— А чего его слухать? — дерзко прокричал чей-то голос.— И так все понятно.

Долго пришлось атаману успокаивать круг. Толпа затихла не сразу. То там, то сям вспыхивали еще гневные выкрики.

Кологривов внимательно поглядывал на толпу, дожидаясь, когда она успокоится, и когда все снова затихло, он продолжал чтение.

— «...Велим мы стольникам нашим Кологривову да Пушкину разобрать те сказки и всех казаков, кои были в азовских походах, оставить на месте, а казаков, кои не были в оных, сослать на речки у Валуек и Рыбного на поселение, а казаков — пришельцев на Дон после тысяча шестьсот девяносто пятого года с женами и детьми и со всеми их животы ссылать в те же городы, откуда они пришли...»

— Нету у нас беглых! — свирепо прокричал рыжебородый казак в лазоревом зипуне. Голос его гулко разнесся над майданом. Он прозвучал как сигнал.

— Нету-у!..— подхватил рядом стоявший с ним седой высокий старик.

— Нету-у... Все мы тут давнишние казаки!..

— Все мы были под Азовом!

— Были беглые, да сплыли!

— Не трогай нас, боярин!..

— На Дон попал — говори пропал!..

Стольники встревоженно смотрели на возбужденную толпу. Они видели, как в воздухе угрожающе мелькали здоровенные кулаки, гневом сверкали глаза, корчились в надрывных, хриплых криках багровые от злобы лица.

Вспотевший атаман Максимов пытался успокоить круг:

— Помолчи, честная станица!.. Помолчите, добрые молодцы!..

Но голос его беспомощно тонул в шуме толпы.

— А-а-а!..

— У-у-у!..

— Что, Михаил, будем делать? — сказал Кологривов Пушкину.— Как мы их утихомирим?.. Какой ответ будем держать государю?..

Пушкин, беспокойно поглядывая на возбужденных казаков, трусливо ответил:

— Ну их к чертям! Мало мы тут толку добьемся, Максим. Уговори ты атамана, пусть пошлет с нами в казачьи городки старшин своих... Поедем — поглядим, а коль не найдем пришлых да беглых, то так и скажем государю: не нашли, мол... А их, Максим, не задирай, а то еще побьют.

Когда Кологривов сообщил о своем намерении поехать в городки, атаман охотно согласился оказать содействие.

Сняв шапку, он стал впереди стольников и, хитро подмигивая казакам, поднял булаву.

— А ну, помолчи, честная станица! — закричал есаул Позднеев.— Атаман трухменку гнет!

Поняв, что войсковой атаман надумал обхитрить царских стольников, круг притих.

— Атаманы-молодцы, послухайте!.. Царевы стольники поимели охоту,— снова подмигнул атаман, но так, что стольники не заметили,— поехать в казачьи городки... Пускай поедут, поглядят, уверятся, что нет у нас, на Дону, беглых, и обскажут об этом великому государю... А со стольниками мы пошлем двух наших старшин — Василия Позднеева да Якима Филипьева...

— В добрый час! — гаркнул дружно и весело круг.

Стольники были несказанно удивлены, что дело приняло такой оборот. Ведь они, собственно, этого и добивались — поехать по городкам.

Пока стольники со старшинами собирались в дорогу, атаманские гонцы уже скакали с указанием городковым атаманам, чтобы беглые люди и боярские холопы прятались по лесам.

Поездив по давнишним донским казачьим поселениям, по так называемому Старому полю, царские стольники возвратились в Москву ни с чем.

ГЛАВА VI

Мишка Сазонов хоть и был прирожденным казаком, но так беден, что домовитые казаки относились к нему с явным пренебрежением и считали гультяем. Бедным казакам жилось в Черкасском городке не сладко. Приходилось кусок хлеба добывать в тяжком труде. Уже несколько лет подряд Сазонов работал старшим табунщиком у Ильи Зерщикова. Лошадей у Зерщикова было много. Кони добрые, все более аргамаки. Хлопот и дел табунщикам всегда было много. Надо было зорко следить за тем, чтобы кони не дрались, не заходили далеко. В случае набега калмыков или татар надо было вовремя укрыть лошадей от грабежа. А поэтому Мишка с весны до поздней осени не слезал с седла, скакал по степи с длинным кнутом в руке и ружьем за спиной, охраняя табун.

В ведении Мишки находилось еще семь табунщиков —

беглых крестьян из разных губерний России, бежавших на Дон от своих помещиков в поисках вольной жизни и теперь попавших в кабалу к Зерщикову.

Жили табунщики в ветхом курене на берегу небольшого озерца, окруженного редкой цепью мохнатых верб. В их густых кронах поселились ночные певуны, и с вечера до утра маленькое озерцо, как звонкий бубен, гремело перезвоном и присвистом соловьиным.

В один из воскресных дней табунщики, оставив лошадей под присмотром двух своих товарищей, сели на берегу озера вечерять.

В вербах птицы крикливо болтали на все голоса. В терпко пахнущей молодой траве шуршали ящерицы, по озерцу в поисках пищи хлопотливо сновали дикие утки и гуси. Поднимая каскады радужных брызг, о воду билась крупная рыба...

Солнце, побагровевшее и отяжелевшее, медленно клонилось к закату. Длинные тени от верб легли на воду. С озера потянуло вечерней прохладой. Между стволами древних верб возникал мрак. Отсвет закатного солнца воровато зашарил по стволам и корням деревьев, словно что-то разыскивая. И вот, как будто найдя то, что так долго искал, он радостно затрепетал на густых темных верхушках верб, зажигая их багрянцем...

Все больше и больше темнеет степь, и все гуще воздух наполняется ароматом цветов и сочной травы...

Где-то в гуще ветвистой вербы, засыпая, в последний раз прозвенел зяблик и затих. Ему живо отозвалась малиновка, но, не получив ответа, также замолкла. А дятлы, усаживаясь на ночь, все еще торопливо о чем-то болтали, словно делясь впечатлениями дня...

Тревожно заплакал нежный голосок иволги. Становилось все тише и тише... Замолкли птичьи голоса. Замерли в настороженном ожидании вербы. Притихло озеро. Все молчит, вслушиваясь в безвучную жизнь теплого бархатного вечера...

В глубине бездонного потемневшего синего неба вспорхнула маленькая веселая зеленая звездочка. И, словно, обрадовавшись ее появлению, откуда-то из гущины верб ликующе щелкнул соловей. Щелкнул и замолк, будто устыдившись своей смелости. И вдруг, расхрабрившись, снова защелкал и теперь уже надолго, безостановочно...

Обвороженные красотой вечерней природы, растомлен-

ные, табунщики молча сидели на берегу и, макая сухари в деревянные миски, жевали.

— Эх, а у нас-то, на Тамбовщине, о сею пору еще лучше! — нарушив молчание, со вздохом сказал молодой, с выгоревшей на солнце волохатой белой головой, парень.— Ох, и хорошо же!.. Ведь у нас же леса-а!.. Ух, какие!.. Дубы неохватные, сосны под небо... Зайдешь, бывало, в лес, так душа от радости замирает... Дух по лесу хороший разливается. Вот, думаешь, рай-то земной... А тут что?.. Степь голая...

— Ну, и что же ты в своем раю-то не жил? — насмешливо спросил Минька Сазонов.

— Невмоготу стало,— снова вздохнул парень.— Помещик больно лютый, все жилы повытянул... Когда родители были живы, терпел. Вроде некуда было податься... А как померли и остался я один, сиротинкой, то и жизнь мне стала не мила в родной деревне... Затосковал я... Прослыхал про вольную жизнь казачью на Дону, и вот захотелось мне посмотреть на нее, пожить самому такою жизнью...

— Вот, Васька, ты и нашел тут жизнь привольную,— ехидно захихикал дед Никанор, тщедушный старичишка с реденькой всклокоченной седой бороденкой.— Вот она тут, жизнь-то вольная-привольная,— махнул он на степь.— Простор!.. Травы много — жуй... Воздуху вдосталь — глотай... Одним словом, попал ты, Васька, из огня да в полымя... Будь она проклята, эта казачья вольная жизнь... От зари до зари, уж тридцать лет с седла я не слезаю... В бурю и грозу, в стужу и жару все хозяйских коней стерегу... Илье Григорьевичу Зерщикову богатства наживаю... А мне что от того?.. Впроголодь держит проклятый Ильюшка, зипуна нового никогда не даст...

— Тише ты, дед Никанор,— с опаской сказал кто-то из табунщиков.— Ненароком прослышит хозяин, как ты его ругаешь, беды не оберешься.

— Э-э, чихал я на него! — запальчиво взвизгнул Никанор.— Мне от того хуже не будет... Что он с меня возьмет?.. Изобьет?.. Так я не раз испытывал его кулаки-то... Все едино жизнь наша гиблая... Работал я у своего боярина, спину на него гнул, а вырвался от боярина, убег на вольный Дон, так в руки к Зерщикову попал. Он меня хуже крепостного сделал... Тут вольная жизнь-то, на Дону, только для богатых, домовитых казаков, а для нашего-то брата — та же каторга... Нам, видно, вольная жизнь

будет на том свете... Вот ежели б ты, Васька, не сюда подался, к низовым казакам, а остался б у хоперских казаков, гультяев, то, может быть, тебе б жилось-то и вольготнее, потому как они, гультяи-то, все из нашего брата, из беглых холопов да мужиков... Хоть и бедно они живут, да все же вольно...

— Кто ж ее знал, что так получится,— уныло буркнул парень.— Ведь говорили, что низовые казаки живут богато, привольно... Каждый, кто б ни попадал сюда, вроде становится богатым да вольным...

— Говорили,— желчно усмехнулся старик.— Говорит — кур доят, а ты и поверил... Дурень ты, Васька...

— А ты не дурень, дед? — спросил старика Сазонов.— За каким чертом ты-то сюда приперся, а?..

— И я дурень,— согласился старик.— Меня тоже нелегкая принесла сюда, на вольготную жизнь... Надо б на Хопре остановку сделать, а я сюда поперся... Был бы я там теперь хоть и гультяем, да вольным казаком... И нечего б мне было бояться, что приедут сыщики царские сыскивать беглецов да возвращать их к своим помещикам и боярам... Ведь тридцать лет уж я на Дону, а все считаюсь беглецом... А какой я беглец? Сколь разов я говорил своему хозяину, чтоб он меня ввел в казаки... Есть такой закон казачий: раз прожил столько годов на Дону, то должон считаться уже казаком... А Зерщиков все вертит хвостом, как старая лиса: «Погоди, говорит, дед Никанор, вот подуправимся с делами, тогда, говорит, введем тебя в казаки и курень тебе поставим...» Все брешет и брешет, прод, потому как ему нет расчета нас, беглецов, вводить в казаки,— кто ж ему будет задарма работать-то?.. Это вот наш старшой, Михайло Сазонов,— прирожденный казак, так он и плату от хозяина получает.

— Какая тут плата? — сердито проворчал Мишка.— Я на нее семью прокормить не могу...

— Какая б ни была, а все же плата,— сказал дед Никанор.— Не как мы, грешные, задарма работаем, за спасибо живешь...

— Домовитые власть забрали,— проронил кто-то из табунщиков.— Надобно б собраться нам всем огулом да прощупать бы их, проклятых... Небось поподатливее были б...

— Руки у нас коротки,— сказал старик.

— Ну, насчет рук молчи, дед,— горячо проговорил

Мишка.— На Дону народ забурунный. Чуть чего не так, такое могут заварить, что и не расхлебаешь...

Табунщики несколько минут молчали, жуя сухари.

— Дед,— встряхнулся Сазонов,— ты бы рассказал, как ты попал на Дон, а?..

Старик, прожевав сухарь и запив водой, проговорил:

— Да как попадают-то сюда — дело просто... Убег от своего боярина, вот те и все... Дело-то это было дюже давно, почитай лет тридцать с лишком тому назад... Жил я тогда под Воронежем, в деревне Садовке, занимался крестьянским делом, как и все наши мужики... Боярин у нас был Лука Матвеевич Гринин, терпимый еще человек... Правда, натужно мы на него работали, но все же кое-как терпели, кормились и мы... Худо ль, хорошо ль, но жил и у себя в деревне не хуже других. Была у меня, братцы мои, молодая жена... Да такая это она у меня пригожая да красивая была — кажись, в деревне-то нашей краше ее и не было другой. Марфушей она, дай ей бог царствие небесное, прозывалась... Жили мы с ней ладно, любили друг дружку, двоих ребятенков с ней прижили... Так, может, и прожили б в любви и согласии до самого гроба, да случилось тут, братцы мои, такое дело на наш грех: приехал к нашему боярину на побывку сын его — Михайло. Такой это красавец собой... Усы черные кольцом вьются, борода кучерявая, на груди лопатой лежит... Служил он, вишь ты, где-то начальным человеком в стрелецком полку... А дебошир — и не приведи бог какой. Как, бывало, напьется пьяным, так и пошел по деревне за девками гонять. Пымает какую — неспильничает... Проходу никому не было. Девки от него бегали в ухоронку в лес... Вот однова, братцы мои, ходит наш староста по деревне, кличет баб да девок идти в боярский сад, дорожки, стало быть, прочищать... Запел староста и к нам в избу за Марфой... Я как все едино сердцем чуял, что ежели Марфа пойдет в боярский сад, так быть греху... Вначале я не хотел пущать ее, но староста пригрозил кнутом... Что поделаешь?.. Пришлось ей пойтить... Работало в саду тогда много наших деревенских баб и девок. Выпел из хоромов этот Михайло, сын-то боярский, да на баб масляными глазками, как кот, поглядывает, усы облизывает... Приглянулась, видать, ему моя Марфуша, поманил ее. «Пойди, говорит, помой у меня в светелке полы, чтобы прохладность была». Пошла моя баба, рази ж можно боярского приказания ослушаться...

А этот кобель-то, Михайло, покрутился-покрутился, и как только Марфа-то вошла в хоромы, так сейчас же побег туда... «Ну,— говорят бабы,— попала и Марфушка в лапы этого злодея...» Работают они, а сами поглядывают, что будет дальше... И слышат они, как в боярских хоромах кто-то дурным голосом закричал. Испужались бабы, закрестились... Смотрят, а на втором-то этаже оконце распахнулось, в той, стало быть, светелке, где этот Михайло жил, и оттель моя Марфа высунулась... «Бабоньки,— кричит она,— погибель моя пришла!» Перекрестилась она, да как сиганет. А ведь высоко все же оттель до земли-то... Да оно, может, и все бы благополучно обошлось, ежели б камни под окном не лежали... Моя Марфа-то прямо на них и упала... Бабы кинулись к ней, а она в беспамятстве... Принесли они ее ко мне чуть живую... Позвал я знахарку, осмотрела она мою женку и покачала головой, говорит — дюже плоха... Ребра, вишь, она себе попереломала. Ну и что ж,— вздохнул старик.— Недельки две промучилась и померла... Такая меня тоска опосля завзяла, места себе нигде не могу найти... Хожу сам не свой, и думки у меня на умо, как бы Михайле-то этому, душегубцу, отомщение сделать за погибель моей Марфы. И вот надумал я... Наточил я нож, позвал свою сестру и говорю ей: ну, мол, сестрица, ежели со мною что приключится, то, мол, Христом-богом прошу: не покидай моих детишек, вырасти их в христианском духе, нехай на отца своего не имеют обиду, что пошел на погибель за их мать... Стал я подслеживать молодого боярина... И однова я увидел его, как пошел он в лес... Подкрался я сзади, да и сунул ножом ему в спину... Упал он, закричал, а я давай бог ноги, убег... Вот так я и попал на Дон...

— Стало быть, ты его убил? — сказал Васька.

— А кто ж его знает,— уклончиво ответил старик.— Я ж не осматривал его... Может, и умер, а может, и ожил, антихрист...

— С той поры в деревне-то своей, стало быть, не бывал? — спросил Мишка.

— Нет,— вздохнул старик.

— И про детей своих ничего не знаешь?

— А как же я могу узнать-то? — развел руками дед Никанор.— Все вот собираюсь на старости лет надеть на себя суму да пойти по миру, может, пробрался б на родину и увидал бы своих детей, ежели они живы...

— Ну, и пошел бы.

— Проспался я у своего хозяина — не пущает... Говорит: «Вот как введем тебя в казаки, так-де вольным казаком туда поедешь, никто, говорит, тебя тогда не тронет...» Вот жду, когда казаком стану,— горько усмехнулся старик.— Да брешет он, Илья-то. Не введет он в казаки. Нет ему антпресу вводить меня.

— Да-а-а,— вздохнул Мишка.— Зерщиков себе на уме, он знает, как надобно с вашим братом управляться. Вот зараз приехали царские сыщики на Дон беглых холопов разыскивать, так Илья наказал мне за вами пуще глаза смотреть, велел вас в ухоронке держать. Наироде сурков, чтоб в балке сидели да нос свой не казали... Потому как разе ж Ильс Григорьевичу охота такой даровой силы, как вы, лишаться? Какая ему корысть вас на Русь отдавать? Кто ж у него тогда будет работать? Так-то вот... Ну, братцы, хватит! Повечеряли. Идите к лошадям.

Сазонов встал и, заложив руки за голову, сладко потянулся.

— Ох ты! — вдруг вскрикнул он изумленно.— Ребята, беги к лошадям! Сам едет!

Табунщики, торопливо попрятав сухари в сумки, бросились было к лошадям, но Илья Зерщиков, подъезжая к ним, еще издали сурово закричал:

— Куда побегли? А ну, вертайся!

Табунщики, виновато опустив головы, вернулись. Зерщиков подъехал, хмурый, злой.

— Ты что же, Мишка, так это мой приказ-то выполняешь? — гневно посмотрел он на Сазонова.— Я ж тебе велел их,— кивнул он на табунщиков,— держать в ухоронке...

— Повечерять пришли, Илья Григорьевич,— смущенно проговорил Мишка.— Все времечко они сидели в балке, я один за табуном смотрел, измучился. Пришли вот сухарей, погрызли... Харчи на исходе...

Зерщиков соскочил с коня.

— Чего ж сухари-то едите? — сказал он.— Глядите, какие тут богатствия-то! — махнул он на озеро.— Разве ж я вам не велю всем этим пользоваться? Наловили б рыбы, настреляли б дичи, наварили б ухи али нажарили уток, а вы, лентяи, сухари жрете, а хозяин вам виноват, не кормит...

— Илья Григорьевич,— робко возразил Мишка,— так

у нас же сетей нет. Давно тебя просим привезти нам сеть — рыбу ловить. А уток тож пальцем не настреляешь. Ружьишки без пороху. Привез порох ты нам али нет?

— Ух ты! — спохватился Илья.— Забыл ведь, братцы! Ну, на тот раз как приеду, привезу... Привезу обязательно...

— Гляди, Илья Григорьевич,— угрюмо проговорил Мишка,— не обижайся, ежели калмыки налетят. Отбиваться у нас нечем.

— Завтра пришлю, завтра,— пообещал Илья.— И сетку пришлю...

— Брешешь небось, скупой черт! — тихо пробормотал Мишка, думая, что Зерщиков не услышит его, но у того слух был острый.

— Что ты сказал? — гневно посмотрел он на Мишку.

Мишка дерзко посмотрел на Зерщикова.

— Обманешь, говорю, потому как ты скупой дюже.

— Да как ты посмел со мною говорить так, гультяйская твоя морда?

— Ты не дюже, Илья Григорьевич, ори-то,— дрожащим от обиды голосом сказал Мишка.— Я ведь тебе не какой-нибудь холоп, а такой же вольный, прирожденный казак, как и ты... Ты думаешь, ежели я у тебя в услужении нахожусь, так на меня и орать можно? Не боюсь я тебя...

— Ха-ха! — озлобленно рассмеялся Зерщиков.— Казак он вольный... Дурак ты, а не казак! Разп ж у нас с тобой может быть равность? Ведь ты ж у меня работаешь, и что я тебе скажу, то ты и сделаешь. Кормлю тебя, гультяя... Зараз вот возьму и прогоню тебя, так куда ты денешься, а? Уйдешь, а потом опять же ко мне придешь, будешь в ногах ползать и просить, чтоб взял на работу, потому как тебе жрать нечего будет... Ну, правду я говорю али нет?

Мишка насупленно молчал.

— Ты уж прикрути хвост-то,— миролюбиво проговорил Илья.— Говори спасибо, что я не сердитый и зла на тебя не имею, а то зараз же могу прогнать, а на твое место многие найдутся. Так-то вот... А вы что рты поразинули? — сердито накинулся он на табунщиков, прислушивавшихся к перебранке Мишки с хозяином.— Ай вам дела нету?

— Да ты же нас сам, хозяин, вернул,— сказал дед Никанор.

— Вернул,— проворчал Илья.— Слухайте, вот что я вам скажу. Вы вот небось на хозяина своего сердце имее-

то, зло содержите, а того в голову взять не можете, что хозяин-то ваш за вас же печется. Вот зараз приехали к нам, на Дон, стольники царские, чтоб перепись учинить всем беглецам да отправить их всех в кандалах на Русь, к вашим боярам. Вот я за вас и постоял. И отстоял. Уехали теперь те стольники царские в Москву ни с чем. А ежели б и за вас не постоял, так быть бы беде. Забрали б вас, батогов всыпали да клейма на лбах повыжгли, а кое-кому, навроде деда Никанора,— покосился он на старика,— так и язык повырезали б... Вот оно что. А теперь покель живите покойно, без опаски, лучше берегите мое добро да спасибо говорите, что заступился за вас...

— Спасет тебя Христос, хозяин! — поклонились поясно табунщики Зерщикову.— Спасибо, что упас от погибели.

— То-то же,— удовлетворенно усмехнулся Илья.— За мной вы никогда не пропадете. Завсегда за вас постою... Ну, идите теперь к коням.

Старый табунщик, дед Никанор, идя с Васькой к табуну, ехидно шептал:

— Ишь ты, упас он, старая лиса, а из каких таких умыслов?.. Да чтоб мы покорнее работали ему...

ГЛАВА VII

Леса дремучие, огромные и загадочные, как морские воды, простирались, казалось, до бесконечности по берегам реки Хопра, тая в острых запахах прели вечный холодный полумрак.

И в разбойных лесах, и в прорезающей их извилистой серебряной ленте реки, и в голубых покойных чашах озер била кипучая, неугомонная жизнь. В густых зарослях бродили медведи, олени, лисицы, шакалы. По лугам паслись косяки тарпанов *, сайгаков. По ветвям сновали белки. В камышах, у озер, копали ил дикие кабаны, пугая лебедей и бакланов.

В дуплах столетних деревьев трудолюбиво наливали в соты ароматный мед пчелы. В затхлой прели прошлогодней листвы рождалось множество сморчков, груздей. На полянах — изобилие разных ягод. Природа щедро давала человеку свои блага, и он умел пользоваться ими.

На крутом изгибе Хопра, на высоком берегу, обосновался небольшой Пристанский городок. Жители его — доп-

ские казаки — в свободное от походов время занимались охотой и рыбной ловлей.

На окраине городка Митька Туляй, беглый холоп из вотчины грибановского помещика Лопухина, построил себе неприхотливый курень и жил вольным казаком.

Судьба Митьки сложилась незадачливо. Он родился в селе Грибановке, Тамбовской губернии, в семье крепостного крестьянина Федора Туляя. Когда он был еще совсем маленьким парнишкой, в их селе вспыхнула какая-то жестокая эпидемия. Много тогда умерло в селе людей. Умерли и родители маленького Митьки. Мальчишка остался круглым сиротой. Вначале его из жалости кормило все село по очереди, а потом, когда он подрос, староста пристроил его подпаском к пастуху Луке.

Несколько лет он пас коров, пока не вырос и не возмужал. Однажды помещик Лопухин, объезжая поля, встретился с Митькой и, прельстившись атлетической фигурой парня, взял его к себе конюхом.

Митьке понравились новые обязанности, и он с ними справлялся хорошо — старательно холил господских лошадей, умело объезжал неуков. Лопухин похваливал своего нового конюха. Так, быть может, Митька и прожил бы свой век на господской конюшне, но случай резко изменил его судьбу.

Как-то Митька готовился объезжать чистокровного жеребца-неука, выведенного на господской конюшне. Жеребец был великолепный, породистый, и Лопухин, понимавший толк в лошадях, души в нем не чаял. Митька должен был объезжать лошадь под присмотром самого барина.

Как только Митька взобрался на спину жеребца, лошадь, как бешеная, сорвалась с места и, с налитыми кровью глазами, запрыгала, закрутилась, норовя сбросить с себя седока. Но Митьке не впервые было обучать лошадей. Он словно прирос к спине норовистой лошади. Чего только не делал жеребец, как только не ухищрялся скинуть Митьку, но все было тщетно. Митька крепко сидел на жеребце, туго натянув поводья.

— Молодец, Митька! Молодец! — издали кричал помещик, наблюдая за Туляем.— Держись крепче! Держись!..

Но, видно, так уж было на роду написано Митьке,— случилась беда. Жеребец, не слушаясь поводьев, высоко задрав оскаленную морду, ничего не видя, ошалело помчался по полю. Митька с ужасом убедился, что жеребец

скакал прямо к канаве. Сколько ни крутил Туляй морду лошади, стараясь повернуть ее от канавы, ничто не помогало. Лошадь упрямо мчалась на нее. Митька отпустил поводья, надеясь, что жеребец все-таки заметит препятствие, но было уже поздно, лошадь грохнулась в канаву, Митька, перекувырнувшись через голову, отлетел в сторону. Он так расшибся, что не сразу смог встать. Все же, стоная от боли, он с трудом поднялся и, пошатываясь, подошел к жеребцу.

Около жеребца уже крутился помещик Лопухин. Он силился поднять лошадь, но она лишь жалобно ржала, а подняться не могла — у нее был сломан позвоночник.

Когда помещик понял это, он от ярости заплакал.

— Ты, ты, подлец, виноват! — с визгом набросился он на едва стоявшего на ногах Митьку и жестоко избил его плетью.

Но этим Лопухин не ограничился. Вечером, когда жеребец издох, Митьку в бесчувственном состоянии отнесли на конюшню и выпороли. Две недели боролся со смертью Митька. Могучий организм победил.

С тех пор Митька затаил страшную, непрощающую обиду на помещика. Он стал выискивать случай отомстить Лопухину.

Когда Митька поправился, он однажды ночью поджег господский дом, а потом бежал к казакам на Хопер и там прижился.

Теперь он оброс окладистой русой бородой. Ходил в новых липовых лаптях и сером мужицком зипуне.

Он приобрел лук, наделал стрел и, как все казаки, ходил стрелять зверей, птиц, ловил рыбу. Охота да рыбная ловля — вот и весь источник существования казака. На Дону запрещалось казакам заниматься земледелием. Цари платили донскому казачеству жалованье — деньгами, хлебом, сукном, порохом, вином и прочим. Но жалованья было мало, да и то, что получалось, большей частью оседало в карманах домовитых казаков. Маломощным казакам — гультяям, населявшим верховья Дона, почти ничего не доставалось.

Надо было изыскивать дополнительные источники к существованию.

Гультяи состояли почти исключительно из беглых холопов и крестьян центральных районов Руси. Это были люди, с детства привыкшие к земледельческому труду. Их

тянула к себе земля. Многие из них, попав на Дон и зачислившись в казаки, пробовали в потайных местах украдкой пахать сохой землю, засевать небольшие участки. Но это было рискованное дело. Памятны были казни таких своевольцев. В 1702 году в Котовском городке за ослушание повесили трех гультяев,— они попробовали было тайно посеять хлеб. Но, несмотря на преследования, даже казни, душу русского хлебороба трудно было переломить. Находились смельчаки, которые все же сеяли хлеб.

Первые дни своего пребывания в городке Митька жил в восторженном состоянии. Все для него было ново, все его радовало и развлекало. Особенно приятно было сознавать, что он — свободный человек, независимый от помещика. Его увлекала охота, дававшая возможность жить, он ловил рыбу. Часто, лежа на тончане в своем курене, он посмеивался:

— Не сеем и не жнем, а весело живем... Оттого казак и гладок, что поел — да на бок.

Но это продолжалось недолго. Радость его сменилась равнодушием ко всему. Все вокруг утратило свою привлекательность, стало обычным, будничным, как будто все, что он видел, было ему уже давно знакомо.

На охоту он стал ходить уже не с тем радостным чувством, как первое время,— ходил лишь для того, чтобы прокормить себя.

Как-то незаметно в сердце прокралась тоска. Митька стал чувствовать, что ему чего-то не хватает. Чувство это было неотвязное, неудовлетворенное, оно преследовало его повсюду.

Его крестьянская душа затосковала по земле, по ее тленному, влажному запаху. В воображении Митьки рисовались заманчивые картины волнующихся от ветра тучных ржаных нив.

Он тяжко вадыхал:

— Эх, заимел бы лошаденку, смастерил бы соху да и пахануп бы. Эх, и пахануп бы, ажно земля заскрипела б!..

А вскоре Митька затосковал и по другой причине. Даже во сне смутные желания стали беспокоить его.

Встревоженный, разгоряченный, ворочался он на своем жестком топчане, просыпался в поту и не мог уже больше заснуть. Митька мучительно ждал утра, проклиная нудную, медлительную ночь. Утро его успокаивало.

Митька решил, что без жены ему не обойтись. Но найти жену было не легко. Казаки жили суровой жизнью воинов и охотников, вечно были в походах, набегах или в степи и в лесу, на звериных тропах. Ежеминутно подвергались они опасности от сабли и стрелы кочевника или от клыков хищного зверя. В казачьем товариществе существовал обычай: не связывать себя женитьбой. Казаку жена — помеха. Правда, сейчас этого обычая уже не придерживались строго, но казаки с трудом разыскивали себе жен. Женщин на окраинах государства — на Диком поле встречалось мало.

И оттого, что так трудно было найти жену, у Митьки появилось непреодолимое желание во что бы то ни стало иметь ее. Однако поиски ни к чему не приводили. Митька страдал, злился. Одиночество угнетало его.

«Хоть слепую бы какую отыскать,— огорчался он,— все б живой человек в хате был...»

Но однажды случай сразу изменил всю его жизнь.

Как-то на майдане гомонил станичный круг. Казаки разбирали тяжебные дела, оскорбления и обиды, нанесенные друг другу, несоблюдение постов, ослушание и тому подобное.

Писаных законов у казаков не было, и круг судил по стародавним казачьим обычаям.

Дел накопилось много. Круг уже примирил нескольких казаков, ссорившихся между собой, присудил двум казакам по пятнадцати плетей за то, что они в пятницу ели яйца *. А сейчас разбиралось довольно сложное дело пожилого казака Чикомасова. Оно заключалось в том, что, когда казаки собирались в Азовский поход, Чикомасов попросил у соседа, оставшегося дома, на время похода старую саблю. В бою с турками Чикомасов снял с убитого янычара ятаган, а старенькую саблю соседа бросил. Теперь, спустя несколько лет, сосед вдруг вздумал требовать свою саблю. Чикомасов не мог ее вернуть, а ятаган ему жалко было отдавать. Сосед пожаловался атаману, и теперь круг разбирал это дело.

Всем было невыносимо скучно, томительно. Отойдя в сторону, молодые казаки играли в зернь *, пили бражный мед.

Есаул провозглашал:

— А ну, честная станица, послухай атамана!

Атаман властно кричал:

— По нашему уразумению, атаманы-молодцы, надо Чикомасову всыпать десять плетей, чтобы не утаивал чужое добро, а ятаган отдал бы хозяину взамен сабли.

— В добрый час! — охотно согласились казаки.

Те казаки, которые занимались игрой в зернь, не слышали решения круга.

Есаул крикнул им:

— А вы, атаманы-молодцы, как разумеете?

— В добрый час! В добрый час! — торопливо откликнулись те, толком не поняв даже, о чем их спрашивают.

— В добрый час! — звонко крикнул и молодой казак — сын Чикомасова, бросая зернь.

— Ах ты сукин сын! — ахнул от неожиданности отец.— Ты, стало быть, дьяволина, тож хочешь, чтобы твоего отца стебали плетями?

Сын изумленными глазами посмотрел на отца и, поняв свою оплошность, вскочил.

— Нет!.. Нет!..— закричал он.— Я супротив того...

Казаки захохотали:

— Поздно, брат, спохватился... Голос ты свой уже подал. А ну, бери плеть, стебай отца.

Расталкивая толпу, в круг пробрался молодой казак в праздничном шелковом кафтане, ведя за руку смущающуюся разнаряженную казачку. Митька во время обсуждения дел в кругу, рассеянно прислушиваясь к спорящим голосам, покуривал трубку. При виде казака и казачки, проталкивавшихся в круг, он с любопытством придвинулся ближе.

Казак бросил наземь шапку, истово закрестился на восток, потом степенно поклонился кругу.

— Ты, Авдотья, будь мне жена,— сказал он казачке.

Казачка повалилась ему в ноги.

— А ты, Мотька, будь мне муж.

Казак поднял казачку и крепко поцеловал. Митька подавил в себе вздох.

— Будь по-вашему,— промолвил атаман и, подойдя к жениху и невесте, расцеловал их.— Будьте мужем и женой.

— В добрый час! — дружно гаркнул казачий круг.

Все полезли целоваться с молодыми. Митька завистливыми глазами смотрел на чернобровую казачку.

«Вот ведь,— думал он сокрушенно,— людям счастье, а мне прям, хоть сгибай, бог талана не дает».

Он собрался было уходить домой, злой и раздраженный на свою незадачливую жизнь, как вдруг услышал вдали пронзительные вопли. Какой-то казак, пошатываясь и спотыкаясь, тащил по улице женщину. Она голосила на весь городок, цепляясь за кафтан казака и упираясь.

На кругу стали прислушиваться.

— Никак, Сережка Воробьев,— хихикнул молодой парень.

— Он и есть,— подтвердил рябой казак.

— Это он свою турячку волокет,— засмеялся парень.— Должно, попьяну не мила стала.

Воробьев, маленький казачок, курносый, с рыжеватой бородкой, подтащил жену к кругу, заломил ухарски шапчонку на затылок и, откинув ногу, вызывающе хрипло крикнул:

— А ну, атаманы-молодцы, налетай кто хошь! Не люба мне стала... Ежели есть желающие — бери, владей, только магарыч добрый ставь!..

Митька пригляделся к плачущей женщине, сидевшей на корточках на земле, уткнувшись лицом в колени. Растолкав казаков, он рванулся к ней и прикрыл полой ветхого зипуна.

— Будь мне женой! — сказал он взволнованно и неуверенно.

— В добрый час!.. В добрый час, Митька! — весело откликнулись казаки.

— Магарыч, Митька, ставь,— хлопнул его кто-то по спине.— Видишь, какую жену тебе дали.

— Поставлю,— дрожащим от волнения голосом сказал Митька.— Ей-богу, поставлю!

Лицо его засияло в блаженной улыбке. Вот оно, счастье-то!

Вздрагивая от рыданий, турчанка продолжала сидеть на земле не шевелясь.

Митька мягко сказал ей:

— Вставай, голубица, пойдем. Теперь навроде я твой муж... Круг казачий поженил нас.

Таков уж был суровый казачий закон. Круг волен был развести с женой, круг мог и женить.

— Пойдем, говорю, милушка, в курень,— снова ласково сказал Митька турчанке.— Моя ты теперь вовек: моя жена. Понимаешь, что я тебе говорю-то?..

Но турчанка не обращала внимания на Туляя, не шевелилась и безутешно плакала.

К ней подошел атаман Шуваев, высокий рыжебородый казак:

— Слышишь, Матрена, ай нет?.. Тебе ведь говорят... Ступай вот с ним,— указал он на Митьку.— Он теперь твой муж. Круг приговорил.

Турчанка взглянула на Туляя и, поняв наконец, что случилось, в отчаянии бросилась к Сережке Воробьеву. Схватив его руку, целуя и обливая ее слезами, она нежно взмолилась, искажая русские слова:

— Мили мой!.. Мили, моя ж любит тибя... Моя не уйдет от тибя... Нет!.. Не уйдет!.. Возьми моя домой... Возьми!..

Прижимаясь щекой к его руке, она быстро заговорила по-турецки:

— Родной мой, желанный, не гони меня от себя. Я буду любить тебя еще нежней... Всю жизнь свою буду твоей рабой... Ноги твои буду целовать... Не гони, не отдавай меня. Если отдашь этому бородатому шакалу,— со страхом взглянула она на Митьку,— я утоплюсь...

Слова жены сквозь хмель проникли в сознание Воробьева. Он осмысленно взглянул на рыдающую женщину и ужаснулся тому поступку, который совершил спьяна. Судорожно схватив турчанку, он рванулся было с ней из круга, но законы казачьи суровы, обычаи нерушимы. Казаки тесно сомкнулись вокруг отрезвевшего Сережки.

— Пустите! Так вашу...— разъяренно закричал он, расталкивая казаков и пытаясь вывести жену из образовавшегося тесного кольца.— Пьян... пьян я... По пьянке сделал... Пустите!

Но его с турчанкой снова втолкнули на середину круга.

— Да пустите ж, дьяволы! — в бешенстве взревел Сережка и с поднятыми кулаками бросился на казаков.— Говорю ж я вам, что по пьянке сдурил... Люба мне Матрена! Люба!.. Ей-богу, люба!..

Атаман Шуваев Ерофей, опустив на его плечи тяжелую руку, сурово проговорил:

— Ты что ж, Воробьев, смеяться, что ль, вздумал над кругом? Гляди, парень, а то плохо тебе будет. Круг может тебе и батогов горячих всыпать. Дело сделано, теперь не переделаешь.

Оттолкнув Воробьева от турчанки, он потянул ее за руку и подвел к растерянному Митьке Туляю.

— Вот теперь твой муж,— сказал атаман турчанке.— Люби его и слушайся.

Матрена стояла, опустив голову, всхлипывала. Досадуя на свою слабость, Сережка Воробьев принял разудалый вид и грубо крикнул Митьке:

— Эй, ты, чертоплюй, а что дашь-то за нее?.. Думаешь, мне ее жалко? Вот еще! Только ты должон уплатить.

Но какие у Митьки богатства? За что он мог бы выкупить себе жену? У него были только сапоги, кафтан да случайно уцелевший серебряный рубль.

— Возьми вот кафтан зеленого сукна,— сказал он.

— Кафта-ан? — хрипло рассмеялся Воробьев. — Угорел, что ли, ты? На что мне сдался твой кафтан? Я за турячку, может быть, чуть жизни не решился в походе, а ты ка-афтан...

— Хочешь, сапоги еще в придачу дам?

— Какие? — деловито осведомился Воробьев.

— Новые,— оживился Митька.— Добрые!

— И рупь на пропой,— решительно заявил Воробьев.

— Ладно,— охотно согласился Митька.— Только ты погоди, я зараз отведу турячку в курень и принесу тебе кафтан с сапогами да рупь.

Распив обильный магарыч с казаками по случаю женитьбы, Митька, как православный, русский человек, не захотел жить невенчанным со своей турчанкой Матреной. Так ее назвали на Диком поле. Он попросил чернеца повенчать его с ней.

«Поп», беглый чернец, заупрямился.

— Она же басурманка,— сказал он.— Грех на душу не хочу брать.

— Да ведь она прозывается Матреной... Крещена православным именем,— убеждал попа Туляй.— Звать же ее по-нашему, православному — Матрена.

— А кто ее крестный отец и мать?

— А этого я, ей-богу, батюшка, не ведаю,— растерялся Митька.— Надобно б у Воробьева спросить, да он уехал на житье куда-то в низовья... А Матрену я пытал, да ведь она ж этого чоха-моха не понимает... Уж повенчай, батюшка, за ради бога, я тебе серну за это убью и приволоку.

Поп стал сговорчивей.

— И лису мне еще на шапку убей.

— Ладно, батюшка, убью и лису, только повенчай. Я тебе еще и пару зайцев принесу. Сам знаешь, охотник я лихой да удачливый.

— Приходи завтра с турячкой к часовне,— сказал поп.— Так и быть, уж возьму грех на душу — повенчаю. Отмолю бога, на ту зиму все едино думаю идти монахом в монастырь...

На следующий день Митька подстриг бороду и в кружок волосы на голове, надел чистую холстинную рубаху и велел недоумевающей турчанке идти с собой.

Шел он по улице, торжественно ступая и блаженно улыбаясь. Встречавшиеся казаки с удивлением смотрели на него, изумляясь его праздничному виду.

— Куда, Митька, собрался?

Туляй хитро усмехался:

— Э, браты, святое таинство совершать: венец с Матреной принимать. Сами ведь небось понимаете, совестно православному человеку не венчавшись жить с бабой.

— Оно хочь так,— соглашались казаки,— но у нас, на Диком поле, это дозволительно.

— Нехай хоть и дозволительно,— решительно возражал Туляй,— но не хочу я жить не по закопу. Разве ж можно не по закону с бабой жить? Кто она мне — не то жена, не то полюбовница. А вот ужо повенчаюсь, буду знать, что она мне законная жена, богом данная...

— Да где там богом,— смеялись казаки.— Сережкой Воробьевым тебе данная и пропитая, а не богом.

— Бросьте мне глупые слова говорить,— злился Туляй.— Ежели бог не хотел бы мне ее дать, так Сережка не привел бы ее на круг. Все богом делается. Сами небось знаете пословицу: без бога — ни до порога...

— Ну, ладно, Митька, иди женись. В добрый тебе час!

— Спасет Христос на добром слове,— кланялся Митька и продолжал свой путь.

ГЛАВА VIII

В Пристанском городке жил бобылем немолодой казак из украинцев, участник многих походов, лихой рубака Лукьян Хохлач. Человек он был степенный, рассудительный, всеми уважаемый, но, как и многие казаки на

верховье, томился в жестокой нужде. Добывал себе пропитание неутомимой охотой.

Однажды после нарядной попойки Лукьян проснулся с тяжелой головой. Он поднялся с постели и начал шарить по углам куреня, разыскивал, что можно бы снести кабатчику. Мучительно хотелось опохмелиться, но углы были пусты. Оставалось только оружие.

Злой, обрюзгший, он сел на лавку, раздумывая над тем, что бы отдать: саблю, пистоль или сайдак с луком и стрелами? И, поймав себя на этой мысли, он свирепо выругался: разве ж пристойно казаку пропивать оружие? Самый последний человек тот, кто делает этакое.

В это время на улице послышался многоголосый говор и топот лошадей. Лукьян прильнул к окопцу, но сквозь мутную слюду ничего не было видно, мелькали лишь неясные тени. Хохлач подбежал к двери, распахнул ее. По улице ехали незнакомые казаки, судя по добротной одежде и оружию, из низовых станиц. Казаки верховых городков богато не одевались.

Ехавший сзади молодой казак, заметив лохматую белесую голову Хохлача, выглядывавшую из-за двери, остановился.

— Тпру, стой!.. Братуня,— позвал он Хохлача,— подь-ка сюда.

Лукьян нехотя подошел.

— Здорово почевал, станичник! — приветливо поздоровался казак.

— Слава богу,— угрюмо буркнул Хохлач, исподлобья разглядывая нарядного всадника, одетого в синий суконный кафтан, расшитый серебром, и увешанного дорогим оружием.

— Что не весел, станичник? — спросил всадник.

— Голова раскалывается...

— Ай бесплы перехватил? — засмеялся казак.

Хохлач промолчал.

— На похмелье надоть выпить,— посоветовал казак,— сразу полегчает.

— Не па что,— уныло сказал Лукьян.

— Пропился? — расхохотался казак.— Люблю таких, ей-богу, люблю. Я сам такой... Уж ежели пить, так пить. Все пропью до ниточки, а потом все и добуду... Да ты, может, про меня слыхал? Гришкой Баннком меня кличут.

— Не слыхал.

— Да как же так? — изумился Григорий.— Меня ж всякая собака на Поле знает. Ты, зальян *, оружьишко-то не пропил?

— Да ты что, азиат тебя забери! — выругался Хохлач.— Можно ли казаку оружье пропивать?

— Молодец! — похвалил его Григорий.— Люблю таких. Вот тебе господь, люблю!.. Ежели есть у тебя аргамак, то седлай, поедем с нами.. У нас, брат, вина да меду хоть залейся... На гульбу мы приехали, у вас тут зверья много водится. А сами-то мы из низовых станиц... Поедем, брат, в обиде не будешь...

Хохлач при упоминании об охоте сразу же оживился, глаза его повеселели.

— Что ж, поедем,— согласился он.

Оседлав коня высоким персидским седлом, забрав в курене сайдак со стрелами и пистоль, он вскочил на лошадь.

— Тебя как, брат, зовут? — спросил Григорий.

Хохлач сказал.

— Ну, Лунька, погоди... Сейчас дам тебе лекарство, сразу болезнь твоя пройдет.— Григорий нагнулся к вьюкам запасной лошади, которую он вел с собою, и достал большую глиняную фляту: — Пей!

Хохлач, запрокинув голову, припал к ней губами. Григорий, улыбаясь, смотрел на него.

— Ну, как теперь? — спросил он у Луньки, когда тот вернул флягу.

— Маленько в башке просветлело. Спасет тебя Христос, Гришка. Выручил.

— Теперь поедем,— хлестнул Гришка плетью лошадь.

Вскоре они нагнали казачий отряд, уже довольно далеко отъехавший от городка.

— Кондратий! Кондратий Афанасьевич! — закричал Григорий.— Погоди!..

Головной всадник, смуглолицый, статный казак, обернулся:

— Чего тебе?

— Провожатого вот взял из Пристанского городка,— показал Григорий на Хохлача.

— Добре,— усмехнулся Булавин, пристально вглядываясь в Лукьяна.— Чей будешь?

— Лунька, по прозвищу Хохлач.

— Под Азовом бывал?

— А как же.

— А Кондратия Булавина помнишь?

— Га,— обрадованно засмеялся Лунька.— Ведь это ж ты, односум?.. А я сразу-то и не признал.. Здорово, брат!

Они обнялись и расцеловались.

Дорогой Лукьян Хохлач среди ехавших на охоту казаков узнавал многих своих знакомых, с которыми не раз бывал в походах.

Хохлач повел гулебщиков в такие места, куда редко проникал человек и где особенно много водилось зверья.

Нестарн у казаков было заведено собираться ватагами человек в пятьдесят — сто и ехать на охоту.

Гульба была не только любимым развлечением казаков, но и одним из средств их существования. На гульбе они, один перед другим, выказывали ловкость, сноровку, упражнялись в меткости стрельбы из лука и ружья. Охота давала казакам и много прибыли. Охотой и рыбной ловлей они в основном и кормились.

Булавин уже давно задумал поехать поохотиться в леса близ Пристанского городка, славившиеся на все Дикое поле обилием дичи и зверья. В назначенный день по приглашению Кондрата съехались его друзья и отправились на гульбу.

Лукьян привел гулебщиков к курганам Двух братьев. Отсюда начинались раскинувшиеся на много десятков верст непроходимые девственные леса.

— Вот тут и будет наша гульба,— махнул плетью Лукьян на леса,— тут есть что пострелять.

— Ну и добре, коль так,— согласился Булавин и, соскочив с коня, крикнул: — Расседлывай коней, браты!.. Станем тут. С курганов все видать будет.

Казаки расседлали лошадей, стреножили их и пустили пастись. Назначив караульных, развели костры, поставили варить похлебку. А когда она сварилась, разостлали попоны, начали вечерять.

Булавин сидел в кругу друзей и односумов. Пошли шутки, побаски, веселый смех. Собрались тут все свои, близкие: дед Остап, старый домрачей со своей неразлучной домрой, Гришка Банников, с которым не расставался Булавин. Он очень любил этого парня за находчивость, русскую природную смекалку и удаль. Сидел в кругу Семен Драный, весь испещренный шрамами и рубцами в постоянных битвах с турками, крымцами, калмыками, домовитый казак из Старо-Айдарского городка, не один поход

совершивший с Булавиным. Это был уже пожилой, суровый человек, невозмутимо спокойный и рассудительный. Был здесь и Никита Голый и Иван Павлов — односумы Кондрата по многим походам. Всех этих людей спаяла давнишняя дружба. Не раз они бывали вместе в набегах на Керчь, Кафу, Синоп, Тавриду. Не раз спасали друг друга от неминучей смерти в боях, не раз выручали один другого в трудные минуты. Дружба их была крепкая, нерушимая, проверенная долгими годами нелегкой жизни.

Лукьян Хохлач, сидя в их кругу, был несказанно рад случаю, сведшему его с боевыми друзьями. Вспоминали прошлые дни, беседовали допоздна, а ранним утром, чуть порозовел восток, все уже были на ногах.

Распоряжался Булавин. Он разбил ватагу на десять кошей, по десяти человек в каждом, назначил кошевых атаманов. Один кош был оставлен в лагере — нести охрану, пасти лошадей, готовить пищу. Остальные кош Булавин разослал на охоту.

Хохлач попал в кош Булавина. Зная эти леса, он повел казаков по знакомой ему звериной тропе в гущу леса.

Дед Остап, который по старости был оставлен в лагере, долго смотрел подслеповатыми глазами вслед всадникам, пока они не исчезли в зеленой листве леса.

— Пошли, господи, удачи! — перекрестился он.

В непроницаемом лесу царила ничем не нарушаемая, застоявшаяся тишина. Исполинские каранчи и грабы, клены и тополи, дубы и ясени хранили величественный покой, позолоченные осенью листья, шурша о ветви, кружась и порхая, как бабочки, падали на землю.

Лучи солнца не могли пробить густые кроны древнего леса; холодная мгла вечно стояла у подножия неохватных стволов. Удушливо остер был запах прели.

Часто казакам преграждали путь густые, переплетенные заросли терна, бересклета, боярышника. Казаки слезали тогда с лошадей и саблями прочищали себе дорогу. От ударов клинков перезревшие гроздья калины тяжело падали на землю и сочились, казалось, кровью.

Ехали уже долго, а лес по-прежнему давил путников плотными стенами, и чудилось, что ему не будет ни конца ни края.

— Какая тут, к чертям, гульба! — выругался Булавин.— Завел ты, Лунька, нас в дремучий лес.

— Подожди, Кондратий,— ответил Лукьян Хохлач,— зараз выведу на хорошее место...

Хохлач оказался прав. Скоро лес стал редеть, мельчать, затем перешел в кустарник, и неожиданно перед взорами казаков открылась живописная долина, поросшая высокой, застарелой травой. Вправо, у выступившей высой бугровины, блеснула голубая полоска озера, заросшего густым камышом и чаканом.

— Вот где гульба-то! — восторженно воскликнул Григорий Банников и вдруг, взвизгнув, стремительно помчался, на скаку расправляя аркан. Он увидел, как совсем близко от него, мелькая темными спинами в высокой траве, с шумом промчался косяк тарпанов.

— Погоди, Гришка! — раздраженно крикнул Кондрат.

Но Банников не слышал сердитого окрика атамана. При виде косяка диких лошадей его охотничье сердце не выдержало: пригнувшись к гриве несущегося аргамака, гикая и визжа, он не сводил горящих глаз с косяка. У Гришки был необычайно резвый аргамак, но не менее резвы были и тарпаны. Уже часа два тщетно гонялся за ними Гришка. Он страшно злился на свое легкомыслие — ведь знал же он хорошо, что надо тщательно подготовиться к охоте. А тут словно сам черт попутал его: как мальчишка глупый, бросился он за табуном. Но возвращаться к товарищам с пустыми руками стыдно — засмеют. И Гришка продолжал гнаться за тарпанами, мало надеясь на успех. Аргамак его покрылся пеной и тяжело дышал. Банников знал, что еще немного — и его лошадь падет, но упрямство владело парнем, и он, не переводя дыхания, продолжал мчаться на своем из сил выбивавшемся коне. В его душе теплилась маленькая искорка надежды на то, что тарпаны также выбились из сил и, может быть, счастливый случай поможет ему поймать одного из них. И судьба словно сжалилась над Гришкой. Когда он потерял уже всякую надежду настигнуть тарпанов, косяк вдруг чем-то напуганный, остановился и затоптался на месте.

Гришке достаточно было мгновения. Наметив одного из жеребчиков, он бросил аркан. Петля со свистом взвилась. Жеребец испуганно вздрогнул, шарахнулся. Но было поздно. Петля змеей обвилась вокруг его мускулистой шеи. Тарпан дико взвизгнул, взвился на дыбы, потом рванулся, чуть не сбив с седла Григория. Но рука Гришки, намертво, накрепко, как железная, держала намотанный

конец аркана. Жеребец, чувствуя, как петля все туже и туже сжимает его шею, захрапел от удушья и свалился на землю. Табун рассыпался. Спрыгнув с лошади, Гришка мгновенно замотал концом аркана притихшему тарпану ноги. Тогда только тарпан бешено забился, пытаясь освободиться от туго стягивающих веревок, но это было ему уже непосильно.

— Эге-ге-ге! — победно закричал Григорий, размахивая шапкой.

— Эге-ге-ге! — откликнулись далекие голоса.

Вскоре к Григорию подъехали гулебщики.

— Во! — горделиво указал он на связанного, не перестающего биться жеребца.— Видали, какой?..

— Добрый жеребец,— похвалил Булавин.— Молодец, Гришка! Только, вагальный * анчутка, в другой раз смотри... не своевольничай, а то взбучку дам.

Расположившись станом и оставив все лишнее, казаки начали охоту. В долине столько было разного зверья, что разыскивать его долго не приходилось. Звери почти никогда не видели здесь человека, не боялись его и подпускали близко. Диких коз, свиней, лисиц, зайцев гулебщики брали нагоном на лошадях, засекая плетьми с зашитыми на концах свинцовыми пулями или закалывая дротиками. Порох и свинец берегли. Только в редких, крайних случаях, когда попадался более крупный зверь — кабан или медведь,— пускали в ход пистоли и ружья.

Лукьян Хохлач, увлеченный азартом охоты, имел уже немало добычи. Он убил двух лис, пять зайцев, сайгу и оленя.

На утомленном своем коне он преследовал теперь серну с двумя детенышами. Подняв красивую головку, проворная серна легко бежала от преследователя. Она давно скрылась бы от него, но ее задерживали детеныши. Неуклюжие и смешные, они, словно лохматые шарики, катились вслед за матерью, юркими мордочками отбрасывая мешавшую траву. Серна, вырвавшись далеко вперед, останавливалась, тревожно поджидая детей. Дождавшись и торопливо лизнув детенышей, несколькими легкими прыжками удалялась от них, останавливалась, с тревогой ждала, пропускала впереди себя, потом опять обгоняла их. Потеряв из виду своего преследователя, она становилась на задние ноги, торопливо озиралась и, в ужасе замечая приближающегося Лукьяна, снова бросалась вперед.

Хохлач, нагнав детенышей, двумя ударами плети уложил их. Разгоряченная лошадь пронеслась мимо, Лукьян не остановил — он знал, что серна должна вернуться к детям...

И она вернулась. Подбежав к мертвым зверькам, она стала их облизывать. Меткая стрела уложила серну рядом с ее детенышами.

Солнце спускалось за кронами леса. Сумеречные фиолетовые тени потянулись из далеких чащ.

Надо было спешить к товарищам, чтобы до темноты добраться до лагеря. Хохлач быстро привязал к седлу серну и ее детенышей. Он хотел было вскочить в седло, но услышал позади себя раздраженное хрюканье и обернулся. Его колыпули злые глаза вепря. Зверь, мгновение постоял, злобно взвыл и ринулся на Лукьяна. Тот не растерялся — не раз ему приходилось бывать в подобных переделках. Выхватив из-за пояса пистоль, он выстрелил в зверя. Раненый зверь яростно взвизгнул, на мгновение остановился, не спуская свирепых глаз с Лукьяна, потом снова с диким визгом ринулся на него. Испуганная лошадь захрапела и, рванув повод, умчалась в степь. Лукьян растерянно посмотрел ей вслед и с отчаянной решимостью ухватился за рукоятку кинжала. Едва он успел выдернуть его из ножон, как разъяренный вепрь налетел на него. Лукьян с силой пырнул в щетинистую грудь зверя кинжалом, и оба они — Лукьян и вепрь — упали...

Очнулся Хохлач уже поздней ночью. В боку чувствовалась щемящая боль. Он застонал. От него шарахнулись тени. «Чекалки!» — в ужасе подумал Лукьян и с трудом приподнялся. Шакалы сели невдалеке, зорко следя за ним горящими глазами. Лукьян закричал на них, замахнулся, они вздрогнули, но не двинулись с места.

Небо было звездное, ночь тихая, светлая. Долина жила ночной дикой жизнью. Где-то ревел медведь, тоскливо кричал филин. Неясными тенями метались ночные птицы, в кустах и по траве шуршали неведомые звери.

Лукьян ощупал раны. Они так болели, словно их жгло огнем. Он засыпал раны землей. Как будто немного полегчало.

Вепрь лежал, наполовину съеденный шакалами. Внутренности его валялись лохмотьями, и от них смердило. Хохлач нашел свой кинжал и побрел. Шакалы, протяжно завыв, тронулись за ним следом.

Пройдя немного, Лукьян, остановился. Куда идти? Ночью трудно было отгадать, где находится лагерь. Разве разыщешь его ночью в таком состоянии? Ну, а идти все-таки нужно, иначе шакалы живьем съедят. И снова Хохлач, опираясь на палку, медленно побрел, сам не ведая куда. Он дошел до кромки леса. Перед ним лежала тропинка. Но кто знает, куда она вела. Лукьян решил, что идти лучше, чем стоять на месте, и пошел по этой звериной стежке; ему показалось, что это была та самая тропинка, по которой они приехали сюда утром.

В лесу было еще страшнее, чем на открытом месте. Пошатываясь от бессилия, со страхом озираясь по сторонам, ощупью угадывая тропинку, Лукьян медленно брел по лесу. Противно воя и сверкая горящими глазами, от него не отставали шакалы. Лукьян больше всего на свете боялся всякого рода чертовщины. То ему мерещилось, будто леший протягивает из-за толстого ясеня свою костлявую руку, чтобы схватить его, то шарахающуюся тень совы он принимал за ведьму.

— Свят-свят господь Саваоф, да расточатся врази его... * — шептал он вздрагивающими губами и усердно крестился.

Так он шел долго, несколько часов подряд, готовый вот-вот потерять сознание от потери крови. Но мысль о том, что если он упадет, то погибнет, поддерживала его силы. Тропинка, казалось, была бесконечной. И в то время, когда у Лукьяна иссякали последние силы, он внезапно между стволами деревьев увидел блеснувший огонек. С огромным напряжением он ускорил шаг. Вынырнула небольшая полянка, освещенная тусклым светом луны. В конце ее, у темной стены леса, обозначилась неясными контурами маленькая лесная избушка. Из слюдяного оконца сочился мутный свет.

Хохлач проснулся в полдень. Он лежал на душистом сене, разостланном на нарах. В распахнутое оконце ярко било солнце, освещая убогую утварь в избушке.

Лукьян с любопытством огляделся. В избушке никого не было. В переднем углу, перед потемневшими от времени и копоти образами, горела лампада. На дубовом столе стояли деревянные миски и лежала старая потрепанная книга. На стене висел небольшой поставец с неприхотливой посудой.

Хохлач повернулся и застонал. Раны невыносимо ныли.

Дверь распахнулась, вошел высокий старик с пушистой серой бородой, в черном длинном, почти до пят, кафтане. Он нес травы.

— Очнулся, сынок? — спросил он ласково.

— Очнулся,— слабым голосом ответил Хохлач.

— Ну и слава богу,— перекрестился старик.— Кто это, сынок, тебя так изувечил-то? Какой зверь?..

— Вепрь.

— У, лихоманка его забери! — выругался старик.— То-то, я гляжу, сильный зверь тебя покалечил. Ничего, сынок, моли бога, что ко мне попал. Подлечу тебя маленечко... Вот приложу травки к твоим ранам, такой травки, что сразу же раны затянет. Есть такая у меня травка, сынок, от ран. Диким авраном прозывается. Можно и болдыряк приложить, тоже помогает... Ай вот полевую свербожницу... А ежели таких трав под рукой не окажется, то можно шалфеем аль пыреем лечить раны...

Словоохотливый старик проворно растер траву в ступе и, сделав из нее мазь, приложил к ранам Лукьяна и перевязал чистой тряпицей.

— Теперь полежи денька два-три, пройдет. Вот зря ты только раны землей запорошил. Разболеться хуже могут... Не хочешь ли поесть, болезный, похлебочки грибной?

— Не хочу,— отозвался Хохлач.

— Ну что ж,— добродушно сказал старик,— неволить не буду. Погодя поешь...

Весь день Лукьян провел в болезненном полузабытьи. К вечеру ему стало лучше, и он попросил поесть.

— Поешь, поешь, сынок,— засуетился старик.— Хворому еда требуется.

Он подал Лукьяну миску с грибами и, подсев к нему на нары, стал рассказывать о себе, о своей жизни в лесу. Старик, по-видимому, уже давно не видел людей и был несказанно рад Хохлачу. Он заботливо ухаживал за ним, лечил, при этом без умолку говорил. За время своего одинокого житья в лесу он настолько соскучился по живой речи, что не мог насытиться разговором.

Старик был раскольник. Много лет назад, как только началось гонение на старую веру, он ушел на Дикое поле, выбрал себе местечко в дремучем лесу, построил избушку и жил одинокой жизнью среди природы и зверей.

— Зверя нужно уважать,— говорил старик.— Зверь — божья тварь, она все разумеет, только сказать не может.

Я со зверями в ладу живу, они меня не трогают. Не тронь его — и он тебя не тронет... Только, конешное дело, надобно такое слово от зверя знать. Ото всего есть свое слово. Ежели слово знаешь, никакая напасть тебя не возьмет. Есть слово от зверя, есть от нечистой силы, от пули, от меча и стрелы, есть от хворобы, есть от глазу...

Через три дня Хохлач хотя и с трудом, но уже поднимался с постели. Старик целыми днями ходил по лесу, собирал грибы, ягоды, а Лукьян садился на порог избушки и тосковал.

Лес приглушенно шумел вершинами. В его глухом ропоте было что-то грустное и предостерегающее. От этого Лукьяну становилось еще тяжелее. Его не развлекали жизнерадостно щебечущие птицы, хлопотливо и забавно сновавшие по ветвям белки. Здесь, в вынужденном одиночестве, Лукьян много думал о своей незадачливой жизни. У него еще столько нерастраченных сил. С этими силами он мог бы чуть ли не мир перевернуть, а вот пропадают напрасно эти силы, не к чему их и приложить. Казацкая душа его тосковала по несовершенным подвигам.

ГЛАВА IX

Всю ночь разыскивали казаки Лукьяна Хохлача. Григорий Банников привел его взмыленного аргамака с привешенными к седлу убитыми сернами, а сам Лукьян исчез — как в воду канул. Поискали-поискали его казаки и прекратили поиски, решили, что Луньку дикие звери растерзали.

Уже несколько дней бродили казаки по долине. Привольное здесь место. Много казаки за эти дни добыли зверя и дичи.

Как-то Кондрат Булавин охотился в камышах у озера. Охота здесь была обильная. Он набил уже кучу дудаков и пару лебедей.

Пустив в последний раз стрелу в гуся, Кондрат думал на этом закончить на сегодня охоту. Гусь упал где-то в камышах. Раздвинув заросли, Кондрат стал искать его. В камышах он вдруг увидел причаленный к берегу каюк, выдолбленный из ствола дуба. Это его изумило.

Как мог попасть сюда каюк? Кто его хозяин? Значит, уж не такой необитаемый этот лес.

Убитый гусь плавал саженях в трех от берега. Кондрат сел в каюк и оттолкнулся веслом. Лодка мягко поплыла, рассекая цвелую воду. Кондрат подобрал гуся и недвижимо сидел в каюке. Все здесь манило к отдыху, покою после долгого, утомительного дня. Хотелось посидеть так подольше, ни о чем не думая, ничего не делая, отдаваясь спокойствию и истоме, которые разливались по всему измученному телу.

Каюк медленно плыл, оставляя за собою длинный светлый хвост. Вода от каюка шевелилась, расходясь далеко большими кольцами, мелкой волной. Как зеркало, она отражала в себе мерцающую синеву неба. Точно прилипнув к воде, гладко лежали на ней зеленые лопухи.

Кондрат иногда брал весло и загребал им, потом снова клал его в лодку и смотрел в воду. Перед его взором в зеленом полумраке выступали волшебные подводные заросли. Причудливые, фантастические, они были неподвижны, словно облака зеленого клубящегося дыма застыли в воде.

Вода живет напряженной жизнью. Снуют жучки, ошалело скачут водяные блохи. Между стеблями водяных растений бесшумно, как во сне, скользят рыбы. Вот, блеснув золотой кожей в закатных лучах солнца, проплыл косяк жирных линей... Бегая вороватыми глазками и пружинно взмахивая хвостом, мелькнула огромная щука. Среди серебряных брызг мечутся от хищницы напуганные рыбешки.

С резким присвистом над озером летит стремительная чайка. Она едва не касается белой грудью воды, четко отражается в ней, и чудится, будто летят две чайки. Схватив неосторожную рыбешку, одна чайка резко взмывает вверх, а вторая, кажется, уходит на дно.

Кондрат, вдыхая тяжелый запах ила и сырости, плыл к противоположному берегу, обросшему зарослями камыша.

На бархатные коричневые махры камыша ложилась вечерняя роса, и они от этого темнели. За камышом стлался луг. Лучи заходящего солнца косо шарили по влажной изумрудной траве, рассыпая по ней мириады искр. У берега в задумчивом оцепенении застыла на одной ноге цапля. Черные аисты, как монахи, важные и со-

средоточенные, молитвенно кланяясь, разыскивали корм. Изогнув длинные шеи, от берега в тревоге отплыла пара белоснежных лебедей...

Каюк бесшумно и мягко втиснулся носом в пл. Аисты, встревоженно захлопав крыльями, тяжело поднялись в воздух. Цапля, смешно подпрыгнув, исчезла в прибрежных зарослях...

Через луг бежала едва заметная тропинка. Она вела к темнеющему лесу. Кондрат вылез из каюка и пошел по этой тропинке. По сапогам его били стебли арланца, лущицы, боярки. Душный, сладкий аромат травы и цветов проникал глубоко в легкие.

Зачем он шел в этот лес, Булавин и сам не знал, — так уж, подчиняясь безотчетному влечению, шел туда, куда вела эта легкая, едва заметная тропа.

Из-под ног вспорхнула какая-то птица. На ветке бересклета вызывающе свистнула малиновка. Кондрат усмехнулся и свистнул так же, как и она. Малиновка откликнулась.

Из леса пахнуло застоявшейся сыростью, прелью перегноя. По тропинке важно полз саженный желтобрюх. Булавин поспешно посторонился и дал ему дорогу. Желтобрюх лениво проволочил свой извивающийся длинный, толстый хвост. Змея, хотя и безопасная, вызвала у него гадливое чувство.

В лесу было совсем темно. С обеих сторон тропинку сдавливала черная гуща колючего кустарника. Через просветы в верхушках приглушенно шелестевших деревьев мерцала далекая голубизна неба. И только по этому можно было понять, что до вечера еще далеко.

Идти дальше было бессмысленно, и Кондрат хотел уже вернуться, как вдруг, сквозь густую листву леса, он услышал глухой лай собаки.

Откуда здесь могла быть собака? Удивленный, Кондрат пошел на лай. До него донесся сдержанный ропот ручья. Он бежал где-то незримый, в зарослях терна и бузины. Вырвавшись из кустарника на простор небольшой лужайки, ручей затих, остановленный упавшим стволом клена, поросшего папоротником. Вода кружилась, пузырилась и, найдя выход через дупло преграждавшего дерева, тоненькой серебряной струйкой звенела по другую сторону ствола.

У плотины стояла маленькая избушка. Навстречу Кон-

драту с хриплым лаем выбежала большая черная собака и злобно набросилась на него. Кондрат выхватил из ножон саблю и стал отбиваться. Разъяренная собака с злым рычанием хваталась за острие сабли, кровавя свою пасть.

— Лытка! — крикнул звонкий женский голос.— Пошла ты, шальная!

Собака присмирела и, виновато завиляв хвостом, побежала прочь.

— Здорова была, женка! — поздоровался Булавин, с любопытством оглядывая женщину.

Женщине было лет двадцать пять. Из-под кумачового платка на лоб выбивались вьющиеся русые волосы. Глаза, темно-синие и глубокие, были необыкновенно проницательны, казалось, заглядывали в самую душу Кондрата. Босая, она была одета в простенькую холстинную паневу.

— Слава богу! — ответила женщина на приветствие.

— Собака-то шибко злая у вас.

— Злая,— согласилась женщина.— А кабы не злая, зачем она нам нужна? Без такой нам тут не можно: лихих зверей много...

— Тут и живешь, женка? — кивнул Кондрат на избушку.

— Тут.

— Муж дома?

— Нет у меня мужа,— тихо ответила женщина.

— С кем же ты живешь? — расспрашивал Кондрат.

— С отцом. Он на добычу ушел.

— Ваш каюк-то, должно, на озере?

— Наш.

— Ну, девка, угнал я у твоего батьки каюк.

— Ничего... Озеро не велико, найдет батя каюк.

— Как тебя величают-то, девонька?

— Ольгой.

— Ну, Ольгушка, дай чего-нибудь попить. Во рту пересохло.

— Заходи в избу, браги дам.

Она говорила спокойно, без малейшего смущения и волнения.

В избе было бедно, но стены тщательно вымыты, выскоблены, земляной пол чист. Видать, Ольга хозяйственная, опрятная девушка. Это Кондрату понравилось.

Она подала на стол большой ковш браги и спросила:

— Может, поесть хочешь?

— Нет, Ольгушка, есть не хочу. Спасибо тебе.

Испив вкусной холодной браги, Булавин стал расспрашивать Ольгу о ее жизни в лесу.

— Ничего, попривыкли,— вздохнула она.

Ольга едва помнила тот день, когда ее раскольничья семья ушла из Тамбова в придонские леса. Это было очень давно.

Семья, состоявшая, кроме нее, из деда с бабкой, отца с матерью и двух сестренок, с большими трудностями добралась сюда. Дорогой сестренки умерли. Отец с дедом построили здесь избушку, и зажила семья спокойно, ничем не тревожимая. Мужики охотились, ловили рыбу. Раза два в год они уходили в ближайший город. Продавали там шкуры убитых зверей, лебяжий пух, закупали необходимое. Но потом навалились несчастья одно за другим. Деда однажды на охоте разорвал медведь. Бабка, не перенеся его смерти, умерла вскоре. А прошлый год умерла и мать.

— Вот их могилки,— с грустью указала Ольга на три креста за окном.

— Небось, Ольгушка,— спросил сочувственно Кондрат,— скучно тебе жить в лесу-то?

— Какая же тут жизнь с волками да с медведями? — огорченно воскликнула она и снова тоскливо вздохнула.— Отец целыми днями за добычей ходит, а я тут одна да одна... Живого человека не вижу, не с кем слова промолвить... Истосковалась...

Глаза ее повлажнели, губы задрожали, и казалось, она сейчас горько заплачет.

— Свет не мил...— прошептала она и отвернулась.

Кондрату стало жалко ее. Вздохнув, он ласково сказал:

— Замуж бы тебе надо, Ольгушка.

Лицо Ольги густо порозовело. Она смущенно потупила глаза.

— За кого ж выйдешь-то? — прошептала она.— За дикого козла, что ль?

И в голосе ее послышались такая тоска и безысходность, что Кондрат невольно, с чувством жалости, привлек ее к себе и погладил по голове.

— Ничего, Ольгушка, найдем тебе доброго жениха. Ей-богу, найдем... Сватом приеду...— Он подумал, что не плохо бы женить на ней Григория Банникова.

Но на Ольгу отеческая ласка Кондрата подействовала по-иному. Крепко обвила она своими мягкими руками его крепкую багровую шею и, притянув к себе его лицо, обожгла горячим поцелуем.

ГЛАВА X

Ярко горели костры в лагере. Казаки, весело делясь впечатлениями дня, вечеряли.

Григорий Банников, сидя в кругу своих друзей, возбужденно рассказывал:

— Скачу я это, братцы, за вепрем... вот-вот догоню я его да рубану чекапом *, а он, проклятущий, видит, что ему смерть неминучая от моей руки... как сига-анет через овраг — и перемахнул через него. А овраг этот поди саженей пятнадцать шириной будет... Что ты тут будешь делать? Ну, думаю, была не была, где наша не пропадала! Разжег я своего мерина плетью да как поскачу прям на овраг... Закрутил мой мерин головой: дескать, дает мне понять, что не хочет он прыгать через овраг. «Брешешь, кричу, ежели вепрь перемахнул через него, стало быть, и ты должон!..» Дал я ему еще пару добрых плетей... И что же, братцы вы мои, перескгнул ведь аргамак мой тот овраг!..— обвел торжествующим взглядом Гришка своих товарищей.

Казаки, посмеиваясь и не веря ни единому слову Гришки, ели жирные куски дикого кабана, запивали пенистым медом.

— Ну и что же, Гришка, зарубил ты все же этого вепря-то? — спросил Никита Голый, разливая по ковшам мед из бурдюка.

— А ты слухай да наперед не забегай,— недовольно сказал Григорий.— Поскакал я это, стало быть, братцы, опять за вепрем. Он от меня, я за ним... Он от меня, я за ним. Что есть мочи скачу. Жалко ведь упустить такую знатную добычу. Гляжу, братцы вы мои, впереди опять овраг, да поболе первого. Ну, думаю, теперь уж ты черта с два сиганешь — силенок не хватит. А он, проклятущий, разбежался — ка-ак сига-анет... и перемахнул овраг, как все едино на крыльях... Вот проклятый-то! Ну, думаю, ежели вепрь его перескгнул, то уж мой-то аргамак наверняка перемахнет его. Разжег я опять своего мерина плетью. Летит мой аргамак, ног не чует под собой... Прыг через овраг... И что ж, братцы вы мои, не досигнул он до дру-

того края, а полетел вниз. Почуял я, что мой мерин вниз полетел, выпростал я ноги из стремян да пулей через овраг перелетел и с разгону прям на вепря верхом сел...

— Вот брехунец-то! — раскатисто хохотал Семен Драный.— Знатно брешет!

— Чего мне брехать? — обиделся Гришка.— Всю истинную правду говорю.

— Гутарь, гутарь, Гришка,— смеясь сказал Кондрат.— Не обижайся.

— Да и гутарить-то уж больше почти нечего,— сказал Гришка.— Значит, сел это я на вепря верхом, а он как начнет брыкаться, поровит, стало быть, меня сбросить. А я вцепился ему в шею и душу что ни на есть силы. Свалил я его наземь, и начали мы с ним брухтаться. Брухтались-брухтались мы с ним, а потом надоело мне это дело, вцепился я ему в горло зубами и перегрыз...

— Ха-ха...— закатывались казаки, хлопая себя по ляжкам.— Вот брешет-то знатно!

— Ну, и как же ты коня вызволил из оврага? — сквозь смех спросил Голый, подмигивая казакам.

— А так и вызволил,— невозмутимо ответил Григорий.— Схватил за узду и вытащил...

— И конь не расшибся?

— А чего ему расшибаться? — так же не смущаясь, ответил Григорий.— Когда он прыгнул через овраг, у седла подпруга лопнула, потники, стало быть, раскрылились, и мой аргамак, как на крыльях, слетел в овраг. Как все едино воробушек сел...

— Ну, а вепрь-то твой, тот где? — сотрясаясь от смеха, спросил Кондрат.

— А там...— в неопределенном направлении махнул Григорий.

— А-а... — понимающе протянул Булавин. — Стало быть, там... на воле ходит...

— Зачем на воле? Я его на дубке на суку повесил... Завтра возьму.

Оглушающие взрывы смеха казаков наконец несколько смутили Гришку. Он сердитыми глазами посмотрел на них. Потом, поняв, что слишком заврался, расхохотался и сам, звонко и весело.

— Ты б, Гришка,— смеялся Кондрат,— рассказал, как ты в Бахмут-городке за волком гонял.

— Да что там рассказывать? — отмахнулся Григо-

рей.— Дело прошлое. Собаку я невзначай одлова за волка принял... Что ж тут особливого? Это может с каждым приключиться...

— Рассекажи, Кондратий Афанасьевич,— стали просить казаки.— Рассекажи!

— Ладно, расскажу,— посмеиваясь, согласился Кондрат.— Как-то Гришка стал собираться на волков. А в стену в это время такая сыпуга * разыгралась, что прям на ногах устоять не можно, с ног валит. Стал я было Гришку отговаривать: куда, мол, тебя черти несут в такую непогодь? Да разве ж его, такого вигального, отговоришь? Заупрямился парень: «Поеду, да и все. Зараз, говорит, самое время волков бить...» Ну, думаю, черт тебя дери, езжай, коль приспичило... Выехал это он, стало быть, в степ, а сыпуга там так и рвет и мечет, с коня сшибает. В двух шагах ничего не видать... Гришке б вспру и вернуться, да стыдно: как же, мол, умных людей не послушался и в дураках оказался. Ездил, ездил он по стену, ничего не видал,— какие уж там волки в такую непогодь? Досада взяла парня, и впрямь наврода надобно со стыдом возвращаться. И уж хотел он было ехать ни с чем домой, только глядь это он — что-то блазнится * у кустов. Пригляделся он и возрадовался, около дохлого жеребя, какого мы намедни с ним вывезли, здоровенный волк кормится. Поскакал Гришка к нему, а волк от него. Отбежал это, обернулся да по-собачьи забрехал: гав-гав. Нашего Гришку ажно оторопь взяла: что, мол, за диковина такая — волк, а по-собачьи брешет? Ну, а все же не отстает от него, знай себе скачет за волком, хочется ему засечь его плетью. А волк бежит-бежит, обернется да: гав-гав... Всмотрелся Гришка в волка, да и плюнул с досады: это был здоровенный кобель нашего соседа, бахмутского казака...

Смех казаков заглушил конец рассказа.

— Постой, Кондратий, постой,— сказал сконфуженный Григорий.— Ты рассказал бы лучше о себе, как ты гусей-то домашних стрелял... Помнишь, тебе за них бабы чуть бороду не выщипали?..

— Как не помнить? Помню.— смеялся Кондрат.— Было такое дело. Ошибку понес... Думал, дикие... Целую дюжину пастрелял... Ну, бабы дали мне добрую взбучку за них... Ха-ха...— И, оборвав смех, взглянул на густо усеянное яркими звездами небо.— Эх, звезды-то как блещут!

Видать, завтра день добрый будет... Ложись, браты! А то, как только зарница займется, взбужу.

Тут же у костров казаки улеглись спать.

Григорий долго не мог заснуть, смотрел на звездное небо.

— Дед Остап, спишь ай нет?

— Нет еще, сынку. А що?

— Скажи, дед, что это такое, как все едино золото по небу рассыпано? — указал он на Млечный Путь.

— О, це ж, сынку, божья дорожка... По ней бог ходит из рая, щоб бачить нашу грешну землю...

— А чего ему ее бачить?

— А як же? Богу надобно наглядывать, як люди живут, чи сполняют его заповеди, чи ни.

Гришка замолк, думая о словах старика. Где-то загомонили. Гришка приподнялся, прислушиваясь и всматриваясь в темноту. Кто-то шел к костру.

— Кто это? — спросил Гришка.

— Да то я, Лунька Хохлач...— устало отозвался подошедший и тяжело опустился на землю.— Уморился дюже...

— Вот тебе! — обрадованно воскликнул Григорий.— А мы, Лунька, думали, что ты погиб.

— Покуда еще живой.

Проснулись казаки, обступили Хохлача.

— Где ты, односум, пропадал? — спросил его Булавин.

— Э, Кондратий! — измученно отмахнулся Лунька. — У колдуна в гостях был... Дайте, братцы, хлебнуть меду, горло пересохло...

Утолив жажду, Лунька рассказал о своих приключениях.

— Ну, добре, что жив остался,— проговорил Булавин.— А мы тебя уж было похоронили... Ложись, браты, а то до света не много осталось. Надобно хоть малость поспать...

Казаки снова улеглись, и вскоре все спали под охраной ровно и ласково освещавшей лагерь гулебщиков бугроватой неяркой луны.

ГЛАВА XI

Возвращались охотники домой уже поздней осенью.

У Донецкого городка они поровну раздувапили добычу, никого не обидели. Даже деду Остапу выделили часть, хотя тот долго отказывался.

— Да на що мне? — протестовал он.— Я ведь даже ни единого горобца * не убил... Я и тем ублажен, що ходил с вами на потеху, стары кости размял...

Но казаки настояли, чтобы он взял свою долю.

— Ну, спасет вас Христос, братове,— растроганно поблагодарил он.— Повезу свою долю до односумов.

Дед Остап этот год проживал в становой избе Трехизбянского городка. Кроме него, там еще жило восемь одиноких казаков. У них был один котел и одна сума. Кто бы из них что ни добыл, все складывали вместе и пользовались всем равно. Единственно, что было личной собственностью каждого из них,— это деньги и оружие.

Старый запорожец в последнее время все подумывал пойти жить в Борщевский монастырь, куда под старость уходили на житье многие одинокие казаки. При дележе добытого в набегах казаки богатую долю всегда выделяли этому монастырю.

Но старику все еще казалось рано расставаться с вольной жизнью. В монастыре ведь не ударишь по звонким струнам домры, не запоешь казачью удалую песню.

Вблизи Донецкого городка казаки стали разъезжаться. Семен Драный с тремя казаками провожал Кондрата и заодно других трехизбянцев до дому.

Трехизбянский городок был обнесен крепкой, надежной двойной надолбой *. Между частоколами насыпана и туго прибита земля. По валу ходил с ружьем караульный казак. Он зорко вглядывался во все стороны: не ровен час — налетят погайцы или калмыки, застигнут врасплох.

Ходил караульный по тарасам *, напевая песенку:

На усть Дона тихо-ого,
На краю моря синего-о,
Построилась башенка,
Башенка высо-окая;
На этой на башенке,
На самой на маковке,
Стоял часовой ка-азак,
Он стоял да умаялся-а...

Перед взором его как на ладони раскинулась огромная, посеребренная инеем бурая равнина, покрытая мелким кустарником, мелкой лесосекой. У городской надолбы, извиваясь змеей, бежит по займищу речка Айдарка. На берегу бабы полощут белье, колотят его неистово вальками. Старики бороздят реку каюками, расставляют сети,

вентеря *. Тут же, неподалеку, ребята играют в айданчики *.

Остановится караульный, постоит, оглядит внимательно все вокруг и снова ходит по тарасам, напевает:

Он стоял да умаялся-а...

Вдруг он насторожился. Чуткое ухо его уловило далекое ржание. Казак замер, пытливо вглядываясь в даль. Ржание лошадей слышится все ближе и ближе. Но теперь караульный улыбается: он уловил веселые знакомые голоса. Вот показались всадники, они подъезжали к воротам, ведя в поводу заводных лошадей *, навьюченных тяжелой кладью. Ребята, побросав айданчики, с веселыми криками бросились навстречу.

— Здорово, батя! — радостно крикнул черноглазый парнишка лет пятнадцати в синем кафтанишке, подбегая к Булавину.

— Здорово, Никишка! — улыбаясь, кивнул ему Кондрат.— Как тут живете? Как наши?

— Слава богу, батя! Все живы-здоровы.

— Возьми, Никишка, коня.— Кондрат передал ему повод заводной лошади.— Веди домой. Скажи мамуне, чтобы вечерять готовила. Зараз придем с дедом Остапом.

Караульный, спрыгнув с вала, широко распахнул ворота.

— Как живете тут, дядь Василий? — спросил у него Кондрат.

— Слава богу! — ответил караульный.— Все целы и невредимы. С добычей вас, браты!

— Спасет Христос, дядя Василий, на добром слове.

Жена Кондрата, Наталья, еще молодая, свежая женщина лет тридцати пяти, с приятным лицом, принарядилась. Поверх голубого сарафана она накинула праздничный кубелек, расшитый золочеными питками. На голову надела сетчатый волосник, убранный жемчугом, на руки — серебряные бизилйки *.

— Здорово живете! — поздоровался Кондрат, входя в курень и крестясь на образа.

— Слава богу, Афанасьич,— низко поклонилась ему Наталья.

— Встречай гостя, Наталья.

— Всегда рады гостям,— снова поклонилась она, заметив за широкой спиной мужа деда Остана.

— Во имя отца и сына...— закрестился было старик, шагая через порог, но, стукнувшись макушкой о притолоку, простонал: — О, будь ты проклята!

— Никак, зашибся? — обернулся Кондрат к нему.

— Ничего,— проговорил старик, морщась и почесывая плешину.— На то ж вона притолока низка, щоб хозяину с хозяйкой кланяться. А я было, старый, загордился, не хотел пагнуть головы...

— Давай нам, Натальица, вечерять,— весело сказал Кондрат, сбрасывая с себя оружие и кафтан.— Дюже голодны и я и дед Остап.

Наталья полила из железного кувшина на руки мужу и деду Остапу. Вытерев руки чистым холстинным полотенцем, казаки сели за стол. Наталья прислуживала им, сама не садилась. Кондрат налил в ковш крепкого переварного меду. Наталья подала студень, налила щей, поставила миски с блинцами и варениками.

Дед Остап отирал испарину со лба.

— Хай тоби грець, баба... Куда ж все це исты?.. Кабы было б у меня два брюха, а то ж воно одно — и то махонькое...

— Ешь, дед Остап, ешь,— угощал Кондрат.— От лишней ложки брюхо не лопнет... Давай выпьем. Будь здоров!

— Выпить, Кондратий, я дуже люблю... Ой, и дуже ж! — закачал головой старик.— Да без того козаку и не можно. Ну, дай бог, щоб пилось да илось, а дило б и на ум не шло.

— Нет, дед, так не гоже,— покачал головой Кондрат.— Надо, чтобы и пилось и елось, а дело б с ума не шло. Без дела человеку нельзя жить.

— Хай будет так, козаче...

Заметив выглядывавшую из дверей горенки дочь, Кондрат засмеялся:

— Что ты, Галя, оттуда выглядаешь, как все едино сурок из норы? Поди сюда.

Девушка несмело вышла из горенки и низко поклонилась отцу и деду Остапу, зазвенев позолоченными цепочками и турецкими деньгами косника *.

Кондрат, улыбаясь, ласково смотрел на дочь. Девушка была очень похожа на отца: такие же черные смелые глаза, тонкий, чуть с горбинкой нос, яркие чувственные губы.

Она была празднично одета. На ней, как и на матери, был фиолетовый шелковый кубелек, спускавшийся ниже

колен; из-под него, как у турчанки, выглядывали красные атласные шальвары, вобранные в мышиного цвета ичижки *, простроченные на подъеме серебром. Талию туго перехватывал бархатный, выложенный каменьями и серебряными бляхами пояс. Черные вьющиеся волосы заплетены были в две тугие длинные косы с яркими лентами и махрами на концах. На голове поблескивала перевязка с медными, вызолоченными гвоздиками и золотой бахромой. С висков на румяные щеки свисали жемчужные чикилеки*.

Все эти наряды отец привез любимой дочери из походов.

— О, яка гарна дивчина! — воскликнул восхищенный дед Остап.— Эх, да кабы я был молодым парубком, я б оженився на ней! А может, моя кралечка, пидеш зараз за меня... а? Ты не гляди, голубка, що я старый. Я старый, но дуже бравый. Ей-богу, правда!.. Ось дывысь!..— лихо закрутил он свои седые длинные усы и подбоченился.— Ну, що! Гарный я! Пидеш за меня чи ни? Ха-ха...— весело рассмеялся он.— Да где уж мне, старому кобелю, брать таку гарну коханочку? Тебе ж надобно доброго орла... А я що? Старый хрыч.— вздохнул запорожец.— Был конь, да изъездился... Помирать скоро.

Галя, потупясь, смущенно слушала старика. При последних словах она вскинула на него плутоватые глаза.

— Бывает, дед Остап,— сказала она,— и старые кони добре ходят под седлом.

Казаки весело захохотали.

— О, це ж ловко сказанула, дивчина! — воскликнул старик и выпрямил спину.— Це ж ты, Галечка, правду сказала... Я ще не разучився крепенько в руках вострую саблю держать...

Посмеялись, пошутили, потом Кондрат спросил у жены:

— Как тут, Натальица, жили без меня?

— Слава богу, Афанасьич, все в исправности. Только вот ныне...— замялась она.

— Что ныне?

— Да варила я кашу, а она вылезла из горшка... К беде это...

— О, це к беде,— подтвердил и дед Остап.— О, це наше такое дело козачье: жди беду завсегда...

За окопцем завыла собака.

— Тьфу, нечистая сила! — плюнул старик.— На свою б песью голову, анчибел *.

— Видишь,— испуганно сказала Наталья.— И сейчас пес воет — беду накликает. Надысь у Настасьи Кудимовой курица по-кочетиному кричала. Кирюшка-то ихний поймал ту курицу да перебросил через хвост и на лету перерубил саблей. А голова-то курицына упала на порог. А это уж первая примета — к беде...

Кондрату эти разговоры были не по душе. Он помрачнел и сердито пробурчал:

— Какую еще беду накликаете? И так ее не оберешься.

— Да кто ж ее ведает? — робко сказала Наталья.— Может пожар быть, ай калмыки налетят, смертным боем всех побьют да в полон заберут. Прослыхали мы тут недавнечко, будто калмыки набегали на низовые городки, пограбили, посожгли, казаков и ребятишек в воду покидали, а молодых баб да девок в полон побрали...

— Ну, сюда они не прибегут,— хмуро сказал Кондрат.— Далече.

Вошел Никита.

— Батя,— весело сказал он,— сколь же ты много зверья-то набил!.. Страсть сколь много!.. Таскал я, таскал в сарай, насилу перетаскал...

— Много, Никишка,— усмехнулся Кондрат.— Вот ужо повезу в Черкасск шкуры продавать, гостинец привезу тебе и Гале.

— Спасибо, батя,— тихо сказала Галя.— Ежели ты будешь мне гостинцы покупать, то купи монисто да верстки *...

— Куплю,— пообещал Кондрат.

Увидев на скамье домру, Никита пристал к домрачею:

— Дед Остап, сыграй.

— А спляшешь, бисов сын?

— Спляшу.

Старик взял домру, тронул струны.

— Ну, що вы зажурились?.. Хай кобыла журится, у нее голова большая, а ну, иди и ты, дивчина, танцювать,— сказал он Гале и, дернув струны, запел:

Да спасибо тебе, мати,
Що умела дочку кохати...

Никита сбросил с себя кафтанишко, прошелся по хате кругом, кинулся вприсядку.

Бойко перебирал звонкие струны дед Остап.

Зеленого луга калина,
Честного роду дытына...

Оборвав песню, старик тряхнул седым чубом и, выпив меду, со вздохом сказал:

— Эх, да де ж вона, моя молодость, девалась?.. Чую: помирать скоро, а помирать неохота... Ой, и неохота ж! Так бы, кажись, век мед-горилку пил, плясал бы да дивчат гарных любил...

ГЛАВА XII

Отец Григория Банникова, крестьянин села Спасского, вотчины тамбовского архиерея, Прохор бежал на Старое поле лет десять тому назад. С тех пор жил в Ново-Айдарском городке.

Как и большинство новоприпилых на Дон людей, он немало потратил денег на магарычи и угощения старожилых казаков, прежде чем был принят ими равноправным членом казачьей общины.

Прохор Банников человек был тихий, смиренный, редко ходил в походы, занимался хозяйством: охотничал, ловил рыбу, разводил пчел. Очень тосковал по земле и сохе, да горе — казакам запрещалось сеять хлеб. Два старших брата Григория были такого же характера, как и отец. Их не привлекала разгульная казачья жизнь, полная подвигов и разбойной отваги. Они, так же, как и отец, больше отсиживались дома.

Но не таким уродился Григорий. Жизнь в дикой степи ему пришлась по сердцу. Ему шел только двадцать пятый год, а он считался уже бывалым казаком, проведшим около десятка лет в походах и битвах.

Почти мальчишкой он попал в Азовский поход. Вторым, вслед за Булавиным, вскочил он на шанцы турецкой крепости. Оба удостоились похвалы царя Петра. За удаль, находчивость и веселый характер полюбил его Кондрат. С тех пор, несмотря на большую разницу в возрасте, завязалась их крепкая, нерушимая дружба, и они не расставались. Когда Кондрат Булавин, после азовской кампании, был избран атаманом Бахмута и соляных промыслов, туда перебрался и Григорий Банников, став есаулом.

В последнее время привязанность Григория к Кондрату усилилась еще больше. Со всей страстностью своей неиспорченной, целомудренной души он полюбил дочку своего друга. Лихой рубака, человек вабалмошного, буйного характера, Григорий был в любовных делах робок до наивности. Свое чувство к дочери Кондрата он умел так глубоко скрывать, что едва ли о нем догадывалась и сама Галя.

На другой день после приезда с охоты Григорий поехал в Трехизбянский городок к Булавиным. Это было недалеко, верстах в пяти. Унылая желтеющая степь сталась необъятной махиной. Покойно лежали на ней голубые озерца и болота, курясь легкими струйками пара. В них, как в зеркальце, гляделось тихое, прохладное утро. Бойко бежала серебристая Айдарка, четко отражая в себе пышные, позолоченные осенью веера верб.

Григорий ехал медленно, мечтая о своем будущем. Оно, казалось ему, должно быть счастливым, радостным. Уж на тот год он обязательно посватает Галю. Они поженятся. Какая тогда будет жизнь чудесная!

И, как бы чувствуя это счастье совсем близко, Гришка радостно засмеялся. Хлестнув лошадь плетью, он стремительно поскакал.

— Ги-п!.. Ги-п!..— дурашливо загикал он, размахивая плетью. Вскоре Гришка, как ураган, влетел в городок, распугивая на улице кур и собак.

— А-а, Гришка! — встретил его на дворе Кондрат.— Добре, что приехал. Сейчас поедем в Бахмут. Ступай в курень, обожди, пока я коня оседлаю.

Гришка заметил, что Кондрат чем-то встревожен, но не стал его расспрашивать. Привязав лошадь к перилам крыльца, он вошел в дом.

Сидя за столом, беседуя с Натальей, он украдкой поглядывал на дверь в горницу. Он знал, что Галя сейчас сидит в горенке за каким-нибудь рукоделием. Ему очень хотелось ее увидеть. Он не видел ее уже несколько месяцев. Но Галя не появлялась, и Гришке от этого стало грустно.

«Не люб, не люб я ей, — думал он с тоскою. — Не хочет и взглянуть на меня».

Но он ошибся. Дверь из горенки со скрипом распахнулась, на пороге показалась Галя. Порозовев от смущения, она поклонилась Гришке, не сводившему с нее

восторженного взгляда. За это время, что он ее не видел, она еще больше похорошела, расцвела.

Конфузясь от присутствия Гришки, Галя спросила у матери:

— Мамуня, где батя?

— Копя седлает. А на что он тебе, донька?

— Надобно, — и, бросив на Григория лукавый взгляд, она снова ушла в горенку.

В курень вошел Кондрат.

— Поедем, Гришка.

— Поедем, — покорно поднялся тот и, взглянув на горенку, вздохнул.

— Батя, — послышался из горенки грудной голос Гали.

— Чего, донька? — спросил Кондрат.

И Гришке было приятно слышать, как в суровом голосе Кондрата появились ласковые нотки.

— Батя,— сказала Галя,— может, тебе доведется быть на бахмутском базаре, так ты не забудь, купи мне там ожерелье и верстки.

— Вот только и осталось мне это дело, — с раздражением сказал Кондрат. — Не до ожерелья зараз... Пошли, Гришка.

— Ты ж обещал, батя! — с обидой в голосе крикнула Галя.

Кондрат не ответил и вышел. Гришка обиделся на Кондрата за его грубый ответ дочери.

Молча вскочили казаки на лошадей и поскакали. Гришка даже и не знал, зачем они едут в Бахмут. Кондрат ему не сказал об этом, а он не посмел допытываться. Долго они ехали молча, погруженные каждый в свои мысли. Гришка думал о Гале. «Вот ужо куплю ей ожерелье да верстки,— вздыхал он,— тогда проведаю, люб я ей али нет».

Кондрат долго ехал суровый, замкнутый, не обращая никакого внимания на Гришку. Потом рассказал ему, что̀ понудило его выехать так внезапно в Бахмут.

Оттуда только что приезжал гонец, сообщивший, что из Воронежа в Бахмут приехал дьяк Горчаков. Дьяк, никому ничего не объясняя, сразу же приступил с изюмскими казаками к описи земель по речкам Бахмуту, Красной и Жеребцу. Бахмутские казаки и работные люди, занятые разработкой соли на промыслах, располо-

женных по этим речкам, почуяв в этой описи недоброе, встревожились и послали гонца за Булавиным.

— Как думаешь, Кондратий,— спросил Григорий,— зачем он приехал, этот дьяк-то?

— Изюмцы что-нибудь подстроили, антихристы...

На другой день они были в Бахмуте. Толпа казаков и работных людей возбужденно гудела у становой избы, дожидаясь приезда атамана. Завидев еще издали Булавина, казаки, поскидав шапки, повставали, приветствовали его:

— Здорово, атаман! Здоров был, Кондратий Афанасьевич!..

— Здорово, браты! — подскакал к ним Кондратий. — Что у вас тут приключилось? Сказывайте.

Толпа разразилась гневными выкриками:

— Забижают, Кондратий!.. Отымают у нас землю!.. Отбирают варницы!.. Хохлам отдают!.. Дьяка прислали!..

— Тише, браты! — поднял руку Кондрат. — Тише!.. Ничего не пойму... Где тот дьяк-то?

— На Красной речке с изюмцами землю мерит...

— Ведите его ко мне, браты.

— Зараз, атаман!.. Зараз!.. — послушно и охотно отозвались голоса.

Несколько человек, оседлав лошадей, поскакали за дьяком.

Вскоре в становую избу ввалилась злая, возбужденная толпа казаков, ведя высокого бритого человека.

— Вот он, проклятущий! — втолкнули они его к Кондрату.

Лицо дьяка было бледно, но спокойно и сурово.

— Не хотел, демон, ехать к тебе доброй волей, — пояснили казаки, — так мы его маленько потолкали да силком привезли.

Кондрат внимательно посмотрел на дьяка и спросил сдержанно:

— Кто таков? Отколь приехал?

— Царский слуга, — с достоинством ответил тот. — Дьяк Алексей Горчаков. А приехали мы из Воронежа по высочайшему повелению великого государя Петра Алексеевича...

— Зачем?

— По тому государеву указу велено нам переписать земли по речкам Бахмуту, Красной и Жеребцу.

— Для чего?

— Велено те угодия отписать Изюмскому полку.

Кондрат скрипнул зубами, ожег дьяка спиреным взглядом.

— А соляные варницы?

— А варницы отписаны на государя. Ведать теми варницами отныне будет Семеновская канцелярия.

Существовала государственная монополия на соль. Обширные преобразования, а в особенности война, требовали огромных средств. Соляной монополии, как источнику государственных доходов, придавали большое значение. Ее и стали теперь вводить на Дону. Соляные варницы, сосредоточенные главным образом в Бахмутском районе, были войсковой собственностью. Существовали также небольшие соляные промыслы отдельных домовитых казаков.

— Ха, — недобро усмехнулся Кондрат. — А наши новопоселенные городки, — спросил он, — что по тем речкам, куда девать будете?

— Те городки велено Изюмскому полку снесть... уничтожить...

Кондрат побагровел от гнева.

— Снесть, уничтожить? — сдерживая себя, сказал он. — Да вы их нам строили?... Что молчишь-то?

Дьяк пожал плечами.

— Да ведь я тут ни при чем. Что приказывают, то и выполняю... На то есть царев указ...

— Царев указ... А людей куда будете девать с тех городков?

— Всех жилецких людишек приказано выслать на прежние их места, кто откуда пришел...

— Ух ты! — Булавин ударил кулаком по столу. — Посадите его, браты, под караул! — приказал он казакам. — А потом поглядим.

Десятки рук с готовностью схватили дьяка и потащили его из избы. Кондрат гневно окинул взглядом оставшихся в избе казаков.

— Уходите отсюда все до единого!

Казаки молча вышли на улицу.

— Ложись спать, Григорий!

Гришка, зная, что Кондрат в гневе не скуп и на кулаки, не стал возражать и покорно улегся на топчан, закрыл глаза, хоть спать ему не хотелось.

Кондрат сел на скамью, облокотившись о стол, задумался.

Уже несколько лет подряд велась ожесточенная борьба между Донским войском и Изюмским полком из-за спорных земель. Бахмут-городок много раз переходил из рук в руки. Не раз разрушался до основания, не раз переносился с места на место. Теперь в их борьбу вмешался сам царь и стал на сторону изюмцев. Их донские земли отдал изюмцам, а солеварни отбирает в казну. Донское войско теперь лишалось большой выгоды. Ведь они, домовитые казаки, вели широкую торговлю солью, богатели от этого, а теперь будет богатеть казна. Да и он сам, Кондрат, ущемлен сильно. Теперь не быть ему атаманом соляных промыслов, не властвовать над солеварами.

«Не иначе, — думает Булавин, — все это подстроили бояре. Они, проклятые, натолкнули царя на такой шаг. Можно ли это терпеть? Да ведь если так поддаться, то, за недолгим станет, бояре и совсем нам на шею сядут».

До рассвета Кондрат с разгоряченной головой сидел в избе, обдумывал создавшееся положение.

— Нет! — хлопнул он кулаком по столу и встал. — Мы еще потягаемся. Поглядим, чья возьмет... Гришка, вставай! — разбудил он сладко спавшего Григория. — Пойди приведи дьяка.

...Дьяк стоял перед Булавиным позеленевший, осунувшийся. Он знал казачьи нравы и провел страшную ночь, готовясь к наихудшему.

— Горчак, — сказал спокойно Кондрат, — извиняй, что я погорячился. Но ты должон разуметь, что встревожил наши сердца...

— А я разумею, — кивнул головой дьяк. — Для вас кровное дело отстоять свои земли...

— Горчак, — продолжал Кондрат, — я тебе зла делать не буду... Но по своей охоте приехал ты наши земли да варницы отбирать. Бояре тебя на это дело послали.

— Это указ самого государя, — возразил дьяк.

— Знаю я, — крикнул Кондрат, — бояре натравили царя на нас!

Дьяк промолчал.

— Езжай, Горчак, к себе подобру-поздорову... Лиха тебе никто не сделает... Скажи своим боярам-лихоимцам, что бахмутский, мол, атаман Кондратий Булавин ска-

вал крепко-накрепко, что, покуда он, мол, жив, Бахмут-городка и солеварниц он, мол, не отдаст... Понял? Не отдам!.. Езжай с богом!..

Дьяк поклонился Кондрату и, повеселевший оттого, что остался жив, проговорил:

— Порасскажу, атаманушка, я все своим начальным людям, но...

— Что «но»? — нахмурился Кондрат.

— Послушай, что скажу... Зря ты затеваешь это дело... Отступись, по-доброму отдай землю и варницы... Солеварни государственными будут. Казна ими владеть будет. Сил у тебя не хватит их отстоять... Сокрушат, сомнут тебя... Зря пропадешь...

— Не отступлюсь! — оборвал Кондрат. — За правду готов умереть.

— Ну, гляди. Я тебя от доброго сердца хотел упредить, а там как знаешь, дело твое... Прощай!

ГЛАВА XIII

Солнце медленно всходило, и длинные темно-лиловые тени ложились на кривых московских улицах.

Столица оживала. У резных тесовых ворот, с причудливыми коньками и петушками наверху, заскрипели ржавые засовы. Бабы, стуча деревянными бадьями, побежали к колодцам. У распивочной избы уже толпились ранние посетители. Кабак был еще закрыт, и кабачные завсегдатаи поглядывали на дверь, с нетерпением ожидая, когда она гостеприимно распахнется.

Дробно забил барабан. Под его бой, ладно отстукивая толстыми подошвами по пыльной, прибитой дороге, прошел взвод семеновцев с ночного караула.

Царь Петр, стоя у распахнутого оконца, в короткой ночной рубашке и грубом колпаке, зевая, смотрел на просыпавшуюся Москву.

Полюбовавшись выправкой солдат — плодом своей долголетней работы, Петр отметил, что солдатский барабан стучал глухо, у него нужно сменить кожу.

Приехав в Москву вчера поздно вечером, Петр не отправился в Кремль, как это он делал обычно, а остановился в просторном доме своего любимца, денщика Нартова.

— Пирожки с калиной!.. Пирожки с калиной!.. Горячие, свежие! — тоненько прокричал, промелькнув мимо окна мальчишка с лотком на голове.

Царь любил пирожки с калиной.

— Эй, малый! — высунулся он в окно.

Босоногий вихрастый мальчишка обернулся и, увидев царя, обомлел от ужаса.

Заметив его испуг, Петр усмехнулся:

— Чего испугался? Поди-ка сюда, малый. Не бойся... Ты знаешь меня?

— Знаю, царь-батюшка,— пропищал мальчишка.— Видывал тебя, как ты с солдатами учения проводил...

— Гм... молодец! А пирожки-то у тебя хорошие, а?

— Ох, и хорошие же, царь-батюшка! — восхищенно воскликнул мальчишка. — Сладкие, пальчики оближешь...

— А не врешь? — засмеялся царь.

— Вот те господь, сладкие! — закрестился мальчишка. — Вот отведай!

Он набрал в обе руки румяных, дымящихся паром пирожков и протянул царю. Петр взял пирожок и откусил.

— Правда, хорошие, — сказал он, жуя. — Молодец, парень, не обманываешь.

Он взял еще пару пирожков и, бросив расцветшему от похвалы мальчишке пятак, стал есть, задумчиво смотря на улицу.

По улице шла женщина с страдальческим лицом, держа тряпицу у правой щеки.

— Эй, женка! — крикнул Петр. — Подь сюда!

Женщина проворно подошла к окну и, узнав царя, упала в испуге на колени. Петр недовольно фыркнул.

— Встань, глупая! Ай тебе не ведомо, что приказал я не кланяться мне земно? Встань... Кто ты такая?

— Стрельчиха я вдовая, милостивый государь, горемыка несчастная.

Царь нахмурился.

— Уж не бунтовал ли твой муж супротив меня? — строго спросил он.

— Нет, милостивец, мой муж был честный стрелец... В бунтах не замешанный... Федькой Красновым прозывался он. Может, знаешь, милостивец...

— Своей ли он смертью помер? — подозрительно допрашивал Петр. — Может, я казни его предал? Говори правду, женка, не то велю кнутом высечь.

— Нет, батюшка родимый, — в страхе замотала головой женщина. — Что ты, не приведи господь! Убитый он, как Азов-город забирали.

— Ну, ладно,— смягчился Петр.— Верю... Никак, у тебя зубы болят?

На лице стрельчихи отразился ужас. Она уже давно прослышала о том, что царь любит зубы дергать. По Москве ходил зловещий слух, что царь вооружался раскаленными щипцами и, как бес в преисподней, мучил свои жертвы, дергая зубы у больных.

— Нет... милостивец... н...нет! — жалобно завопила она. — Не болят. Ей-богу, не болят...

— Не ври! — сурово оборвал ее причитания царь. — Вижу, что болят. Иди, вырву. Иди, дура! — прикрикнул он на нее грозно, видя, что она не двигается с места.— Трофим! — закричал он солдату, стоявшему у ворот. — Пропусти бабу!

Из глаз стрельчихи покатились слезы. Ослушаться приказа государя она не могла. Перекрестившись на восток, с видом приговоренной к смерти, она направилась в ворота.

* * *

К воротам подкатила щегольская французская карета, запряженная шестеркой серых, в крупных яблоках, лошадей. Из кареты легко выскочил Петр Павлович Шафиров — тайный секретарь Посольского приказа *, ведавшего сношениями с иностранными государствами. Он был одет в красивый, голубого сукна, парадный кафтан, расшитый золотыми позументами, в шитых шелковых чулках и туфлях с большими бантами. Под мышкой у него был объемистый сафьяновый портфель с бумагами.

Заслышав пронзительные крики, доносившиеся из дома, Шафиров нерешительно остановился и с недоумением посмотрел на окно.

— Что это там? — спросил он у солдата.

— Царь Петр Алексеевич женку там одну лечит,— ухмыльнулся солдат.— Зубы дергает... А она, нет чтобы благодарить государя, вишь как воет-то... Как все едино собака на погосте...

...Он, наш благодетель, все старается облегчение народу сделать... Это надобно понимать... Намедни приехал

государь на Ингрии,— начал словоохотливо рассказывать солдат,— идет это он, а я на часах стою. «Здорово, говорит, Трофим!» Я, как полагается по воинскому артикулу, взял ружье на караул и отвечаю: «Здравия желаю, ваше величество!» — «Дурак, говорит, чему тебя учат в роте? Не ваше величество, говорит, а господин бомбардир».

Глянул это он на меня да и вопрошает: «Что это у тебя, Трофим, за нечисть такая на лбу завелась?» — «Чирий, говорю, господин бомбардир».— «Какой же ты есть такой солдат, ежели всякую нечисть у себя на лбу разводишь? Пойдем сейчас же, вылечу тебя. Это у тебя кровь порченая выступает, надо ее спустить». Пришел я с царем в его хоромы. «Раздевайся, говорит, Трофим, догола».— «Как, господин бомбардир, догола? Да нешто мне, моя, солдату расейскому, дозволительно в хоромах царских голому быть? Уволь, господин бомбардир, от такого сраму». А он еще пуще на меня кричит: «Раздевайся!» Ну, что ж, пришлось раздеваться, остался я в чем мать родила. Положил меня царь на пол да как припустит к моему телу белому с полсотни пиявок... Ух ты, и злому лиходею своему не пожелаю... Облапили они, проклятые, со всех сторон меня пьют, сосут мою кровушку злосчастную, как упыри нечистые... Чую я, что вся моя кровушка поизошла. А все же помог мне Петр Алексеевич, дай ему бог доброго здоровья. С той поры ни одного чирья нет у меня...

Между тем из распахнутого окошка слышались жалобные крики:

— Ой, царь-батюшка!.. Отпусти ты меня, окаянную... Отпусти... Не мучь! Моченьки моей нет терпеть... Ой смертушка моя!..

— Подожди, женка,— гудел голос царя.— Сейчас я его подцеплю... Сейчас... Потерпи... Вот!.. Держись...

Баба взвизгнула дурным голосом, потом тоненько заголосила, как побитый щенок.

— Ну вот,— донесся радостный голос Петра.— А ты орала. Гляди, какой зуб-то, корень преогромный зело.

— Батюшка-милостивец, — всхлипнула стрельчиха,— так ты зуб-то выдернул здоровый...

— Как здоровый? — озадаченно спросил Петр.— Ты ж говорила — больной.

— Нет, батюшка,— плакала женщина.— Ты выдернул зуб здоровый, а больной-то остался...

— Вот чертова баба,— вспылил царь.— Что ж ты сразу-то не сказала, что я тебе здоровый зуб дергаю?.. Раскрывай шире рот, сейчас выдеру большой...

— Батюшка родимый,— рыдала стрельчиха.— Отпусти ты мою душу на покаяние... Смертушка моя подходит... Отрубн мне голову, не мучь...

— Молчи, дура! — гремел разгневанно Петр.— Раскрывай рот!

— Не дамся, батюшка!.. Не дамся, хоть убей!..

Шафиров, то прислушиваясь к рассказу солдата, то к диким взвываниям бабы, растерянно поглядывал на свой портфель, не зная, как быть: то ли ждать, когда царь закончит вырывать у бабы зуб, то ли возвращаться в Посольский приказ. Между тем повидать царя было крайне необходимо — дела важные.

Карьера Шафирова, как и многих других петровских сановников, была ошеломляющей. Крещеный еврей, родом не то из Литвы, не то из Польши, он совсем еще недавно был приказчиком в лавке московского купца-суконщика. Как-то Петр случайно зашел в лавку и увидел Шафирова. Ухватка и расторопность, с которой Шафиров отмерял покупателям сукно, а главное — его остроумные прибаутки очень понравились царю, и судьба Шафирова сразу же была предопределена. Петр назначил его секретарем к канцлеру Головину. Царь редко ошибался в людях. Не ошибся он и в Шафирове, который оказался на редкость работоспособным, незаменимым работником. По существу, Шафиров ведал всеми сношениями с иностранными государствами и вел эту работу блестяще. Впоследствии он стал вице-канцлером.

Увидев Шафирова, Петр, потный, красный, высунулся в окно.

— Петрушка! — закричал он ему.— Заходи...

Шафиров кинулся на зов царя. Когда он вбежал в комнату, его глазам представилась такая картина: толстая, жирная баба сидела на табурете посреди комнаты взлохмаченная, простоволосая, заливаясь слезами и испуская душераздирающие крики. Царь в ночном белье, в колпаке, со спущенными на грубые башмаки чулками, оголявшими его мускулистые икры, вспотевший и багровый, озабоченно, с зубными щипцами в руках, бегал вокруг нее.

— Вот, Петрушка,— растерянно улыбнулся он Шафирову.— Связался — и сам не рад. Хотел человеку облегче-

ние сделать... Не реви, дура! — сердито прикрикнул он на стрельчиху.— Раскрывай шире рот. Держи ее, Петрушка.

Шафиров обхватил жирное, потное тело бабы. Петр, заглядывая ей в рот, нацелился щипцами, ухватился за зуб.

— Этот?

— А-а...— жалобно промычала баба.

Царь с силой рванул. Во рту стрельчихи что-то хрустнуло. Она взвыла.

— Никак, сломался? — поинтересовался Шафиров.

— Нет,— торжествующе воскликнул царь, показывая зажатый щипцами окровавленный зуб,— целый.

Петр облегченно вздохнул, вытер рукавом пот со лба и миролюбиво сказал стрельчихе:

— Теперь иди, женка... Знатно помучила ты меня... На тебе рупь. Купи шалфею да полощи рот.

— Спасет тебя Христос, батюшка-милостивец,— поясно поклонилась стрельчиха. И, обрадованная тем, что ее мучения наконец окончились, выбежала из комнаты.

Петр, наклонившись над тазом, мыл руки. Взглянув на Шафирова, он быстро спросил:

— Ты что, Петрушка, с новостями, что ли, ко мне, а? Рассказывай.

— Августа * с престола низложили.

— Низложили? — изумился царь.— Кто ж это его?

— Сейм по приказу Карла *.

— Ах ты, черт! — выругался Петр.— Кого ж метят на престол? Не Станислава ли Лещинского?

— Его.

Эта новость сильно поразила царя. Со свержением Августа рушились планы Петра, которые так хорошо были продуманы им. Во время заграничного путешествия, при виде тех преимуществ, которые имели морские державы, Петр твердо решил вернуть России исконные русские земли Прибалтики — отвоевать у Швеции на северо-западе хотя бы часть морского побережья, от устья Нарвы до устья Сестры. Там до сих пор находились города с русскими названиями: Корела, Орешек, Ладога, Копорье, Ям, Ивангород... В 1616 году царь Михаил Федорович, воюя со шведским королем Густавом-Адольфом, вынужден был покинуть эту часть морского берега, чтобы отстоять Новгород.

Петр решил отвоевать эту прибрежную полосу, про-

рубить выход к морю, обосновать порт на море, распахнуть окно в Европу.

Но напасть на Швецию в одиночку Петр не решался — силы русских были еще слабы. Он стал искать союзников. Он знал, что Польша также имела притязания к Швеции и требовала возврата некогда принадлежавших Речи Посполитой территорий, захваченных Швецией. Петр встретился в Раве с саксонским и польским королем Августом II, чтобы договориться с ним о союзе.

Такой же рослый, как и Петр, красивый, ловкий, веселый, Август понравился русскому царю.

Первое свое знакомство оба монарха ознаменовали четырехдневным кутежом. Во время кутежа, чтобы похвастаться перед Петром, Август показал свое искусство в стрельбе из пушки. Стрелял он метко. Петр тогда еще не имел этой сноровки, самолюбие его было задето, и он дал себе слово во что бы то ни стало так научиться стрелять, чтобы при следующем свидании с Августом выйти победителем при состязании. Он впоследствии этого и достиг.

Август вздумал было еще поразить гостя непомерной физической силой. Под предлогом, что серебряная тарелка, лежавшая перед ним на столе, была не чиста, он свернул ее в трубку, как лист бумаги, и швырнул за спину. Но этим он русского царя не удивил. Петр заявил, что и его тарелка не чиста, и так же легко свернул и бросил ее. Уязвленный Август схватил тогда со стола серебряное блюдо и, с трудом свернув его, швырнул под стол. Петр и тут не отстал от него. Такая участь могла бы грозить всей сервировке, если б царь Петр не остановился первый.

— Что тарелки? — сказал он.— Это чепуха. Вот как бы нам ухитриться свернуть так шпагу шведского короля.

С этого и начались их переговоры о союзе против Швеции. Среди пиршества и забав Петр сумел договориться с Августом о совместном походе против могущественной Швеции. Третьей союзницей была привлечена Дания, имевшая также счеты со Швецией.

Король Швеции, Карл XII, был сильный противник. Он был еще молод, на десять лет моложе Петра, но считался искусным, непобедимым полководцем. В шестнадцать лет он один на один ходил на медведя, в восемнадцать был солдатом-полководцем, бредил славой, сражениями. Карл XII восторгался былыми рыцарями, особой

породой людей, характерной для Центральной Европы средневековья. Это была жестокая рать воителей, предававших Германию и Италию огню и мечу, шедших с поднятым мечом от города к городу, от селения к селению, неся с собой смерть и разрушения. Сражались они без страха, пощады не знали, жили для войны и войной. Всю свою жизнь проводили в походах, в них и старели и умирали, покрытые ранами, с руками, обагренными потоками крови.

Петр хорошо понимал, насколько была трудна война со Швецией. Война эта началась неудачно для России. Русская армия была разбита Карлом XII под Нарвой. Поражение было полное. Рушились военные планы Петра, разлетались в прах мечты о выходе России к Балтийскому морю, об укреплении Русского государства.

Но натура Петра была крепкая, выносливая, он недолго предавался унынию, быстро овладел собою.

Взамен погибшей под Нарвой армии Петр в короткий срок выставил новую, вдвое сильнее и организованнее.

Радовавшаяся его поражению под Нарвой Западная Европа теперь, как на чудо, смотрела на русский народ. Поражение под Нарвой отошло в прошлое, забытое и почти неправдоподобное. Появилась могущественная русская армия — будущая победительница под Полтавой.

Двадцать девятого декабря 1701 года главнокомандующий русской армией Шереметев одержал первую победу над шведским генералом Шлиппенбахом при Эрестфере. Восемнадцатого июля 1702 года войска Шереметева в ожесточенных сражениях одержали новую победу над армией Шлиппенбаха. Потом русскими был взят Вольмар, затем Мариенбург, Нотебург, Ниеншанц...

Но самонадеянного Карла XII эти победы русских мало беспокоили. По поводу основания на завоеванной территории в 1703 году будущей новой столицы России — Санкт-Петербурга — он сказал:

— Пусть русские основывают новые города, тем больше их будет для моих завоеваний.

Карл со своей армией опустошал Польшу и Саксонию, с русскими воевали лишь его небольшие разрозненные отряды. Карл хотел быстро покончить с союзниками России, а потом всей силой обрушиться на нее и одним ударом покончить с русскими.

Известие о низложении Августа, сообщенное Шафировым, сильно обеспокоило Петра.

— У-у-у,— негодовал он,— мерзавцы!

Шафиров со страхом смотрел на царя. Он боялся, как бы с государем не приключился припадок. Петр страдал этим недугом еще с детства.

Петр остановился у окна и закрыл лицо руками. С минуту он стоял так, потом отнял руки, мутно, но спокойно взглянул на Шафирова. Тот облегченно вздохнул, поняв, что припадка не будет.

— Бедовый этот Карлушка, черт,— сказал Петр.— Зело бедовый... Умеет воевать. Поучиться у него есть чему. Расправится с Августом-дураком и, собрав силы, неминуемо пойдет на нас. Что будем делать, Петрушка, а? Устоим ли?..

— Устоим, Петр Алексеевич,— уверенно сказал Шафиров.

— Почему так думаешь?

— Верю в тебя, государь.

Петр не сразу ответил. Помолчав, он сказал:

— Сам я, Петрушка, знаю свои силы и верю в них, верю в свою армию. Но Карлушка — дьявол, с ним бороться трудно... Все же мы победим! Победим, Шафиров!

Петр сел за стол.

— Садись, Павлович, да рассказывай мне подробно о сем деле, как Августа-то погнали с престола. Надобно подумать, как ему защиту дать...

Подсев к царю, Шафиров начал подробно докладывать о событиях в Польше.

ГЛАВА XIV

У Митьки Туляя родился сын.

Радостное чувство наполняло его: в курене рос сын — казак. Когда ребенку исполнилось сорок дней, Митька попросил у соседа жеребца. Вынув сына из люльки, он посадил его на коня и приладил сбоку саблю.

— Матрена,— сказал он торжественно турчанке,— веди жеребца к часовне.

Турчанка взялась за чумбур и повела лошадь. Митька с гордостью держал в своей огромной руке над конем нежное розовое тельце ребенка. Жеребец танцевал, ребенок надрывался в плаче. Казаки, выглядывая из куреней, одо-

брительно кивали Митьке. Митька ухмылялся, довольный. Беглый поп отслужил молебен в часовне в честь великомученика Иоанна-воина, прося святого сделать Митькиного сына настоящим воином, добрым казаком. Привезя сына домой, Митька, как полагается по казацкому обычаю, подстриг ему волосы в кружок. Передав ребенка матери, низко поклонился ей.

— Ну, с казаком тебя, Матрена.

Пришли казаки поздравлять, принесли сыну подарки: порох, стрелы, лук, саблю.

Митька расчувствовался до слез, побежал в кабак, принес жбан вина. Отгуляли посвящение сына в казаки, и зажил Митька счастливой семейной жизнью.

Однажды он, сидя на скамье и чиня каганы, ухмыляясь глядел, как сын ловит ручонками воздух. Мимо окон, по улице, с криками промчались конные. Митька выбежал во двор узнать, что случилось.

От куреня к куреню метались вооруженные казаки.

— Браты! — возбужденно кричали они.— Атаманы-молодцы!.. Воинство! На круг!.. На круг!..

Схватив зипунишко, Митька побежал на майдан. Там уже толпились вооруженные станичники. Прибывшие казаки Беляевского и Григорьевского городков взволнованно рассказывали о причине, заставившей их приехать в Пристанский городок.

Огромные массивы земли, лугов и лесов, которыми испстари пользовались казаки Пристанского, Григорьевского и Беляевского городков, были отданы тамбовскому епископу Игнатию. Казаки не хотели признавать нового хозяина и по-прежнему рубили в епископских владениях лес, выдирали мед, били зверя, ловили в озерах рыбу, косили на лугах сено. Между ними и епископом происходили из-за этого бесконечные споры и тяжбы. Никакие угрозы властей не могли сломить упорство казаков. В конце концов епископу надоела тяжба с казаками, и он отказался от этой вотчины. Она была отписана на царя и отдана Семеновской канцелярией богатому купцу Ивану Анкудинову на оброк.

Анкудинов, энергичный человек, хотел сразу же подавить упрямство казаков и заставить их признать его хозяином спорных угодий. Он расставил по лугам, лесам и озерам вооруженных сторожей, приказав им не пускать казаков.

Эти меры вызвали возмущение жителей Беляевского и Григорьевского городков. Вооружившись, они прискакали в Пристанский городок.

— В поход, братцы!. В поход! — гневно кричали они.— Разве можно терпеть такую обиду?..

Пристанские казаки согласились с их доводами — действительно, такой обиды терпеть никак нельзя. Наскоро выбрав походным атаманом Ерофея Шуваева, есаулом — беляевского казака Егора Борисова, а бунчужным — Леонтия Крашенина из Григорьевского городка, казаки шумно двинулись в поход — отбивать свои земли и леса у Ивана Анкудинова.

Митька Туляй, захватив из дому рогатину, с толпой безлошадных казаков побежал вслед за конными.

Разгневанной волной окатили казаки деревню Русская Поляна.

— На круг!.. На круг!..— вопили они, выгоняя мужиков на площадь.

Когда испуганные мужики были собраны, есаул Егор Борисов крикнул:

— Послуха-ай, честная станица!.. Послухай, атаман трухменку гнет!..

На площади все притихло, и в наступившей тишине атаман Шуваев, сняв шапку, зычно закричал:

— А ну, послухайте меня, атаманы-молодцы, и вы, честные православные крестьяне!.. Спокон веков все то земли и угодья, что лежат от рощ Перекатного истока до Черного яра, были нашими, казачьими... И все сенные покосы по речкам Волжанке и по Севиле и по всем падучим речкам тож были нашими, казачьими... И от Переволного ерика до Ореховского тож наши, казачьи. И ваша деревня выстроилась тож на нашей, казачьей земле, на нашей...

— На нашей!.. На нашей!..— как эхо, вторили казаки.

— Вечно мы, казаки, теми угодьями кормились! — кричал до хрипоты Шуваев.— Не отдадим мы своих земель никому! Не отдадим!..

— Не отдадим!..— грозно подхватывали казаки.

— Вот у нас войсковая грамота,— вынув из-за пазухи, потряс бумагой походный атаман,— владеть теми угодьями. Вот она!.. А вы, добрые люди, чтоб было по-мирному да по-хорошему, уходите отсюда подобру... Забирайте свои пожитки да детишек и уходите.

— Уходите!.. Уходите!..— кричали разгневанные казаки.

Побледневшие, растерянные мужики жались друг к другу, боязливо косились на казаков, молчали.

К атаману подошел высокий седой старик. Низко поклонившись Шуваеву, спокойно сказал:

— Дозволь, атаман, слово молвить.

— Гутарь, дед.

— Не обессудьте, казаки-атаманы, ежели что не так скажу... Я тутошний староста, к примеру сказать, начальный человек... Людишки мы мелкие, царевы холопы, без его, царева, указа не смеем в ослушание пойти. Коль будет на то царев указ, уйдем с ваших земель, не будет — не уйдем. Хоть побейте нас всех до смерти, не уйдем.

Мужики ободрились, упрямо загалдели:

— Не уйдем без царева указа!

— Не уйдем!..

— Куда нам с ребятишками итить?..

— Так вы что ж,— свирепо заорал Шуваев,— не хотите чиниться войсковой грамоте?.. На ж тебе, старый кобель! — с яростью ожег он старика плетью.

— Атаман... Атаман...— всхлипывая от обиды, сказал староста.— За что ты меня, мужика-то, бьешь?.. Ай креста на тебе нету?.. Ай вы басурмане?.. Поезжайте вон в Коренную вотчину к самому Анкудинову, его и бейте... С ним и речь ведите. Он ведь хозяин...

Ерофей Шуваев понял, что ничего не добьется от мужиков.

— Браты! — крикнул он казакам.— Поехали в Коренную к Ваньке Анкудинову. Мы его, сатану, в воду кинем, ежели он не возвернет нам наших земель.

До Коренного городка всего четыре версты. Мгновенно доскакали до него казаки. Анкудинов, предупрежденный о налете казаков, заперся в городке.

— Ванька!.. Анкудинов! — заорал Шуваев, подъехав к воротам.— Выходь по добру к нам. Бить не будем, по-мирному погутарим... А ежели не выйдешь, городок сожгем, а тебя на крюк за бок повесим.

Угроза подействовала, ворота распахнулись, и из них вышел рослый, плотный пожилой человек в черном длинном кафтане. Не спеша, с достоинством он подошел к казакам. Лицо его было бледно, но спокойно.

— Я Иван Анкудинов. Чего звали?

— Вот что,— резко сказал Шуваев,— давай с тобой погутарим по-мирному. Не по закону владеешь ты нашими угодьями.

И Шуваев сообщил ему требование казаков — чтобы он выселил мужиков с казачьих земель, снял стражу и отдал казакам все земли и леса, которые по праву принадлежат им.

— Вот,— снова вытащил из-за пазухи бумагу Шуваев и сунул Анкудинову,— войсковая грамота на те угодья.

Анкудинов не умел читать. Повертев в руках бумагу, он вернул ее Шуваеву.

— Что мне ваша грамота? — сказал он спокойно.— Для меня и для вас превыше всего на свете должна быть грамота царская... Царевой воле никто перечить не может! — строго возвысил он голос.— Я исполняю государеву волю. Коль у вас на то есть право, забирайте вотчину. А я буду отписывать великому государю о воровстве * вашем... Царь воров и ослушников не милует...

— Ванька,— повысил голос Шуваев,— ежели миром не хочешь, худо будет. Ей-богу, худо! Тогда не пеняй...

— Не могу ослушаться царской воли.

— Ванька, пожгем, пограбим!

— Сила ваша, что поделаешь,— пожал плечами Анкудинов.

Шуваев побагровел от ярости.

— Грабь, браты! — взвизгнул он и, стегнув плетью лошадь, чуть не сбив с ног Анкудинова, ураганом влетел в ворота городка.

За ним с воем и гиканьем помчались казаки. Побросав лошадей на улице, они хлынули в хоромы Анкудинова, вытаскивая из них что под руку попало.

У Анкудинова много было припасено ружей, пороху, свинца, много летней и зимней одежды, конской сбруи, посуды и запасов всяких.

На глазах Анкудинова казаки растащили все его добро и подожгли хоромы.

— Говорил, давай добром,— сказал ему с укоризной Шуваев,— не хотел... Теперь пеняй на себя.

Анкудинов вздохнул и отвернулся. Сгорбившись, пошел в степь.

— Михалыч, куда? — окликнула его плачущая жена.

Анкудинов молча махнул рукой. Старуха, постояв, пошла вслед за ним.

Митька прибежал с пешими казаками уже тогда, когда хоромы догорали. Завистливыми глазами окинул он казачьих лошадей с вьюками, набитыми анкудиновским добром, возмутился.

— Это что ж такое, браты? — разобиженно закричал он.— Ежели вы на конях, так вам и все добро, что ль? Разве это по-православному?.. Где ж ваша совесть?.. Ежели мы пешие, так нам и ничего?.. Да ежели б мы были на конях, так мы, может, впереди вас были б тут... Нет, так не гоже. Не гоже, браты! Дуванить добро!.. Дуванить!..

— Истинный бог, дуванить! — дружно подхватили бесконные казаки, которым так же, как и Митьке, не досталось ничего пограбить.— Дуванить!

Походный атаман Шуваев поддержал бесконных казаков.

— Надобно, казаки, по-справедливому,— сказал он внушительно.— Все мы — и пешие, и конные — наравне походом шли, все поровну и должны дуванить добытое.

Слово походного атамана — закон для всех. Власть его в походе не ограничена. Он волен даже казнить любого провинившегося казака. Все его приказания выполняются беспрекословно.

Выехав за городок, казаки каждому поровну раздували добро. Митьке досталось ружье, рог пороху, мешочек пуль да добрый кафтан с рубахой и портками. Митька ликовал. Огорчало лишь его то, что не добыл он себе коня.

На обратном пути казаки вытоптали анкудиновский хлеб, подожгли его лес, у сторожей поотбирали оружие и лошадей. Одну, с седлом, дали Митьке.

Возвращались в свои городки уже ночью. На южной стороне неба, казалось, занималась зарница. Чей-то равнодушный голос сказал:

— Луна встает.

Второй голос встревоженно ответил:

— Нет, это не луна... Луна на той стороне всходит.

— Что ж это?

— Кто ее знает.

Красное зарево разливалось все больше по темному небу.

Ехали молча, беспокойно и тревожно вглядываясь в багровую полосу на небе. Лошади шли шагом. В мрачной тишине четко отстукивали копыта, на всадниках бряцало

оружие. Зарево вдруг вспыхнуло ярче. Огненные языки лизнули небо.

— Пожар! — вскрикнул кто-то.

Митька содрогнулся. Сердце его болезненно сжалось. А может, горит его курень? А может, там, в пламени, корчится в предсмертных судорогах его сын? Митька гикнул, лошадь рванулась и ошалело помчалась по рытвинам и ухабам дороги к городку.

Митька мчался сломя голову. За ним, как тени, не отставали казаки.

Из-за черной каймы рощи перед взором всплыло пылающее небо с рыжими, густыми клубами дыма. Кровавые отблески падали на дорогу, на деревья. Словно залитые кровью, стремительно вскочили казаки в пустой пылающий городок.

Митька мчался к своему куреню, но он уже догорал. От развалин, лениво, клубясь, медленно поднимался дым. В воздухе носились хлопья гари.

Соскочив с лошади, Митька бросился к пожарищу, принялся раскидывать бревна. Он что-то долго искал, старательно разгребая палкой головешки.

Настало утро, он продолжал искать. Внезапно из груди его вырвался страшный, звериный крик. На суку сохи, которую он сам врыл, чтобы вешать бадью, с раздробленным черепом висел его сын.

Митька упал на колени перед обезображенным трупиком и, не спуская с него широко открытых глаз, глухо стонал. Он не слышал, как сзади подъехал всадник и окликнул его. Он не видел, как этот всадник слез с лошади и подошел к нему. Постояв над Митькой, он покачал укоризненно головой и снял с сука мертвого ребенка.

— Сын... сын...— затрясся в рыданиях Митька, протягивая руки.

— Что ты, Митрий, как все едино баба раскис... Ты ж казак!

Митька, как подстегнутый, вскочил, замолк.

— Лунька! Хохлач! Кто? — указал он на трупик.

— Калмыки! — печально сказал Лунька.— Они это злодейство учинили... Я их повстречал у Урюпинского городка... Несутся, дьяволы, как саранча, ордою по казачьим городкам и грабят, жгут, казаков убивают, а молодых баб да девок в полон берут...

И Хохлач рассказал Митьке, что отряд калмыков под

начальством Чемоть-тайши * и Четерь-тайши по приказу царя Петра был направлен в Польшу на войну со шведами, по дорогой взбунтовался, не захотел идти. Возвращаясь к себе в степи, калмыки на пути громят казачьи городки, вспоминая свои старые обиды на казаков.

Выкопав могилку, Митька с Лунькой похоронили ребенка и, вскочив на лошадей, помчались к майдану.

Что сталось с турчанкой, с Матреной, никто не знал. Видимо, попала в полон.

Теперь, когда уже рассвело, казаки увидели на месте веселых куреней мрачные груды дымящихся, обугленных развалин. Согбенные, почерневшие от копоти люди ходили с палками по пепелищу, разгребали тлеющие угольях, что-то выискивали.

На майдане, потрясая оружием, взволнованно кричали казаки. Они собирались в погоню за врагом.

Из становой избы, которая в числе немногих куреней уцелела от пожара, атаман Ерофей Шуваев вынес хорунок.

— На,— подал он хорунок Митьке.— Атаманы-молодцы, вы не супротив того, чтобы Митька был хорунжим? Казак он добрый.

— В добрый час! — закричали казаки.— Пусть Митька будет хорунжим! *

— А теперь, браты,— со слезами на глазах крикнул Шуваев,— все в поход, отомстим обидчикам! Отомстим им, басурманам, за кровь наших детей, братьев и отцов! А может, поспеем и наших женушек и дочерей из поганых рук вырвем.

— Отомстим! — потрясая саблями, разгневанно закричали казаки.— Отомстим!

Шуваев снял шапку, перекрестился. Поскидав шапки, закрестились и казаки.

— С богом, браты! — сказал Шуваев, вскакивая в седло.

— С богом, атаман! — откликнулись казаки.— С богом, браты!..

ГЛАВА XV

От царя Петра пришел на Дон указ снарядить еще один отряд казаков на войну со шведами.

Атаман Максимов заохал:

— Боже ты мой, да где ж я столько казаков-то набе-

ру? Уж сколько полков мы проводили на войну, и все царю мало... Уж пусть царь не прогневается, нет у меня более казаков. Так, пожалуй, он всех нас переведет... Останется Дон без казаков...

Атаманша Варвара, первая советчица мужа в его делах, рассудительно сказала:

— Нет, Луня, так не можно говорить. Ведь царь-то с ворогами воюет. Ему нужна большая помощь. Не пошлешь казаков — царь сам может сюда нагрянуть ай полковников своих пришлет, хуже будет...

— Да это-то хоть так,— согласился Максимов с доводами своей разумницы жены.— Да ведь нельзя ж, Варварушка, и всех казаков с Дона усылать. Не приведи господь, налетят калмыки, татарва али турчане, что тогда делать? Кто будет оборонять Дон? Разорят, пожгут да побьют нас всех...

— Господь бог милостив,— проговорила Варвара.— Не все ведь казаки уйдут на войну, и тут их, дьяволов, много останется. Не гневи, Луня, царя... Больно уж он лют бывает во гневе...

Максимов задумчиво почесал под бородой. Все, что бы ни говорила ему умная жена, все сбывалось...

— Должно, правду ты говоришь, Варварушка. Какого беса мне жалеть казаков-то? Не буду гневить государя, снаряжу казаков в поход... Пошлю ему еще одну тыщу...

Атаман на следующий день спешно созвал старшин и есаулов и приступил к составлению списков казаков, предназначенных в поход против шведов. Войсковые гонцы поскакали по городкам и станицам оповещать казаков, чтобы готовились в поход.

Григорий Банников также попал в список. Весть об этом привела его в большое смятение. Привык гулять он вольным казаком по раздольным просторам Дикого поля. Тяжело было расставаться с родным краем и идти в неведомую далекую страну воевать со шведами. А еще тяжелее было расставаться с любимой девушкой.

Мрачный и грустный приехал Григорий прощаться к Булавиным.

— Что нос-то повесил, Гришка? — спросил Кондрат у него.

— В поход назначили идти, в Ингрию,— невесело ответил Григорий.

— Значит, и ты попал?

— Попал,— вздохнул Григорий, украдкой взглянув на Галю.

Она сидела на скамье, низко опустив голову, и пряла шерсть. Григорию показалось, что на длинных черных ее ресницах дрожат серебряные слезинки. У Григория защемило сердце, он растрогался. Ведь по нем, видно, убивается эта милая девушка. У него неожиданно возникла мысль не ходить на войну, и тогда все будет хорошо: и у него отлегнет на сердце, и Галя успокоится.

— Жалко, парень, что уходишь,— говорил Кондрат.— Помощник ты мне был бы во всех делах добрый.

Григорий бурно вскочил.

— Да я, Кондратий Афанасьевич, не пойду.

— Как это так не пойдешь? — изумленно поднял брови Кондрат.

— Да так и не пойду,— решительно заявил Григорий.— Сбегу. Буду хорониться... На кой ляд они мне нужны, чтоб я пошел им воевать?.. Не таковский я. Пусть дураки воюют,— весело рассмеялся он и взглянул на Булавина, надеясь на его лице увидеть одобрение своему внезапному решению, но сейчас же он погасил смех: лицо у Кондрата было хмурое, строгое.

— Дурость говоришь! — резко сказал Кондрат.— Парень-то ты хороший, люблю тебя... А вот за такие слова, что сейчас сказал, побить тебя могу... Разве ж настоящий казак так может сказать?.. Дурак!.. Раз назначили идти в поход, надобно с радостью идти. Мы — русские люди и должны защищать святую Русь до последней кровинки, ежели на нее ворог посягает... Голову за нее не жалко положить... Ежели ты не пойдешь, я не пойду, Мишка с Ванькой не пойдут, — так кто ж тогда пойдет воевать? Ежели никто не пойдет, то ворог нашу землю заберет, измываться над нами станет, своими холопами поделает... Нет, Гришка, не моги больше такие слова говорить. Иди новою, с честью-славой возвращайся на тихий Дон.

Григорий с низко опущенной головой слушал Кондрата: ему было стыдно за свои необдуманные слова. А главное, когда он снова украдкой взглянул на Галю, в ее глазах он увидел укор и осуждение себе.

— Иди, Гришка, новою, покажи свою удаль казачью,— говорил Кондрат.— Послужи честью-правдой род-

ной Руси... Говорят, сам царь водит полки супротив шведов... Вот связался я с этими бахмутскими варницами, а то б и я пошел, охотой пошел бы воевать...

На мгновение Кондрат задумался. Потом он встал, подошел к Григорию, положил ему руки на плечи, испытующе заглядывая в глаза, сказал:

— Григорий, а что, ежели я тебе одну задачу задам, скажи: выполнишь ее аль нет?

— Выполню, Кондратий! — с готовностью воскликнул Григорий.— Ты был мне дороже отца родного, для тебя все исполню, хоть бы головы за это своей лишился...

— Ну, головы-то тебе незачем лишаться,— усмехнулся Кондрат.— Носи ее на здоровье на своих плечах... А задача моя тебе будет такая: ежели тебе доведется на войне увидать царя Петра Алексеевича, то упади ему, Гришка, в ноги, ударь челом да скажи ты ему моим словом, что забыл он, должно быть, как был он у нас на Дону и обещал рассудить по-справедливому наш спор с черкасами да отдать нам навечно бахмутские земли с варницами... Расскажи ему, Гришка, как приезжал к нам дьяк Горчаков отписывать у нас те земли и отбирать варницы... Пущай он, государь наш, милостивец, заступится за нас, донских казаков, верных его холопов... Исполнишь, Гришка, что наказываю тебе, а?

— Истинный господь, Кондратий, исполню! — пылко воскликнул Григорий.— Разыщу царя, где б он ни был.

Весь вечер Григорий провел у Булавиных в беседе. Кондрат, как бывалый казак, не раз участвовавший в кровопролитных битвах с врагами родины, давал Григорию советы и наставления, как вести себя в баталиях. Григорий делал вид, что внимательно слушает Кондрата, своего старшего товарища, но все его мысли были вокруг Гали, которая сидела на скамье и, прядя шерсть, изредка украдкой взглядывала на него. Гришка видел, что взгляд ее был печальный, глаза наполнены слезами. У парня разрывалось сердце от жалости и любви к ней.

Уже поздно вечером Григорий наконец простился с Булавиным и уехал к себе в Новый Айдар.

Через несколько дней казачий отряд выступил.

Гришка Банников ехал впереди отряда, окруженный песенниками, и лихо, звонко запевал:

Поехали казаченьки
В путь далекий, край чужой...

ГЛАВА XVI

Под ясным голубым весенним небом нежилась река, точно длинная атласная лента, искрясь золотыми узорами. Величественно проплывали берега, густо заросшие сочной молодой травой. Царь Петр, греясь на солнце, сидел на палубе флагманского корабля, играл с капитаном-голландцем в шахматы.

Играл он рассеянно, невнимательно. Видимо, его сейчас занимали совсем другие мысли. Иногда он отрывал взгляд от шахмат и смотрел в сторону кормы. На лице его тогда появлялась довольная усмешка: там, за кормой, он видел, как, распустив паруса, стройно, один за другим, плыли русские корабли, созданные его волей.

Петр плыл со своими любимыми гвардейскими полками в Ладожское озеро. Там, на берегу озера, в укрытом месте, он хотел тайно высадить свою гвардию и идти с нею штурмовать Выборг.

Голландец, попыхивая короткой трубкой, рассказывал царю что-то о немцах. Говорил он долго и путано о том, что немцы-де умные люди, выпускают они занятные книжки. Царь хмуро слушал капитана, потом, когда его россказни ему надоели, оборвал его:

— Хватит, капитан!.. Что, думаешь, русские дураки, что ли?.. Имеют разум и смекалку, может, похлеще, чем немцы... Ведь немцы-то обвыкли свои книги негодными рассказами наполнять, чтобы великими казаться... Погоди, вот покажут себя русские.

Он стал смотреть вперед. В голубой дымной дали смутно вычерчивались серые зубцы и шпили Шлиссельбурга *. С правого берега послышались едва уловимые крики. Царь оглянулся. На берегу маячили всадники, махая шляпами. Петр велел подплыть ближе к берегу...

Царя Петра нагнал гонец Петра Матвеевича Апраксина *. На реку Нарову в скором времени надо ожидать прибытия шведского флота в большом количестве вымпелов, сообщал Апраксин. Одновременно к крепости Нарве, осажденной русскими войсками, должен прибыть крупный шведский отряд во главе с генералом Шлиппенбахом. Петр, поразмыслив над всем этим, сразу же перестроил свои планы.

— Мин герр,— сказал он капитану,— поворачивай назад.

Седой голландец, не взглянув на царя и не удивившись столь внезапному изменению маршрута, отдал команду повернуть корабль назад. Остальные суда послушно последовали за своим вожаком.

Петр поплыл к Нарве, на помощь своим полкам, осаждавшим шведскую крепость.

Царь Петр, сидя на вороном жеребце, внимательно рассматривал с холма в подзорную трубу мрачные зубчатые стены крепости. Город был хорошо виден со всеми его башнями, подъемными мостами, с острыми и длинными, как иглы, прокалывающими небо шпилями, с красными черепичными кровлями. На крепостных стенах толпились защитники, они были готовы к отражению русского штурма.

— Ничего,— буркнул Петр.— Посмотрим.

Царь перевел трубу на море, и сердце его невольно дрогнуло. Как огромная синяя бархатная скатерть, оно покрывало все пространство, горя на солнце золотыми искрами.

Петр долго любовался морем. Он не мог равнодушно смотреть на него — любил. На почтительном расстоянии от берега, со спущенными парусами, стояли на якорях, покачиваясь на легких волнах, вражеские суда грозного адмирала де Пру.

— Эх ты, де Пру, де Пру,— сказал Петр,— а все ж тебя отсель попру...

— Ей-богу, правда, мин гер,— смеясь, подхватил Александр Данилович Меншиков *. — Попрем этого безрукого старикашку. И глазом не успеет моргнуть...

Меншиков, в противоположность скромно одетому царю, был разодет чрезвычайно пышно. Любил Александр Данилович ярко одеться. На нем бархатный, василькового цвета, французский кафтан с золотыми пуговицами, отделанными алмазами. На шее повязан кружевной галстук с бриллиантовой заколкой. На плечи накинут черный бархатный плащ на красной атласной подкладке. На черной шляпе — большое белое перо с дорогим камнем. На солнце Александр Данилович переливался искрами всех цветов, даже смотреть на него было больно, резало глаза.

Небрежно подбоченившись, Меншиков сидел на светло-золотистой кобылице, только что отбитой у шведов, заискивающе посматривал на царя, посменвался.

Был на холме и третий всадник — на маленькой, невзрачной серенькой лошадке: генерал Петр Матвеевич Апраксин, на корпус которого царь возложил осаду крепости.

Апраксин, уже немолодой человек, низенький, с одутловатым от жира, землистым лицом, сонно посматривал то на крепость, то на море и украдкой позевывал в руку. Ночью была обильная пирушка по случаю приезда государя, не пришлось сомкнуть глаз. Неугомонный царь, вместо того чтобы после утомительной пирушки самому поспать и другим дать выспаться, прямо с пира поехал осматривать крепость и расположение наших войск. Поневоле пришлось сопровождать его и Апраксину.

— Что ж, Матвеевич,— спросил Петр,— стало быть, Горн имеет надежду отстоять крепость? Не хочет подобру сдать ее?

— Где там, великий государь! — преодолевая зевоту, ответил Апраксин.— И на вшивой козе к нему не подъедешь... Три раза я к нему посылал: предлагал сдать крепость без крови. Обещал выпустить весь гарнизон с честью. Так где там, и слушать не хочет, козел упрямый... Да еще и похваляется, говорит: уходите, мол, отсюда подобру-поздорову, а то так вам надаем, что портки, мол, порастеряете... Однова, говорит, надавали вам тут и еще надаем похлеще. Много скверных слов говорил...

— Что еще говорил? — насупясь, резко спросил Петр.

— Да так...— смущенно замялся Апраксин.— Пустые слова...

— Говори! — скрипнул Петр зубами и так сверкнул глазами, что у Апраксина куда и дремота девалась.

— Гос... господин бомбардир,— побелевшими губами прошептал Апраксин,— не могу того сказать... не могу...

— Петька! — крикнул царь.

Петр Матвеевич в битвах славился своей неустрашимостью, но под взглядом царя дрожал, как мальчишка.

— Он говорил... что ты, мол, государь, трус... Первым ты-де намазал пятки салом, когда шведы погнали нас из-под Нарвы...

— Замолчи! — прохрипел царь. Лицо его потемнело, правую щеку дернула судорога.

Александр Данилович с тревогой посмотрел на Петра.

— Я ему... — Царь по-матросски, забористо выругался и погрозил кулаком в сторону крепости.

Александр Данилович весело захохотал, обрадованный тем, что с царем не приключилось припадка.

— Кумавек,— сказал Петр Меншикову уже спокойно,— уж ежели дело на то пошло, то надобно ему устроить знатную штуку, чтоб он, черт, нас надолго запомнил... Давай вот что сделаем...— Он начал подробно излагать свой план, строго смотря то на Меншикова, то на Апраксина.

Когда царь кончил, смешливый Александр Данилович восторженно захохотал, хлопнув себя по ляжкам. Кобыла под ним испуганно шарахнулась, едва не сбросив седока. Успокоив лошадь, Меншиков подъехал к Петру и снова звонко захохотал.

— Ловко придумал, мин херц!.. Ловко!..

Даже Петр Матвеевич, вялый и равнодушный ко всяким выдумкам, оживился и, закачав головой, улыбнулся.

— Умно придумано, господин бомбардир. Умно.

— Ну, о том еще рано гадать,— сказал Петр,— умно оно будет ай нет. Езжайте, выполняйте сию выдумку.

Александр Данилович махнул шляпой.

— Еду, государь, еду! — и, пришпорив лошадь, стремительно помчался с холма, развевая плащом, как крыльями.

— Бешеный! — крикнул ему вдогонку царь.— Голову сломаешь!

Но Меншиков его уже не слышал.

Апраксин, причмокнув губами, толкнул свою лошадку ногами в бока, осторожно, шагом, съехал с кургана и затрусил мелкой рысцой по направлению к биваку, к драгунам.

На Ревельской дороге показались всадники в синих мундирах. Они скапливались на виду крепости в небольшой рощице и давали знаки осажденным, чтобы им открыли крепостные ворота. Со стен крепости шведы внимательно смотрели на этих всадников, но открывать не спешили. Тогда прогрохотали два выстрела из пушки. Это был условленный сигнал, что к защитникам Нарвы прибыла помощь. На крепостных стенах оживленно забегали, шведы засуетились, махая шляпами, приветствуя прибывший, давно ожидаемый отряд генерала Шлиппенбаха.

Петр Алексеевич в окружении своего кабинет-секретаря Макарова, неизменного денщика Нартова и нескольких офицеров по-прежнему стоял на холме, не спуская

подзорной трубы со стен крепости. На лице его блуждала хитрая усмешка.

Он видел, как по направлению к рощице, где виднелась только что прибывшая пехота в синих мундирах, беспорядочной лавой, как грачиная стая, с пронзительным свистом и гиканьем поскакали казаки, взблескивая на солнце своими кривыми саблями. Петр увидел в толпе и тучную фигуру Апраксина, подпрыгивающего на своей маленькой лошадке. Видимо, генерал сам повел казаков в атаку. Но казаки, отпугнутые залпами, не доскакав до рощицы, повернули назад и рассыпались по лугу.

Царь опустил подзорную трубу и оглянул офицеров смеющимися глазами.

— Ловко! — воскликнул он.

И в тот момент, когда Петр снова стал смотреть в трубу на крепость, он увидел, как с грохотом опустились подъемные мосты, широко распахнулись крепостные ворота и из них, с развевающимися королевскими знаменами, сверкая на солнце доспехами, выступил отряд всадников. Это были шведские кирасиры, посланные генералом Горном прикрыть вступление отряда Шлиппенбаха в крепость. Их было сотен пять. Не останавливаясь, они помчались к рощице. Петр весело захохотал.

— Зело ладно разыгрывается сия комедия.

Жеребец под царем затанцевал по холму. Петр начал терпеливо успокаивать его, похлопывая по горячей атласной шее. Когда он успокоил коня и снова стал смотреть в трубу, его взору представилась уже другая картина. Пылая панцирями на солнце, вражеские кирасиры развернутым строем, полукружьем охватывали казаков. Казаки врассыпную мчались от них на своих маленьких мохнатых лошадках.

— Макаров! — крикнул царь, весьма довольный зрелищем.— Смотри, что делают подлецы...— и снова весело и раскатисто захохотал.

Отогнав казаков, кирасиры поскакали к рощице, которую — они были уверены — заполняли войска генерала Шлиппенбаха. Царю было видно, как они, не доезжая нескольких шагов до рощицы, вдруг в ужасе повернули лошадей и помчались к крепости. Вслед им загрохотала дробь выстрелов. Всадники валились с лошадей... Лошади без седоков носились по лугу...

Шведы поняли, что их обманули: в рощице были не

войска генерала Шлиппенбаха, а русские гвардейские Семеновский и Ингерманландский полки, замаскировавшиеся под шведов.

— Уйдут! Уйдут! — вскричал Петр и, пришпорив своего застоявшегося жеребца, сорвался с холма.

Он летел, как вихрь, наперерез вражеским кирасирам. Его секретарь Макаров, денщик Нартов и свитские офицеры, рассыпавшись цепью, едва поспевали за ним. Царь на скаку выхватил из ножен шпагу и дал знак казакам следовать за ним.

Шведские кирасиры, закованные в латы, тяжелым галопом приближались к крепости. Петр оглянулся на казаков. Они, как буря, с гиканьем и свистом, с опущенными пиками мчались на шведов, но казаки были еще далеко и шведские кирасиры могли безнаказанно уйти. Тогда рухнула бы вся затея. Петр стал придерживать своего жеребца — безрассудно было с десятком офицеров бросаться на махину врагов. Но в это время справа появились новые всадники. Впереди, взмахивая саблей и развевая на ветру плащом, скакал всадник на светло-рыжей лошади.

— Александка! Милый! — растроганно крикнул Петр.

Он узнал своего любимца. Меншиков с отрядом драгунов отрезал путь шведским кирасирам. Те, увидев это, на скаку перестроились и лавиной ринулись навстречу русским драгунам.

Петр, разгоряченный, взволнованный, наблюдал за разыгравшейся битвой. Ударить бы сейчас шведам в тыл, зажать их в кольцо... Петр нетерпеливо оглянулся на казаков. Они были уже близко. Шальной волной окатила казачья лава царя Петра и понесла его в своем неудержимом порыве. Он скакал вместе с казаками, размахивая шпагой и что-то крича.

Сердце его бурно колотилось от восторга. Во всем этом стремительном порыве сотен людей было что-то захватывающее, мощное, непреодолимое. Царь видел, что все поле цвело от ярких казачьих кафтанов. Низко пригнувшись к гривам своих бешено мчавшихся дончаков, потрясая дротиками, со свистом рассекая воздух кривыми саблями, казаки полукружьем охватывали шведов.

Видя опасность с тыла, вражеская конница раскололась пополам. Часть шведских кирасир по-прежнему стремительно неслась навстречу драгунам Меншикова, а другая часть, круто повернув лошадей, на ходу перестроив-

шись, сомкнутым строем, стремя в стремя, несокрушимой, казалось, стеной двинулась навстречу казакам. Царь восхитился военной выучкой шведов, и у него с удвоенной силой появилось желание во что бы то ни стало сокрушить эту стену людей, закованных в железо, сидящих на грузных злых лошадях... Кругом кипел бой. Казаки сражались отчаянно. На Петра напало сразу три шведа. Одного царь заколол шпагой, второго сплеча рубанул, но легкая шпага со звоном скользнула по панцирю кирасира, не причинив ему вреда. Царь с досадой швырнул ее.

— Железка!

Швед замахнулся на него тяжелым палашом. Петр едва успел отклониться от удара. В бешенстве зарычав, царь схватил кирасира за руку и с силой крутнул. Солдат, дико вскрикнув, свалился с лошади. Третий швед наскочил на царя и тоже замахнулся на него палашом. Петр даже зажмурился и похолодел, ожидая удара. В это мгновение какой-то казак в голубом кафтане вихрем налетел на шведа и сшиб его дротиком с седла. И сейчас же этот казак, как видение, исчез где-то в гуще схватки...

К Петру прискакал на своей разгоряченной кобылице Меншиков.

— Мин херц! — закричал он с раздражением. — Что ты делаешь? Разве твое место тут?

Петр даже опешил от такой дерзости.

— Езжай отсюда! — кричал Меншиков. — Твое дело царствовать да нами управлять, а уж воевать дозволь нам, твоим солдатам.

Петр побагровел от гнева. Он хотел обругать Александра Даниловича, но подъехали секретарь Макаров, Нартов и помешали. Царь лишь промычал что-то... Меншиков крутнулся и исчез.

Битва затихла. Со шведами было покончено. Они устлали своими трупами поле. Оставшиеся в живых сдались в плен.

— Нартов,— сказал Петр своему денщику с укоризной, — где ты, лохматый черт, пропадаешь? Так-то ты бережешь царя? Ведь чуть не убили меня.

— Да разве ж за тобой, великий государь, угонишься? — смущенно проговорил Нартов. — Ты ж, как молния, мечешься...

— Ну-ка подай мне шпагу мою. — Петр указал на шпагу, валявшуюся в траве.

На шпаге лежал шведский кирасир со сломанной рукой и стонал от боли. Нартов, соскочив с копя, подошел к шведу и толкнул его ногой.

— А ну, вставай! Чего скулишь-то?

Швед был плечистый белобрысый юноша. Возможно, у себя на родине он был кичливым, заносчивым солдатом, пленившим не одну девушку, но сейчас он был жалкий, растерянный, беспомощный. Лицо его было бледно до синевы, пересохшие губы трепетали от страха. Втянув голову в плечи, как бы ожидая, что ее сейчас отрубят, он с ужасом смотрел на Нартова и жалобно что-то говорил.

— Это я ему руку-то сломал, — вспоминал Петр. — Отправьте его к лекарю.

Откуда-то снова появился Меншиков. На потном, пыльном лице его блуждала веселая, довольная усмешка.

— Мин херц! — воскликнул он. — Вот ловко мы их провели!.. Всыпали им, чертям. Гляди, все поле устлали, — махнул он на вражеские трупы. — Мои драгуны дрались, как черти. Да и казаки показали ухватку... Устал, — вытер он рукавом пот с лица. — Ведь я ж, никак, десятерых зарубил...

— А не врешь? — усмехнулся Петр. — По глазам вижу, что врешь.

— Ну, может, и не десятерых, — избегая взгляда царя, сказал Меншиков, — а вот пятерых наверняка...

— И это врешь, — смеялся Петр.

— Мин херц, ей-богу, троих зарубил!

— Вот это похоже на правду...

Нартов подал шпагу. Царь посмотрел на нее и сказал:

— Нет, никак не годятся эти железки для боя, надобен палаш.

Рассматривая свою шпагу, Петр увидел на ней кровь.

— Откуда сия кровь? — изумился он.

— Разве ты забыл, как вот этого шведа ею сразил? — сказал Меншиков. — Я своими глазами видал. Неужто забыл?

Петр посмотрел на труп солдата и вспомнил, что действительно в пылу схватки заколол шведа.

— Алексашка!.. Черт!..— выругался Петр.— Зачем пачкаешь плащ? Сколько мне говорить, чтоб берег добро!

— Есть о чем толковать, — беспечно возразил Александр Данилович. — Головы своей не жалеешь, а плаща

моего жалко... — Потом серьезно сказал: — Государь, богом тебя молю, не лезь, куда тебе не полагается.

Петр нахмурился.

— Ты опять свое?

По Меншиков перебил его:

— Не серчай, Петр Алексеевич, послушай меня, — вкрадчивым голосом заговорил он.— Наше дело, твоих слуг, с врагами рубиться, а тебе, государю, не пристало этим делом заниматься. Твое дело управлять государством... Не гневайся, государь, но ведь ежели бы не тот казак в голубом кафтане, что сковырнул шведа, то был бы ты уж ныне в гостях у господа бога в раю... А что тогда стало бы с нами, твоими холопами? Держава наша великая в упадок пришла б, опять бы бояре со стрельцами верх забрали. Пропали б тогда все твои корабли и заводы. Опять швед Ингрию да Эстляндию захватил бы...

Меншиков говорил искренне и убедительно, у него от умиления даже слезы на глазах показались. Петр внимательно слушал своего любимца, бросая на него взгляды из-под густых бровей. Перекинувшись с седла, он порывисто обнял его, сжал в объятиях так, что у Александра Даниловича косточки хрустнули.

— Вот за то я тебя, Данилыч, и люблю, что зело предан мне. Правду говоришь, но что поделать, солдат ведь я. Не могу стерпеть. Рука чешется врага сразить. А что касаемо смерти, то неведомо, где она застигнет. На поле брани за отчизну свою — честь и слава умереть, а вот так, как сокольничий Засекин свиным ухом подавился, — такой поганой смертью я б не желал умирать...

Царь на мгновение задумался и тихо добавил:

— Я никому не советую и не приказываю гнаться за опасностью, но не служить родине, не отдать за нее жизнь, ежели потребуется, стыдно... Разыщи и позови-ка, Данилыч, того казака-храбреца, что меня от смерти спас...

Григорий Банников, раскрасневшийся, возбужденный после только что закончившегося боя, стоял в толпе казаков и оживленно рассказывал:

— И вот, братцы вы мои, скачу я это на своем аргамаке, одного сковырнул супостата, другого, третьего... Скачу это, приглядываюсь, кого бы еще сковырнуть дро-

тиком. Гляжу это, братцы вы мои, к одному нашему солдату, не то офицеру, — шуты его разберут, такой это здоровенный на себя солдат, черноусый, пригожий на лицо, — сразу пристало десять супостатов. Лихо отбивался он от них. Троих, сам видал, он зарубил, а семеро лезут к нему, да и все. Уж он, бедняга, отбивался, и, видать, у него уж сил нету. Конец подходит. Взяла тут меня, браты, жалость. Думаю, разве ж можно, чтоб такой храбрый солдат русский сгибал? Ожег я плетью своего коня, да к ним... Как налетел, всех до единого шведа раскидал. А солдат-то и кричит мне вслед: «Эй, станичник, погоди, я тебе спасибо скажу!» — «Некогда, говорю, твое спасибо слухать. Вот окончится бой, тогда свидимся». И ускакал я от него...

К казакам быстро мчался на светло-рыжей лошади пышно и ярко, как петух, разодетый генерал. Он подлетел к казакам и натянул поводья. Кобылица, оскалив зубы, захрипела и обдала казаков жарким, влажным дыханием.

Генерал, молодой и красивый, остро оглянул казаков и, остановив взгляд своих серых властных глаз на Григории Банникове, сказал:

— Эй, молодец, спасибо тебе, что уберег великого государя от вражьей руки...

Казаки, слушавшие Гришкин рассказ и не верившие ни одному его слову, переглянулись и теперь с уважением смотрели на него. В их глазах Григорий сразу поднялся на недосягаемую высоту.

— Поедем, казак, к великому государю, — сказал генерал Гришке. — Царь хочет тебя повидать.

Григорий был несказанно изумлен тем, что ему невольно пришлось спасти от гибели самого русского царя. Он даже растерялся от неожиданности. Вскочив на своего аргамака, он последовал за генералом.

По дороге Меншиков расспросил Гришку, как его зовут, откуда он родом.

— Повезло тебе, — сказал Александр Данилович, — царь храбрых любит. Ты только не вздумай царю в ноги кланяться, не терпит он того. Да зови его: господин бомбардир. А какую милость будет жаловать, не отказывайся, благодари...

Подъехав к царю, Гришка соскочил с лошади и, сняв шапку, поясно поклонился.

Петр быстрым взглядом окинул ладную, плечистую фигуру казака. Григорий ему понравился.

— Как зовут тебя, казак?

— Зовут Гришкой,— степенно ответил Григорий,— а кличут Банщиковым.

— Ведал ли ты, Григорий, о том, что кинулся в защиту государя своего? — снова спросил Петр.

— Нет, господин бомбардир, о том мне не было ведомо... Я только видел, что наш русский человек попал в беду. Ежели не выручить его, то мог бы сгибнуть зазря. Ну и кинулся на выручку, а кто он — царь али простой солдат, то мне было неведомо...

Откровенность эта поразила Петра. Многие на месте этого казака сказали бы, что они видели, какой опасности подвергается царь, а поэтому, рискуя жизнью, бросились его спасать.

— Молодец! — пристально вглядываясь в Гришку, царь вдруг весело захохотал: — Гришка, да ведь я ж тебя, песьего сына, знаю!

У Петра была крепкая память. Он вспомнил, как несколько лет назад в Черкасске этот казак сидел голый на бочке и угощал вином своих товарищей.

— Гришка, помнишь, как ты голый сидел на бочке у кабака в Черкасске и угощал своих друзей?

— Было дело, великий государь, — смутился Гришка.— Больно хмелен был, господин бомбардир, не гневись...

— Да я ругать тебя не буду...

Подъехали Петр Матвеевич Апраксин и офицеры. Петр, смеясь, рассказал им о первой своей встрече с Гришкой. Все долго и весело смеялись, рассматривая дюжего смущающегося казака.

— Молодец, Гришка, — сказал Петр. — Макаров, выдай казаку двадцать пять целковых. Да напомни мне о нем в Москве... Еще награды ему пошлю...

Гришка поблагодарил царя и решил, что сейчас самый подходящий момент сказать царю о просьбе Булавина.

— Великий государь, — сказал он, кланяясь, — дозволь слово молвить.

— Говори, — разрешил Петр.

Григорий, набравшись смелости, подробно рассказал царю о споре донских казаков с изюмцами из-за земель

и соляных варниц и попросил царя заступиться за них, донских казаков. При этом напомнил, что в бытность царя в Черкасске он обещал рассудить этот спор по справедливости.

Петр хмуро слушал Григория.

— Ни донские казаки, ни изюмцы теми варницами пользоваться не будут. Соляные варницы заберу в казну. Отныне теми варницами будет ведать Семеновская канцелярия. Купцы той солью будут торговать. А что касаемо земли, то у вас ее и без того много, у изюмцев же не хватает. Пусть пользуются. Своевольцев же, кои поселились на тех землях, всех сгоню. Пусть идут жить там, кто где раньше жил. Так и обскажи своим атаманам. А тому Кондратию Булавину я за дьяка Горчакова кнутов всыплю...

Петр вонзил шпоры в бока своего вороного жеребца и с места в галоп поскакал в лагерь. Свита, поднимая клубы сизой пыли, помчались вслед за ним.

Гришка долго смотрел вслед царю, не зная — то ли радоваться царской милости, то ли печалиться, что на просьбу Кондрата он получил неутешительный ответ. Вдруг он увидел, как царь, остановив жеребца, помахал ему рукой, подзывая. Гришка прыгнул в седло и мгновенно подскакал к Петру.

— Подъезжай к моему шатру вечером, — сказал ему Петр,— дам тебе указ атаману Максимову. Поезжай наискорее на Дон да скажи моим именем, чтоб Максимов послал мне еще казачий отряд... А то мало он дал... Скупой, черт.

У Гришки радостно забилось сердце. Скоро он снова увидит Дон, товарищей, свою милую Галечку.

ГЛАВА XVII

На Дону стали появляться царские служилые люди. Они начали кое-где по городкам переписывать казаков и высылать их внутрь России.

Особенное негодование казаков возбудил майор Шанкеев, присланный на речку Богучар для розыска бежавших на Дон работных людей, подведомственных Адмиралтейскому приказу. Шанкеев разорил до основания городок Богучар и выслал из него всех казаков с семьями

в глубь России, не выяснив даже, природные они казаки или новоприплые.

Весть об этом сразу разнеслась по Доищине. Илья Зерщиков в кругу старшин, размахивая руками, озлобленно говорил:

— Дожили, атаманы-молодцы, дожили!.. Скоро и нас, прирожденных казаков, сошлют на Русь и отдадут в холопы какому-нибудь боярину... Вот поглядите! Поглядите-те, не то еще будет! — зловеще предсказывал он. — Начинают зажимать нас: варницы соляные отобрали, земли изюмцам отдали, беглецов отбирают у нас... Скоро не то будет... Вот посмотрите.

— Чего пророчишь-то, Илья? — беспокойно спросил Максимов.

— А вот тогда попомнишь меня... Ежели мы и дальше будем молчать, то скоро нас никого тут не останется.

— Что ж делать-то? — вопрошал атаман, обводя старшин растерянным взглядом.

Но старшины отмалчивались. Что они могли сказать? Они были растеряны не менее атамана.

Окончательно ошеломил войсковую старшину последовавший затем указ государя об уничтожении всех городков, заселенных после 1695 года. Жителей их, коренных казаков, велено было перевести на левую сторону Донца, всех же беглых выслать внутрь России.

— Вот!.. Вот!.. — злорадствовал Зерщиков. — Гутарил я вам — не верили... Расхлебывайте теперь. А скоро бояре и до нас доберутся... Вот те господь, доберутся...

— Всё! — горестно качал пышной бородой атаман Максимов. — Пропала наша волюшка казачья. Пропала!.. Илья, — обратился он к Зерщикову, — ты ж мозговитый человек, придумай, как миновать сию беду.

— А бог ее ведает, — разводил тот руками. — Вот, может, подвернется какой случай услужить царю да просить его милости. А может, — воровато забегал он глазками, — отстоим нашу волюшку своими саблями?..

— Ну, ну, Илья, — испуганно отшатнулся от него Максимов. — Замолчи, не говори таких слов.

Летом 1705 года в Астрахани вспыхнуло восстание, начатое стрельцами. Были убиты начальные люди во главе с воеводой Ржевским. К повстанцам присоединились стрельцы Красного и Черного Яра. Заволновались гре-

бенские и терские казаки. Заволновались раскольники. Примкнули к восстанию группы посадских людей.

Астраханцы послали в Черкасск Михаила Скорнякова с шестью товарищами просить донских казаков присоединиться к ним.

Атаман Максимов спешно собрал войсковой круг.

Скорняков, чернобородый, дюжий стрелец, изложив причины и цели восстания, продолжал:

— А вот вы, братцы мои, донские атаманы, еще послушайте... Отлучают нас от церкви, приказывают брить бороды, неволят носить... тьфу, господи!.. иноземную одежду и курить табак... Да когда ж это видано, чтобы русский человек таким пакостным делом занимался? Тьфу! Тьфу! Будь они трижды прокляты! Нам, братцы-атаманы, обрезают полы кафтанов... Велят поклоняться кумирам... Наложили на нас тяжкие подати, берут банных денег по рублю да по гривне за погреба от каждой сажени. Воевода Ржевский лютовал и измывался над воинами царскими. Без царского дозволения отобрал у нас ружья и хотел всех нас предать смерти... Да не таковские мы: не поддались ему, самого его изничтожили... Отняли у нас, братцы, хлебное жалованье... Гоняли нас на тяжкие работы... Дабы, атаманы-молодцы, не умереть нам в смертном грехе, решились мы сбросить с себя иго тяжкое...

В то время как стрелец долго и путано докладывал кругу об отдельных обидах восставших, атаман Лукьян Максимов шептался со старшинами, выспрашивая у них, как поступить с астраханцами.

— Надобно схватить этих возмутителей,— резко заявил Зерщиков,— да отправить под караулом в Москву.

— Как так? — изумился Максимов. Он не ожидал этого от Зерщикова, зная, как глубоко ненавидит он царя с боярами.

— А так вот: заковать их в цепи да с легкой станицей отправить к царю.

— Да ты что, Илья! — с негодованием воскликнул Максимов.— Николи не бывало на Дону того, чтоб посыльщиков на цепь сажать да на расправу в Москву отправлять.

— Ну и галман * же ты, Лукьян,— раздраженно сказал Зерщиков, озираясь на стрельцов. — Ты ж сам на-

медни спрашивал, что теперь будем делать, ежели царь на нас так разгневался... Ежели царь увидит, что мы, донские казаки, прилежны, возмутителей привезли да еще ежели пойдем астраханцев усмирять, так тогда как на нас царь-то посмотрит?.. Хи-хи... — нехорошо засмеялся он.

— Правду истинную говорит Илья, — поддержал Зерщикова старшина Ефрем Петров. — Царь-батюшка милостив. Надобно воров этих повязать да отвезти в Москву. И насчет усмирения Астрахани тоже правильно Илья говорит. Я первый пойду усмирять бунтовщиков. Я за великого государя готов голову сложить...

— Будь по-вашему, — согласился Максимов. — Ты, Илья, поди с Ефремом казаков на это дело натрави, а я сейчас свое слово кругу скажу.

— Просим покорно вас, донские атаманы и казаки, — хрипло продолжал стрелец Скориняков, — просим все войско Донское стать с нами заедино за общее правое дело и прислать нам на воспоможение казаков своих...

Скориняков низко поклонился на все четыре стороны и, надев шапку, отошел к своим товарищам.

Казак-раскольник в турецком халате закричал во все горло:

— Постоим за веру! Постоим!

— Пойдем, поможем волжанам! — подхватил второй казак.

— Пойдем!.. Пойдем!.. Постоим!.. — со всех сторон закричали казаки.

Есаул Василий Позднеев поднял насеку.

— Помолчи, честная станица!.. Помолчи!.. Послухай, атаман трухменку гнет.

Казаки замолчали.

Максимов прокашлялся.

— Вот, атаманы-молодцы, красно стрелец гутарил, — кивнул он в сторону Скорнякова.— Сладок больно его мед, да не по две ложки в рот. Куда ето он только гнул? Что мы, атаманы-молодцы, ай обижены великим государем? Вечно видим его царскую милость. Живем в приволье, никто нас не неволит. Живем по древнему обычаю, всяк одевается, как ему пригоже. Вон глядите, — тыкал он пальцем в казаков, — Ванька в черкесской одежине, а вон Мишка в калмыцкой, а вон дед Митрофан в татарской, а вон казак даже в турской... Всяк ходит в той оде-

же, какая ему по праву. Иноземное платье нас никто не неволит носить... На веру нашу православную тоже никто не посягает. Все мы веруем во единого бога отца, сына божьего и духа святого, — набожно закрестился атаман.— А что касаемо табачку, то что ж, может, и грех, да мы, казаки, в походах в Туретчине да Тавриде избаловались им. Ужо на старости лет замолим свои грехи... Нет, добрые люди, — обернулся он к астраханцам, — зря вы приехали к нам прельщать на такое злодеяние. Зря! Несподручно нам, казакам, с вами идти! Атаманы-молодцы, какую повелите отписку в Астрахань давать?

Круг зашумел, заволновался. Сквозь гул голосов прорывались выкрики.

— Пойдем! Пойдем, поможем!..

— Несподручно нам! Не пойдем!..

— Пойдем!

— Не пойдем!..

Илья Зерщиков рванулся на середину круга.

— Атаманы-молодцы! — гневно закричал он. — Да нешто мы ворам потатчики? Сковать воров цепями! Сковать да с легкой станицей царю отправить!

— Сковать! — подхватил Ефрем Петров.

— Сковать! — дружно поддержали старшины, подговоренные Зерщиковым и Петровым.

— Сковать! — закричали вслед за ними некоторые казаки.

Забурлил, заволновался круг. Зашумели казаки в споре. Кто кричал, чтобы везти астраханцев к царю, кто предлагал побросать их в воду, некоторые пытались защищать их.

— Везти к царю!

— В куль да в воду!

— Отпустить братов-волжан!

— Отпустить посыльщиков!

Есаул Василий Позднеев, поняв, что единодушия в круге нет и удобную минуту можно упустить, кинулся к Скорнякову, злобно схватил его за горло. Зерщиков и Петров, а за ними и другие старшины набросились на остальных астраханцев, повалили наземь, скрутили им руки, связали.

Бледные, связанные, стрельцы молили:

— Братцы-атаманы, за что ж вы нас-то?.. Мы ж посыльщики.

— Веди, так их, под караул! — гремел Зерщиков.

Астраханцев увели.

И сейчас же круг выбрал легкую станицу во главе с атаманом Саввой Кочетовым для препровождения повстанцев в Москву.

Максимов хотел было немедля писать и челобитную о своих обидах, чтоб Савва Кочетов передал ее царю Петру, но Зерщиков накинулся на него:

— Да ты что, Лукьян, ай очумел? Да разве ж можно о том сейчас царю заикаться!.. Сначала пойдем на Астрахань, усмирим воров, а тогда уж и обскажем царю о своих обидах и нуждишках. Тогда уж и будем просить его милости.

Круг решил послать в Астрахань двухтысячный казачий отряд во главе с походным атаманом Василием Фроловым и старшинами Ефремом Петровым и Василием Позднеевым на усмирение «стрелецкого мятежа».

Вскоре, отслужив молебен, отряд двинулся в путь.

При участии донцов восстание в Астрахани было подавлено.

Царь Петр прислал войску Донскому милостивую грамоту и предложил войсковому кругу выделить зимовую станицу за жалованьем и наградой.

Теперь войсковые старшины решили, что наступило время послать царю челобитную. Ефрема Петрова выбрали атаманом зимовой станицы. К нему приставили есаулом недавно вернувшегося из сибирской ссылки бывалого казака Тимофея Соколова. Думали, что сейчас, после подавления восстания в Астрахани, царь будет милостивее к донским казакам.

ГЛАВА XVIII

Долго ждал в Москве Ефрем Петров со своими казаками приезда Петра Алексеевича из Прибалтики, где царь воевал со шведами и строил первый русский порт на Неве.

Дожидаясь царя, казаки жили на постоялом дворе, от безделья обленились, спали до одури. Толпой ходили по столице, глазея на незнакомую жизнь, сделались завсегдатаями столичных кабаков.

Ефрем Петров и раньше бывал в Белокаменной. Всегда она поражала его своим шумом и суетой. А вот сейчас, расхаживая по ее улицам и переулкам, по жарким, пыльным площадям, он удивлялся тому опустению и безлюдью, которые всюду бросались в глаза.

Раньше улицы и площади кишмя кишели, на рынках оглушали шум и гам людской. Всюду слышались звонкий хохот, задорная речь, гнусавое пение слепцов, звяканье цимбал. У боярских дворов, бывало, скопища дворовых холопов точили лясы. Проходу не было от зубоскалов. В торговых рядах толпы народа разглядывали товары, приценивались. В руках торгашей, как у балаганных фокусников, ловко и проворно мелькали аршины, отмеряя камку, парчу, яркую материю.

И над всем этим шумом и гамом по всей необозримой белокаменной столице со всех сорока сороков* златоглавых церквей плыл малиновый колокольный звон, привычный, каждодневный. Тешила эта колокольная музыка душу москвича. А ныне тиха и уныла матушка-Москва. Жидок звон колокольный: царь велел снять большие колокола и на пушки перелить. По опустелым улицам бродят лишь псы, высунув от жары длинные языки. Хоромы обросли крапивой да колючками, спротивно стоят с заколоченными ставнями. Старые бояре поставлены царем Петром на службу государеву, а молодые, со своей многочисленной дворней, в солдатских полках служат, со шведом воюют.

Монастыри оскудели. Не стало в них былого богатства и изобилия. Казну и все добро излишнее забрал у них Петр Алексеевич на нужды военные, в монастырях же повелел госпитали для солдат устроить, приказал делом полезным заниматься: монахам в кузницах мечи ковать да кафтаны солдатские шить, а монахиням за ранеными ухаживать да рукодельничать.

И в торговых рядах пусто стало. Купцы с приказчиками днями в шашки играют, живого человека не видят. А если появится невзначай какой прохожий, так всей оравой, как псы, на него бросаются, все рукава ему пооборвут, тащат в свои ларьки.

Ходил Ефрем Петров по московским улицам, присматривался, вздыхал: понимал казак — война!

Приходил Ефрем Петров к себе, на постоялый двор, и вел долгие беседы со своими казаками. Рассказывал, что

оттого Москва обезлюдела, что царю народу не хватает. Всех мужчин он угнал воевать против шведов или строить новый город на Неве. А если кто остался дома, то и те не сидят без дела: заставил их работать царь на заводах да в мастерских, лить пушки, делать ружья, ковать копья и мечи, отливать ядра...

Царь нагрянул в столицу в тот момент, когда его меньше всего ждали. Через несколько дней после приезда он велел позвать к себе казаков.

Все девяносто восемь казаков во главе с атаманом Петровым и есаулом Соколовым, одетые в новые цветные кунтуши, в мерлушковых шапках с красными шлыками, с утра гомонили в Грановитой палате * в Кремле,— ждали царя.

Петр явился только к полудню. Он стремительно вошел в палату, высокий и статный, в длинных, выше колен сапогах, в синем, потертом по бортам кафтане шкипера с серебряными пуговицами и кружевным галстуком на шее. За ним следовала свита.

Казаки попадали ниц.

— Зачем? — поморщился Петр. — Кафтаны-то свои помараете. Ишь, какие они у вас добрые. У крымцев, что ли, взяли? — захохотал он.

— Челом бьем, милостивый государь, — сказал Ефрем, не поднимаясь с пола.

— Встань, а потом говори! — строго сказал Петр.

Казаки приподнялись. Ефрем продолжал:

— Мы, холопы твои, великий государь, атаманы и казаки зимовой станицы, приехали за жалованьишком *. Голодаем мы, государь, на твоей службе на Диком поле.

Петр, пыхнув из короткой трубки ароматным дымом крепкого голландского табака-кнастера, усмехнулся:

— Это вы-то голодаете? Не ври, Ефрем... Дал бы бог каждому так голодать, как вы голодаете.

Ефрем смущенно потупился, чувствуя, что немного перехватил, потом, оправившись, смиренно проговорил:

— Ведь оно, конешное дело, великий государь, голодать-то хоть и не голодаем, нечего господа бога гневить, но только много больно народишку на Дону разнелось, жалованья твоего маловато стало... Прибавить малость бы надобно. Мы, вечные слуги твои, испокон веков

надежной охраной у реки Дона супротив крымцев да турок стоим, не пускаем их, супостатов, на твои, царские земли. Просим тебя, государь, прибавить жалованья за нашу верную службу...

Царь задумался.

— Это так, — согласился он наконец. — Верную службу вашу казачью ценю. Макаров,— обратился он к своему секретарю,— отпиши указ, чтобы дали из казны Донскому войску двадцать тысяч целковых в награду за усмирение астраханского бунта... Спасибо вам!.. Ты ведь, никак, сам водил казаков усмирять бунтовщиков, а?..

— Как же, батюшка, водил... Спасибо тебе, милостивый государь, за твою милость...

— Макаров, — сказал снова Петр секретарю, — вели выдать Ефрему Петрову за верную службу мне двадцать пять целковых. Да дайте ему соболью шубу. А это твой есаул, что ли? — взглянул он на Соколова.

— Есаул, государь.

— А есаулу выдайте кафтан да десять рублей. А казакам каждому по три рубля. А всему войску Донскому жалованья прибавить да войсковые клейноды пожаловать.

— Ура-а!.. Ура-а великому государю!.. — разразились радостными криками казаки. — Ура царю-батюшке!..

Петр, посмеиваясь, смотрел на ликующих казаков, потом поднял руку. Казаки затихли.

— Ну, донцы-молодцы, теперь пойдемте в трапезную, угощу вас за вашу добрую службу.

Шумливой толпой казаки двинулись вслед за царем и его свитой в трапезную. Там столы были уже уставлены обильными яствами и напитками.

Царь был в отличном настроении, благодушен и весел. Много шутил, смеялся. Этому способствовало то, что он только что получил от Меншикова донесение о победе над шведским генералом Мардефельдом. Петр спешил угостить казаков, а потом, распрощавшись с ними, сейчас же намеревался ехать в Санкт-Петербург праздновать победу. Гонцы уже поскакали туда с приказом подготовить все к празднеству.

Казаки уселись за столом между царскими сановниками. Ефрема Петр усадил рядом с собой.

Ефрем, сидя около царя и видя его в хорошем настроении, решил заговорить с ним о челобитной. Но сколь-

но ни пытался он начать разговор об этом, царь его не слушал. Все свое внимание он уделял тому, что делалось вокруг.

Среди казаков раздались оглушительные взрывы хохота. Ефрем посмотрел в ту сторону, где смеялись, и увидел, как огромный бурый медведь с ворчанием расхаживал среди гостей и подавал каждому по огромному ковшу ухи, приправленной перцем. Один казак попробовал было отказаться от ковша, тогда медведь отставил поднос и стал душить казака. Петр смеялся громче всех. Потом царь заставил казаков петь донские песни и сам подпевал им.

Ефрему все-таки удалось сказать царю о челобитной. Петр внимательно выслушал Ефрема, прочел челобитную. Несколько минут он сидел молча, нахмуренный, строгий, о чем-то думал.

Петр прекрасно понимал, что донское казачество на далекой окраине страны было надежным стражем России от вторжения врага. Донские казаки немалую услугу оказали русским войскам при взятии Азова и укреплении русского владычества на берегах Азовского моря. Сейчас казаки помогли подавить Астраханское восстание. И все же...

— Нет, Ефремка, — сказал он резко, — что хочешь проси, только не это! Указа своего отменить не могу. Не могу, Ефрем!

Выпив залпом, он обтер усы рукавом кафтана, огорченно проговорил:

— Ведь вот вы какие, атаманы. Службу вы несете исправно, отменно, доволен я вами, а просите несуразное...

Лицо его покраснело, в глазах засверкали гневные искорки.

— О чем ты просишь, Ефрем? Подумал ли ты об этом?.. Ведь поизленились холопы да черные людишки, работать не хотят. К нам, на Дикое поле, бегут. А вы их укрываете да еще в казаки принимаете, просите за них... Нельзя этого делать!.. Нельзя черному люду поваДки давать. Нельзя!.. Всех беглецов с Дона повыселю, всех в кулак зажму, всех приставлю к купцам на заводы да фабрики, с утра до ночи работать заставлю... Всех холопов к их помещикам верну!.. Кнутом верну, дыбой. Ведь держава-то наша, Ефрем, слава богу, обильная да бога-

тая... Купчишки у нас али помещики — толковые, разумные, а вот холопы, черные да работные людишки — лентяи. Не хотят работать, а работать надобно, чтоб при наших-то богатствах купцам нашим али иным каким торговым людям разворот большой был... Да чтоб дворянин мог исправно государству служить. В первую очередь надобно морской путь добыть, чтоб можно было наши богатства в заморские страны вывозить, торговлишку с иноземцами вести...

Хлебнув вина, Петр, несколько успокаиваясь, продолжал:

— Вот был у нас единственный на всю Русь порт в Архангельском, а теперь, слава богу, усердием нашим морской державой становимся... Можем ныне по Балтийскому и Черному морям своими кораблями ходить. А их ведь у нас не было. А теперь есть у нас и кораблики, есть и порты... Али вот взять войско. Не было у нас раньше войска стóящего, а теперь войска-то у нас какие, а? — усмехнулся Петр.— Всем воинским наукам обучены. Ишь, как шведа-то лупят. А Карла-то шведского не легко бить, его все страны боятся. А мы его бьем, будем бить и побьем!.. Народ мне сейчас зело надобен... Города новые строим, заводы... Думаю вот еще прорыть канал, чтобы соединить Волгу с Доном. Тож народу уйму надобно, а народ не идет, не хочет работать. Попзленились холопы. Наша держава должна быть сильной, крепкой... Каждый должен в ней свой удел знать: помещик должен своих крепостных к труду понуждать, чтобы больше хлеба давать, купец — торговлишку с иноземцами вести, а холопы и разный работный люд — работать. Всех беглецов с Дона выселю, к помещикам да к купцам на заводы приставлю, работать прикажу. Понял, Ефрем?.. Так вот такой мой ответ своим атаманам и обскажи. Не могу я своего указа отменить.

Возвращаясь к себе, на тихий Дон, Ефрем Петров невесел был. Не добился он от царя того, за чем войсковые старшины его послали.

Из Воронежа зимовая станица плыла на барках. На Хопре и Дону казаки встречали зимовую станицу, везшую царское жалованье, восторженными криками и ружейной пальбой.

В Черкасске к встрече Петрова с казаками приготовились торжественно. Атаман Максимов, войсковые стар-

шины с хорунками и бунчуками, окруженные толпой народа, собрались на берегу.

Как только барки причалили к стружементу, Максимов и Зерщиков подбежали к Ефрему.

— Ну? Что?

— Ничего, — безнадежно махнул рукой тот. — Отказал нам государь.

— О господи! — тяжко вздохнул Максимов. — Что ж будем делать, а?

ГЛАВА XIX

Второго сентября 1707 года в Черкасск прибыл полковник князь Юрий Владимирович Долгорукий с солдатами и писарями. Атаман Максимов собрал войсковой круг.

Долгорукий, сухой, костлявый, чисто выбритый, в щегольском зеленом кафтане и высоких походных, с большими серебряными шпорами сапогах, вышел на середину круга и, не глядя на казаков, стал надменно, гнусавым голосом читать царский указ:

— «...Указали мы вине вам без замедления ехать на Дон для сыску беглецов, которых надлежит во всех казачьих городках переписать и с провожатыми вместе с детьми и женами выслать в то же города и места, откуда кто пришел. А воров и забойцов, если где найдутся, имая, отсылать под караулом в Москву или Азов».

Казаки угрюмо слушали указ, шептались, кивая на Долгорукого:

— Глянь, братцы, он и шляпы не гнет перед кругом.

— Пойди, Никишка, сшиби с него ее.

— Да, сшибешь. У него, вишь, пистоль-то какой.

Кончив читать, Долгорукий не спеша свернул указ в трубку, положил в карман.

— А ныне начнем мы сыскивать беглецов у вас в городке,— сказал он, хмуро взглянув на Максимова.

Толпа выжидающе молчала, прислушиваясь, какой ответ даст атаман Долгорукому. Максимов растерянно потеребил бороду, развел руками:

— Отколь же, боярин, у нас беглецы? Все ведь мы тут прирожденные казаки... Это, может, в верховых городках, у гультяев...

— Нету у нас беглых! — заорал почти над ухом Долгорукого рыжебородый казак в лазоревом зипуне. — Не-ету-у!..

— Нету-у! — озлобленно затряс седой бородой старик, взблескивая серебряной серьгой в левом ухе.— Все мы тут давнишние казаки!

— Не трогай нас, боярин!.. Не трогай!

— С Дона выдачи нету-у! Нету-у!..

— Нету-у!.. Не трожь нас!.. Не дай сердцу взыграться!

— Молчать, холопы! — визгливо вскрикнул Долгорукий.

Казаки на мгновение замолкли, ошеломленные такой дерзостью: никто и никогда еще не осмеливался так оскорблять круг. И в этой внезапно наступившей тишине откуда-то донесся дурашливый голос Мишки Сазонова:

— Когда гром гремит, свинья тогда молчит.

Кто-то зло, хрипло рассмеялся, где-то матерно выругались. И вдруг чей-то тонкий, плаксивый голос завопил:

— Да что ж это такое, атаманы-молодцы, а-а?.. Да можно ли терпеть такую обиду вольным казакам? Да пошто мы холопы?..

Как по сигналу, майдан взорвался в злобном вое, в гневных выкриках:

— В морду боярина!.. В морду за такие слова!

— Ты говори, боярин, да оглядывайся!

— Мы тебе не холопы, а вольные казаки!

— Хватай его, браты!.. Хватай!

Долгорукий, побледнев, оглянулся и подался назад.

— Солдаты, ко мне!

Солдаты, в зеленых кафтанах, в такого же цвета нитяных чулках до колен и в треуголках, стоявшие недалеко, плотными шеренгами, звякнув ружьями и отбивая шаг, двинулись к Долгорукому. Офицеры, подняв трости, шли впереди.

— В куль да в воду! — потрясая кулаками, кричали казаки.

— В воду дьявола!

Долгорукий отступил еще на несколько шагов перед напиравшей на него толпой и, когда солдаты поравнялись с ним, взбешенно топнул ногой:

— Стреляй!

Офицеры отдали команду. Солдаты, как на учении, вымахнули ружьями. Казаки взвыли от ярости.

— А-а, так! Так вы нас!..

— Кроши их, браты!

В воздухе засверкали сабли.

— Крошн, браты!

Зерщиков, поняв, что наступила страшная минута, в которую могут погибнуть сотни людей в жестокой резне, рванулся с поднятыми руками и, взволнованный, побледневший, закричал:

— Браты, не супротивничайте! Вложите сабли в ножны! Опустите пистоли! Нельзя нам супротивничать царскому указу. Все мы тут слуги и холопы царевы. Разберемся, браты, мирно.

Зерщикова поддержали старшины, стали уговаривать казаков успокоиться. Но не сразу поддались казаки на уговоры старшин, — слишком уж они были оскорблены. Из толпы долго еще слышались гневные выкрики:

— Не можно терпеть казаку такую тяжкую обиду!

— Что он тут выкидывается, как все едино чибис перед тучей?

— Нехай меня зарубит татарская сабля, да не бьет боярская плеть!

— Мы ему покажем казачью кровушку!

— Покажем!

— Она горячая!

— Распускай круг,— сказал Долгорукий атаману.— Давай мне старшин, поеду с ними в верховые городки.

Подавленный происшедшим, Максимов вздохнул:

— Надобно, милостивец, старшин на круге выбрать. Такой у нас обычай. Закон.

— Закон? — переспросил Долгорукий, побагровев от гнева. — Для нас всех закон один — государева воля. Распускай свой сброд... Говорить с ним не желаю.

Максимов снова вздохнул и, сняв шапку, закричал кругу:

— А ну, послухай, честная станица, послухай!.. Расходись, атаманы-молодцы, по куреням! Расходись!

Толпа казаков успокаивалась, затихала. Солдаты опустили ружья, поставили к ноге. Казаки бросали в ножны сабли, засовывали пистоли за пояса, расходились с майдана. Неугомонные, оборачивались, грозили:

— Мы тебе, князь, припомним!.. Припомним!

— Не все ж бывает попу Митриева суббота!

Долгорукий опасался сейчас производить сыск беглых в Черкасске — слишком уж возбуждены и озлоблены были казаки. Чего доброго, могут весь его отряд перебить. Взяв с собой пятерых войсковых старшин, он направился с отрядом в Мелеховский городок.

В Мелехове Долгорукий разбил отряд свой на несколько частей и разослал их искать беглецов по рекам Хопру, Медведице и Бузулуку. Сам же с частью отряда и старшинами Ефремом Петровым и Никитой Соломатой решили идти по Донцу.

В Митякинском городке, в который вошел Долгорукий со своими людьми для сыску, не было ни души. Все при приближении солдат со страху разбежались. Долгорукий приказал во что бы то ни стало разыскать хоть кого-нибудь, чтобы допытаться, куда все девались.

К вечеру солдаты привели к князю казака, пойманного за городком в буераке.

— Ты кто таков? — сурово спросил у него Долгорукий.

— Казак, — хмуро ответил тот.

— Знаю, что не кобель. Как кличут?

— Семка Куницын.

— Почему городок пуст? Куда девались казаки?

— Не ведаю, — покачал казак головой. — Я ездил в Маяк по делам, а как возвернулся, так тут никого не осталось. Куда девался народ, не ведаю.

— Врешь! — крикнул князь. — Вот уже поиспробуешь батогов, тогда сразу будешь ведать. Солдаты, всыпать ему!

Куницын побледнел. В глазах его блеснули огоньки.

— Боярин, — прерывающимся голосом закричал он,— не трожь меня!.. Ой, не трожь!.. Худо будет!

— Худо? — побагровел от ярости Долгорукий. — Ах ты, свинячий сын! Грозить еще мне?.. А ну, всыпать ему покрепче!

Солдаты свалили Куницына наземь, спустили с него портки. Засвистели кнуты.

Казак вначале крепился, потом застонал.

— Боярин, разбеглись... разбеглись казаки...

— Стой! — остановил Долгорукий солдат.— Куда разбежались?

— Как прослышали, боярин, что идешь ты с солдатами, так и разбеглись.

— Сказывай, Семка, беглые есть у вас?

— Не ведаю, боярин.

— Бей крепче! — визгливо закричал князь.

Снова засвистели кнуты. Казак простонал:

— Есть, боярин.

— Сколько?

— Человек сто.

— А ты беглец?

— Нет, боярин, я прирожденный казак.

— Врешь! Прирожденный, а хоронился. Отрезать ему нос да сослать на вечную каторгу в Азов.

— Боярин, — взмолился казак, падая Долгорукому в ноги,— вот тебе крест святой, прирожденный я казак, старожилый... И я рожден на Дону, и отец мой тут родился.

— А мне все одно, природный ты иль нет,— досадливо отмахнулся Долгорукий. — Все вы сволочи. Режьте нос!

Солдаты схватили казака, вывернули ему руки назад.

— Старшина, режь! — приказал князь Ефрему Петрову.

Ефрем вздохнул, покорно взял остро отточенный нож, подошел к Кувицыну. Тот, безумными глазами глянув на нож, побелел, заметался.

— Прирожденный я... прирожденный казак... Ответишь перед богом, боярин.

— Держите ему морду-то покрепче! — сказал Ефрем солдатам и, ухватив Кувицына за кончик носа, чиркнул ножом.

Кувицын глухо зарыдал, отирая рукавом кровь с лица.

— Ну, попомни, Ефремка, попомни!

Долгорукий с отрядом собрался уходить в соседний городок — Обливский.

— Сжечь городок! — приказал он, садясь на лошадь.

У Обливского городка князя Долгорукого с низкими поклонами встретили станичный атаман и старики.

Долгорукий сказал им о цели своего приезда.

— Нет у нас, князь-милостивец, беглых, — сказал атаман. — Перед тем было двенадцать беглых, да как прослышали они про сыск, так и убегли из городка.

— Правду говоришь? — пристально посмотрел на него князь.

— Правду, милостивец. Спроси хоть у стариков.

— Истинную правду, боярин, истинную,— закивали седыми бородами старики.

— А вот уже поглядим, правду вы говорите иль нет, — зло усмехнулся Долгорукий. — Солдаты, всыпать им батогов!

— Боярин, — в ужасе вскричал атаман, — не можно меня стебать батогами, я ж атаман!

— И атаману не худо отведать батогов, — искривился Долгорукий, — зело пользительно.

Атамана и стариков распластали на земле. Солдаты, засучив рукава, взмахнули кнутами.

— Покрепче! — прикрикнул князь.

Посыпались частые удары по оголенным спинам казаков.

— Говори, атаман, есть беглые? — подошел к нему Долгорукий.

Атаман при каждом ударе вздрагивал всем телом, стиснув зубы, молчал.

— Сыпьте покрепче, сыпьте! — кричал князь, расхаживая между солдатами, стегающими кнутами стариков.— Говори, старый хрыч,— толкнул он ногой одного из стариков, — есть беглецы?

— Не можно казать, боярин, — простонал старик. — Мы ж крест святой целовали.

— Постой, — остановил князь солдата, замахнувшегося кнутом на старика. Нагнувшись к нему, князь шепотом спросил: — А попу на исповеди скажешь?

— Да то ж ведь попу... — заколебался старик.

— Надевай свое отрепье, — приказал ему Долгорукий. — Пойдем.

Старик дрожащими руками натянул рубаху и поплелся вслед за полковником в часовню. Солдат привел туда перепуганного чернеца.

Вскоре Долгорукий вышел из часовни довольный, ухмыляющийся.

— Посадить атамана под караул, — распорядился он.— А ты, Григорий,— приказал он офицеру,— возьми солдат и иди с ними в лес, там много беглецов хоронится.

ГЛАВА XX

Не заезжая домой из Ингрии, Григорий Баиняков с указом царя Петра прямо направился в Черкасск-городок, к атаману Лукьяну Максимову. Передав ему царское письмо и порассказав о войне, он направился на торговую площадь. Долго он расхаживал по торговым рядам, выискивая, каких бы подарков накупить родным.

Толстый перс с крашеной огненно-красной бородой, в желтом верблюжьем халате, сидя в своем ларе, завидев Григория, закивал ему головой, как знакомому.

— Салам алейкюм, казак!.. Салам алейкюм!

— Здорово! — нерешительно остановился Григорий, вглядываясь в перса, думая, что, может, это кто из знакомых.

Перс, щелкая туфлями по босым пяткам, выбежал из ларя, схватил Григория за рукав.

— Ходи к мене, казак, ходи... Девочка нужен? Красиви девочка... Ух какой красиви!.. Глаз чарни, губ красни! — хихикнул перс.— Куни, казак, нэ дорого... Жена будет... Куни!

— Уйди! — отпихнул от себя перса Григорий.— Не надобно.

— Куни, казак! — пристал перс.— Дэвочка — турячка... Молодой, красиви, жирний... Нэ дорого...

— Уйди, черт,— рассвирепел Григорий,— а то так вот и двину! — показал он свой здоровенный кулак.

Перс опасливо покосился на Гришкин кулак, отстал.

У другого ларя Григория встретил горбоносый, с черными разбойными глазами, высокий грек.

— Заходи, казак, покупай жене, что душе твоей понравится.

А на полках у него чего только не было! Радужными огнями переливались невиданные узорочья *. Тут и базилики, гнутые из золота и серебра, и связки бус, гранатов, камней чудесных, и веретки из цветного стекляруса, и монисто, и ожерелья разных сортов и цветов, и гаманки *, расшитые золотом, жемчугом и серебром, и пояса, украшенные яхонтами, и много другого.

Гришка выбрал красивое ожерелье из цветных камней и золотые серьги и, завернув их в тряпицу, сунул в карман.

Улыбаясь от мысли, что Галя, видимо, этим подаркам

будет рада, он пошел дальше по рядам, выискивая подарки отцу, матери, братьям, сестрам, снохам, племянникам. На площади стоял невообразимый шум и гам. Разноплеменный народ сновал по рынку. Здесь кричали, ругались и торговались на многих языках Европы и Востока.

У церковной ограды, позванивая струнами домр и сломниц, гнусаво пели слепцы. Чуть дальше слышалось пронзительное взывание дудок и глухие удары бубен. За пьяным, покачивающимся из стороны в сторону огромным бурым медведем, которого водил на цепи такой же пьяный цыган, ходила хохочущая толпа.

На берегу Дона, у харчевни, из дверей которой клубился пар, шумела толпа казаков. Григорий подошел к ним и увидел в кругу толпы боровшихся татар. Оба татарина до пояса были оголены, и тела их густо смазаны жиром. Борцы утомлены, с жарких тел их каплями стекает пот. Они уже давно борются безрезультатно. Руки скользят по покрытым жиром телам, и татары не могут побороть друг друга. Каждое их движение и усилие вызывают веселый хохот толпы.

Григорий, глядя на забавную борьбу, вначале так же весело смеялся, но потом пришел в азарт, протиснулся ближе к борцам, начал подзадоривать их:

— Да ты его под лопатки, под лопатки!.. Эх ты!..

Один из борцов, дюжий молодой татарин, отстранился от своего противника, дурашливо обхватив тяжелыми руками Григория.

— Давай бороться... Давай.

— Салом вымажешь, дьявол,— увернулся от татарина Григорий.

В толпе засмеялись.

— Испугался казак.

— Где ему с татарином связываться! — послышался чей-то насмешливый голос.— Ему татарин доразу голову свернет. Он лишь на язык горазд, а чуть чего — так и в кусты... Хо-хо!

Смуглые щеки Григория покрылись алым румянцем.

— Я испугался? — изумленным взглядом обвел он толпу.— Да вы что, черти, али Гришку Банника не знаете?.. А ежели не знаете, так я вам зараз покажу, как Гришка борется. Эй, дундук! — вызывающе крикнул он татарину, сбрасывая с себя кафтан.— Давай схватимся!

— Давай,— охотно согласился татарин.— Только ты рубаху снимай.

— Нет, я в рубахе буду бороться,— сказал Григорий, засучивая рукава расшитой цветными узорами полотняной рубахи.— Что ставишь в заклад, дундук? Жбан вина поставишь?

— Ладно,— кивнул татарин.— Ставь и ты.

— Ежели поборешь меня, то и два поставлю,— усмехнулся Григорий.— Только едва ли тебе это удастся.

— Поглядим,— буркнул татарин.

К Григорьеву противнику подошли татары, находившиеся в толпе, и о чем-то оживленно с ним заговорили. Немного зная по-татарски, Григорий понял, что они убеждали борца, чтобы он поставил условием борьбы сшибить противника с ног, но не дать ему упасть на землю, а удержать. Это условие было трудное, но Григорий до того был раззадорен, что сразу же согласился принять его.

Борцы с разбегу ринулись друг на друга, сцепились, завертелись. Григорий сразу же почувствовал огромную силу татарина. Как ухватит татарин, так кажется, что кости с треском повыскочат из кожи. У Григория же ничего не получалось. Он никак не мог крепко ухватить татарина: руки скользили по намазанному жиром телу противника.

Возились долго. Уж несколько раз Гришка под нажимом татарина подламывался в коленях, и вот-вот, казалось, рухнет, но каждый раз, напрягая последние силы, каким-то чудом удерживался на ногах.

— Слабоват казак-то, слабоват,— сочувственно переговаривались в толпе.

Гришка обозлился. С удвоенной силой схватил он татарина за голову, уперся в него спиной и, качнувшись, перекинул его через плечо в реку. Тотчас же сам кинулся в реку и вытащил татарина из воды. Условие борьбы было выполнено блестяще. Толпа восторженно шумела:

— Вот это показал свою ухватку!

— Вот это так казак!

Особенно бурно восторгались ловкостью Гришки татары:

— Батыр, бачка!.. Батыр!

Гришка, самодовольно ухмыляясь и тяжело дыша, отряхнулся от воды, надел кафтан.

— Ну, пойдем теперь твое вино пить, зальян,— сказал он дружелюбно своему сконфуженному противнику.

Татарин широко улыбнулся, хлопнул своей огромной ладонью по плечу Гришки.

— Молодец, бачка!.. Пойдем вино пить. Угощаю тебя.

Окруженный татарами, Гришка направился к кабаку. У кабака цирюльник брил казака. Казак стоял раскорячившись, подняв лицо вверх и зажмурившись. Маленький, проворный еврей, окуная пук щетины в котел с грязной жижей, намыливал казаку бороду. Потом, поплевав на оселок, он начал точить огромную, полуаршинную бритву.

— Соколов! — окликнул Григорий казака.

Казак открыл глаза.

— А, Гришка! Здоров будь!

— Пойдем в кабак, Соколов,— пригласил Григорий.

— Ладно. Вот как обреюсь — приду.

В кабаке было шумно и людно. С трудом нашли свободное местечко в углу. Татары заказали жбан вина.

— Пей, бачка, бывай здоров! — угощали они Григория.

Противник Григория, молодой широкоскулый татарин, подсев ближе к Григорию, сказал:

— Я — Мустафа. Будь моим другом... Тебя как зовут?

— Гришка Банников.

— Пей, Гришка! Мустафа любит сильных людей... Ты — сильный, я — сильный... Когда тебе надо будет сильный друг, скажи: Мустафа, помогать надо. Мустафа всегда тебе рад будет помогать... Давай пить, Гришка.

Вскоре вошел Соколов, держа тряпицу у окровавленной щеки.

— Что, Тимофей, ай брадобрей бороду порезал? — усмехнулся Григорий.

— Чуток, проклятый, горло не перехватил.

— А ты бы его бритвой в брюхо,— захохотал Григорий.

— Я ему и так в морду за это дал.

— Садись с нами, Соколов, да выпей, все доразу заживет.

— Ну, от этого дела никогда не отказываются,— сказал Соколов, присаживаясь к компании.— Вино — самое лучшее лекарство. Как выпьешь, так все болячки сразу заживают... Будьте здоровы, честные люди! — выпил он ковш вина.

— Ну как, Тимофей, доброе винцо? — осведомился Григорий.

— Знатное. Давно ли ты видал, Гришка, моего друзяка Кондрата Булавина? Как он живет там у себя?

— Давно я его не видывал,— сказал Григорий.— Ведь я только что вернулся с войны. А когда уходил на войну, так Кондратий дюже был забижен на царя да на бояр, что отобрали у нас бахмутские варницы и землю паюмцам отдали...

— Да-а,— протянул Соколов.— Не стало нашему брату приволья. Что только и делается на свете белом... А вот пришел князь Долгорукий к нам, на Дон, так и совсем в разор приводит Донщину.

— Я проезжал по казачьим городкам,— сказал Григорий,— да прислушивался. Везде только и разговору, что об этом князе Долгоруком. Некогда мне дюже расспрашивать о нем было, потому как спешил с царским пакетом. Гонорят, будто он беглецов норовит вернуть в Россию к помещикам?

— Ты, Гришка, как с неба свалился,— сердито сказал Соколов.— Да он такую тут лютость завел, что прямо-таки не приведи бог... В вашей же он сторонке-то лютует.

— Ничего не слыхал,— насторожился Григорий.— Я ведь, не заезжая домой, прямо сюда прискакал... Что он там делает-то?

— Эге! — кивнул головой Соколов.— Такая, брат, каша заварилась, что и не расхлебаешь... Долгорукий со своими солдатами городки казачьи жжет.

— Зачем?

— Казаков выкуривает.

— А зачем же городки-то жечь?

— А ты у него спроси.

— Значит, беглецов вылавливает, а все страдают?

— Да он не только беглецов, он и природных казаков хватает... Казаки в ухоронку бегут, а солдаты их ловят да батогами секут, носы и губы режут. В ссылку на каторгу ссылает.

— Ай-яй-яй! — качали головами татары.— Какой беда!.. Какой беда!..

— Младенчиков на деревьях вешают,— продолжал печально Соколов.— Девок, баб сильничают...

— Да неужто правда? — вскрикнул Григорий, пораженный услышанным, хватая Соколова за руку.

— Что я тебе врать, что ли, буду? — обиделся Соко-

лов.— Конец пришел нашему Дону... Никого — ни казаков, ни женщин, ни стариков, ни младенчиков не милует...

— Что же это такое, а? — широко открытыми глазами смотрел Григорий на рассказчика.— Значит, пропала наша жизнь казачья...

Ошеломленный такими страшными вестями, Григорий долго сидел молча, опустив низко голову. Вот он сидит здесь, бражничает, а там, в Новом Айдаре, может быть, сейчас Долгорукий расправляется с его семьей — режут носы отцу и братьям, истязают сестру, снох... Вдруг он побледнел и вскочил. Он вспомнил о Гале. Ведь, может быть, ее также там истязают...

— Куда, Гришка? — спросил Мустафа, тоже поднимаясь.

— Прощайте! — глухо сказал Григорий.— Поеду. Может, там Долгорукий уже семью до смерти засек... Растревожил ты мое сердце, Тимофей...

— Прощай, Гришка,— подал ему руку Мустафа.— Ежели надо будет сильный человек, скажи — Мустафа, помогать Гришке надо, Мустафа помогать будет.

— Ладно, Мустафа,— сжал его руку Григорий.— Спасибо. Запомню твои слова. Может быть, и пригодишься мне.

На площади стояла коновязь. Каждый приезжающий в Черкасск привязывал свою лошадь к ней и уходил по делам. Среди множества лошадей, привязанных к коновязи, Гришка разыскал своего аргамака и, подтянув подпруги, вскочил в седло.

— Башлыков Гришка! — окликнул его кто-то.

Григорий оглянулся. К нему подходил Илья Зерщиков.

— Слыхал, Гришка? — скорбно спросил он, подойдя.

— Слыхал,— угрюмо буркнул тот, поняв, о чем спрашивает у него Зерщиков.

— Ох, господи, что только и деется,— вздохнул Зерщиков.— Гришка, скачи ты что есть мочи к Булавину. Скажи ему, чтобы он, ради бога, как можно скорее приехал сюда. Дело есть важное. В пятницу к ночи на той неделе, пусть беспременно будет у атамана Максимова. Мы все у него соберемся, совет будем держать, как от погибели упастись. Езжай, дай тебе бог счастливого пути.

— Прощай, Илья Григорьевич! Зараз поеду.

Григорий стегнул плетью своего аргамака и вихрем помчался в Трехизбянский городок.

ГЛАВА XXI

Бахмутские солеварни окончательно перешли в ведение Семеновской канцелярии. Приехали дьяки и приказные люди с солдатами, переписали варницы, поставили над ними контроль. Потом целыми обозами прибыли из внутренней России работные люди с женами, ребятишками, со всеми своими пожитками, расселились по речкам Бахмуту, Жеребцу и Красной. Закипела работа на промыслах. Длинные обозы потянулись с солью в далекую столицу.

Многие бахмутские казаки, варившие соль, остались без дела.

Злые, голодные, собирались они группами и печально наблюдали издали, как работные люди отныне государевых варниц работали на промыслах и как солью Подонья промышляли пришлые откупщики.

Булавин был отстранен от атаманства в Бахмуте и больше не имел никакого отношения к соляным варницам. Но его тянуло к ним. Оседлав коня, он нередко ездил туда.

Старые солевары сейчас же окружали его и изливали перед ним свои обиды. Казаки спрашивали, не произошло ли каких-нибудь изменений и не намеревается ли царь снова вернуть им варницы.

Что мог им ответить Кондрат? Тяжело ему было слушать жалобы казаков-солеваров, с которыми он много лет работал вместе, сроднился. Кондрат знал, какую нужду терпят они и какую надежду он вселял в них каждым своим приездом.

— Потерпите, браты, — говорил он. — Вот поехал Гришка Банников на войну, наказал я ему повидать там царя и рассказать ему обо всех наших нуждах. Авось господь даст, смилуется наш государь и возвернет нам варницы и землю... Потерпите, браты.

— Потерпеть-то оно, конешное дело, Афанасьевич, можно,— сказал на это старый солевар Матвей Горелов.— Только терпеть-то докудова? Терпеть уж сил нет. Доходим. Ни куска хлеба нет, ни горстки пшена. Ежели б хоть с пуд ржаной муки было, тогда б еще можно жить... Ведь наше дело-то было какое, атаман? Работное. Бывало, добудешь несколько сотен пудов соли, пу, и есть тебе и мука и пшено. А зараз, как перестали работать на варницах, так с

голодухи погибаем... Да мы-то, взрослые, еще как-нибудь могли бы перебиться. А ежели б и пооколели, так туда бы и дорога, отмучились бы от такой жизни. Но вот маленьких ребятишек дюже жалко. Поистощали они все, ажно посинели от голода... Маленькие-то за какие грехи страдают?

— Правду истинную говорит,— качали седыми бородами старики.— Измаялись, Кондратий Афанасьевич.

— У меня вот уже двое внуков померло с голоду,— сказал старый солевар Егорыч.— А зараз старуха лежит хворая. Ей бы надобно молока, пищу легкую. А где ее взять?.. Негде-е,— протянул он печально.

Молодые казаки-солевары были настроены по-другому. Они уже не верили ни во что и ждать не хотели.

— Атаман,— горячо говорил солевар Филат Никифоров, здоровенный, в конопинах, детина,— ты нас не ублажай. Ждать нам нечего. Всё!.. Лишили нас работы, да и с городка выгоняют неведь куда... Что нас ждет там, в безлюдной-то степи?.. Голод и холод, детишки попухнут да помрут... Ведь ежели так это рассуждать, то, может, он, царь-то, и прав, что отобрал у домовитых соляные варницы, потому как от соли богатели лишь они, проклятые. А теперь навроде соль пойдет на выгоду всему государству. Это мы, конешное дело, понимаем. Правильно сделал царь. Но неправильно то, что нас, худосочных солеваров, голь перекатную, промысла лишают до сгоняют с насиженного места... Почему нас сгоняют? По какому такому делу? За какую провинность?.. За то, что мы весь век свой трудились, что ли?.. Нет, Кондратий Афанасьевич, нечего нам ждать...

— А что же ты хочешь делать? — полюбопытствовал Кондрат.

— Найдем что.

— А все же скажи, что задумал?

— Постой, я скажу,— вмешался в разговор работный человек с варницы домовитых казаков Хазовых, отошедшей теперь к казне. — Скажу — не побоюсь... Мы, атаман,— озираясь, зашептал он,— все до единого пойдем на Черкасск, побьем домовитых, закрома у них разобьем... Мы на них всю жизнь работали, хребет гнули, соль для них добывали, а они втридорога ее продавали да богатства наживали. Они в бархате да шелку ходят, меды да вина распивают, а мы всю жизнь в голоде да холоде живем, лох-

мотья вшивые трясем. Где ж правда-то, а?.. Они, проклятые, обжираются, а я голодный, детишки с голоду пухнут...

— Чудова ты голова,— возразил Кондрат.— Что вы этим достигнете, ежели пойдете домовитых грабить? Разве ж они подпустят вас к своему добру? Они же вас постреляют.

— А это еще поглядим, кто кого,— прервал Филат Микифоров.— А ежели, к тому, и пристрелят, то туда и дорога. Все едино с голоду сдохнем... Али вот пойдем да всех дьяков и прибыльщиков, что понаехали к нам, побьем да варницы сожжем...

— Нет,— покачал головой Булавин,— так не гоже. Надобно другую дорогу искать...

— А что другое придумаешь, Кондратий Афанасьич? — вступил в разговор пожилой солевар Беспалов, высокий чернобородый казак.— Жизнь наша гиблая. Ежели мы себе улучшение в жизни не сделаем, то надобно живому ложиться в гроб. Сулят переселить нас отсюда. А куда мы пойдем, а?.. С обжитых-то земель да с ребятишками, а?.. Кто нас там ждет?.. Пироги, что ли, нам с медом приготовили?.. Нет, атаман, так жить более не мочно...

— Погодите, браты, потерпите,— неуверенно проговорил Кондрат.— Может, какое улучшение и будет.— Но, говоря это, он и сам не верил своим словам.

— Хорошо тебе, атаман, терпеть! — со злостью выкрикнул Филат.— У тебя, верно, кладовые-то полно харчем набиты. Может, поразгрузил бы свои кладовые-то, тогда, может, и потерпим, а?.. Ха-ха...

— Зря, Филат, забижаешь атамана,— сказал Беспалов.— Что он один сделает? Да он, может, и рад душой помочь нам, да что из того? Его помощь — капля в море... Нет, не забижай атамана...

— Да это я в сердцах так сказал,— смущенно произнес Филат.— Я на атамана не в обиде... Извиняй уж, атаман, ежели обиду поимел на меня... Ты вот научи нас, что нам делать. Помоги остаться на промысле, хлеб себе трудом зарабатывать, не то всех дьяков побьем, кои пришли нас тут разорять... А тут еще пришел дьявол Долгорукий. Вишь, что с нашим-то братом делает?

Кондрат понимал, что это не простая угроза. Солевары, доведенные нуждой и голодом до крайности, возбуждены и могут пойти на все.

Приход отряда Долгорукого на Дон, расправа с беглыми возбудили казаков-солеваров еще больше. В воздухе запахло грозой. Каждую минуту можно было ждать взрыва.

ГЛАВА XXII

На столе слабо мерцает свеча, тускло роняя отблески света на сумрачные лица. Илья Зерщиков нетерпеливо прислушивается у окопца к шуму улицы, глухо проникающему сквозь плотно прикрытый железный ставень.

— Вот скажи, запоздился как,— проговорил он.— Да не может того быть, чтобы не приехал. Не таковский он.

— И чего ты его уж так ждешь? — спросил Лукьян Максимов.— Что он тебе так понадобился?

— А вот приедет — узнаешь,— загадочно сказал Зерщиков.

Чуткое его ухо уловило далекий цокот копыт. Он усмехнулся и отошел от окна:

— Едет.

Казаки прислушались. По улице простучали копыта скачущей лошади. У ворот топот оборвался.

— Он,— снова сказал Зерщиков, улыбаясь.

Через несколько минут на кухне кто-то заговорил с атаманшей Варварой. Максимов распахнул дверь.

— Входи, Кондратий.

Через порог шагнул Булавин. Скинув шапку, перекрестился.

— Здорово живете, браты!

— Слава богу,— ответил атаман, прикрывая дверь на кухню.— Садись, Кондратий.

Булавин разглядывал в полумраке казаков.

— Все свои,— сказал Зерщиков.— Василий Позднеев, Тимоха Соколов.

— Добре,— сказал Кондратий, пройдя от порога, сел на скамью, бросив шапку на стол.— Умаялся, браты, дюже... Почти всю дорогу не слезал с седла.

Лицо его было темно от пыли, черные курчавые волосы слиплись на потном лбу.

— Может, умылся б, Кондратий? — предложил атаман.

— После,— отмахнулся Булавин.— Лучше дал бы ты мне, Васильич, чего-нибудь выпить. Во рту пересохло от пыли.

— Сейчас, сейчас,— заторопился Максимов. Приоткрыв дверь, он попросил жену: — Варварушка, ты б дала нам чего-нибудь попить. Медку б, что ль, переварного.

В горницу вошла Варвара, как всегда пригожая, нарядная. Ни на кого не глядя, она прошла к столу, поставила кувшин с медом, расставила кубки.

Атаман умильным взором следил за ней и, когда атаманша собралась уходить, ласково сказал:

— Ты уже там, Варварушка, наглядывай. Никого не пускай сюда.

— Ладно, знаю,— буркнула она недовольно и, выйдя из горницы, плотно прикрыла за собой дверь.

Максимов наполнил кубки медом:

— Выпейте, браты.

Булавин с жадностью, без передышки, выпил до дна. Выпили и Позднеев с Соколовым. Кубки Зерщикова и атамана остались нетронутыми.

— Как там у вас, Кондратий, Долгорукий-то? — начал исподволь Зерщиков.

— Как сатана бешеный... Точно белены объелся. Лютует. Ждем к себе, в Трехизбянку... Казаки начали хоронится по балкам.

— Что толку с того?..— желчно усмехнулся Зерщиков.— Нешто от бешеной собаки ухоронишься? У него руки долги, недаром его Долгоруким прозывают. Сцапает и в балках, посы посрежет да на каторгу сошлет... Испугались, дьяволы, зажались по оврагам... Что зайцы трясутся. Казаки тож!

— Ох, горе тяжкое! — завздыхал атаман.— И за какие такие грехи господь нас наказывает? Дожили... Наврозе слава казачья — да жизнь настала собачья...

— Не скули, Лукьян! — раздраженно оборвал его Зерщиков.— Чего скулишь? Надобно не скулить, а головой думать! Так вот, браты, дело-то как обернулось: начинают нас, казаков, в бараний рог гнуть. Особливо люто стало с прошлого года, как забрали у нас бахмутские варницы. Сколько тогда ни бился Кондратий,— покосился на Булавина Зерщиков,— ан нет, ничего не вышло — забрали, нечистые. А разве ж сие не обидно терпеть, а? Ведь они, варницы-то, испокон веков наши, донские...

Заметив, как Булавин нахмурился, Зерщиков едва приметно усмехнулся и продолжал:

— Бахмутские солевары теперь с голоду помирают.

Взялись вот теперь за беглецов. Да не токмо за беглецов. Они ж, проклятые, и старожилым казакам носы режут и на каторгу ссылают. Вот поглядите.

Он торопливо вышел из горницы и вскоре вернулся с казаком, лицо которого было перевязано тряпицей.

— Глядите! — поднес Зерщиков свечу к лицу казака.— Семка, сними тряпицу.

Казак сорвал с лица повязку. На лице его, вместо носа, зияла дыра.

— Господи-сусе! — содрогнулся Максимов.

— Угадываете, браты, ай нет? — злорадно спросил Зерщиков.— Нет? Так я скажу... Это ж Семка Куницын из Митякина.

— Неужто ты, Семка? — воскликнул подавленно Булавин.— Да что ж они с тобой сделали, однодум, а?..

Куницын всхлипнул. Отирая рукавом слезы, сказал:

— Изуродовали, Кондратий. В ссылку ссылали, да убег я...

— Вот что они с нашим братом делают! — озлобленно вскричал Зерщиков.— Возьмутся они, браты, и за нас. Вот тебе господь, возьмутся... Городки посожгут, с женами, с семьями поразлучат... Ежели всех на каторгу не сошлют, так все едино воли казачьей лишат, солдатами да холопами поделают...

— Вот те Христос, поделают! — воскликнул Позднеев.

— Вот Тимоха-то,— кивнул Зерщиков на Соколова,— испытал ссылку в Сибири. Он может сказать, как там сладко. А ведь можем мы, браты, и все ее испытать, ежели не защитимся... Ой, дюже не ладно стало у нас на Дону. Не ладно... Надо, атаманы-молодцы, поразудумать, как нам от погибели лютой уйти да казаков наших упасти...

Зерщиков замолк, испытующе оглянул казаков, желая знать, какое впечатление производят на них его слова. Удрученно опустив головы, казаки молчали.

— Ты как думаешь, Кондратий, а?

Булавин вспомнил своих бахмутских солеваров, их нужду и голод, жизнь беспросветную. Перед ним возникли образы испитых, опухших от голода, грязных и оборванных людей. Вспомнил свои разговоры с ними. Этим людям грозит такая же участь, как и Семке Куницыну... А за что? Неужто за то, что они всю свою жизнь добывали себе кусок хлеба тяжким трудом? Нет, надо спасти их всех от Долгорукого. Спасти от голода и смерти.

У Кондрата созревала смелая мысль, складывался большой, отважный план.

— Я уже кой-чего надумал! — решительно сказал он.— Хоть и говорят, что зипуны у нас серые, да зато умы бархатные... Не пойму, браты, что и делается на свете,— вскочил он со скамьи и окинул горящим взглядом сидящих казаков.— Куда же девалась, браты, наша отвага, а? Куда девалась доблесть казачья? Спокон веков наши отцы и деды своей кровью защищали волю. А теперь что, а?.. Бояре да прибыльщики норовят на нас хомут надеть, холопами сделать. Нет! — ударил он кулаком по столу.— Пущай, кто хочет, кладет шею в ярмо, только я свою не дам! Не дам!.. И солеварам своим не допущу надеть ярмо...

— Охлонись вот медком, Кондратий,— подал Максимов ему ковш меду.— Говори толком, что надумал.

— Ежели наши атаманы свои головы потеряли, стали непригодными воинство казачье защищать, то соберу своих бахмутских солеваров и сами управимся...

— Зря, Кондратий, забижаешь, — огорченно проговорил Зерщиков.— У нас у всех сердце поизболелось, глядя на то, что деется... Да что поделать?.. Вот давайте общим умом да советом придумывать, как погибель от себя отвести... Что надумал, Кондратий Афанасьевич?..

— Об этом разговор длинный,— уклончиво ответил Булавин.

Гневная складка обозначилась у его переносья. Максимов тревожно посмотрел на Кондрата.

Снова вмешался Зерщиков.

— И я кое-чего надумал, — решительно начал он, но примолк и, колеблясь, боязливо обвел взглядом присутствующих: — Сказать ли?

— Говори,— властно бросил Булавин.

Глаза у Зерщикова по-волчьи блеснули, забегали, но он не решался сразу высказать свои мысли.

— Не бойся, говори,— ободряя его, сказал Кондрат,— все ведь мы тут свои.

— Ну и скажу! — крикнул Зерщиков.— Скажу, браты! Слушайте! Конешное дело, все мы тут свои, односумы. Не однова бывали вместе в битвах с супротивниками своими. Не раз кровь свою мешали в баталиях. Не раз друг дружку спасали от неминучей смерти.

— Да к чему это ты все, Илья? — недоумевающе спросил Максимов.

— А вот к чему,— рванул Зерщиков дрожащими руками ворот рубахи, снял с шеи гайтан с нательным крестом; перекрестившись, поцеловал крест и протянул его.

— Целуйте, браты! Целуйте, что все, что скажу, промеж нас останется.

По-прежнему недоумевая, Лукьян Максимов перекрестился и поцеловал крест. Его примеру медленно, как бы в раздумье, последовал Булавин. Перекрестившись, поцеловали крест также Позднеев и Куницын.

— А ты, Тимоха? — подозрительно взглянул Зерщиков на Соколова.

— Что ж, как все, так и я,— сказал тот вяло, неуверенно подходя к Зерщикову. Нехотя перекрестившись, он еле прикоснулся губами к кресту.

Зерщиков торопливо спрятал крест, застегнул ворот рубахи.

— Теперь, браты,— сказал он торжественно,— все мы крест целовали! За потайное дело все вместе будем отвечать... А ежели кто станет предателем, того сам бог накажет, да и от нашей сабли он не уйдет.

— Да будет тебе, Илья, упреждать-то,— нетерпеливо проговорил Максимов.— Знаем сами... Говори...

Зерщиков оглянул казаков, прошептал:

— Убить надобно Долгорукого.

Это так было неожиданно, что собравшиеся здесь смелые, решительные люди изумленно посмотрели на Зерщикова.

— Господи сусе,— испуганно перекрестился Максимов.— Ты в уме, Илья, а?.. Ты что это, навроде Степана Разина, что ли, удумал, а?

— А может, и похлеще Стенькиного выйдет,— усмехнулся Булавин.

— Вот-вот! Надобно, братцы, показать свою силу казацкую,— подхватил Зерщиков.— Ежели будем молчать да покоряться, так над нами каждая мразь силу поимеет. Не потерпим мы того, чтобы на нашу волю посягали... Одного-двух насильников побьем насмерть — другие отвадятся ходить к нам, на Донщину...

— Ей-богу, отвадятся! — восторженно хихикнул Позднеев.

— Одним-двумя дело не обойдется, атаманы,— задумчиво заметил Булавин.

— Что вы глупые слова-то говорите? — вскричал сердито Максимов.— Подумал ли ты, Илья, подумал ли ты, Кондратий, что говорите-то?.. Попробуй убить Долгорукого — царь зараз же войска пришлет на расправу... Погибель нам будет...

— Не пришлет царь войска,— убежденно проговорил Зерщиков.

— А ежели и пошлет, так мы свою силу супротив выставим,— сказал Кондрат.

— Правду истинную говорите,— обрадованно поддержал Василий Позднеев.

— А кто ж возьмется убить Долгорукого? — спросил начавший сдаваться Максимов.

— Ого! — усмехнулся Позднеев.— Обиженных много найдется.

Куницын, гневно поблескивая глазами, сдавленно выкрикнул:

— Да я, браты, убью собаку Долгорукого!.. Ей-богу, убью!.. Я ему, дьяволу, припомню все!..

— Тише! — опасливо оглянулся Максимов на дверь.

— Это добре, Семка, что поимел охоту изничтожить нечистого духа,— сказал Зерщиков.— За это тебе бог тысячу грехов скостит.

— Не так просто убить Долгорукого,— заговорил Булавин. — У него солдат много, защищать его будут. Одному в этаких делах ничего не поделать. Я об этом уже думал. Надобно силу собрать, нужных людей. Есть такая сила, люди такие есть. Бахмутские солевары давно волнуются... Дюже они забижены тем, что их промысла лишили. Многих работных людей, вроде как беглых, работы на солеварнях лишили, да и с Донщины изгоняют. Хуже того, к помещикам вертают. Словно порох горящий, накалились. Их только подожги...

— Все на свете разнесут,— радостно подхватил Зерщиков.— Верно говоришь, Кондратий Афанасьевич. За тобой, атаман, в огонь, на смерть пойдут.

— Так вот,— прервал Булавин,— их-то и надумал я поднять супротив бояр, знамо, первым-наперво, супротив Долгорукого.

— И Семка Куницын помощником тебе добрым будет! — воскликнул Зерщиков.— Послужи, Семка, родно-

му Дону, войску казачьему. Сделаешь дело — Дон от погибели отведешь... Честь и слава тебе вечная будет.

Опустив голову, Булавин задумался.

— Ну, так что же ты, Кондратий, умолк? — спросил Зерщиков.

— Слухаю и разумею... Разумею, Илья,— желчно повторил Булавин,— солеваров хотите натравить на Долгорукого, а сами за их спиной будете прятаться, браты атаманы...

— Зачем за их спиной? — обиженно сказал Зерщиков.— Все мы в ответе за это дело будем... На случай чего мы тебя и твоих солеваров всем кругом войсковым отстоим, выручим. Не бойся, Кондратий, слово наше крепко.

— Ну, что ж,— встал Кондрат,— отвага мед пьет, отвага и кандалы трет. Значит, не только я со своими солеварами все это удумал. Все в ответе будем.

— О чем толковать, Кондратий! — забегал глазами Зерщиков.— Я же тебе сказал — наше слово нерушимо... Положись на нас. Крест святой все ведь целовали... Тимоха, — озабоченно сказал он Соколову, — иди сейчас собирай наших гультяев, кои у нас в услужении находятся. Нехай зараз же с Кондратием сдут. Нечего зря мешкать... Да и сам ты езжай с ним, помощником ему тож будешь. Кондратий и вы все зараз же и езжайте потайно, покель не рассвелось еще, чтобы народ вас не видал... А мы тут с Лукьяном будто и ничего не знаем и не ведаем... А ежели помощь какая потребуется, так за нами дело не станет...

Максимов, раздумчиво почесав затылок, нерешительно проговорил:

— А может, браты, не надобно того делать-то, а?

— Чего это не надобно? — гневно посмотрел на него Зерщиков.

— Убивать этого супостата да солеваров мутить... Против начальных бояр воровать... Может, так все обойдется... А то беды лютой наживем...

— Не каркай,— озлился Зерщиков.— Раз решено, перерешать не будем... С богом, браты!.. В добрый час!..

— Ну, коль так, то с богом! — вздохнул Максимов.— Господи, благослови! — встав, закрестился он на иконы.

Казаки поднялись и, обернувшись к образам, тоже закрестились.

ГЛАВА XXIII

Проводив Булавина в Черкасск, Григорий медлил ехать домой, в Новый Айдар. Он делал вид, что кормит своего коня, но не это его заставляло медлить. Он выискивал случай передать Гале подарки, которые привез из Черкасска. И, как нарочно, случай такой никак не подвертывался. Григорий злился. Повозившись с лошадью, он снова нерешительно входил в курень и снова заводил беседу с Натальей и Никитой, поглядывая на дверь, за которой находилась девушка. Но Галя почему-то упорно не показывалась из горенки. Потеряв всякую надежду передать ей подарки, Григорий наконец решил ехать.

— Ну, поехал я,— сказал он громко, чтобы слышала Галя.— Прощайте!

— Отдыхай, Григорий,— сказала Наталья.— Небось и конь-то твой еще как следует не отдохнул.

— Нет, надобно ехать.

— Ну, доброго тебе пути! Как приедет Афанасьевич из Черкасска, так приезжай к нам... На войну-то, Гриша, поедешь опять али нет?

— А вот уж как атаман соберет казаков... Придется, должно, их вести.

Вышел он из куреня мрачный. Аргамак встретил его веселым ржанием.

— Ну, чего, черт, обрадовался-то? — раздраженно замахнулся он на лошадь кулаком.

Аргамак испуганно попятился. Это было необычное дело; Григорий всегда ласково относился к своему коню. Подтянув у седла подпругу, Григорий нерешительно повел аргамака к воротам, поглядывая на дверь куреня, все еще надеясь, что девушка выйдет. У крыльца он остановился и, вынув из кармана узелок с подарками, стал в раздумье вертеть его в руках.

И он решил подбросить узелок с подарками к дверям куреня. Уж обязательно кто-нибудь из Булавиных найдет этот узелок, и тогда все, что в нем находится, попадет непременно к Гале.

Решив так сделать, Григорий взбежал на крыльцо. Он намерен был положить узелок на порог, как неожиданно дверь распахнулась и появилась Галя. Гришка оторопел. Побагровев от смущения, словно его поймали на огороде за кражей огурцов, он торопливо сунул удивленной

девушке узелок и, разбежавшись, прямо с крыльца прыгнул на своего коня, свирепо гикнул, словно бросаясь в атаку на шведа, вихрем выскочил из ворот и помчался. Уже далеко за городком, натянув поводья, Гришка наконец поехал шагом.

Он теперь уже раскаивался, что отдал Гале подарки. Ведь она может рассказать об этом родителям, а тогда хоть не показывайся им на глаза, засмеют...

Удрученный, мрачный, приехал он домой. Семью он застал в тревоге. Слух о Долгоруком пришел и сюда. Все с ужасом ждали прихода его отряда в Новый Айдар.

За ужином старик Прохор Банников скорбно сказал Григорию:

— Что будем делать, Гришка, а?.. Как будем спасаться от Долгорукого? Многие казаки бегут вон в ухоронку... А нам как? Тоже бежать, что ли, али нет?

— Не должен нас, батя, трогать Долгорукий,— неуверенно ответил Григорий. — Потому как мы давнишние казаки: до Азовского похода еще пришли на Дон. Нет такого закона у Долгорукого, чтоб нас трогать.

— Ты, Гришка, ровно махонький мальчонок,— сердито проговорил старший брат Михаил, плотный, бородатый казак, черпая ложкой щи.— Ведь он же, Долгорукий-то, не токмо таких, как мы, забирает, но хватает и самых что ни на есть прирожденных казаков. Вы как хотите, а я только прослышу, что Долгорукий в Трехизбянку пришел, так зараз же из городка сбегу...

— У Долгорукого, черта, руки длинны, — уныло проговорил средний брат Сергей, трусливый, тщедушный казачок с редкой белесой бороденкой.— Он и в ухоронке сцапает. Может, ежели не будем хорониться, то дело легче обойдется. Постебает князь батогами да на Русь сошлет. А ежели изловит в ухоронке, то носы да губы срежет да на каторгу вечную сошлет.

— Дурак! — оборвал брата Григорий.— Так что же, стало быть, ты хочешь, чтобы тебя Долгорукий опять холопом сделал? Для чего батя со всем своим семейством бежал сюда, а?

— А что ж, Гришка, делать? — моргая, испуганно посмотрел Сергей на Григория.— Выхода нет.

— Выхода нет! — обозленно прикрикнул Григорий.— Надобно найти. Вы без моего ведома ничего не делайте, я вам тогда скажу, что надо делать...

— Ой, господи! — запричитала мать, отирая слезы кулаком.— И за что же ты наслал на наши головушки напасть-то такую?..

Снохи и сестра ели молча, угрюмо.

— Что делать, а? — сокрушенно разводил руками старик Прохор.— Ума не приложу. Останешься в городке — худо будет, а убежишь — поймают, еще хуже будет. Гришка, ты б сказал умное словечко.

— Говорю — покуда помолчите,— сердито сказал Григорий.— Вот приедет Булавин из Черкасска, тогда обсоветуем, что делать.

Встревоженная семья улеглась спать.

Прошло несколько дней. О Долгоруком пока ничего не было слышно. Булавин теперь, видимо, вернулся из Черкасска, но Григорий не решался к нему поехать: а вдруг Кондрату известно о Гришкиных подарках?..

Как-то ранним утром в Новый Айдар прискакал Никита Булавин и сказал Григорию, что его немедленно требует отец.

«Не иначе дело тут в этих проклятых перстнях и в ожерелье», — в смятении подумал Григорий.

Избегая взгляда Никиты, он наотрез отказался ехать.

— Да ты что, Григорий? — изумился Никита. — Да разве ж мыслимое дело не ехать? Там такое заварилось. Зараз у нас полон курень казаков. За тобой да за дядей Ивашкой Лоскутом послали. Скорее, Григорий!

Григорий повеселел, ободрился. Значит, по другому делу его вызывает Кондрат.

— Зараз, Никишка, зараз.

Он быстро оседлал коня.

— Поехали, Никишка!

По дороге они заехали за Лоскутом. Тот, сидя на приземистом лохматом мерине, уже поджидал их у своего куреня. Иван Лоскут был небольшого роста, коренастый старый казак, выходец из Валуек, уже несколько десятков лет проживавший на Дону. Он был участником разинского восстания и каким-то чудом избежал наказания.

На нем был надет старенький зипун грубого синего сукна, на ногах — воловьи чирики с длинными ремнями, переплетавшими почти до колен белые шерстяные чулки. На боку, — как и полагалось казаку, — висела кривая татарская сабля с серебряной рукоятью, за красным ши-

роким кулаком торчал пистоль, во рту дымилась трубка.

— Поехали, дядь Ивашка! — крикнул ему Григорий.

— Поехали! — хмуро буркнул Лоскут.

В курене Булавиных гомонило десятка полтора казаков. Среди них Григорий узнал много знакомых: тут был Филат Никифоров из Бахмута, Тимофей Соколов, Семка Куницын с перевязанным носом, Мишка Сазонов, дед Остап, Семен Драный и много других.

— Приехали? — встретил Кондрат Григория и Лоскута. — Добре! Проходите, браты, садитесь. Ну, — вопрошающим взглядом оглянул он казаков, — начнем, что ли? Ждать будто боле некого.

— Начинай, Кондратий! — послышались голоса. — Начинай!

Булавин подробно рассказал казакам о том, какое страшное несчастье постигло Донщину. На Дикое поле нежданно-негаданно пришел князь Долгорукий с большим отрядом солдат, дьяками и подьячими. Вылавливают всех беглых, да и не только беглых, но и природных, старожилых казаков, в кандалы их заковывают, губы, носы режут, на каторгу да к боярам в холопы ссылают... Страшная весть об этом облетела городки и станицы. И теперь взволновался, возмутился тихий Дон. С самого утра до поздней ночи возбужденно шумят казачьи круги, раздумывая да придумывая, как бы упастись от жестокого князя. До хрипоты надрываются казаки в криках, ругани да спорах, но придумать, как избежать беды, не могут.

Слушая Кондрата, казаки угрожающе брались за сабли. Раздались возгласы:

— Да никогда тому не бывать, чтоб казак холопом стал!

— Пусть допрежде князь испробует нашей сабли!

— Волнуются и бахмутские казаки-солевары, — продолжал Кондрат. — У них отобрали солеварни, выгнали из обжитых куреней, лишили земли. Работных людей на царских солеварнях как бы закрепостили, накрепко к ним приписали. Иных вовсе лишили куска хлеба...

Кондрат заговорил далее о силах Донщины.

Сотни солеваров бродят по Дикому полю, голодные,

обездоленные. Но эти обиженные, разгневанные толпы разрознены. И их может постигнуть та же участь, что постигла уже многих. Они давно просят его, Кондрата, помочь им. Теперь он решил, что наступил момент, когда он, Булавин, должен всех их объединить и эту единую силу бросить против отряда Долгорукого.

— Браты, — возбужденно говорил Кондрат, — надобно всех наших казаков собрать воедино и одним махом изничтожить Долгорукого и его собак! А когда побьем Долгорукого, тогда у нас, на Дону, опять станет покойно... Отвадим проклятых бояр совать к нам свой нос... Гришка, — взглянул он на Григория, — езжай с Мишкой Сазоновым в Шульгин-городок. А ты, Семка Куницын, в Герасимовский. А ты, Филат, езжай, веди своих солеваров,— сказал он Микифорову.— Дядь Ивашка поедет в Святолуцкий... Езжайте зараз же и приводите в Ореховый буерак всех забиженных... А мы тут кинем клич и будем вас ждать в Ореховом буераке, а потом, как соберемся, пойдем свою правду наведем...

Иван Лоскут порывисто вскочил со скамьи, с силой хлопнул бараньей шапкой об пол.

— Добре, атаман! Дело надумал, Кондратий Афанасьевич. Дело! Надобно выручать своих братьев-сходцев от погибели. И нам не любо будет, ежели Долгорукий силу возьмет... Прослышал я, будто он уже более трех тысяч беглецов сослал к боярам да на каторгу в Азов. Дело надумал, Кондратий!

Он подбежал к Булавину и хлопнул его тяжелой ладонью по плечу:

— Не бойсь, атаман! Раз надумал это дело, то иди до конца, гляди, только назад не ворочайся...

— Добре, дядь Ивашка! — усмехнулся Кондрат. — Помога твоя нам надобна будет. Ну, а теперь, казаки, в добрый путь.

— В добрый час! — дружно откликнулись собравшиеся, вставая.

Казаки стали выходить из куреня и, садясь на лошадей, разъезжались.

Григорий Банников с Мишкой Сазоновым, подтягивая подпруги у седел, тоже готовились в путь. Григорий, невзначай оглянувшись, увидел на крыльце Галю. Сердце казака обрадованно застучало. Девушка украдкой ласково поглядывала на него и улыбалась. Гришка просветлел.

«Значит, люб! — ликующе думал он. — О, жаличка моя!»

Мишка, также заметив Галю, скривился, словно съел кислую грушу, и, подмигнув Григорию, заблеял козлом:

— Эй, кундюбочка моя, беленька овечка, давай-ка сделаем с тобой живого человечка.

Григорий наотмашь ударил Мишку. Тот, испуганно присев, жалобно простонал:

— За что ж ты меня? Опнался, что ль?

— Не охальничай.

Мишка сконфуженно вскочил на лошадь. Григорий еще раз ласково взглянул на девушку, прыгнул в седло, и они с Мишкой с места вскачь помчались в Шульгин-городок.

В курене остались Булавин, Соколов и дед Остап. На столе стоял жбан с медом. Встряхивая черными кудрями, Кондрат возбужденно говорил:

— Уж ежели, браты, я за это дело взялся, то не отступлюсь, доведу до конца! Я этого душегуба Долгорукого напичтожу и порядок наведу... Я богом просил царя, чтобы он уважил наши обиды да бахмутские бы варницы нам возвернул. Не захотел он того сделать. Ну, ежели не захотел он в наши дела вмешиваться, так мы сами тут у себя порядок наведем... Земли у изюмцев отберем. Мне солевары говорят, что, дескать, не беда, что царь соленые варницы в казну отобрал, — от этого, дескать, польза государству нашему, — вот нас бы, мол, не трогали с насиженных мест да с работы бы не сгоняли... Могёт быть, и так. Варницы царю понадобились, а зачем даден указ изгонять с варниц беглых работных людей? Заместо старых казаков-солеваров ставить пришлых откупщиков? Казакам можно бы оставить на откуп их солеварни. Где то солевары ныне будут жить, чем питаться? Ведь они — наши казаки кровные. Работали люди, ну и нехай бы себе работали, имели б пропитание... А тут еще бояре-собаки натравили на нас пса своего Долгорукого. Он, как сатана бешеный, взбеленился, всех казаков в разор привел... поизмучил народ... Да разве ж все это можно терпеть! Сердце кровью обливается, как поглядишь на страдания своих братьев-казаков... Я так, браты, разумею: как убьем Долгорукого, разгоним его слуг поганых, так зараз же, набрав побольше людей, пойдем изгоним со своих земель изюмцев, приставим своих солеваров к работе на

солеварнях. А коли надобно будет, и далее пойдем — на бояр.

— Заварим кашу, а не легко ее будет расхлебывать, — с сомнением заметил Соколов.

Кондрат стукнул кулаком по столу:

— Не бойсь, Тимоха, не пропадем... Ты мой наипервейший друг, односум. Мы с тобой не раз спали под одним зипуном в походах. Будь моим добрым помощником, а? Хочешь али нет? Первым полковником будешь у меня.

Соколов, высокий, стройный казак лет сорока, рыжеусый, с серыми чуть выпуклыми глазами, скривил тонкие губы:

— О чем толковать, Кондратий? Сколь разов в боях-то вместе были! Не жалели головы друг за друга. Можешь на меня положиться, как на самого себя. Никогда не подведу.

— Стало быть, до гробовой доски, Тимоха, вместе?

— До гробовой, Кондратий.

Кондрат вскочил:

— Люблю, Тимоха, за такие слова. Дай поцелую.

Он обнял Соколова и расцеловал его.

— Давай, Тимоха, побратимся, а?

— Давай.

— Дед Остап, — закричал весело Кондрат, — будь нам крестовым отцом!

— Что ж, — согласился старый запорожец, — казаки вы дуже добрые. Буду вашим отцом.

Кондрат и Соколов сняли с себя нательные кресты и отдали старику.

— Во имя отца и сына... — закрестился старик на иконы. Поменяв кресты, он сказал: — Ну, теперь вы побратимы.

— Аминь! — сказал Булавин, надевая себе на шею крест Соколова. — Теперь мы навек братья.

— Навек, Кондратий, — подтвердил Соколов.

— А ты, дед Остап, отныне наш батько, — сказал Кондрат. — Давай, старый, обниму тебя.

— Добре, казаки, — расцеловал старик Кондрата и Соколова. — Дуже гарные сыны будете. Но вот що я хочу вам казать, коль уж вы стали побратимами: ежели одному из вас будет грозить смерть неминучая, другой брат должен за него умереть. Ежели один из вас будет мерзнуть от холода, другой должен отдать ему свой жу-

ман. Ежели один будет голоден, то другой пусть отдаст ему свий последний сухарь. Вот що таке побратимы! Чуете?

— Добре, батько, — сказал Кондрат. — Святые твои слова. Так оно и будет, как ты сказал.

ГЛАВА XXIV

Девятого октября Долгорукий прибыл в Шульгин-городок. Офицеры, подьячие и солдаты были расквартированы по казачьим куреням.

Заняв становую избу под свою канцелярию, Долгорукий сейчас же приказал позвать к себе атамана городка Фому Алексеева.

Вскоре к нему вошел тщедушный, юркий казачок с маленьким, как у хорька, лицом, обросшим широкой сивой бородой. На лице казака блуждала хитрая усмешка. Это поразило Долгорукого. Все перед ним дрожали от страха, а этот смеет еще улыбаться.

— Ты что ухмыляешься-то? — гаркнул на него Долгорукий. — Ты атаман?

— Атаман, — подтвердил казак.

— Беглые холопы у вас есть? — строго спросил у него Долгорукий, ожидая, что атаман, как обычно всюду, начнет отказываться и убеждать, что беглых в городке нет.

Но, к его удивлению, атаман, воровато оглянувшись на дверь, хитро подмигнул князю и прошептал:

— Есть, боярин, есть... много их, проклятых.

И тотчас же юркий атаман, подбежав к окошку, распахнул его и завопил пронзительно:

— Нету-у, боярин, у нас беглых! Нету-у! Отколь им у нас быть? Все мы тут прирожденные казаки.

Долгорукий с минуту изумленно смотрел холодными серыми глазами на вертлявого атамана, не понимая, к чему все это.

— Ты что, сатана, скоморошничаешь? — грозно прикрикнул он. — Батогов, что ли, захотел? Так я тебе быстро припарку-то сделаю. Говори, дьявол вертлявый, беглые есть?

Атаман утвердительно закивал головой.

— Кричи дюжей, милостивец. Кричи... Нехай все слышат, как ты кричишь... Пущай слухают твой голос.

А ну, заори, князюшка, подюжее. Ори дюжее! — и снова завопил: — Сказано тебе, боярин, что нету у нас беглых. Стало быть, нету.

— Засеку батогами! — гремел Долгорукий.

— Нету-у беглых! — вызывающе кричал в ответ атаман.

Потом, подбежав и захлопнув оконце, он тихо сказал:

— Ведь они ж, апафемы, небось слухают, какой ответ я тебе буду обсказывать.

Тут только Долгорукий понял проделку атамана. Хитрость его развеселила князя. Он захохотал.

— Хитер ты, пес!

— Иначе нельзя, милостивец. Ведь ты уйдешь, они могут меня и жизни решить... Боярин, а что старшины, кои при тебе обретаются, сказывали тебе что ай нет?

— А что им сказывать? Ничего не сказывали.

— Да как же так? — сокрушался атаман. — Я ж писал Ефрему Петрову, чтоб уведомил тебя...

— О чем?

— Да что убить тебя норовят.

— Кто? — как ужаленный, привскочил Долгорукий.

— Вор Кондрашка Булавин из Трехизбянского городка. На днях к нам его есаул Гришка Банников наезжал приворачивать казаков-гультяев. Человек двадцать сманул.

— И ты о том писал Ефремке Петрову?

— Писал, боярин.

— Ах ты, супостат! — рассвирепел Долгорукий.

Распахнув оконце, он гневно крикнул часовому, стоявшему на крыльце:

— Приведи ко мне старшину Ефремку!

Солдат быстро привел Ефрема Петрова.

— Ты, плешивый дьявол, почему ничего не сказал мне про отписку атамана Фомки? — грозно спросил у него Долгорукий.

— Про какую отписку говоришь, боярин? — недоумевал Ефрем.

— Ишь, дьявол, прикинулся! Вот Фомка тебе писал, что вор Кондрашка Булавин со своими гультяями замыслил убить меня. Засеку тебя, черта!

— Впервые слышу,— пожал плечами Ефрем.— Не ведаю, милостивец, о той отписке. Не получал.

Голос князя смягчился:

— Не получал?

— Нет, вот те господь свидетель, боярин, — перекрестился старшина.

— Да ты с кем, Фомка, отписку-то посылал? — спросил Долгорукий у шульгинского атамана.

— С нашим казаком, Панькой Новиковым. Он мне и ответ от Ефрема привез, что, мол, письмо получил и поклон прислал.

— А ну, Фомка, — приказал князь, — сыщи-ка ты мне того казака Паньку, шкуру с него спущу... А ты, Ефрем, погоди. Сведу вас с глазу на глаз с Панькой.

— Что ж, боярин, своди. Я не виноват. И знать не знаю и ведать не ведаю про ту отписку.

Фомка вышел. Долгорукий долго ходил молча из угла в угол, размышляя о столь неожиданной и неприятной для него новости.

— Старшина, — вдруг остановился он и перед Ефремом, держа руки за спиной и остро глядя на него, — как ты все это разумеешь, а?

— А господь его ведает, боярин, — вздохнул тот. — Не слыхал ничего. Ежели в самом деле Кондрашка злой умысел поимел, то хорошего не жди. Берись, боярин. Знаю я его. Крутой правом казак. Ежели что на ум пришло, то уж исполнит... Мне, боярин, — снова вздохнул Ефрем, — тоже добра от него не ждать. Зуб на меня имеет. Давно уж меж нас бешеная кошка пробежала.

Вернулся Фомка спящий, чем-то довольный, в сопровождении дюжего угрюмого казака.

— Панька? — спросил Долгорукий, грозно оглядывая казака с ног до головы.

— Нет, — ответил ухмыляющийся атаман. — Это не Панька. Паньки нету, милостивец, убег, должно, к вору Кондрашке. Да на шута он теперь нужен, этот Панька? Дело-то, боярин, — не выдержав, радостно рассмеялся Фома, — обернулось по-иному. Вот Данилка, — кивнул атаман на пришедшего с ним казака, — только что вернулся из Трехизбянского городка. Он видел там казаков, кои были с Кондрашкой в Ореховом буераке. Так вот, говорит, что разбежались они со страху...

— Правду ль сказываешь, Данилка? — строго спросил князь у казака.

— А мне что брехать, боярин? — ответил тот хмуро. — Что слыхал, то и говорю. Видал казаков, кои были

у Кондратки в Ореховом. Говорили, что собирались, мол, побить тебя, княже, да напал на них страх, разбежались кто куда.

Долгорукий зло усмехнулся:

— Вестимо, сволочи, разбегутся. Они ж знают, воры, что со мной им трудно тягаться.

Князь сразу повеселел, суровое лицо его смягчила улыбка.

— Попадут они в мои руки. Попадут. Я им шкуру-то спущу... Фома, — вспомнил он, — ты мне сказывал, что к тебе сюда для приворота гультяев Гришка Банников наезжал?

— Наезжал, милостивец, — смущенно сказал Фомка и покосился на Данилку.

Князь, не поняв его взгляда, снова спросил:

— Это какой же Банников? Не из тех ли, что записаны у меня беглыми в Новом Айдаре? Старик и два сына?

— Не ведаю, боярин,— сказал Фомка и снова покосился на Данилку.

Но князь не понимал его взгляда. Тогда атаман сказал Данилке:

— Иди домой. Тебе тут более нечего делать.

Казак, надев шапку, вышел. Фомка, проследив взглядом за ним, сказал князю:

— Ты зря, милостивец, о таких делах спрашиваешь при казаках... Тех самых Банниковых наезжал Гришка.

— Ефрем, — обратился Долгорукий к Петрову, — поищи азовских казаков за Банниковыми. Пусть хоть из-под земли мне их достанут.

Сообщение о том, что заговорщики разбежались, не выполнив своего назначения, успокоило Долгорукого. Но для предосторожности он все же велел поставить перед становой избой караул из двадцати солдат. Остальному отряду, в том числе и азовским казакам, было приказано быть настороже.

— Фома,— сказал князь атаману,— вечер зело долог. Покличь офицеров да для забавы меду крепкого припаси.

— Хо-хо-хо...— пьяно хохотал Долгорукий, расплескивая из ковша мед на кафтан.— Одно лишь имя мое наводит страх на казачишек. Будь здоров, Митрофан.

— Воистину правда, князь,— склонил голову в парике старый майор.— Воистину, имя твое грозно врагам. Пей во здравье, Юрий Володимирович.

Выпив мед, Долгорукий потряс пустым ковшом:

— Я, майор, покажу им! Всю Донщину выжгу, всех беглецов разыщу. А домовитых и старожилых казаков в покорность государю приведу. Как овечки смирные будут. Я, Митрофан, зело крут правом.

— Воистину так, князь, — утвердительно кивал головой майор.— Воистину так!

— Фомка!.. Атаман!..— закричал захмелевший князь.— Подь-ка сюда!

Фома, сидевший в другом углу избы с младшими офицерами и подьячими за сидовой, встрепенулся и угодливо, подбежал к Долгорукому.

—Что, милостивец?

— Привел бы ты, Фомка, баб молодых да девок. С ними веселей. Сердце б утешили, поплясали да песни поиграли... Как разумеешь-то, Митрофан?

— Зело подходящее дело, князь,— кивнул майор.

— Веди, Фомка.

Фома на мгновение задумался, соображая, как выйти из такого положения.

— Чего стоишь-то? Говорю, веди баб.

Атаман ухмыльнулся:

— Княже-милостивец, баб да девок набрать не мудрено. Тут у тех казаков, что поубегли к вору Кондрашке, остались хо-оро-шие бабы да девки. Толечко, милостивец, пусть со мной идут офицеры. Я им покажу, где брать баб, а они уж сами наберут. А то мне, милостивец, нельзя глаза казать, побьют гультяи опосля.

— Будь по-твоему, — согласился князь и крикнул офицерам: — Эй, господа офицеры, идите-ка за бабами!

Офицеры встретили приказ Долгорукого радостными возгласами:

— Дело надумал, господин полковник! Дело!

...Легкий морозец сковал шершавинами непролазную грязь. Стук шагов гулко разносится в холодном воздухе. Рассыпая искры, трещат дрова в кострах. Языки огня, прыгая и кривляясь, лижут непроницаемый мрак ночи. Сменился караул у становой избы. Гул шагов уходящих

солдат затих. Сквозь слюдяные оконца становой избы на черную землю падают тусклые квадраты света. Из изб несутся шум, песни, женские взвизгивания и плач.

— Блудодействуют, антихристы,— ворчит солдат, грея руки у костра.

— Хоть бы по ковшу меду поднесли,— завистливо говорит второй.

— Как же, жди.

Скрипнула дверь. Солдаты смолкли.

— Боярин, отпусти ты меня, Христа ради,— слышится жалобный голос плачущей женщины.— Детишки дома. Махонькие... Кричат поди.

— Погодь, погодь,— сердито бурчит мужской голос.— Не бруни, женка, пойдем.

— О, господи! — стонет женщина.

Солдаты прислушиваются к затихающим шагам.

— Никак, сам?

— Сам поволок, идол.

— С жиру бесится, прод.

Через некоторое время слышится петвердая поступь по улице.

— Тсс! Кто-сь идет.

— Должно быть, сам наш блудодейник возвращается.

— Кто идет? — громко кричит часовой, звякая ружьем.

— Свой,— отвечает голос из темноты.

Солдаты по голосу узнают полковника, вскакивают, вытягиваются. К костру, пошатываясь, в кафтане нараспашку, подходит Долгорукий.

— Как, ребята, насматриваете?

— Насматриваем, господин полковник,— отвечает сержант.

От Долгорукого сильно разит хмелем. Постояв и что-то помычав, он пошел, бросив солдатам:

— Насматривайте зорче.

В костры подбросили дров. Огонь померк. Солдат окутала тьма. Где-то на окраине городка злобно залаяли собаки. Солдат клонит ко сну. Они, чтобы разогнать дремоту, снова заговаривают:

— Спать охота.

— На зорьке-то самое ко сну клонит.

— Холодина проклятая.

— Ребята, а у нас в Тамбове об эту пору уже снег.

— А у нас под Москвой он давно уже лег.

Заговорили о войне, о Балтике.

— Бают, что около Синего моря никогда снега не бывает. Правда ай брешут?

— Вестимо, правда. Там же завсегда лето. Жара-а!

— Ой ли? Ай зимы там не бывает?

— Не бывает.

— Язык у тебя наперед ума глаголет... Мелешь тоже! Зима там лютая, — раздался из темноты голос.— Я ж там был. Воевал шведа. Ингрия та земля прозывается.

Разгоревшиеся дрова с треском выбросили пламя. Длинные огненные языки, беснуясь, рванулись вверх, осветив багровые от огня лица солдат. Из конца в конец городка, как часовые, перекликались петухи. Где-то послышался заглушенный шум. Потом что-то громко треснуло. Солдаты прислушались.

— Что это?

— Кобель небось пробег.

Кто-то сладко зевнул.

— На полати б теперь. Под тулуп... Эх-ха!

— Может, и браги подотведать бы? Ха-ха... Да еще ж женку под бок?

— Не отказался бы, земляк, доброе дело.

Солдаты набили трубки табаком, прикурили. Вдруг какие-то стремительные тени шарахнулись к кострам. Испуганные солдаты завопили:

— Кто это?.. Кто идет?..

— В ружье! — пронзительно закричал сержант. — Стреляй!

Прогрохотали выстрелы. В кровавых отблесках костров блеснули сабли.

— Бей, браты!.. Круши!..

Вокруг костров, лязгая оружием, запрыгали люди. Со стоном и проклятьями солдаты падали, корчились в предсмертных судорогах, недвижимо застывали. Вскоре все было кончено.

— Браты! — крикнул Булавин. — Шарь по куреням, вылавливай собак. Кому попадется Ефремка Петров, веди ко мне.

Казаки бесшумно, как тени, растаяли во тьме ночной.

Булавин увидел, как в оконцах становой избы вспыхнул свет. Он бросился туда. Распахнув дверь, Кондрат

невольно остановился. При свете лучины по избе бешено метались два человека.

Семка Куницын, страшный, безносый, скрипя зубами и поблескивая горящими, как у дикой кошки, глазами, гонялся за Долгоруким. В правой руке он сжимал саблю. Долгорукий, в нижнем белье, босой, шарахался из стороны в сторону, избегая сабельных ударов Семки, отбивался шпагой.

Булавин сразу же оценил искусство князя владеть шпагой. Видимо, Долгорукий прошел хорошую школу фехтования.

— А-а, князь! — разъяренно рычал Семка. — Угадал меня али нет? Помнишь, дьявол, как ты меня сек батогами, а-а?.. Помнишь, что ли, нечистый дух?.. А помнишь, как вы с Ефремкой мне нос отрезали?.. У-у, черт!.. Помнишь?.. А помнишь, как хотел меня на каторгу сослать?.. Забыл, боярин?..

В руках Семки турецкая кривая, острая, точно бритва, сабля извивалась, как живая. Несмотря на искусную защиту Долгорукого, Семка своей ловкостью и изворотливостью превосходил князя. Он играл с ним, как кошка с мышью. Ловким ударом сабли он отсек Долгорукому кончик носа и озлобленно захохотал.

— Ну вот, чертяка, теперь и ты остался без носа... Поравнялись. Два безносых друзяка... Зараз я тебе и уши поотрубаю...

Застонав от ярости, Долгорукий рванулся на Семку. Но тот, как вьюн, увернулся от князя и, с силой размахнувшись, выбил шпагу из рук Долгорукого. Она со звоном отлетела в угол. Князь бросился было за ней, но Семка преградил ему путь саблей.

— Убивай, сатана! — взревел Долгорукий, подставляя грудь. — Убивай!

— Погодь, боярин, погодь, — усмехнулся Семка. — Успею тебя убить... Я еще с тобой поиграю... попотешаю тебя, как ты меня...

Молниеносно, со свистом взмахнув саблей, он отсек Долгорукому правое ухо. Тот, не помня себя от боли и ярости, бешено рванулся на Семку. Семка снова увернулся от него и, захохотав, пырнул князя саблей в зад.

— Чего балуешь-то, Семка? — строго прикрикнул Булавин, выступая из-за двери. — Руби до смерти! Не мучь зря человека.

— Ну, коли так, то молись богу, князь,— крикнул Семка. — Зараз кончаю твою жизнь.

Он взмахнул саблей и косым ударом опустил ее на голову Долгорукого. Князь повалился с расколотым черепом.

...У догорающих костров собирались булавинцы.

— Всех порешили? — спросил Кондрат.

— Кое-кто убег.

— А Ефремку Петрова не изловили?

— Он, проклятущий, у меня в курене почевал с Соломатой, — неожиданно появился Фома. — Как только началась стрельба, так они сейчас же сели на коней и в одних исподниках ускакали. Стрелял я им из ружья в спину, да, видать, промахнулся.

— Жалко, — сказал Булавин. — Но попадется он мне еще в руки...

Побросав трупы в волчьи ямы, булавинцы покинули Шульгин-городок.

ГЛАВА XXV

На бахмутских солеварнях по-прежнему текла размеренная трудовая жизнь. Все было спокойно, как будто ничего не случилось. Но по хмурым, угрюмым лицам старых солеваров можно было судить, что спокойствие это было внешнее, все чего-то ждали.

Многие из уволенных с солеварен работных людей по зову Булавина куда-то таинственно исчезли.

Вечерами солевары собирались группами, озираясь по сторонам, чтобы их не подслушали шнырявшие соглядатаи.

— Куда наши пошли-то? Чего не сказали? — встревоженно спрашивал один.

— Скажи тебе, а ты — женке своей, — усмехался второй. — А женка — куме, а кума — сестре... Дело это потайное...

— Потайное, — волновался первый. — Почему другим можно о том сказать, а нам нет? Что мы, ай хуже? Все мы одинаково спину-то гнем, все одинаково пот проливаем да нужду лихую терпим...

— Погодите, погодите, сынки, — дребезжал, как старая оборванная струна, голос седого солевара. — При-

дет время, все узнаем. Но ныне завтра весть о том будет. Скоро, браты, и нас всех позовут.

— Да мы, дед, завсегда готовы, — отозвались голоса солеваров. — Готовы постоять за вольность свою.

Ожидания солеваров оправдались. Вскоре в Бахмут-городок прискакал Филат Микифоров с тремя вооруженными до зубов казаками на горячих, добрых конях.

— На круг, браты!.. На круг! — закричал он.

Солевары-казаки, а вслед за ними и работные люди, только что прибывшие из глубины России, побросали работу, кинулись на городовую площадь, окружили всадников.

Когда площадь заполнилась взволнованным народом: солеварами, работными людьми, женщинами, стариками, — Филат, сидя на коне, скинув с взлохмаченной головы казачью шапку, громко закричал:

— А ну, послухай меня, честной народ!.. Послухайте, православные, послухайте меня, донские казаки-солевары, и вы, пришлые работные люди, и вы, наши женки-бабы, и вы, седые старики, и вы, мальчонки и девчата. Слухайте все!.. Справляется, браты, великое дело... Побили казаки проклятых собак, самого князя Долгорукого и всю его челядь. Отомстили мы за все наши обиды, за все их злодейства. Подняли мы, браты, меч супротив бояр-притеснителей, супротив немцев-лиходеев да помещиков-кровопивцев. Подняли меч свой мы супротив всех злодеев на Руси... И вот, браты, прислал меня к вам наш атаман Кондратий Афанасьевич Булавин спросить вас: готовы ли вы пойти с нами за правду и волю, за справедливую жизнь?..

— Готовы, Филат! — раздались дружные голоса солеваров. — Готовы завсегда! Веди нас к Булавину! Веди!..

Филат внимательно смотрел на кричавших солеваров. Он заметил, что кричали только казаки и донские работные люди. Вновь прибывшие пришлые мужики, растерянно переглядываясь, молчали.

— Помолчи, браты! — поднял руку Филат.— Помолчи!

Гул голосов затих.

— Браты! — крикнул Филат. — Я слышу ваши голоса. Благодарность вам превеликая за вашу поддержку, — поклонился он низко, касаясь лбом лошадиной гривы. — Скажу я о том своему атаману Кондратию

Афанасьевичу, порадую его сердце. Да наш атаман Булавин завсегда был в уверенности за вас... Теперь у меня будет слово к вам, новоприбывшим работным людям. Браты! — огорченно вскрикнул он. — Что ж вы молчите?.. Али вас это не касаемо? Али вы не надрываетесь в тяжком, непосильном труде? Али вас по тирапят бояре да лихие их подначальные люди?.. Вот пригнали вас с малыми ребятами, стариками да женками за тридевять земель киселя хлебать. Вы там, у себя в России, горькую нужду терпели, промаялись по далеким путям-дорогам. А для чего? Чтоб согнать нас, исконных солеваров, с наших промыслов да заместо нас стать. Что же дожидается вас тут? Не в жир-масле будете купаться. Нет, браты! Пот да слезы горькие вы будете тут лить... Правду я говорю, браты, али нет? — горящим взглядом обвел Филат толпу.

— Правду! — хором отозвалась толпа. — Истинную правду!

Никто из солеваров и не подозревал до этого, что Филат Микифоров был такой речистый! Сотни взоров были устремлены на солевара, словно все впервые видели его.

— Так что же вы, новые пришлые работные люди, молчите, а? — снова с горечью выкрикнул Филат. — С нами вы ай нет? Товарищи вы нам али нет?

— Товарищи! — раздалось несколько недружных голосов.

— Товарищи! — слабым голосом ответила толпа.

— А ну, пустите! — выкрикнул властно чей-то тенорковый голосок. — Пустите, братцы, я скажу!

Толпа заволновалась, задвигалась, пропуская кого-то к Филату. Филат, сидя на первно прядавшем ушами скакуне, выжидающе, с любопытством смотрел на протискивающегося к нему человека.

— Атаман, — сказал тот, — дай мне слово молвить. Я из работных людишек. Иван Лапотков я...

Филат с изумлением посмотрел на Ивана Лапоткова. Он был совсем еще юноша, почти мальчик, розовощекий, с белым, по-девичьи нежным лицом. Вместе с тем льняные вьющиеся волосы, подстриженные в скобку, холстинная рубаха, ловко перехваченная ремешком, делали его облик задорным и смелым.

— Я такой же атаман, как и ты, — усмехаясь, бурк-

нул Филат. — Солевар я простой, работный человек, как и ты... Ну, говори, Иван, что надумал.

— Не только для тебя, но и для всего честного народа хочу сказать, — потребовал юноша.

— Ну ладно уж, говори, — нетерпеливо промолвил Филат. — Влезай ко мне на лошадь, слышней будет.

Он подал руку. Юноша проворно взобрался на круп Филатовой лошади и, стоя позади Филата, сидевшего в седле, держась за его плечи, звонкоголосо закричал:

— Братцы! Люди добрые! Вот баял нам тут красно атаман Филат, правду говорил. Да только забидел он нас, новоприпилых работных людишек. Зачем нас, Филат, обижать? Да разве ж мы не христиане, да разве ж мы не трудовой русский народ? Все до единого мы, работные людишки, пойдем с вами на антихристов бояр. Добьемся вольной жизни!

— Правильно, Ванька, баешь! — послышались одобрительные голоса работных людей.

— Вот так Ванька наш! — восхищенно вскрикивал кто-то в толпе. — Ты глянь-ка, как урезал-то...

— Будто щенок, а какие слова-то разумеет.

— Ведь он же у нас грамотей. Грамоту знает.

— А ну-ка, Ванька, сказани еще что-нибудь! — поощрительно орал дюжий мужик. — Режь напрямки матку правду!

— Братцы! — переждав шум, снова тонкоголосо крикнул Иван. — Долго тут говорить нечего: пойдем на помогу казакам-солеварам, раз уж такое дело зачалось.

Филат Микифоров облегченно вздохнул. Не думал он, когда ехал на солеварни под Бахмут, так скоро выполнить наказ атамана Булавина, разославшего всех своих полковников и старшин поднимать казаков и работных людей.

Он был теперь убежден, что все они — казаки-солевары, работные люди, новоприбывшие крестьяне — готовы хоть сейчас выступить за ним в поход.

— Веди нас, Филат! — шумела толпа.

— Веди!

— Доверьтесь мне, браты, коли идти за правду надумали. Я вас не подведу. Зараз расходитесь по домам, запасайтесь чем кто может в дорогу. Берите, готовьте у кого есть оружие, а у кого есть — и коней... И ждите слова...

Оживленно гомоня, собравшиеся разошлись по домам.

Допоздна в маленьких оконцах низеньких куреней мерцали огоньки. Чуть ли не в каждом кто-нибудь готовился к ратным делам: кто точил кривую саблю, кто насаживал на длинную жердь рогатину или вилы, а кто, не имея никакого подходящего оружия, готовил топор.

...У становой избы Филат расставлял работных людей в походные колонны.

И когда радостное, ослепительное солнце поднялось на востоке, народная рать, сверкая отточенным оружием, двинулась в дорогу.

ГЛАВА XXVI

Кондрат Булавин теперь отлично понимал, что дело убийством князя Долгорукого и его помощников не ограничится. Надо было поднимать восстание и вовлекать в него самые широкие круги донского казачества, своих бахмутских солеваров, всех работных людей на Диком поле. Да не только их, но и крестьян, холопов, работных и гуляющих людей, колодников, беглых солдат, раскольников соседних губерний.

Знал Кондрат, что недовольных боярами, прибыльщиками и иноземцами, взявшими при царе Петре большую власть, повсюду много. Надо только разжечь народ, сказать людям слово правды, и тогда пойдут на борьбу с притеснителями.

Вскоре после убийства Долгорукого Кондрат Булавин созвал к себе ближайших своих соратников. К нему явились все его друзья — старшины, полковники, казаки Семен Драный, Иван Лоскут, Иван Павлов, Григорий Банников, Мишка Сазонов, Семка Куницын и другие.

Кондрат внимательно, испытующе оглядел каждого.

— Друзья-товарищи, односумы мои! — сказал он торжественно. — Порешили мы с вами великое дело — супостата Долгорукого с его собаками побить... Ну, и одним помыслом мы были все, и побили супостата, и всех его слуг прикончили... Спасибо нам скажет за это большое народ, что избавили его от измывы да страданий... Может, теперь кое-кто из вас помышляет, что все теперь покончено и можно по домам теперь расходить-

ся. Нет, друзяки-односумы, некогда теперь по курепям сидеть.

По правде вам скажу, что когда зачинали мы это дело, то в уговоре только одни домовитые были. Думали, что мы, домовитые, одни с этим делом управимся. А вот теперь я уразумел, что одним домовитым не управиться. Домовитые — сила малая, да и веры у меня к ним мало. А потому и надумал я, браты, прельщать к себе всех гультяев, всех забиженных работных людишек, всю голь перекатную... А особливо я веру большую имею на своих солеваров бахмутских. Годы я с ними прожил и знаю их. Крепкий народ, надежный. У них один за всех, все за одного. Вот их-то, односумы родные, и надобно наипервейше к себе приветить. Скажу вам, браты, некой Филат Микифоров без промедления в Бахмут-городок поскакал и дело это делает. И казаков-гультяев жду, и бурлаков, и гулевых людей, — большие полки.

Первым привел свой отряд солеваров и работных людей Филат Микифоров.

Еще заранее Булавин был предупрежден, что к лагерю движется какое-то войско. На случай, если подходящий к лагерю отряд окажется батальщиками или азовскими гарнизонными казаками, Кондрат выставил сильные заставы. Но вскоре выяснилось, что это с песнями к лагерю идут бахмутские солевары — казаки и работные люди.

Булавин вскочил на коня и поскакал навстречу. Вслед за ним помчались встречать солеваров и все, кто только был в лагере.

Филат Микифоров, важно восседая в седле, ехал впереди колонны. За ним знаменосцы несли кумачовые хоругви. Перед колонной шел беловолосый хрупкий паренек, Ваня Лапотков, и по-девичьи, нежноголосо, запевал походную песню. Вся многолюдная колонна солеваров подхватывала припев. Шествие замыкал небольшой отряд конницы.

При виде скакавшего им навстречу Булавина солевары разразились дружными криками:

— Ура-а, батька атаман!

— Ура-а, Кондратий!

— Ура-а, Булавин!

К горлу Кондрата подкатил комок. Глаза его повлажнели. Он скинул шапку и, неистово маша ею, закричал, перекрывая шум:

— Здорово, други-соленары! Здорово, односумы!

Поездка других булавинских старшин и полковников в казачьи городки была менее удачна. Иван Лоскут привел с собой сотню гультяев, Гришка Банников — с полсотни, а другие — еще меньше.

Казаки пока еще воздерживались выступать, обещали подумать.

Но вскоре заволновались и голутвенные казаки *.

В особенности мятежно стало на Хопре. В Федосеевском городке, независимо от булавинского, вспыхнуло свое восстание. Причиной были бесчинства долгоруковских сыщиков. Казаки избили людей Долгорукого и, вооружившись, решили жестоко обороняться от всех, кто будет посягать на их права. К федосеевским повстанцам присоединились казаки Алексеевского и Усть-Бузулукского городков. Открытый бунт и неповиновение оказали людям Долгорукого и в городках по Бузулуку и Медведице.

Узнав об этом, Кондрат на совете старшин выделил надежных людей и послал их к верховым повстанцам, поручив договориться о соединении.

Выделил Булавин также послов из числа изюмских казаков, присоединившихся к повстанцам, и к Максимову. В письме к атаману Булавин подробно рассказывал о всех делах, особенно о том, что произошло в Шульгинском городке, просил немедленно собрать большой отряд из казаков низовых городков и прислать ему, так как он-де, Булавин, опасается нападения царских батальщиков.

Калмыцкие тайши Чеметь и Четерь переправились через Волгу, напали на донских казаков. Узнав об этом, Лукьян Максимов, спешно собрав казачий отряд, погнался за заволжскими калмыками. Но у Мелехова-городка Максимова нагнал конноарочный и сообщил о том, что произошло в Шульгин-городке и какие грозные отклики вызвало это по всему Дикому полю.

Лукьян растерялся. Он не предполагал, что убийство Долгорукого вызовет такое возбуждение на Дону. Удрученный и растерянный, вернулся он в Черкасск.

— Анчутка бородатая! — разъяренно набросилась на него атаманша Варвара, как только он переступил порог. — Ты что наделал?

Лукьян испуганно взглянул на жену.

— Что, Варварушка?

— А ты не ведаешь, что, чертяка? Послухался длинноногого Ильюшки да Кондрашки Булавина, а теперь вот расхлебывай. Ведь твою-то башку бородатую наперед всего на плаху положат, а Ильюшка в сторонке останется... Ишь, вздумали возмутить казаков!.. Да я тебе возмущу!.. Вот выдеру тебе бороду, — яростно протянула руки к бороде атаманша.

Атаман благоразумно отошел в сторону.

— Будет тебе, Варварушка, будет. Что, ай белены объелась? Господь с тобой, давай поговорим толком...

— Я тебе дам «толком»! — кричала атаманша. — Ты думаешь, ежели я баба, так ничего не ведаю? Все ведь знаю... С Ильюшкой связался, да натравили казаков убить князя Долгорукого и его людей...

— Тише, Варюшка! Тише, ради бога! — взмолился атаман, с отчаянием взглядывая то на жену, то на окна.— Да неравном кто подслухает. Да ты что?

— Да я о том сама всем сказывать буду! — взвизгнула Варвара. — Пусть о том все узнают. Пусть тебя распластают на плахе-то... Царь-батюшка-то... — заплакала атаманша, вспомнив ласкового Петра, — был у тебя, идола, в дому, гостился, милость свою казал, а ты, черт, супротив него злой умысел поимел. Что тебе, ай плохо живется? Беглецов, что ль, жалко стало?.. Да пропади они пропадом, нечистые духи! Мало у тебя ясыря, что ли? Небось есть кому работать... Вот уже пашлет царь войска, тогда я первая все обскажу...

Лукьян в битвах был храбрым казаком. За отвагу его и выбрали в войсковые атаманы. Но жены своей побаивался. Брань ее привела атамана в смятение. К тому же в ее словах он чувствовал правоту.

Права Варвара: Илья Зерщиков толкнул его, Лукьяна, на опасный путь. Путь этот страшный, гибельный. Легко можно поплатиться головушкой. А головы своей Лукьяну жалко. Разве плохо жилось ему, атаману? Чего не хватало? Большой каменный дом его — полная чаша. Всего в изобилии. Запасливый человек Лукьян. Каждый раз, возвращаясь из походов, он набивал дари зо-

лотом, серебром, дорогой одеждой, обувью. Полны погреба едой, питьем. На лугах пасутся табуны лошадей, стада скотины, отары коз, овец. На базах несметное количество птицы.

Беглые холопы и пленные невольники с самого раннего утра до поздней ночи работают по хозяйству. Живет он, как помещик, а может быть, и получше.

У таких, как Максимов, Зерщиков, Позднеев, всего в достатке. Голытьба казацкая у них, у домовитых, не покладая рук работает: кто в степи да на лугах пасет их табуны лошадей, кто от зари до ночи за скотом ухаживает, кто на рыбных тонях добывает для них горы рыбы или охотится за зверьем да дичью. Есть у домовитых и пасеки, есть и винные заводы, — благо, что в последнее время стали на Дону разводить добрые виноградники да сады. Им ли, домовитым, мутить эту рвань, эту голь? Им ли воровать против боярского порядка и закона царского.

Но ежели с другого конца поразмыслить... Ведь дворяне, ведь царь лишают их, домовитых казаков, этого почти дарового труда — отбирают беглых холопов, хотят согнать их с Дона. Царь к тому еще отобрал соляные варницы, отнял прибыли от продажи соли. Теснит то сверху, со слободских городков, то снизу, с Азова, запрещая тут и там рыбную ловлю да порубки леса. Чего более, запрещают даже «добывать зипуны» в чужеземных приморских странах. Даже самый путь в море Азовом, как замком, закрыли. Сунься туда теперь, — отопри...

Тяжело это, конечно, перенести домовитому казаку. Тяжело и больно. Где справедливость на свете божьем?

А ежели снова с другого конца поразмыслить... На что ему-то, Лукьяну, все это? Неужто ему не хватит всего того добра, что припасено у него на жизнь с Варварой?

Зря он впутался в это страшное дело. Зря! Надо из него как-то себя вызволить... Большой грозой запахло.

Восстание казачьей голытьбы, беглецов, солеваров, работного люда, которое они сами, домовитые, поднимали, отстаивая свои выгоды, теперь приобретало иное направление, новое и для них неожиданное. В восстание втянулись людишки, искавшие воли по-своему — уничтожения помещиков и бояр вообще. А ведь они ж, домовитые казаки, по сути дела, у себя на Дону те же по-

мещики. Значит, придет время — гультяи и на них поднимут руку?

— Нет, будь они трижды прокляты! — содрогнулся от таких мыслей Максимов. — Будет, Варварушка, будет, — тяжко вздохнул он. — Что сделано, того теперь не воротишь. Правду ты говоришь, истинную правду. Ошибку понес. Впутал меня Илюшка в злое дело. Не ведаю теперь, как и вывернуться. Довольно, голубица, не ругайся, — привлек он к себе атаманшу.

— А вот и не довольно, — поддаваясь на ласку мужа, проворчала Варвара. — Надобно немедля придумать, как избежать злой погибели.

Максимов легко подчинялся чужим влияниям. Жену свою он любил, верил в ее ум и почти всегда слушался ее советов. Умная атаманша это видела. Она хотя была значительно моложе мужа, но часто помогала ему деловыми советами.

И вот сейчас, соглашаясь с доводами жены, Максимов ждал, что она подскажет.

— Надобно, Луня, усмирить смутьянщиков. Собирай казаков и иди. Ежели ненароком царь и проведает про твои прежние злые умыслы, то коль ты честно будешь служить ему и усмиришь воров, милостив он, отходчив в гневе, помилует тебя.

— Варварушка, — скорбно сказал атаман, — да как же пойдешь усмирять-то, коль нас в сговоре было пятеро? Все мы крест целовали. Они ж, проклятые, супротив меня пойдут. Побьют досмерти.

— Бог не выдаст — свинья не съест, — правоучительно сказала атаманша. — Не пойдут они супротив тебя. Они, Луня, небось сами не рады, что заварили эту кашу.

— Да это, может, и так, — согласился Максимов. — Но Кондрашка-то... Он не такой... Мы же все подговаривали этого безносого черта, Семку Куницына, убить Долгорукого, как же я супротив пойду? Ведь Кондрашка может меня предать али жизни лишить.

— Его надобно поймать да казнить, — холодно сказала Варвара. — А ежели он что и сболтнет, так кто ему поверит? По злобе можно всяких небылиц наплести на человека.

«Вот хитрющая баба-то!» — с восхищением посмотрел на жену Лукьян и радостно засмеялся.

— Тебе б, Варварушка, в боярской думе сидеть, а не с горшками возиться. Разумница. И впрямь, ежели вора прижмут, то он может всякую брехню на человека возвести... Пойду собирать казаков в поход.

Через два дня Лукьян Максимов собрал отряд казаков, привлек калмыков и татар и выступил против Булавина.

Правда, до этого ему пришлось пережить большую неприятность. Зерщиков, узнав о готовящемся походе Максимова, сначала добром пытался уговорить его не выступать:

— Лунька, что ты задумал? Ай рехнулся?.. Ведь мы же сами поднимали это восстание, чтоб отстоять свои порядки на Дону. А теперь ты хочешь супротив Кондрашки идти?

— Дурак ты, Илья, — отвечал на это Максимов. — Мы-то поднимали — думали одно, а зачалось другое... Разве ж ты не видишь, куда наши гультяи да работные людишки стали гнуть? Ведь они же поровят супротив помещиков да бояр идти. Хотят их перебить. А мы с тобой, Илья, пожалуй, еще и похлеще иного боярина живем... Побьют они бояр, да и за нас примутся. Неужто ты этого не разумеешь, Илья? Покуда эта нечисть еще только зарождается, надобно ее каленым железом доразу выжечь.

— Гм... — усмехнулся Зерщиков. — Кто из нас дурачье, Лукьян, не ведаю. Думаю, что ты. Неужто мы с тобою не в силах, Лукьян, сделать с этим бунтом так, как нам желательно, а? Не бойся, Лукьян, доверься мне, все будет по-хорошему. Не ходи супротив Кондрашки. Мы его заставим все делать по-нашему. Что захотим, то и сделает.

— Нет, Илья, — замотал головой Максимов, — ежели зараз же им укорот не дать, так будет поздно. Такое заварим, что и не расхлебаешь...

— Ну, Лунька, гляди! — пригрозил Зерщиков. — Ты крест целовал. Это даром тебе не пройдет...

Максимов вспылил:

— Ты мне не грози, Илья, а то осерчаю. Конь о четырех ногах и то спотыкается. Так вот и я было споткнулся, да вовремя уразумел. Большую было ошибку понес... Не трогай меня, Илья, мы каждый своим разумом живем. Ежели ты меня не будешь трогать, то и я

тебя не тропу, ничего о тебе не скажу — какие мысли имел...

Зерщиков зло плюнул и ушел. Так между ними произошел полный разрыв.

Отъехав верст пять от Черкасска, Максимов встретил скакавшего на взмыленной лошади Ефрема Петрова.

— А я к тебе, Лукьян, за выручкой, — сказал он. — Побил нас Кондрашка.

И Ефрем рассказал о многих кровавых событиях, которые произошли на его глазах.

— Ну что ж, Ефрем, — вздыхая, произнес Максимов, — содеяно дело. Пойдем теперь воров бить. Будешь полковником.

Атаман был рад такому помощнику. Старшина Петров был крепко привержен московскому царю, а это сейчас и нужно было. Максимову хотелось окружить себя людьми, преданными царю. Они будут жестоко подавлять восстание, а при таких людях меньше будет падать подозрений и на него, атамана.

От Ефрема Петрова атаман узнал, что Булавин сейчас с тысячным отрядом находится в Боровском городке. Туда и направился Максимов со своим войском.

У Старого Айдара лазутчики привели к атаману четырех булавинцев.

— Кто такие? — грозно спросил у них Максимов.

— Изюмские казаки, — без страха ответил один из плешников. — А що, не ты ль будешь батько Максимов?

— Я, — ответил хмуро атаман. — А тебе что?

— Да як же! — обрадованно воскликнул изюмец. — Це ж мы до тебе и едемо, везем тоби от батьки Булавы грамоту. Кажи, атаман, щоб развязали руки. Що вони повязали нас, як супостатов?

Максимов ошеломленно посмотрел на них, со страхом оглянулся на Петрова.

— Какую грамоту? — упавшим голосом спросил он. — Где она?

— А в кармане, — весело сказал изюмец. — Развяжи руки, зараз выну.

Атаман кинулся к булавинцу, вытащил из его кармана письмо, судорожно сжал в кулаке.

— Стой, Лукьян, — схватил его за руку Ефрем. — Не рви. Давай прочитаем.

Максимов растерянно взглянул на Ефрема. Сам он не был грамотен, а Ефрему дать прочитать боялся: как бы в письме не было такого, что разоблачило бы его как соучастника Булавина. Но и не дать письмо Петрову он не мог — это еще больше навлекло бы на него подозрения.

«Ну, будь что будет», — решил атаман и поманил Ефрема в сторону.

— Иди сюда. Читай тут. Не хочу, чтоб это проклятое письмо слыхали казаки.

Ефрем развернул письмо и начал читать:

— «От Кондратия Булавина в Черкасской атаманам-молодцам Лукьяну Васильевичу Максимову, Илье Григорьичу Зерщикову, Василию Андреевичу Позднееву с товарищи.

Ради того, чтобы стоять нам всем вкупе за дом Пресвятой Богородицы, за истинную христианскую веру и за благочестивого государя и за все войско Донское, порешили мы с вами вместе побить злых бояр и немцев и крест на том целовали.

И пусть будет ведомо вам, атаманы-молодцы, что мы с товарищи все исполнили, как и велено было нам. Богом просим, шлите вспоможение, не то прослыхано нами, что батальщики норовят идти походом супротив нас. За сим челом бьем. Кондратий Булавин».

Ефрем пристально взглянул на атамана. Лукьян, побледневший, растерянный, беспокойно забегал глазами.

— Брешет, антихрист,— сказал он глухим голосом. — Вор, чтобы очистить себя, теперь всех будет к себе вязать...

— Все может быть, — холодно проговорил Ефрем.

«Все! Вот я и пропал», — с тоской подумал атаман.

— Дай грамотку, Ефрем, дай, — страдальчески попросил он.

Ефрем подумал, подозрительно посмотрел на Максимова и отдал ему письмо. У Максимова сразу же отлегло от сердца. Ожесточенно скомкав письмо, атаман, сунул его в карман.

— Покидать их в воду! — свирепо крикнул он казакам, кивнув на пленников.

Казаки потащили упиравшихся изюмцев к реке.

Максимов был сильно удручен. Случай с письмом

расстроил его. Ясно, что Ефрем не поверял ему и, затаив подозрения, будет следить за ним, а потом выдаст. Надо как-то доказать Ефрему и всем, что он, войсковой атаман, предан царю.

Сейчас же Максимов распорядился собрать круг. На виду у всех он торжественно поклялся служить великому государю, в знак чего поцеловал крест. Вслед за ним стали давать клятву и целовать крест в верности царю полковники, есаулы, сотники, хорунжие, а потом и все казаки.

На следующий день Ефрем Петров с небольшим отрядом столкнулся с булавинцами у Закатного городка. Калмыки и казаки Петрова обстреляли булавинцев. Те, укрывшись в лесу, ответили тем же.

К вечеру Максимов подвел остальные силы. Перестрелка усилилась. Атаман решил немедля напасть на булавинцев, чтобы стремительной атакой ошеломить их. Он отдал приказ подготовиться к атаке. Своим казакам, чтоб в разгаре боя не смешиваться с булавинцами и не побить друг друга, велел надеть через плечо белые повязки.

И вот, когда Максимов уже готов был отдать приказ броситься на булавинцев, в их лагере произошло какое-то движение. Они стали что-то кричать и махать шапками.

— Погодь, Лукьян, — сказал Ефрем Петров. — Никак, повинную хотят принести.

Максимов смутился. Это было не в его интересах. А что вдруг и в самом деле булавинцы вздумают сдаться? Ведь тогда, при их допросах, может выясниться его участие в заговоре.

Стрельба затихла. С сильно колотившимся от волнения сердцем Максимов вышел перед войском. Приложив ладони ко рту рупором, он закричал:

— Ого-го! Чего надобно?.. Говорите!..

От булавинцев отделился широкоплечий высокий человек. В сумеречной мгле Максимов в статной фигуре узнал Булавина.

— Лукьян... чего удумал идти на нас? — донесся далекий, по-бычьи и отчетливый голос Кондрата. — Ай забыл, как... крест целовал? Сам же ты подговаривал убить... Долгорукого... Уходи подобру... не то побьем.

Максимов побагровел.

— Стреляй в дьяволов! — распаленно закричал он. — Стреляй!

Загремели выстрелы, заглушая слова Булавина.

Наступила темная, непроглядная осенняя ночь. Нападение на булавинцев Максимов отложил до утра.

ГЛАВА XXVII

Кондрат сидел у костра мрачный, угрюмый. Хотя он этого опасался, но все же его ошеломило и до глубины души возмутило предательство Лукьяна Максимова.

«И Зерщиков с Позднеевым, без сумления, тоже с ним заодно», — думал Булавин. В сердце его нарастала жгучая обида. Все ведь клялись быть заодно, крест целовали, а теперь вот... Кондрату вспомнились слова Зерщикова: «Кто станет предателем, того бог покарает, да и от нашей сабли он не уйдет».

Кондрат зло усмехнулся.

— Покарает вас бог ай нет, — сказал он вслух, — то мне неведомо, а вот что касаемо моей сабли, то от нее вы не уйдете. Ей-богу, не уйдете! Не я буду, ежели вам не посрубаю голов.

Под чьими-то торопливыми шагами захрустела застарелая трава.

— Кто? — повернул голову Булавин, вглядываясь в темноту.

— Я, — отозвался Григорий Банников, подходя и подсаживаясь к Булавину.

— Ты чего, Гришка?

— Беда, Кондратий, — сказал взволнованно Гришка. — Предали нас. Вот татарин Мустафа, — указал он на пришедшего с ним человека, — прибежал сказать мне, что наши казаки потайно сговорились с собакой Максимовым поймать нас да выдать ему...

— А не брешет ли? — воскликнул Булавин, косо взглянув на татарина.

— Вовсе не брешем, — обиженно сказал Мустафа. — Собака брешет, я правду говорит. — Он быстро нагнулся к Булавину и взволнованно зашептал: — Сам видал, как маленький тот атаман, Фомыка Алексеев, ходил до Максимова. Я полз, как кошка, за ним, полз и слушал...

Фомыка обещал хватать тебя, Гришку, Лоскута и разны другой казак... и выдать всых, всых Максимову.

Послышался шум спорящих голосов. Кондрат и Гришка прислушались. Шум нарастал. И вскоре можно было явственно услышать отдельные гневные выкрики.

— Поймать их, браты!

— Заманули нас на погибель!

— Смутили!

— Слышишь, Кондратий? — взволнованно спросил Григорий Булавина.

Тот молча вскочил на ноги.

— Куда, Кондратий? — схватил его за руку Григорий. — Побьют ведь.

— Пусти! — оттолкнул его Кондрат и побежал на крики.

Григорий бросился за ним. Мустафа посмотрел им вслед, покачал головой и скрылся в темноте.

У костров, крича, метались возбужденные булавинцы.

— Поймать их да к Максимову!

— Пойдем с повинной!

— Не можно того делать, — пытался убеждать кто-то.

— Не можно? А ежели завтра голову снимут, тогда как?

— Вы чего, браты, шумите? — сурово закричал Булавин, подойдя к притихшим казакам. — Чего надобно?

Ошеломленные внезапным появлением Булавина, казаки замолкли, исподлобья глядя на него. Костры бросали багровые блики на их злые, хмурые лица.

— Чего шумите, я спрашиваю? — гневно оглянул Булавин насторожившихся казаков. — Чего надобно? Кто смуту заводит, а?

Взгляд его остановился на тщедушной фигурке шульгинского атамана Фомы Алексеева.

— А ну, подь ко мне, Фомка, — позвал его Кондрат.

— Чего? Чего тебе? — испуганно попятился тот в толпу.

— Погодь! — крикнул Кондрат и, прыгнув, схватил Фому за ворот. — Поговорим с тобой. Ты куда зараз ходил?

— Не... ходил никуда... не ходил, — залепетал Фома испуганно. — Ей-богу, не ходил... Вот те господь.

— А кто Максимову обещал предать меня с моими полковниками, а?..

Фома, обомлев от страха, невнятно что-то замычал.

Кондрат, выхватив из-за пояса пистоль, в упор выстрелил в Фому Алексеева.

— Вот тебе, собака!

Фома замертво свалился к ногам Булавина.

Кто-то призывно взвизгнул:

— Хватай, браты, Булавина! Хватай!

Этот крик вывел толпу из оцепенения. Завопив, выхватывая из ножен сабли, казаки подались к Булавину. Кондрат в бешенстве выхватил из-за пояса второй пистоль, потряс им.

— Кто хоть шаг сделает ко мне, тому башку продырявлю!

За его спиной, как привидения, выросли фигуры Гришки Башмакова, Ивашки Лоскута, Семки Куницына, деда Остапа, Мишки Сазонова и других преданных Кондрату казаков. Они наставили на толпу пистоли. Казаки с ругательствами отхлынули от Булавина.

— Погоди, Кондратий, не горячись, — выступил из толпы атаман Боровского городка Николай Зотьев. — И вы, казаки, угомонитесь. Погутарим толком.

Николай Зотьев был умный, степенный казак. Его все уважали. Говорил он сейчас спокойно, без волнения. Это успокоило толпу и охладило Кондрата.

— Зря горячку порете, — говорил Зотьев. — Ты вот, Кондратий Афанасьевич, скажи нам без утайки. Завтра может быть смертный бой с Максимовым, а нам, допрежь того как драться, желательно знать, что ты надумал. Вот ты нас втянул в это дело, а что мы будем делать, ежели придут из Руси войска царские? Ведь тогда ты и сам пропадешь, и нам погибель будет.

— Не бойся, дяди Николай, — сказал Булавин. — Разве ж, начиная дело, я не думал об этом? Ох, сколько думал!.. Ведь сие дело я не просто так стал совершать. Совет большой держал... Допрежде всего были мы в Астрахани, и у запорожцев, и на Тереке... Все они — и астраханцы, и запорожцы, и терцы дали нам присягу, что поддержат нас и помощь нам пришлют свою... Завтра, как разобьем Максимова с его войском, так зараз же пойдем по городкам, конями, ружьями да одеждой у домовитых пополнимся. А потом пойдем на Азов да Таганрог, освободим там ссыльных да каторжных братьев, они будут нам верными товарищами... Перези-

муем, а на весну тронем на Воронеж, может, и до Москвы доберемся, будем бить бояр, помещиков, немцев да прибыльщиков. Свободу и волю будем давать холопам да работным людям. А с Максимовым вам несподручно якшаться, он — домовитый, дьявол. За домовитых да бояр стопт. А мы будем, браты, за народ стоять, за наш народ русский, православный... Соберем, браты, большое войско, установим везде свои порядки народные. Никто тогда не сможет перечить воле народной... Вот и подумайте о сем деле, браты.

Казаки молчали. То, что сказал Булавин, им пришлось по душе. Он нарисовал исполинскую картину восстания, которое сулило избавить их от нужды и тяжкой неправды, учиняемой боярами да прибыльщиками.

Видя, что казаки заговорили между собой, обсуждая его слова, Кондрат не хотел им мешать и пошел к своему костру. За ним последовали и его друзья.

Все молча уселись вокруг костра, прислушиваясь к гомону казаков.

Вдруг вначале спокойный гул голосов стал громче, стали прорываться гневные, угрожающие выкрики. Прибежал встревоженный Мишка Сазонов и сообщил, что казаки снова заволновались. Большая группа их пошла с повинной к Максимову. Остальные находятся в нерешительности, не зная, что делать. Среди казаков шныряют домовитые, подговаривают поймать Булавина с его полковниками и есаулами и выдать войсковому атаману.

— Нет, браты, — поднялся Кондрат, — видать, толку из них не будет. Разве можно воевать с таким войском, ежели в нем нет крепкого духа? Понапрасну не будем своих головушек класть. Они нам еще пригодятся... Все ли тут наши? — оглянул он своих товарищей. — Где мой побратим Тимоха Соколов?

— Его еще с вечера не видать, — ответил Григорий.

— Пошли, браты! — решительно сказал Булавин. — Видать, повоюем после, а зараз еще время не настало.

Он зашагал к лесу и исчез во мгле. За ним, как тени, последовали его преданные приверженцы.

Идя по лесу, Кондрат вдруг остановился.

— Дядя Ивашка и ты, Семен, — обратился он к Лоскуту и Семену Драному, молчаливо шагавшим за Була-

винным. — Вот что я вам скажу, браты: не можно нам бросить всех своих товарищей на погибель. Нет, не можно! Ведь среди всех там оставшихся, — махнул он на лагерь булавинцев, — есть и верные нам люди. Надобно им вызволение сделать, от погибели отвести... Оставайтесь, браты, неподалеку, дайте знать, чтоб разбегались наши люди. А потом, когда придет час, то соберете их в потайном месте. Держите всех наготове до моего возвращения... А я, браты, поеду. Поеду большие дела делать... Надобно мне. Соберу я, браты, большое войско и приду с ним к вам. Нехай тогда, браты, попомнят нас злодеи и предатели! — скрипнул он в гневе зубами. — Мы с ними посчитаемся за все! Посчитаемся, браты-односумы, голова моя в том порука. Прощайте!

Взяв с собой неразлучного друга Григория Банникова, он скрылся в гуще леса.

Зарождалось холодное, ветреное утро. Булавинцы провели бурную ночь. До утра они кричали, спорили. Малодушные группами уходили к Максимову с повинной. Колеблющиеся жадно прислушивались к голосам домовитых, подосланных Максимовым, предлагавшим связать Булавина с полковниками и отвести их к атаману.

— Тогда вам полное прощение будет, — говорили они.

Стойко держалась только небольшая часть голутвенных казаков да беглых холопов. Они наотрез отказывались идти с повинной к Максимову, а тем более выдать ему Булавина. Они знали, что их не простят. За Булавина они крепко держались. Он им нес освобождение. Но их было мало, и многие из них к утру куда-то посбежали. Бахмутские солевары, предупрежденные еще заранее Минкой Сазоновым, также тайно ушли.

На рассвете повстанцы, поддавшись наконец уговорам домовитых, ринулись искать Булавина и его полковников, чтобы выдать их Максимову. Но Кондрат со своими друзьями исчез.

— Убег Булавин! Убегли полковники! — разнеслось по лагерю.

Это привело булавинцев в смятение, они бросились бежать кто куда.

Казаки Максимова вылавливали бегущих...

...Двести понурых пленников стояли, вытянувшись в длинную шеренгу. Атаман Максимов со старшинами обходил булавинцев, внимательно вглядываясь в их лица.

— Этого повесить за ноги, — тыкал он пальцем в одного булавинца, — а этого в Москву отправить, — указывал он на второго. — А этого в Черкасск отвезти на казнь... Этому нос отрезать... Этого на поселение сослать...

Войсковой писарь ходил вслед за атаманом, записывал его приказания.

Ста тридцати булавинцам отрезали носы, десять человек повесили за ноги на деревьях, десять направили на казнь в Черкасск для устрашения казаков, многих назначили к ссылке на поселение в окраинные городки.

Десять же наиболее видных повстанцев Максимов отобрал для посылки в Москву. Тут же, на войсковом кругу, выбрали вестовую станицу во главе с Ефремом Петровым.

Захватив с собой закованных в цепи булавинцев, легкая вестовая станица выехала в Москву с докладом государю о подавлении булавинского мятежа *.

Проводив Ефрема Петрова, Максимов разослал по городкам письма с приказом о поимке Булавина, обещая за его голову двести рублей из войсковой казны. Все те городки, казаки которых поддерживали Булавина, были разорены и выжжены.

Ехал Максимов к себе, в Черкасск, весьма довольный, с облегченным сердцем.

«Ну и умница же моя атаманша, — усмехаясь, думал Лукьян: — ишь ты, как по-гаданному все вышло». Смущало атамана лишь одно; поехал в Москву Ефрем Петров, как бы он там чего не сказал лишнего.

ЧАСТЬ
ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Царя Петра трясла лихорадка. Пятый день он лежал в постели, похудевший, желтый. Около кровати на табурете стояли флаконы с лекарствами и баночки с целебными снадобьями.

Сегодня Петру полегчало, и он велел позвать к себе Екатерину. Она вошла в горницу, плотная, ширококостная, розовая, пышущая здоровьем. Полутемная горенка словно озарилась каким-то светом. Низко поклонившись царю, она нерешительно остановилась у кровати.

Петр ласково улыбнулся ей и усадил на свою кровать.

— Садись, Катеринушка-свет. Садись да сказывай, как детишки-то наши? Здоровы ли? Как Шишечка?

— Слава богу, государь, — слегка наклонила свою белокурую голову смущенная Екатерина. Хотя и имела она от него уже троих детей, но до сих пор не могла привыкнуть к своему высокому положению.

Рожденная в литовской крестьянской семье, по фамилии Скавронская, Екатерина Первая после смерти родителей в раннем детстве, в Ливонии, попала на воспитание к пастору Глюку. Называли ее Мартой. Будущая императрица жила у него продолжительное время, помогая по хозяйству. После взятия Мариенбурга русскими войсками Марта попала в плен к русским.

Встреча Петра с нею произошла случайно. Однажды царь, посетив своего любимца Александра Даниловича Меншикова, был поражен опрятностью его жилища и свежестью белья. Он заинтересовался, каким образом удается Меншикову содержать в таком порядке свой дом и носить такой необычайной белизны белье.

Вместо ответа Александр Данилович открыл дверь в соседнюю комнату, и царь увидел красивую девушку в фартуке, с тряпкой в руках, старательно промывавшую стекла в окнах. Девушка царю понравилась, и участь ее была решена.

И вот сейчас, краснея и радостно смотря на царя, она сказала:

— Петруша уже крепко на ножках стоит. Норовит бегать по светелке. Шустрый мальчонка... Хо-оро-оший, — засмеялась она счастливым смехом матери.

Царь смотрел на нее и улыбался. Ему было приятно, что эта здоровая, крепкая женщина была матерью его детей.

— А девочку хочу отнимать от груди. Большая уже стала.

— А не рано ли, матка? — не переставая улыбаться, спросил Петр. — Заморишь. Покорми еще маленько... Молоко-то еще в груди есть?

Екатерина покраснела и, потупив глаза, ответила:

— Покуда есть.

Петр гладил своей большой шершавой, сбитой от работы ладонью широкую, мягкую спину Екатерины и чувствовал, как на душе у него становилось легко и покойно, куда-то уходили мучительные сомнения, думы о войне, о бунтах, весь тяжелый груз, лежавший на его плечах.

Он взял полную, горячую руку Екатерины и положил себе на голову. Она пододвинулась к царю и стала перебирать его темные курчавые волосы. Петр от удовольствия то закрывал глаза, то снова открывал их.

От прикосновения ее мягкой, нежной руки было так хорошо, так легко на сердце. Ни о чем не хотелось думать...

Но разве можно было не думать — столько нерешенных вопросов, столько забот. Вот сейчас он лежит здесь, в постели, а Карл усилил свою армию до шестидесяти тысяч солдат, идет на Украину, угрожает вторгнуться в центральные районы России...

Недавно Петр побывал в Минске. Там стояли русские войска, фельдмаршал Шереметев *. Царь дал ему все необходимые указания, вызвал к себе Меншикова и приказал ему с пехотою отступить, а драгунским полкам,

наоборот, выдвинуться вперед, находиться в соприкосновении с неприятелем, не оставлять его в покое.

Скрипнула дверь. В горницу вбежал раскрашенный, одетый в яркие фантастические одеяния любимый шут царя, Ушаков, которому разрешалось в любое время без спросу являться к Петру.

Ушаков был грузный мужчина богатырского телосложения. Когда-то он был капитаном гвардии. Однажды он был послан Петром со срочной депешей из Смоленска в Киев. Подъехав к Киеву ночью и увидев, что городские ворота заперты и что ему их не открывают, он рассердился, тотчас же уехал обратно и пожаловался царю. Поступок развеселил Петра, и он приказал сделать Ушакова придворным шутом.

Протанцевав по комнате, Ушаков покривлялся, подошел с поклоном к царю и сказал:

— Куманек Алексеевич, что валяешься-то? А ну, вставай! Ишь дрыхнет. Вставай! Там к тебе вон атаманы приехали, бунтовщиков в цепях приволокли.

Царь привстал на постели.

— Какие атаманы? Кто приехал?

— Да Ефремка Петров со своими молодцами.

Приезд Петрова живо заинтересовал царя. Он уже знал о событиях на Дону, и все то, что там сейчас происходило, сильно его беспокоило.

— А ну, позови ко мне Ефремку.

Шут, тяжело притопывая и припевая, выкатился из царских покоев.

Екатерина встала.

— Пойду, батюшка, к детишкам. Не буду тебе тут мешать.

— Иди, Катеринушка, — согласился Петр. — Как поговорю с казаками, принеси мне Шишечку посмотреть, соскучился по нем. А дочку ты еще покорми грудью.

— Покормлю, батюшка, — улыбнулась Екатерина и вышла.

В горницу вошел Ефрем и низко поклонился.

— Здравствуй, великий государь, на многие лета.

— Здорово, Ефрем! С какими новостями прибыл?

— С добрыми, государь. Побили мы Кондрашку Булавина с его войском воровским. Много супостатов пе-

реловили. Кого казнили, а кому носы поотрезали да в ссылку посослали... Десятерых тебе на суд привезли.

— А Кондрашку-то самого поймали?

Ефрем вздохнул и сокрушенно развел руками:

— Нет, государь, заглавного вора-то мы и не поймали. Убег он, дьявол, с Гришкой Банниковым да со своими полковниками.

— Дураки! — гневно вскричал Петр. — Самого-то супостата и упустили. Ведь он же опять наберет себе шайку воров, почнет грабить, убивать да на пагубные дела людишек черных прельщать.

Петр с минуту лежал с закрытыми глазами, о чем-то думая.

— А это какой же Гришка-то Банников? Уж не тот ли, что под Нарвой был?

— Тот и есть Гришка, милостивый государь. Смутил его Кондрашка.

Петр снова задумался. Странные дела на свете творятся: люди, не щадя жизни, спасают его от смерти, а потом против него же идут.

— Ты, милостивый государь, не гневайся, — сказал вкрадчиво Петров. — Мы все едино того Булавина изловим. Не дадим ему собрать забойцев да гультяев.

— Кто же в сговоре с Кондрашкой был? — спросил Петр.

— По правде сказать, великий государь, и не пойму, кто с ним в сговоре был... Сомнение у меня было на Луньку Максимова, отписки ему тот вор Кондрашка писал, вспоможения просил... Поначалу я подумал, что Лунька Максимов с ним заедино был. А потом гляжу: тот Лунька собрал войско да жестоко того вора Кондрашку разбил... Видать, Лунька Максимов непричастен к тому воровству был.

— Ну, ладно, Ефрем, — слабым голосом сказал Петр, почувствовав новый приступ лихорадки. — Слава богу, что сие дело закончилось. Вижу, добрый ты казак. Службы твоей верной никогда не забуду. Вот уже соберусь, поеду к вам на Дон, сам дознаюсь, кто виноват, кто прав. Виновных накажу, а правых вознагражу. Добро, что побили и разорили воров, а то заварилась было сия каша, изволь расхлебывать. Только мой строгий вам наказ: беспременно чтоб изловили Кондрашку... А теперь иди, Ефрем, а то меня опять начинает лихо-

манка ломать. Поживи в Москве дён пять, а потом и с тобой поговорю да на Дон с наградой отпущу. Позови мне там Макарова.

Ефрем вышел и позвал к царю его секретаря.

— Алеша, — сказал Петр Макарову, — садись-ка да пиши, что буду говорить.

Макаров, положив на столе бумагу, приготовился писать. Петр начал диктовать письмо Меншикову. Диктовал он долго, давая разные указания Александру Даниловичу по расстановке войск в войне с Карлом. В конце письма приписал:

«О Донском деле объявляю, что, конечно, сделалось партикулярно, которых воров сами казаки, атаман Максимов Лукьян ходил и учинил с ними бой и оных воров побил и побрал и разорил совсем. И так сие дело все окончилось».

Но ошибся царь Петр, ошиблись и донские атаманы: не окончилось булавинское восстание, оно только начиналось.

ГЛАВА II

Войсковой атаман окончательно порвал связи с заговорщиками и ревностно служил царю, а душа его была неспокойна. Он никак не мог простить себе, что в минуту слабости поддался влиянию Зерщикова и с его, атамана, ведома и согласия произошло убийство князя Долгорукого.

Конечно, свою ошибку он постарался загладить жестоким разгромом булавинцев. Никто не может сказать, что он мягко обошелся с ними. Даже сам государь Петр Алексеевич похвалил его и прислал милостивую грамоту с Ефремом Петровым, но атамана угнетало то, что рядом с ним жили люди, знавшие о его участии в заговоре.

Как бы хотел Максимов, чтобы все эти Зерщиковы, Позднеевы и прочие провалились в тартарары. Никто бы тогда ничего плохого не мог сказать про него.

Однажды Максимову пришла мысль: не поехать ли с повинной к царю да чистосердечно рассказать обо всем и выдать Зерщикова и Позднеева? Но он отверг эту мысль. Разве царь простит ему такое злодеяние? Доказчику — первый кнут.

Тревожило Максимова и другое: он боялся мести Кондрата. Жизнь стала мучительной. Казалось, в каждом темном углу атамана сторожат горящие злобой глаза Булавина и его сообщников.

Как-то поздно вечером атаман собирался ложиться спать. С улицы в дверь сильно постучали.

— Господи Исусе, — вздрогнул Максимов. — Кого это нечистый так поздно принес?

Встревожилась и Варвара. Приоткрыв дверь на кухню, она сказала ясырке:

— Спроси, кто там, да, гляди, не открывай.

Вернувшись, невольница сообщила, что какой-то мужчина спрашивает атамана.

У Максимова защемило сердце. Накинув кафтан и взяв заряженный пистоль, он вышел в сени.

— Кто стучит? — спросил он встревоженно.

— Я, Васильич, открой, — донесся через дверь глухой голос.

Лукьян похолодел. Он узнал голос Тимофея Соколова.

— Уходи, Тимоха! — заревел он. — Не то стрелять буду!

— Да ты что, Лукьян? — удивленно воскликнул Соколов. — Окстись, я к тебе с хорошим делом, а ты стрелять. Открой, поговорить надобно.

Голос Соколова как будто звучал искренне и внушал доверие, но все же дверь открывать было страшно: а вдруг там, за спиной Соколова, Булавин, Куницын и другие.

— А ты один? — неуверенно спросил Максимов.

— Один, Васильич, как есть один.

— А не брешешь?

— Истинный господь, Лукьян, один.

— А чего надобно?

— От Булавина я убег, — едва слышно донеслось до атамана.

Максимов, не опуская пистоля, откинул засовы, распахнул обитую железом дверь. Заметив наставленный пистоль, Соколов обиженно сказал:

— Да ты что, Лукьян, ай я тебе лиходей? Что ты с пистолем-то встречаешь меня?

— Ныне все люди помешались, — пробурчал Максимов. — Кто ведает, что у кого на уме...

Заперев дверь, атаман повел Соколова в маленькую комнатку, высек кресалом огня, зажег свечу.

— Ну, рассказывай, Тимоха. Где Кондрашка?

— Как только подошел ты к Айдару с войском, так сейчас же сбег я от него. Не знаю, где он зараз.

— А где же ты пропадал это время? — подозрительно посмотрел на Соколова атаман.

— Боязно было идти сразу в Черкасск, по городкам шатался.

— Стало быть, не захотел, что ль, с Кондрашкой заодно быть?

Соколов тяжело опустился на скамью.

— С самого начала, — сказал он, — не по нутру мне это дело было... Я еще до сей поры знатно помню сибирскую ссылку и снова испытать ее никак не хочу. Не хочу, — замотал он головой. Да тут дело-то не только в ссылке, а голова, должно, на плечах не удержалась бы...

— А что же ты сначала об этом не сказывал, а?

— Как же я мог сказать, коль ты и Зерщиков за то были? Крест ведь целовали.

Максимов поморщился. Упоминание о клятве и целовании креста ему было неприятно. Заметив недовольство на лице атамана и поняв это по-другому, Соколов стал пояснять:

— Ведь я ж супротив вас не хотел идти. До поры до времени я с вами в согласии был. А потом как вижу, что вы с Зерщиковым откачнулись от Кондрашки, так и я сбег от него.

— Что ты ко мне все с Зерщиковым лезешь? — досадливо отмахнулся Максимов. — Что мне Зерщиков? Зерщиков своим умом живет, а я своим.

Соколов удивленно посмотрел на атамана, не поняв его. Помолчав, проговорил:

— Все едино, хоть бы вы и не откачнулись от Кондрашки, так я б рано или поздно ушел бы от него.

— И ежели б я оставался заодно с Кондрашкой? — испытующе спросил Максимов.

— Ушел бы все равно. Охота, что ль, мне гультяям служить? Все же как-никак, а я домовитый казак. Не я им, а они мне должны служить... А Кондрашка свихнулся. Сам из домовитых, а за гультяев, работных людишек да холопов горой стоит. Не нам, а им хочет волю добывать.

— Вот что, Тимоха, — все еще не доверяя Соколову, остро посмотрел на него Максимов, — ты в самом деле начисто порвал с Кондрашкой али, может, на каких потайных умыслов брешешь, а?

— Да ты что, Лукьян, ай не веришь? — обиделся Соколов. — Да пехай меня господь бог накажет на этом месте, ежели я брешу!

— Верю, — коротко сказал Максимов. Подсев к Соколову, он заговорил: — Ты, Тимоха, не обижайся. Зараз все люди помешались, верить никому на слово нельзя, хотя бы родному брату... Ты, Тимоха, правильно сделал, что откачнулся от воров. Надобно царю верой и правдой служить. Ведь мы его холопы.

Атаман вздохнул и после короткого раздумья проговорил:

— Ошибку мы с тобой, Тимоха, было понесли. Ох, и ошибку же! Ну, ничего, исправим. Ты только, Тимоха, помалкивай, не болтай зря. Да держись ко мне крепче, я тебя не предам. Ты ж мне помогать будешь.

— О чем толковать, Лукьян! — обрадовался Соколов. — Да я, чтоб загладить свою вину тяжкую, готов все делать, что ни прикажешь ты мне.

Максимов молчал; играя пистолем, о чем-то думал.

— Тимоха, — сказал он наконец, — бери у меня на конюшне коня да езжай в Азов к губернатору Толстому.

— Зачем?

— А вот слухай. Передай Толстому — атаман, мол, Максимов сказывал, что в Черкасском казаки тоже помутились, но атаман, мол, Максимов прилежно служит нашему государю и за теми казаками надсматривает. Покуда, мол, атаман Максимов жив, он не допустит казаков до воровства... А еще, Тимоха, скажи ему: пусть наипаче доглядывает за работными людишками. Кондрашка-то вор грозится пойтить в Азов да Таганрог приворачивать к себе работных людишек да ссылочных. Исполнишь, что говорю, ай нет?

— Исполню, Лукьян, все исполню, — с готовностью сказал Соколов.

— Коль так, то с богом, — сказал Максимов и встал.

Они вышли во двор. Ночь была темная, ветреная. Атаман поежился.

— Студено на дворе-то, — сказал он. — Ну, да тут недалеко, Тимоха.

Соколов вздохнул, ничего не ответил.

В конюшне атаман разбудил татарина-конюха.

— Ну-ка, Ахметка, оседлай рыжего жеребчика.

Пока татарин седлал лошадь, Максимов поучал Соколова:

— Ты, Тимоха, поезжай окраинными улицами, чтоб народ тебя не видал. А как оттуда будешь ехать, то въезжай в городок ночью, под утро.

Татарин вывел из конюшни танцующего жеребчика. Соколов, поправив шапку, легко вскочил в седло.

— Прощай, Лукьян.

— Счастливый тебе путь.

Через два дня после этого в полночь к куреню Зерщикова, озираясь, подкрался закутанный в епанчу человек. Убедившись, что улица пустынна, он постучал в дверь.

В сенях послышался простуженный голос Ильи. Человек в епанче выхватил из-за пояса пистоль и стал ждать.

— Кто там? — не открывая двери, спросил Зерщиков.

— Открой, Илья.

— Никак, ты, Кондратий? — воскликнул Зерщиков. — Зараз открою.

Загремели железные засовы. Булавин удивленно посмотрел на дверь и торопливо сунул пистоль за пояс. Дружелюбие в голосе Ильи и доверчивость, с которой он открывал двери, обезоружили Кондрата. Злоба в нем угасла.

— Входи, Кондратий, гляди не зашибись. В темноте-то ничего не видать. Иди сюда.

Он ввел Булавина в комнату и запер за собой дверь. Илья был раскольником, и эта маленькая комната была его молельней. Передняя стена комнаты служила иконостасом. Здесь в дорогих серебряных и позолоченных окладах темнели иконы старинного письма. Илья, фанатично религиозный человек, придавал иконам большое значение. Тут были собраны иконы византийские и произведения царских иконописцев. Были иконы большой ценности, работы искусных мастеров, в тяжелых серебряных и позолоченных ризах; были и про-

стые деревянные, без украшений, почерневшие от времени.

Слабо мерцающая лампада бросала колеблющийся свет на глубокую резьбу серебряных риз, на поднизи из жемчуга и цветных камней, на золотые подвески и ожерелья. Под образами висели богатые пелены с золотыми крестами и дорогим шитьем. Пахло ладаном, воском и деревянным маслом.

У изразцовой печки стояла просторная деревянная кровать с разобранной постелью. Здесь спал Илья. Над кроватью, как и подобало в казачьем богатом доме, висел золотистый ковер с развешанным на нем дорогим оружием.

— Садись, Кондратий, — указал Илья на скамью.

Кондрат, подозрительно оглядевшись вокруг, хмуро посмотрел на Зерщикова и сел на лавку.

— Откуда ты, одпосум? — спросил Илья, садясь напротив на табурет.

— Предали? — вместо ответа, снова закипая злобой, выкрикнул Булавин.

— Пре-дали? — изумляясь, переспросил Зерщиков. — Да ты что, в уме ли? Господь с тобой, Кондратий. Да разве я нехристь, чтоб клятву нарушить?.. Разве я забыл, как крест святой целовал? Да мы с Васькой Поздпеевым, как только на тебя Лунька Максимов с войском пошел, места себе не находим, все придумываем, как бы тебе выручку сделать...

— Ну, и выручили, — зло усмехнулся Кондрат и оглянулся на окно. Ему почудился за окном какой-то шорох. Мгновенно он прислушивался, держась за пистоль.

— Не бойсь, Кондратий, — успокоил его Илья, заметив его настороженность. — Тут про тебя никто не проведает... Ты смекпись: выручили. А что поделаешь? — развел он руками. — Рады были бы помочь, да сила не в наших руках.

— Стало быть, Лунька Максимов один, что ли, изменником стал? — все еще не доверяя Илье, спросил Булавин, сурово смотря на него.

— Один, проклятый... Как удумал он изменить нам, так я, прознав про то, богом молил его, уговаривал не делать такого зла, — не послухался, дьявол... Боязно нам с Васькой Поздпеевым, как бы, нечистый, и нас не предал.

Булавин горящим взглядом пристально смотрел на Зерщикова, как бы стремясь проникнуть в темную душу его — правду он говорит или нет.

Помолчав, Зерщиков недобро усмехнулся.

— А зараз, дьявол, разошелся вовсю, выдабривается. Завтра казаков будет казнить, коих поймал у Айдара, что с тобой были...

— Казнить? — вздрогнул Кондрат. — Кого ж?

— Паньку Новикова из Шульгина, Тараску Горшкова, Мишку Кундюбина...

Илья перечислил всех казаков-булавинцев, изловленных Максимовым и предназначенных к казни.

Кондрат порывисто вскочил со скамьи.

— Нет!.. Нет!.. — взволнованно заметался он по комнате. — Нельзя такого зла допустить... Нельзя!.. Надо вызволить!.. Вызволить во что бы то ни стало!..

— Как? — холодно бросил Зерщиков, насмешливо смотря на Булавина.

Пробежав по комнате, Булавин нахлобучил на голову шапку, ринулся было к двери, но побледневший, испуганный Зерщиков схватил его за руку, удержал.

— Охлонись, Кондратий! Охлонись! Куда тебя черт понесет? Изловят.

Булавин снова тяжело сел на лавку, опустив голову, закрыв лицо руками.

— Не горячись! — строго сказал Зерщиков. — Ежели таким забурунным будешь, то свою головушку можешь потерять зазря. Надо к делу подходить обдумавши.

Кондрат, отняв от лица руки, страдальчески взглянул на Зерщикова.

— Да разве ж можно, Илья, допустить, чтоб наши товарищи погибли в страшных муках?

— Что поделаешь? — пожал плечами Зерщиков. — Сил у нас нет отстоять их.

Булавин снова горестно склонил голову.

— Погоди, Кондратий, — вдруг озлобляясь, заговорил Зерщиков, и у него, как у хищного зверька, загораясь, забегали глаза, — придет наше время! Придет!.. За все припомним. Пря-и-пом-ним!..

Поднявшись с табурета, Зерщиков стал крупно ходить по комнате, что-то обдумывая. Булавин хотя и проникался теперь доверием к нему, но, зная лисий норов

Ильи, был насторожен. Не спуская с него глаз, молчал, ожидая, что скажет тот.

Пройдя по комнате еще несколько раз, Зерщиков круто повернулся к Кондрату.

— Есть у меня думка одна.

— Сказывай.

— В Запорожскую Сечь надобно за помогой обратиться.

— Думал уже, — утрюмо буркнул Булавин.

— А раз думал, так, значит, надобно скорее это делать. Я, как войсковой старшина, могу написать потайное письмо кошевому, попрошу, чтоб он дал нам помогу войском. Соберешь в Сечи запорожцев и приведешь их сюда... Как увидят наши казаки запорожцев, так сразу же поднимутся... Это уж верное дело. Вот когда сила-то будет в наших руках... Вот тогда-то уж, односум, распотешимся. Ух! — потряс он кулаками. — Как разумеешь, братушка, а?..

Булавин оживился. То, что ему сейчас говорил Зерщиков, его радовало. Собственно, ничего нового Илья не сказал. Обо всем этом и сам Булавин думал. В Сечи у Кондрата было немало верных друзей, с которыми он не раз проделывал походы в Крым, Туретчину и на Кубань. Если б Булавин поехал в Сечь, то наверняка некоторые его запорожские соратники по былым походам примкнули бы к нему. Но это было все не то. Много бы Булавин запорожцев не набрал. А вот если Зерщиков, как войсковой старшина, от своего имени и войска Донского напишет кошевому атаману письмо с просьбой о помощи, то это другое дело. Булавин поедет в Сечь не сам собою, а от имени всех донских казаков. Это сулило успех.

Видя, какое действие на Кондрата произвели его слова, Зерщиков, весело ухмыляясь, потирал свои костлявые руки:

— Заварим кашу, Кондратий, заварим... Большая сила соберется у нас... Тогда этого бородатого черта, Лупыку Максимова, казним... Казним и всех его старшин, кои супротив нас руку подняли... Выберем себе такого атамана, какой надобен нам будет... Хе-хе!..

Булавин глубоко задумался. В воображении всплыла волнующая картина. На много верст по степи растянулись запорожские войска с алыми шелковыми хорунка-

ми, золотыми бунчуками. Шелестят на ветру знамена, развеваются белые хвосты бунчуков, гремят бубны. Впереди войска он, Булавин, на гордом скакуне. И на звонкий топот копыт его многотысячного конного войска, как на трубный призыв, стекается со всего родного края казацкое товарищество... А там впереди, в будущем, — победа.

У Булавина заискрились глаза.

— Пиши, Илья, письмо кошевому. Поеду в Сечь.

Зерщиков поправил нагоревшую свечу, достал из поставца бумагу, чернильницу, гусиное перо, уселся за стол.

Булавин, расстелив у порога епанчу, прилег, но спать не стал. Поглядывая на склонившегося над столом Зерщикова, он стал думать о будущем.

ГЛАВА III

Рождалось мягкое зимнее утро. В прозрачном голубеющем воздухе, как мотыльки, порхали редкие крупные снежинки. Крыши куреней, раскидистые лапы ветвей, казалось, были заботливо устланы кипенно-белыми кусками ваты. С колоколен маленьких деревянных церковок, как звучная капель в оттепель, падали удары колоколов.

По пустынным улицам городка, неистово гремя колотушкой и стуча палкой в котел-литавру, ходил есаулец и хрипло выкрикивал:

— Эй, атаманы-молодцы!.. Воинство-о! Сходись!.. Сходись на майдан! Ныне казнь пенным * казакам... Сходись, честная станица!.. Сходись!..

На улицах стал появляться народ. День был воскресный. Пестро одетые в суконные и дубленые тулупы, в черкесские епанчи и азиатские халаты, казаки собирались группками, не спеша, беседуя о предстоящей казни, шли на майдан занять пораньше удобные места.

Бабы и девки в меховых шубах, крытых цветной шелковой и атласной материей, с длинными, чуть не до земли, рукавами, и в собольих или матерчатых круглых шапочках, унизанных каменьями и жемчугами, спешили к обедне.

Радуясь обилию выпавшего снега, ребятишки строили крепостцы, сражались снежками.

Атаман Максимов собирался сначала пойти к обедне, а из церкви на казнь. Накинув на плечи соболью шубу, подаренную царем, он перекрестился на иконы и, взяв булаву, направился к двери. У порога шапка, зацепившись за притолоку, свалилась с его головы.

Максимов верил в приметы. Побледнев, он взволнованно перекрестился:

— Господи-сусе. Варварушка, поди сюда, голубица.

Атаманше было некогда. Она стояла перед венецианским зеркальцем и, с удовольствием глядя на себя, сурьмила брови. Из зеркальца на нее глядело полнощекое, румяное, еще свежее лицо красивой женщины.

— Чего тебе, Луня? — недовольно наморщила она тонкие полукружия красивых бровей. — Некогда.

Атаман расслабленной походкой вошел в горенку.

— Беда, Варварушка,— упавшим голосом сказал он.— Шапка упала с головы у порога... Убьют.

— О господи! — испуганно перекрестилась атаманша. — Видать, не зря я ныне видела во сне, будто зубы у меня повыпадали.

Заметив, что ее слова произвели удручающее впечатление на мужа, она спохватилась.

— Да нет, Луня, не кручинься. Бывает, что приметы-то и не сбываются. Господь даст, все по-хорошему обойдется.

— Дал бы бог,— снова перекрестился Лукьян и растерянно сказал: — Может, казнь-то отменить ныне?

— Нет, Луня,— строго сказала атаманша,— того делать нельзя. Ты глянь — народ-то валом валит на майдан... Не бойсь, ничего не будет.

— Сердце что-то вещует,— уныло сказал атаман.— Пойду коль. Что бог пошлет. На то его святая воля.

Выйдя из дому, атаман направился в церковь. Навстречу ему по улице шли Илья Зерщиков и Василий Позднеев с каким-то старым монахом. Монах с седой бородой, в длинной рясе, опираясь на посох, едва поспевал за ними. При виде их Максимов круто свернул и поспешил скрыться за церковной оградой.

Отошла обедня. Народ густо высыпал из церкви, с шумом и говором заполнил майдан.

Атаман, сопровождаемый старшинами и есаулами, отвечая на приветствия толпы, прошел к становой избе. Взойдя на крыльцо, Максимов и старшины, скинув шапки, поясно

поклонились толпе на все стороны. Толпа отвечала им также поклонами.

Ефрем Петров, в бархатной малиновой шубе с шнурами на груди из тянутого серебра — подарок царя в последнюю поездку Ефрема в Москву,— подошел к атаману, что-то спросил у него. Максимов утвердительно кивнул головой.

Ефрем махнул стоявшим около поставленной посреди площади дыбы казакам. Человек десять отделились от них и направились куда-то.

Атаман повел взглядом по толпе. Народу на казнь собралось тьма-тьмущая. Взгляд атамана встретился с взглядом черпеца, стоявшего недалеко от становой избы, рядом с Зерщиковым и Позднеевым. Максимов невольно содрогнулся: столько, ему показалось, было злобы и ненависти в черных молодых глазах старого монаха. Атаман отвел взгляд в сторону и, не утерпев, снова украдкой взглянул на него. И снова он встретился с горящими ненавистью глазами черпеца.

«Что это за человек?» — беспокойно подумал атаман.

Толпа заволновалась, расступилась. Казаки, только что ушедшие с майдана, вели теперь на казнь булавинцев. Приговоренных к казни оказалось десять человек. Все они были оборваны, грязны. Изуренные лица их позеленели от долгого сидения без воздуха в подземелье. Шли они медленно, гремя цепями, низко опустив головы.

Площадь притихла. Сотни глаз жадно следили за каждым движением обреченных на казнь.

Ефрем Петров, придерживая рукой саблю в дорогой серебряной оправе, подбежал к булавинцам, расставил их в ряд перед дыбой.

Есаул Иванов, стоявший рядом с Максимовым на крыльце становой избы, постучал насекой об пол.

— Послухай, атаманы-молодцы, послухай! Атаман трухменку гнет!

Максимов степенно снял с головы куньюю шапку с алым бархатным шлыком, пригладил рукой волосы, поклонился народу.

— Атаманы-молодцы и все войско Донское,— быстро начал он,— ведомо ли вам, что вор Кондрашка Булавин, собрав гультяев да воров-забойщов, великое злодеяние учинил: царева посла, князя Долгорукого, с его товарищами, офицерами да дьяками до смерти побил?..

Атаман, поведя взглядом по толпе, невзначай снова

встретился с взглядом чернеца и запнулся. У монаха еще злее и ярче горели глаза.

«Надобно проведать, что это за человек»,— встревоженно подумал атаман. Воодушевление его сразу же пропало, и он еле внятно закончил свою речь.

— Порешили мы всем войском казнить их, воров, коих поймали, смертью лютой, чтоб неповадно было другим... Давай, Ефрем,— кивнул он Петрову.

Надев шапку, атаман еще раз взглянул на беспокоившего его загадочного монаха. На этот раз чернец не смотрел на Максимова. Он стоял, опираясь руками о посох, низко свесив длинную седую бороду.

«Надобно узнать, что за человек»,— снова подумал Максимов, разглядывая старика.

Ефрем Петров хлопотливо сновал вокруг булавинцев. Казаки, окружавшие его, поснимали с себя дубленые овчинные полушубки, по-хозяйски бережно свернули их, положили в кучу и засучили рукава.

— Давайте этого,— указал им Ефрем на стоявшего с краю заросшего рыжей щетиной дрожавшего от холода и волнения молодого казака.

— Господи, защити и помилуй,— простонал булавинец.

Казаки сняли с него цепи, сорвали ветхий зипунишко.

— Как кличут? — спросил у него Ефрем.

— Па...анька Новиков...— стуча зубами, выдавил булавинец.

— Панька? — подался вперед Ефрем.— Из Шульгина?

— Ага.

— Ха...— хмуро усмехнулся Ефрем.— Ты мне, парень, нужен. А ну, погодь, казаки, я с ним поговорю.

Панька оживился. У него внезапно мелькнула робкая надежда: может, этот старшина в богатой малиновой шубе неспроста спрашивает его. Может, он родня какой или отцу-покойнику односумом был.

— Так ты, стало быть, из Шульгина? — снова спросил Ефрем, рассматривая Паньку.

— Из Шульгина,— закивал головой Панька, теперь почти уверенный в том, что дело идет о его спасении.— Ей-богу, из Шульгина!.. Моего отца-покойника Иваном звали. Убитый он на войне.

— Знавал, знавал твоего отца,— сказал Ефрем.— Добрый казак был. Вместе с ним в семисотом году под

Нарвой были. При мне его и убили. Я его своими руками и похоронил, дай ему бог царствие небесное,— вздохнул Ефрем.

Панька, слыша такие слова, радостный, взволнованный, про себя уже благодарил бога за свое спасение.

— А вот скажи-ка ты мне, Панька, правду, — сказал Ефрем. — Тебя атаман Фома с отпиской ко мне посылал?

Панька потускнел, испуганно взглянул на старшину.

— Говори, дьявол! — свирепо взревел Ефрем.

— По... посылал.

— Куда девал ту отписку?

— Кондрашка отобрал,— опустил Панька голову.

— А потом?

— А потом Кондрашка велел ехать к Фоме и сказать, что отписку ту ты получил...

— Сатана! — с яростью размахнулся Ефрем и ударил Паньку.

Тот как подкошенный свалился в снег и огорченно заплакал, обманутый в своих надеждах.

— Телепня его!

Казаки сорвали с Паньки рубаху, поволокли к дыбе. На колокольнях ударили в колокола по мертвому. Народ испуганно закрестился.

Казаки втиснули в хомут Панькину голову, руки и ноги, затянули супонь, подвесили Паньку к дыбе. На изогнутой желтой, сухой спине его остро выступили позвонки. Раскачиваясь на весу, скорченный в дугу, посеревший от ужаса, Панька синими дрожащими губами шептал молитву:

— Господи-сусе, помилуй мя, грешного...

— Сынь! — крикнул Ефрем.

Два дюжих казака, крякнув, с силой размахнувшись туго плетеными ременными кнутами, со свистом резанули воздух. Два кровавых рубца легли на тощей спине Паньки.

Толпа взволнованно загудела.

Бесчувственного Паньку вытащили из хомута и бросили около дыбы. Прикосновение холодного снега к горящей спине сразу же оживило несчастного. Он зашевелился и застонал.

— Сажай на крюк! — снова скомандовал Ефрем.

На майдане стояли свежевырытые столбы с перекладина-

ми наверху в виде буквы Г. На концах перекладин ввинчены железные кольца. Через кольца протянуты крепкие, просмоленные веревки с отточенными железными крюками на концах.

Казаки подтащили Паньку к столбу и, с размаху вонзив ему между ребер крюк, рывком подтянули веревку. Панька взвился к перекладине, заболтал ногами.

— Пра-авославные! — закричал он страшным, дурным голосом.— Убейте меня!.. Убейте!

В толпе крестились от ужаса.

— Ой господи! Ведь у него ж святой крест на шее, что ж они над ним так измываются?

Где-то сердобольная баба голосила, как по мертвому:

— И, родн-имые вы мои-я...

С колоколен, как тяжелые капли слез, падали скорбные удары колоколов. Старухи крестились, шевеля побелевшими губами:

— Господи, прими во царствие небесное душу новопреставленного раба твоего, великомученика Павла.

Зерщиков крепко схватил за руку черпеца, взволнованно шептал:

— Охлонись!.. Охлонись!.. Не наделай зла, не наделай! Пойдем, брат.

Но монах, не слушая Зерщикова, судорожно сжимал посох. Подавшись всем телом вперед, он не сводил горящих глаз со страшного зрелища. Казалось, он хотел броситься на истязателей.

— Охлонись, брат! Охлонись! — шептал Зерщиков.

Монах, как бы очнувшись от кошмарного сна, приложил ладонь к разгоряченному лбу.

— О господи! — тяжело вздохнул он.— Пусти, Илья. Прощай!

— Куда ты? — обеспокоенно спросил тот.

— За пороги, в Сечь.

— Ну, час добрый. На меня и на Ваську Позднеева ты не имей сумленпя.

— Не сумлевайся,— сказал и Василий Позднеев.

Монах исчез в толпе.

Когда Максимов послал старшин выяснить, что это за странный, загадочный монах появился в Черкасске, то в городке его не оказалось. Расспрашивать о нем Зерщикова и Позднеева атаман не решился.

От Черкасска-городка стремительно скакали два всадника. Комья снега во все стороны разлетались от копыт мчавшихся лошадей.

Всадник в монашеской рясе остановил вспененного быстрой ездой коня.

— Ну, теперь можно и попрощаться, — сказал он и сорвал с себя седую бороду, снял с головы и бархатную скуфью.

— Не опознали, Гришка, меня в этой одежине,— усмехнулся он мрачно.

Достав из саквы * кафтан, шапку, переоделся.

— Ну, Гришка, прощай,— сказал он.— Поеду к запорожцам добывать войско, а ты оставайся тут, приворачивай казаков. Да семью мою блюди.

Румяное лицо Григория Банщикова порозовело еще больше. Он был польщен доверием Кондрата.

— На меня, Кондратий, положись, как на самого себя! — горячо воскликнул он.

— На тебя я, Гришка, имею надежду больше, чем на кого другого,— мягко взглянул Булавин на своего молодого друга.— Прощай, Григорий, скажи там семье, чтоб к весне беспременно ждали меня... — И, помолчав, добавил: — С большим войском.

Они обнялись и поехали каждый своей дорогой.

ГЛАВА IV

Зима того года была теплая. Выпавший снег растаял, полили дожди, бурные потоки заполнили балки водой. В декабре в буераках зацвели подснежники.

Булавин одиноко ехал по пустынной, безмолвной степи. Косые лучи заходящего солнца вяло ощупывали потемневшие прошлогодние бурьяны. Остановив измученную лошадь, Кондрат приподнялся на стременах, зорко огляделся. Он выискивал место для ночлега в мокрой, неуютной степи. Всюду было хмуро, неприветливо...

Вправо, в полуверсте, на небольшом кургане маячили развалины какого-то древнего строения. От руин падали длинные тени. Хлестнув лошадь плетью, Кондрат поскакал к кургану.

Когда он подъехал к развалинам, уже стемнело. Черная ночь покрывала степь. На темном, как бархат, небе

вспыхивали зеленые звезды. Кондрат на каменных плитах древнего здания нашел сухое место, тут же лежала кем-то припасенная охапка сухого бурьяна.

Булавин высек огонь и зажег костер. Расседлав коня, пустил его пастись. Осмотрел пистоли. Сев к костру и достав из саквы баклагу с водой и сухари, стал есть. Он думал о своей поездке в Сечь. Каковы-то будут успехи?

Костер быстро догорал и начинал гаснуть. Булавин снова подбросил в него сухого бурьяна. Пламя с новой силой взметнулось и осветило пространство вокруг трепещущим светом... Вдруг лошадь навострила уши: кого-то почуяв, она перестала есть и звонко заржала. Кондрат вскочил, выхватив из-за пояса пистоль, отбежал от костра в темноту. «Может быть, волки?» — напряженно прислушиваясь, подумал он. Кругом было тихо.

Сунув пистоль за пояс, Кондрат снова уселся у костра, но есть уже не стал. Достав трубку, он закурил. Что бы это значило? Не в первый раз он ночует в степи. Никогда не испытывал боязни, а на этот раз какая-то непонятная тревога, какое-то беспокойство давили его.

Он ничего на свете не боялся, кроме нечистой силы. Встреч в степи с разной чертовщиной и духами он предпочитал избегать. А сейчас как раз подходил час их появления. Не раз Кондрат слыхал рассказы старых, бывалых казаков о том, как в полночь по степи бродят тени убитых воинов и пристают к путникам, жалобно моля осенить их крестным знамением.

Легкий ветерок пробежал по степи, зашелестев старой, прошлогодней травой. Кондрат вздрогнул и перекрестился.

На небе выплыла луна, ровный бледный свет разлился по степи. Стремительно куда-то на север бежали лохматые облака, то закрывая луну, то снова открывая ее, и от этого становилось то темнее, то светлее. Кондрат засмотрелся на причудливое облако, принявшее очертания быстро мчавшихся всадников. «А может быть, это и в самом деле всадники?»

Есть ведь предание, что в старину отважная сотня донских «лыцарей»-удальцов погналась за крымскими татарами, учинившими погром на Дону и уведшими в полон тысячи молодых казачек и детей. Казаки нагнали татар у устья Днепра и все до одного погибли в неравной жестокой схватке с полчищами татар. И вот теперь, говорят,

каждую лунную ночь души погибших «зипунных лыцарей» возвращаются по небу к себе на родину, на тихий, славный Дон, и никак не могут вернуться...

Кондрат просидел еще долго, пока не успокоился. Завернувшись в теплую шерстяную епанчу, он прислонился спиной к каменной стене и задремал... Кто-то его сильно толкнул. Он рванулся, но крепкие руки сжали его в своих объятиях.

«Ногаи!» — в ужасе подумал Кондрат. Его связали и бросили на землю. «Все теперь... Пришел конец. Теперь отвезут в Туретчину и продадут в неволю».

Вдруг сырую ночную темь прорезал резкий свет, затем прогрохотали выстрелы. Кто-то со стоном повалился на плиты. Вокруг Кондрата шарахнулись тени и исчезли.

По камням затопали тяжелые шаги.

— Затямин,— крикнул властный голос,— подбрось в костер бурьяну!

Бурьян, с треском сыпля искры, ярко вспыхнул и осветил площадку, на которой лежали связанный Кондрат и убитый ногай.

— Живой аль нет? — нагнулся кто-то над Булавиным.

Кондрат медлил отвечать. Он не знал, к кому он теперь попал в руки: к друзьям или врагам. Может быть, эти люди страшнее ногаев.

— Живой,— ответил он тихо.— Развяжите, браты.

Человек, стоявший над ним, вынул саблю и разрезал веревки, крепко связывавшие Кондрата. Булавин встал и огляделся. Перед ним стоял молодой высокий офицер. У костра возились казаки, судя по одежде — из азовского гарнизона.

— Кто будешь? — строго спросил офицер у Булавина.

— Войсковой старшина из Черкасска Егор Матвеев,— проговорил Кондрат.

— Вот те! — весело усмехнулся офицер.— А я тоже Матвеев, только звать Александром. Поручик я из азовского гарнизона.— И уже приветливее спросил: — Куда путь держишь, старшина?

— За пороги, в Сечь, послом с грамотой войсковой.

— Что ж ты один?

— Я не один. Со мной полсотни казаков. Приотстал я от них... Заезжал тут в один городок.

— Опасно одному-то ночевать в степи. Видишь, чуть не изловили тебя ногаи. Спасибо, мы вовремя подоспели.

— Спасет вас Христос, добрые люди,— поблагодарил Булавин.— Быть бы мне в Туретчине, кабы не вы.

— Это уж наверняка бы,— сказал офицер.— Мы, христиане, должны друг друга выручать из беды. Пойдем, старшина, к костру.

— Зараз, погляжу только, цел ли конь мой.

— Цел,— отозвался голос казака из темноты.— Не успели супостаты увесть.

— Слава богу,— обрадовался Кондрат.— Без коня в степи погибель. Вот оружьишко, жалко, утащили, дьяволы. Спасет тебя Христос, господин офицер,— снова поблагодарил он.— Выручил ты меня со своими казаками. Никогда не забуду этого. Может, доведется — отплачу тебе.

— Что там говорить,— отмахнулся офицер.

Подсев к костру, офицер достал трубку, набил ее табаком и проговорил:

— Едем это мы да запоздпились, нигде себе сухого местечка не могли выбрать на почлег. Глядим: огонек. Обрадовались. Послал я допрежде проведать, что за люди у костра. Прискакали вскоре мои казаки назад и говорят, что вокруг кургана ноган вьются: напасть, стало быть, на кого-то поровят. «Ну, говорю, выручать надобно». Да и поскакали мы сюда, чтоб упредить их злодейство. И вот, как видишь, вовремя поспели.

— Уж и не знаю, как вас благодарить,— повторил Кондрат.— Спасибо вам, браты, за спасение,— поклонился он казакам, стреножившим лошадей и заполнившим площадку.

— Живи себе на здоровье,— откликнулись они добродушно.— Свой ведь, поди, брат.

Кондрат с опаской поглядывал на бородатые лица казаков, боясь встретить среди них знакомых. Но казаки все были чужие, и никто из них, видимо, Булавина не знал. Это успокоило Кондрата, он обрадовался. Поговорив о событиях ночи, он осторожно спросил у офицера, куда отряд держит путь.

— Путь наш не близкий,— ответил офицер.— В Изюм, к полковнику Шидловскому, едем.

— А-а, это далече. Вам бы надобно через Бахмут путь держать.

— Дорогу-то мы знаем,— вступил в разговор широкоплечий, русобородый молодой казак.— Бывали тут. За Кондрашкой Булавиным гонялись.

Кондрату почудилось, что при этих словах казак усмехнулся и хитро посмотрел на него. Кондрату стало не по себе. Видимо, казак о чем-то догадывался.

— Что у вас слыхать о Булавине? — спросил офицер.

У Кондрата мелькнула озорная мысль.

— Да вы что, ай ничего не слыхали? — спросил он.

— Нет, а что? — с любопытством уставился на него офицер.

— Булавина-то ведь поймали.

— Да что ты? — подался офицер к Булавину от изумления. — Неужто поймали?

Кондрат насмешливо посмотрел на офицера. Он был молод, почти еще юноша, лет двадцати двух — двадцати трех. Он очень напоминал собой Гришку Банникова: такой жо широкоплечий, статный и красивый. Только Гришка был несколько старше.

«Эх ты, зелена куга», — подумал Кондрат, смотря на доверчивое лицо офицера.

— Как же, поймали, — сказал он.

Казаки обступили Кондрата. На лицах их отражалось огромное любопытство.

— А не брешешь, старшина? — с сомнением спросил пожилой казак у Кондрата. — Его ведь поймать-то не легко.

— А мне что брехать, — серьезно сказал Кондрат. — Какая от того польза? Сам я его изловливал.

— Расскажи, старшина, — попросил офицер.

— Можно и рассказать, — согласился Кондрат и оглянул казаков.

Они жадно устремили на него свои взоры, в которых горело нетерпеливое ожидание. Два месяца они, не слезая с седел, выискивали Булавина. Но он был неуловим. В их глазах он вырос в какую-то чудовищную, сверхъестественную силу. А теперь вот вдруг этот неуловимый Булавин пойман. Только на лице русобородого казака бродила хитрая усмешка. Видимо, он не верил тому, что говорил старшина.

— Это дело было так, браты, — начал свой рассказ Кондрат. — Поехали мы с старшиной Ефремом Петровым... Может, знавали такого? — поглядел он на казаков.

— Слыхали, — откликнулся кто-то.

— Так вот, поехали мы с тем старшиной да с сотней

казаков в Трехизбянский городок, отколь, значит, родом этот вор Кондрашка-то... Приехали мы туда уже к вечеру. И видим, что городка-то того уж и нет, весь он выжжен и разорен атаманом Максимовым. Ни единой души в этом городке нет, лишь собаки бездомные бродят по пепелищу. Стали тут наши казаки рыскать по городку, да и наткнулись на землянку, в какой, стало быть, жила вора того Кондрашки женка с детишками. Выволокли ее казаки на свет божий. Спрашиваю я ее: где, мол, твой Кондрашка, вор и крестоотступник? Залилась она слезами, детишки цепляются за подол. «Ведать не ведаю, — говорит она, — и знать не знаю». Жиганул я ее раза два плетью, и сразу созналась баба, что ночью Кондрашка тот должен прийти к ней.

Засели мы в засаду, всю почку прождали, а на самой что ни на есть зорьке изловили мы того Кондрашку с полковником его, Гришкой Башпиковым...

— Неужто он не оборонялся? — спросил кто-то из казаков разочарованно.

— Ну, какое там не оборонялся, — сказал Кондрат. — Как черт бешеный, отбивался. Человек десять побил да поранил.

— Он, могёт быть, теперь убег, — раздумчиво проговорил пожилой казак, пыхнув из трубки. — Потому как он, Кондрашка-то, с нечистой силой знается... Народ гутарит: поймают это его, свяжут, а он плюнет до трех разов и прям на глазах, как лед, стает, лишь пар от него пойдет... Только веревки валяются на земле, а он сгибает, все едино его и не было.

— Что правда, то правда, — согласился Кондрат, — водится за ним такой грех. С ним связываться страшно. Погибнуть ни за что ни про что можно. Мы-то его с молитвой брали... Ничего, приспособился.

— Молитва-то молитвой, — снова вступил в разговор пожилой казак, — а все же на такой случай надобно и слово знать. Вот ежели б я был там, я сказал бы слово — и все. Как овечка, смиренький стал бы. Это дело уже испробовано... Бывали со мной такие случаи.

— Дядя Афонька, — пристали к нему молодые казаки, — расскажи, что с тобой было!

Дядя Афонька для приличия поломался немного, но когда казаки начали настойчиво упрашивать его рассказать, согласился.

— Да, такое дело со мной однова было: ехал я прошлый год осенью по степу из Азова в Черкасск. С отпиской послал меня губернатор к атаману... А дело-то было ночное. Как раз был час такой, когда разные упыри, оборотни да ведьмячки по стену разгуливают, разыскивают запоздалых путников. И довелось мне, братцы, проезжать мимо татарского могилища. Вестимо, страшно в такой час ехать мимо покойников. Но ехать надобно, что поделаешь, служба наша такая казачья... Припустил я тут, братцы, своего мерина во весь опор, ажно в ушах ветер засвистел. Скачу что есть духу, норовлю то страшное место скорее пролететь. И уж почти проехал я его. Уже зарадовался было, думаю: слава те господи, пронесло. Только зря я рано зарадовался... Ка-ак сига-не-ет он мне на спину!..

— Кто, дядя Афонька? — спросил пораженный молодой казак, не сводя горящих глаз с рассказчика.

— Не перебивай! — сердито осадил его рассказчик и, снова приходя в азарт, продолжал: — Ка-ак сига-анет он мне на спину и сразу же шарь-шарь это за ворот. Норовит, стало быть, вцепиться зубами в шею...

— Ух ты! — не вытерпев, снова воскликнул молодой казак.

— Мати божья! — поощренный всеобщим вниманием, входил во все больший азарт дядя Афонька. — У меня, братцы вы мои, не сбрешу, от такого дела ажно глаза на лоб повыскочили. Обернулся я, братцы, гляжу, а это младенчик синюшний-пресинюшний, без единой кровинки. И хочет это он, братцы вы мои, вгрызаться мне в шею, чтоб, значит, кровушки христианской напиться. Упырь, стало быть, самый настоящий...

— Инь ты! — снова в ужасе воскликнул молодой казак.

— Видно, когда-то, — продолжал дядя Афонька, — турки вели в полон беременную бабу, а она дорогой-то и родила. А турчин, чтобы младенчик не мешал матери, взял да и бросил его некрещеного в кусты, а он там и сгиб без креста... Очи-то у него, браты, горят, как свечки, а сам он так это жалобно пищит: «Мяу, мяу!» Как все одно кошка. Соскочил я с коня с дитенком на спине, ударил острием сабли в землю да как закричу: «Сгинь, сгинь, пропади!» Дитенок мяукнул еще раз жалобно-жалобно, да и сиганул с моей шеи на рукоятку сабли,

ажно она закачалась под ним, да по острию сабли и спустился в землю... Прочел я над тем местом «Отче наш», перекрестился и поехал своей дорогой...

— Что ж ты, дядя Афонька, — жалостливо сказал тот же молодой казак, — не дал ему поноспить кровицы-то? Хоть глоточек бы... Может, ожившел бы...

— Господи Исусе Христе, — испуганно закрестился дядя Афонька. — Да и дурило же ты, Гаврюха, скажешь тож, не подумавши: да ведь ежели б он хоть капельку моей кровушки испробовал, то я тож упырем стал бы.

— Вот, Гаврюха, — сказал кто-то из казаков смеясь, — попал бы ты тогда в лапы к дяде Афоньке, он из тебя б не токмо всю кровушку повысосал, но и всего со всеми кишками и потрохами съел бы.

Казаки засмеялись.

Стало рассветать. Кондрат, распрощавшись с офицером и казаками, оседлал коня и поехал, радуясь, что на этот раз так счастливо отделался.

ГЛАВА V

Городки по Донцу, казаки которых принимали участие в убийстве Долгорукого, были разорены и выжжены отрядом Максимова.

Бездомные жители, бежав от расправы, бродили по Дикому полю в поисках приюта на зиму. Некоторые, вырыв на берегу Айдарки в редких лесосеках землянки, забились в них, как сурки, выжидали весны. Весна покажет, что делать. Но до нее было еще долго, есть же было нечего. Люди пухли от голода, мерли.

Издавна донские казаки делились на верховых — голутвенных — беглых московских и украинских помещичьих и боярских людей и крестьян, поселившихся по речкам Донцу, Хопру, Медведице, Бузулуку, и на низовых — старожилых, домовитых, живущих в низовьях Дона.

Верховые казаки — гультяи — жили бедно, в нищете, впроголодь. Земледелием им под страхом смерти запрещалось заниматься.

Получаемое из Москвы за свою службу жалованье деньгами, оружием, порохом, хлебом и прочим дели-

лось между войсковой старшиной, домовитыми казаками и попадало голутвенным казакам в таких ничтожных количествах, что вызывало их справедливое возмущение.

Но низовых, домовитых казаков, недовольство верховых, гультяев, мало тревожило. Низовые считали себя подлинными хозяевами Донщины, и им ли было прислушиваться к голосу пришельцев.

Раздражало гультяев и не только это. Их нещадно эксплуатировали домовитые казаки. Часто гультяи, голодая, вынуждены были идти работать к ним за кусок хлеба.

Гультяи видели, как от их труда богатели домовитые казаки. Жили домовитые богато, широко, вели разгульную, веселую жизнь. Часто они совершали набеги в Туретчину, Тавриду, Кафу, грабили там и торговали — лошадьми, скотом — с иноземными и русскими купцами, добывали при помощи тех же гультяев соль на промыслах и продавали ее втридорога им же, голутвенным казакам.

Домовитые купались в меду, масле, ходили в золоте, бархате, а они, голутвенные, пробавлялись на каше с сухарями, трясли рваные зипуны...

Между двумя слоями казачества лежала глубокая пропасть. Между ними всегда была глухая вражда, готовая ежеминутно вылиться в кровопролитное побоище.

И теперь для всех было ясно, что Кондрат Булавин, сам по своему положению домовитый казак, открыто стал на сторону голутвенного казачества. Это сразу же отпугнуло от него многих домовитых казаков и, наоборот, вызвало поддержку гультяев, всего обездоленного люда.

После убийства Долгорукого и жестокого подавления Максимовым восстания булавинцев волнение голутвенного казачества, казалось, затихло.

Только самый внимательный, проницательный глаз мог бы заметить, что не все спокойно у гультяев. Едва приметно тлела искорка недовольства среди голутвенных, ежеминутно готовая вспыхнуть, вызвать пожар восстания.

Григорий Банников, помня наказ Булавина «приворачивать» казаков, неустанно ездил по городкам, предупреждал казаков быть наготове.

— Браты, — говорил он, — вы думаете, это все? Нет!.. Мы только начали. На весну ждите Кондратия Булавина с порогов. Придет с большим запорожским войском. Готовьте, браты, оружие да коней...

Казаки, прислушиваясь к словам Гришки, верили ему и готовились к весне — точили сабли, чинили сбрую...

Смерть помешала Долгорукому отправить в Россию партию беглых, переписанных в Новом Айдаре, в числе которых была и семья Банниковых. Старик Прохор Банников с приближением отряда Максимова, бросив свой курень со всей домашней рухлядью, бежал с семьей в Ореховый буерак. Место здесь было глухое, заросшее густой мелкой лесосекой. Вырыв землянку, Банниковы поселились в ней, тревожно ожидая развития дальнейших событий.

Вскоре в Ореховом появились новые поселенцы — казаки, бежавшие из Трехизбянского и Шульгинского городков. Они вырыли себе землянки неподалеку от Банниковых и жили также в тревожном ожидании.

Однажды ночью в Ореховый явились Булавин и Гришка. С ними было десятка три казаков. Они торопились. Оставив в землянке Банниковых Наталью с Галей и Никитою, они сейчас же ускакали.

Пришлось старику Банникову с сыновьями вырыть рядом со своей землянку поменьше и поместить в ней Наталью с детьми.

Банниковы так же, как и все здесь, голодали. Запасов не было, а то, что успели захватить из дому, было на исходе. Но старик Прохор — предприимчивый человек — наделал капканов, ловил зайцев, ходил на речку рыбалить. Сыновья также не сидели без дела — охотились в степи. Кое-как кормились, делились и с Натальей.

В конце декабря в Ореховый приехал Гришка. Он привез с собой куль пшеничной муки, поровну разделил ее между своей семьей и Булавиными.

— Это вам от Кондратия, — сказал он Наталье.

— Спасет тебя Христос, Григорий, — растроганно ответила она. — Оживимся немного, а то совсем с голоду погибаем.

Гришка три дня жил в Ореховом. Часто заходил к Булавиным, садился на скамью, смотрел на Галю. Она

за это время заметно изменилась, похудела, лицо пожелтело, стало грустным. Гришка много отдал бы, чтобы облегчить ее страдания. Но что он мог сделать?

Мрачно оглядывал он землянку. Тускло горел жировик в миске с барсучьим салом, слабо освещая черные стены. Половину землянки занимали нары, сделанные стариком Прохором. На нарах валялась какая-то ветошь. Здесь спали все втроем — Наталья, Галя и Никита. У дверей стоял очаг. Когда он горел, дым шел в открытую дверь. От дыма в землянке можно было задохнуться. А когда очаг гас и дверь закрывали, в землянке тошнотворно пахло гарью и затхлой сыростью.

Долго так жить было нельзя.

Григорию пришла мысль отправить Булавиных в Пристанский городок, к Луньке Хохлачу. Хохлач жил один, у него можно будет на время поместить семью Кондрата. Там дремучие леса под боком, зверья много, пропитаться будет легче до весны.

Григорий поделился своими мыслями с Натальей. Та грустно сказала:

— Да как же туда, Гриша, пробраться-то? Видишь, я какая, — указала она на свой живот. — Рожать скоро буду... Разве ж я с таким брюхом дойду? Не, Григорий, спасет тебя Христос за доброе слово, но идти мне некуда. Помирать, видно, тут буду...

Гришка огорчился. Если б где можно было достать телегу или сани с хомутом, тогда все устроилось бы само собой. Но достать их трудно: Максимов все поразгромил здесь.

Гришка угрюмо ходил по степи, охотясь на зайцев, а сам все придумывал, какой бы найти выход из положения. Он понимал, что дольше оставить жить Булавиных в таких условиях нельзя. Да и о своей семье надо было подумать. Казаки могли бы еще выжить здесь до весны, но бабы — едва ли, особенно мать, больная старуха.

И Гришка решил завтра же, с рассветом, ехать в северные городки добывать телегу.

Вернулся он с охоты уже вечером с двумя зайцами. Одного отдал своим, другого понес Наталье.

— Здорово дневали! — поздоровался он, входя в землянку к Булавиным.

Ему никто не ответил. Жировик, слабо мерцая, ро-

нял тусклый свет на нары. Укрывшись тряпьем, кто-то сотрясался в рыданиях.

Григорию показалось, что это была Наталья. Он растерялся.

— Наталья, ты что? — бросился он к нарам. — О чем плачешь?

Женщина зарыдала громче. У Гришки болезненно сжалось сердце. Оказалось, это была не Наталья, а Галя.

— Галечка, — срывающимся голосом вскрикнул он, — моя медонучая! Чего ты так плачешь-то, а? Кто тебя обидел, родная моя? Скажи мне, моя душанюшка.

Никогда еще ни единого ласкового слова он не осмеливался сказать Гале. Любовь свою он глубоко таил в своем сердце, носил ее в нем, как драгоценную кладь. Несколько раз ему приходилось оставаться наедине с любимой девушкой. Ему очень хотелось в такие минуты говорить ей хорошие, нежные слова, но он смущенно молчал. Сейчас же, видя ее рыдающей, он забыл о своей робости.

Присев на нары, он стал нежно гладить своей огрубевшей на ветру ладонью по ее шелковистым волосам.

— Галечка, о чем ты так плачешь? Скажи мне, голубочка.

— Нельзя так больше жить, — сквозь рыдания проговорила Галя. — Нельзя... Мать хворая... Никишка спящий... Помрут...

Гришка поднял ее своими сильными руками, посадил к себе на колени, стал покачивать, как ребенка.

— Галечка, — ласково заговорил он, — скоро ж окончится такая жизнь. Скоро мы будем жить хорошо, богато. Зараз твой батька в Сечи, войско запорожское собирает. К весне он с тем войском придет сюда. А я к тому времени тож соберу казаков, и пойдем мы с Кондратием волю добывать... Прогоним всех бояр, немцев да прибыльщиков с Дону. Казним атамана Максимова за то, что предал твоего батьку, изменил ему...

Ласковый голос Григория успокаивал девушку. Она не пыталась отстраниться от него, ей так было хорошо. Она знала, что Григорий любит ее, готов за нее пожертвовать собой. Она верила его словам. Склонив голову к нему на плечо, она думала, что и в самом деле скоро окончатся их страдания, должно прийти такое время, о котором так хорошо говорит Гришка. Скоро они зажи-

вут счастливо и в довольстве. Ведь отец и Гришка такие сильные, они добьются всего.

— Казним войсковых старшин, — говорил Гришка, — созовем в Черкасском большой круг, самый небольшущий. Всех голутвенных казаков со Старого поля соберем на круг. И выберем себе такого войскового атамана, самого справедливейшего и храбрейшего казака, чтобы он за настоящую казачью правду стоял, за голутвенных казаков.

Галя, вздохнув, мечтательно сказала:

— Тебя б, Гриша, атаманом выбрать. Ты ж наихрабрее и разумнее всех. Таких более нет, как ты.

— Галечка, голубица! — радостно рассмеялся Гришка. — Это я лишь тебе такой храбрый и разумный кажусь. Есть такой казак один на свете, он не токмо храбрее и разумнее меня, но и всех людей на свете.

— Да кто ж он такой? — воскликнула Галя. — Кто этот человек?

— А ты не догадываешься?

— Нет, — простодушно ответила Галя.

— Да батька ж твой! — весело вскричал Гришка.

— Батя? — недоверчиво посмотрела Галя на Гришку, не шутит ли.

Но лицо Григория было серьезное. Видимо, он говорил правду.

Она задумалась. Вот уж никак не могла представить себе, чтобы ее отец, с которым она прожила всю свою жизнь и которого считала самым обыкновенным казаком, как и все, вдруг оказался таким храбрым и умным.

— Нет, Гриша, — с сомнением покачала она головой, — ты меня обманываешь. Ведь батя простой казак, как и все.

— Вот, ей-богу ж, Галечка! — горячо сказал Гришка. — Вот придет твой батька с запорожским войском, так тогда сама поглядишь. Как установит твой батька вольную, хорошую жизнь на Старом поле, так сейчас же выберем его войсковым атаманом... Тогда ни один боярин не тронет нас. Ох, и жизнь же тогда будет на Дону! Хорошая жизнь! Всем будет хорошо... А мы с тобой, Галечка, — зашептал он ей нежно, — повенчаемся и будем жить в наилучшем курене в Черкасском. Богато, знатно будем жить. Пойдешь за меня замуж, Галечка?

Галя порывисто обвила его шею своими горячими руками, смущенно рассмеялась.

— За тобя, Гриша, пойду, — шепнула она ему на ухо едва слышно, словно боясь, что ее кто-нибудь услышит. — Ты ж хороший.

— О, моя голубочка! — только и мог промолвить Гришка. Он крепко поцеловал ее в губы.

К землянке кто-то торопливо подбежал. Гришка отпустил Галю и встал. Дверь откинулась, и вместе с клубами пара в землянку ввалился бледный, трясущийся Никита.

— Дядя Гриша, батальщики идут! — дико закричал он. — Я убег от них, а мамуню схватили!..

Выхватив из-за пояса пистоль, Гришка выскочил из землянки и прислушался. Ночь была морозная, светлая. Луна, бугроватая и неровная, как измятая дыня, медленно плыла по синему полотнищу неба, усыпанному, словно жемчугом, яркими звездами. За темнеющими контурами молкого леса слышался невнятный гомон. Четко, как будто совсем рядом, прогрохотал выстрел.

Гришка понял все. Солдаты громили землянки соседей. Сейчас они должны прийти сюда. Что ж делать? Мгновение подумав, Гришка обернулся и крикнул в землянку:

— Одевайтесь потеплее и ждите меня. Я зараз.

Он стремглав бросился к своей землянке. Предупредив своих об опасности, схватил оружие и седло, торопливо начал седлать своего аргамака.

Совсем близко послышались голоса.

— Господи, хоть бы поспеть, — взволнованно прошептал он, подтягивая подпруги у седла.

Мимо него пробежали куда-то в лес братья с женами и детьми, затем отец с сестрой.

«А мать-то? — ужаснулся он. — Хворая осталась. — Он хотел бежать к ней, чтобы увезти, но раздумал. — Куда ж ее дену? Помрет еще дорогой».

Схватив под уздцы аргамака, он кинулся бегом к Булавиным. У землянки его уже поджидали дрожавшие от страха Галя и Никита. Гришка хотел посадить на лошадь Галю, а самому с Никитой бежать вслед за нею, но голоса солдат раздались совсем рядом, и было слышно, как под их тяжелыми шагами скрипел морозный снег.

Нужно спасаться всем троим сразу или одному кому-либо жертвовать собой...

— Садись, Никишка, на лошадь, — сурово прошептал он.

— А ты?

— Садись, тебе говорят!

Никита вскочил в седло, Григорий поднял Галю и посадил ее позади Никиты на круп лошади.

— Держись, Галечка, крепче за Никишку. Не упади. Гони, Никишка, во весь дух в степь!.. Гони, черт!..

— А ты, Гришка? — снова жалобно спросил Никита.

— Стой!.. Стой!.. — раздались голоса солдат. — Стой, проклятый!

— Гони ж ты, дьявол! — свирепо крикнул Гришка. — Но! — ударил он копя саблей плашмя.

Никита гикнул, аргамак рванулся и понесся в степь. Гришка вспомнил не раз испытанный во время неудачных набегов прием, когда нужно было спасать свою голову. Крепко ухватившись за хвост аргамака, он не отставал от лошади. Сзади прогремел выстрел, пули просвистели над головой всадников. Пробежав версты две, Гришка, задыхаясь, крикнул:

— Остановись!

Никита натянул поводья, и лошадь послушно стала. Григорий повалился на снег. Галя соскочила с лошади, кинулась к нему.

— Гриша!.. Гриша!.. — воскликнула она в отчаянии. — Что с тобой?

— Ничего, — прохрипел Гришка, — ничего... Чуть устал...

И он измученно улыбнулся ей. Полежав несколько минут, приподнялся.

— Отдохнул, поехали.

— Куда ж мы теперь? — спросила Галя.

— Поедем в Федосеевский городок, там до сей поры бунтуют казаки, а оттуда, может, проберемся в Пристанский городок к Хохлачу. Друзяк вашего отца, — пояснил он.

— А как же мамуня? — с плачем спросил Никита.

— Выручим мамуню, — уверенно сказал Гришка. — Не пропадет. Лишь бы скорей Кондратий возвернулся...

У меня ведь тоже мать хворая осталась... Да и отец, братья, сестры тоже там...

Никишка замолк.

— Садись, Галя, на лошадь, а мы с Никишкой пешки пойдем. — И он весело хлопнул по спине приунывшего подростка.

ГЛАВА VI

После разгрома калмыками Пристанский городок быстро снова обстроился.

Митька Туляй поставил новый курень. Слюды не было, и он натянул на оконца бычьи пузыри. Двор огородил плетнем, выстроил хлев, а под окнами куреня воткнул даже черенки азовского цветка.

Живи, казалось бы, да радуйся. Но Митька тосковал. Ему жаль было прошлых счастливых дней, когда в его курене жила турчанка Матрена. Стал он теперь снова бобылем. Как будто и не было у него ни турчанки Матроны, ни сына Ивана. Канули в прошлое эти счастливые дни, исчезли, как радостный сон. На сердце у Митьки остались лишь грусть и тоска тяжелого одиночества...

В воскресный день у становой избы собрался круг для выборов станичного атамана. Раз в году бывали эти выборы. Уже несколько лет подряд атаманил Ерофей Шуваев. На этот раз задолго до выборов он начал подговаривать казаков, чтобы его не выбирали атаманом.

— Не выбирайте меня, — убеждал он казаков, — устал я атаманить, да и по хозяйству надобно подуправиться, а то в разор пришло. Ежели не выберете, ейбогу, магарыч добрый поставлю.

— Ладно, Ерофей, исполним, — обещали казаки, — только не забудь магарыч.

— За мной, браты, дело не станет.

День стоял ясный, морозный. Казаки, тепло одетые в дубленые шубы и зипуны, греясь, с силой толкали друг друга боками, гоготали.

Из становой избы вынесли стол, скамьи и расставили посреди майдана. Ерофей Шуваев степенно помолился на восток, поклонился кругу на четыре стороны.

— Простите, атаманы-молодцы, — сказал он торжественно,— может, кому в чем согрешил.

Из толпы закричали:

— Спасет тебя Христос, Ерофей, что потрудился.

— Справедливо атаманил.

— Не кажем обиды!

— Не кажем!

Ерофей бросил баранью шапку на стол, положил на нее пасеку, сел у стола на скамью, несмотря на холод, с непокрытой головой.

На середину майдана выступил станичный есаул. Подняв руку, объявил кругу:

— Кому, честная станица, прикажете пасеку взять?

Казаки заволновались, зашумели:

— Сапрыкину!

— Ормину!

— Орленку!

— Хохлачу!

Есаул, прислушиваясь, обождал несколько, потом снова крикнул:

— Кому, честная станица, прикажете пасеку взять?

Теперь казаки уже менее воодушевленно выкрикивали лишь два имени:

— Сапрыкину!

— Орленку!

И снова, пообождав, есаул в третий раз крикнул:

— Кому пасеку отдать?

— Орленку!.. Орленку!..

— Бери, Орленок! — сказал есаул.

Из толпы вышел высокий сивобородый казак в сером суконном зипуне. Подойдя к столу, он снял шапку с чубатой головы, поклонился кругу, взял со стола атаманскую пасеку и с достоинством стал позле Ерофея Шуваева.

А есаул снова кричал:

— Вот, честная станица, старый наш атаман Ерофей Шуваев свой год отходил, а вам без атамана нельзя... На кого теперь покажете?

Замолкнувшая на мгновение толпа снова зашумела:

— Старого атамана Шувая!

— Хохлача!.. Луньку Хохлача!

— Туляя!.. Митьку!..— перекрикивая всех, заорал Хохлач.— Митьку!

Рядом стоявшие казаки, подговоренные Хохлачом, подхватили:

— Туляя!.. Митьку!..

Митька, стоявший позади всех и плохо слышавший, что говорилось и делалось в середине круга, не сразу понял, к чему это выкрикивают его имя. Его, усмехаясь, толкнул локтем сосед:

— В атаманы тебя, Митька, кричат. — И подхватил: — Туляя!..

Митька растерялся и растрогался. Уж такого доверия и почета от своих станичников он никак не ожидал.

И второй и третий раз на вопрос есаула круг единодушно выкрикивал:

— Туляя!.. Туляя!..

Потом сразу все замолкли. Сосед снова толкнул Митьку:

— Выбрали. Иди, бери насеку.

Митька с непокрытой головой протолкнулся сквозь толпу к столу. На лице его блуждала растерянная улыбка. Ему все еще не верилось, что он удостоился такой чести. У него мелькнула мысль: уж не смеются ли над ним? Но Орленок с самым серьезным видом подал ему насеку.

— На, Митрий, да послужи народу по правде.

Митька взволнованно взял насеку, кланяясь кругу, и растроганно сказал:

— Ну уж, ей-богу, казаки... прям... одним словом... атаманы-молодцы, спасибо за доверенность. Послужу ужо я вам... Ей-ей, послужу!

— В добрый час, Митька!.. В добрый час!.. Послужи по правде!.. Послужи народу!

Казаки с веселым гоготом и шутками кинулись к Митьке, накрыли его шапками, как полагалось по обычаю.

— В добрый час!.. В добрый час!

После этого казаки в помощь атаману выбрали пять стариков в судьи. Обязанности этих стариков заключались в том, что они, в случае опасности набега калмыков или татар, должны были, сев на коней, скакать по степи и лесам и скликать народ в городок садиться в осаду. В случае каких-либо ссор и споров они должны были мирить, за нарушение житейских правил они взимали с виновных штрафы на общественные нужды.

Как было издавна заведено, после выборов атамана и судей казаки шумной толпой двинулись к питейному дому «обмывать» на общественные деньги нового атамана.

Пили целые сутки, а когда общественные деньги кончились, начали пить на собственные — с носа по алтыну, а за кем жена приходила — брали по два.

Митька с Лунькой Хохлачом бражничали вместе, обнимались, заверяли друг друга в дружбе. В последние дни они были неразлучны. На гульбе ли за зверем, в кабаке ли за ковшом вина их всегда видели вместе.

В городке о них, посмеиваясь, говорили:

— Вот два друга — хомут и подпруга...

Митька приступил к своим атаманским обязанностям. Обязанности эти, хотя и были несложны, требовали большого внимания, а главное честности и правдивости. Митька от рождения был честным и неподкупным человеком. Он решал дела по справедливости, не был скуп, а поэтому вскоре снискал любовь всего городка. Все были довольны новым атаманом.

Все шло хорошо, но вот, совсем нежданно-негаданно, навалилась беда. Однажды в студеный день в заснеженный метелью городок вошел отряд царских солдат во главе с капитаном Тенебековым.

С тревогой встретили пристанцы нежданных гостей. Никто не знал причины, заставившей их прибыть в такую непогоду в городок. Правда, среди казаков носились смутные слухи о том, что царские сыщики разыскивали беглых холопов по Дикому полю, но слухи эти долгое время ничем не подтверждались. Им уже перестали верить. Мало ли кто что сбрехнет на Поле? Если верить всему, то невозможно было бы и жить на свете...

На следующий день рано утром началось...

Ошеломленный Митька таскал за собой атаманскую насеку, ходил с капитаном Тенебековым и войсковым старшиной Егором Матвеевым по улицам, прислушиваясь к бабьему и детскому плачу. На глазах его творилось что-то страшное. У одного куреня солдаты, сорвав одежду с казака и распластав его на снегу, ожесточенно секли кнутами. При каждом ударе он вздрагивал окровавленной спиной и стонал. Молодая казачка, заливаясь слезами, прижимала ребенка к груди, рвалась к казаку. Солдат отталкивал ее.

На крыльце становой избы побелевшему, трясущемуся от испуга старику набивали на ноги в стоптанных лаптях тяжелые колоды. Сгорбленная старушка в рваной шубейке горестно вглядывалась подслеповатыми глазами

в мужа, крестилась, шепча посиневшими губами молитву, из глаз ее по дряблым, морщинистым щекам текли слезы.

По улице солдаты волокли рыдающих простоволосых женщин к становой избе. За ними, как цыплята, бежали ревущие ребятишки. Завидев Митьку, шествующего с насекой рядом с капитаном и старшиной, они исступленно кричали:

— У-у! Че-ерт суклятый! Ходит, бельтюки * свои вытаращил. Не атаман, а дьявол рогатый... Никакой защиты от него. За сколько продал нас, рыжий?.. А сам ведь тож беглый. Беглый, нечистый дух!

Митька, побледневший, расстроенный, искоса взглядывал на низкорослого капитана, одетого в теплый меховой кафтан, стремясь по выражению его лица прочесть, какое впечатление производят на него крики баб, но под черной треугольной шляпой бритое лицо капитана было невозмутимо спокойно.

Митька вздыхает. То, что он слышит от несчастных баб, заставляет его страдать. Видимо, он повинен в том, что все они, обитатели городка, которых сейчас заковывают в колоды, секут, тащат на расправу, верили ему, верили в его справедливость и защиту — и ошиблись. Он ничем не может помочь им.

И когда мимо него солдаты вели казаков в становую избу, Митька смущенно отводил глаза в сторону. Он боялся встретиться с их взглядами, боялся увидеть в их глазах укор и презрение к себе. Возможно, они и в самом деле думают, что он предал их, как кричали об этом бабы.

«Предал»,— горько усмехнулся Митька. Он сам боится каждую минуту, что солдаты выхватят из его рук атаманскую насеку, разложат его на снегу, для начала высекут, а потом срежут губы, нос, вырвут ноздри и повезут в Москву. А в Москве ему несладко придется за поджог имения и побег от своего помещика.

Но пока Митьку почему-то еще не трогали.

Вечером он сидел у себя в курене и, не зажигая огня, тревожно прислушивался к уличному шуму. Он томительно ждал, когда заголосят полуночные петухи. У хаты стоял оседланный конь. Под боком у Митьки лежал мешок с харчами и оружие. Митька ждал, когда городок заснет, чтобы бежать...

За окошком послышались гулкие торопливые шаги по мерзлому снегу. Кто-то сильно постучал в дверь. Митька затрепетал.

— Кто? — грозно крикнул он, наставляя пистоль в дверь. Он решил защищаться до последнего вздоха.

— Открой, Митька,— донесся до него спокойный голос Лукьяна Хохлача.

Митька сунул пистоль за пояс, распахнул дверь.

Лукьян молча вошел в хату, сел на скамью.

— Чего огня-то не зажигаешь? — спросил он.

— Спать хочу ложиться,— буркнул Митька.

— Ой, брешешь,— усмехнулся Лукьян.— Какой тебе сон теперь? Все небось поджилочки трясутся... Ждешь батальщиков.

— Правда, Лукьяна,— со вздохом признался Митька,— жду проклятых.

Хохлач не спеша вынул кисет, набил трубку. Загремел кресалом, высекая огонь. Искры, сыпясь от кремня, освещали белесые длинные усы Лукьяна, его темные сосредоточенные глаза. Искра упала на трут. Митька видел, как во мраке маленький огонек затлелся на тряпице. Лукьян раздул его и прикурил трубку. Затянувшись, спросил:

— Что, Митька, надумал делать?

Митька вздохнул и чистосердечно признался:

— Бежать хочу. — И, как бы оправдываясь, добавил: — Тебе ж, Лукьяна, хорошо... Ты старожилый казак, тебя не вышлют. А меня, как пить дать, закуют в колоды.

— Вот выбрали дурака атаманом, радовались тож,— с презрением оборвал его Хохлач.

Митька опешил и замолк.

— Не бегать надобно,— наставительно сказал Лукьян,— а отбить своих казаков.

— Как же ты их отобьешь-то? — растерянно спросил Митька. — Ведь у них солдаты. Кто же будет отбивать, мы, что ль, с тобой вдвоем?

— И впрямь дурак,— укоризненно покачал головой Хохлач.— Выбирали атаманом — думали орлом будет, а он сорокой трусливой оказался.

— Лукьяна! — взбешенно крикнул Митька, вскакивая. — Ежели хоть еще одно слово скажешь, ей-богу, так дам, что...

Хохлач, поперхнувшись дымом, весело захохотал:

— Ведь того ж мне и надобно, чтоб злость в тебе вызвать. А то ж ты как мокрая курица... Как все едино баба старая стал. Ну-ну, не серчай,— миролюбиво сказал Лукьян, заметив, что Митька снова привскочил.— Я ж любя говорю... Вот что, Митька,— снижая голос, сказал он серьезным тоном, — станица, брат, большой человек, захочет — в луже потопит, а захочет — так и со дна моря достанет... Надобно возмутить казаков. Им только слово скажи — всем батальщикам доразу горло перегрызут. Вот они какие, казаки-то.

— А после-то?.. После-то что будет? — воодушевляясь, с дрожью в голосе спросил Митька.— Придет сюда войско царское, переловит нас, городок сожгут.

— Фью! — насмешливо свистнул Лукьян.— Войско царское... Жди синицу в чистом небе! А ежели придут, так что же? Мы еще не разучились саблями играть... Да что мы — одни, что ль?

Затянувшись из трубки, Хохлач возбужденно зашептал:

— Сейчас ведь весь Дон с верху до низу помутился. Федосеевские да усть-медведицкие казаки взбунтовались, покидали в воду сыщиков. А мы что? Ай свои спины будем подставлять под боярскую плеть? Нет, Митька, того не будет... Давай, Митька, зараз соберем казаков, окружим батальщиков, освободим своих казаков из кандалов... А там, Митька, видать будет, что делать.

Туляй бурно сорвался со скамьи, стукнул кулаком по столу:

— Правду говоришь, Лунька! Эх, была не была... Все едино пропадать. А ежели помирать, так знать, за что. Побегем за казаками. Ну, а уж ежели наша возьмет, то поживем, Лунька! Поживем!.. Размахнемся!.. Разгуляем свою кровушку.

— Молодец, Митька! — весело хлопнул ладонью по спине Туляя Лунька.— Ей-богу, молодец! Ты беги зараз, Митька, в Антипкин конец, потайно кличь казаков, а я побегу в этот край. Соберемся у твоего куреня.

И они вышли поспешно из хаты.

Всю ночь в притихшем, без единого огонька, городке опалело давились в хриплом лае собаки. Сухо скрипел морозный снег под суетливыми ногами...

У Митькиного куреня маячат тени. Они то пропадают, то вновь появляются... Потом большая толпа казаков бросается стремительно к становой избе.

Мерзлая земля гудом отдавала под тяжелым топотом сотен ног. Четко прозвучал выстрел... второй... Собаки с бешеной яростью отозвались брехом.

— Бей их! — прогремел басовитый голос Митьки.

Перепуганные солдаты, стоявшие на карауле у становой избы, были обезоружены. Митька рванул дверь, в нос ему ударила спертая, тошнотворная духота. Изба до отказа была набита людьми.

— Браты! — закричал Митька.— Сбивай колоды! Выходи!

Вспомнив давешнюю обиду, вызванную у него бабами, возбужденно заговорил:

— Может, вы взаправду подумали, что я предал вас? Не, браты! Митька Туляй не таковский. Раз уж вы меня выбрали своим атаманом, стало быть нехай мне хоть голову оторвут, а я вас защищу и спасу. Выходи, браты! Выходи, бабы!..

Люди, крича и плача от радости, выбегали из избы на улицу и, как бы сомневаясь в своем освобождении, опешломленно останавливались, оглядывались, а потом, хватая ребятишек на руки, мчались к своим куреням.

В становой избе стучали топорами, сбивали колоды с казаков.

Медленно таял мрак ночи. Наступал мутный рассвет. Собравшиеся казаки толпились у крыльца становой избы. На крыльце стоял Митька со старшими-судьями. Круг судил долгоруковских сыщиков, захваченных в городке. Решение казачьего круга было коротким: подьячего и младшего офицера «посадить в куль да в воду», а солдат, как подневольных людей, отпустить.

Капитану Тенебекову и войсковому старшине Матвееву удалось бежать из городка. Побелевших от ужаса подьячего и офицера втиснули в кули, насыпали сверху песку, чтобы было тяжелее, стащили к Хопру, кинули в полынью под лед.

Покончив с делами, Митька хотел распустить круг, но Лукьян Хохлач остановил его:

— Погоди. Сказать хочу.

Сняв со своей седой головы шапку, Лукьян насмешливо спросил у казаков:

— Атаманы-молодцы, как вы теперь разумеете, раз это дело содеялось, так теперь вроде и лежать на печке можно, что ли? А-а?.. Говорите! Что молчите?

Казаки недоуменно переглядывались и затоптались, не уясняя себе, к чему это он начал.

— Что же молчите? Что ж, по-вашему, теперь можно покойно в кабаках отсиживаться? — допытывался Лукьян, насмешливо оглядывая толпу.

— Да ты что это, Лунька?.. К чему это ты говоришь-то? — послышались недоумевающие голоса.

— Говори, Лунька... Говори толком.

Хохлач ожесточенно надвинул на голову шапку с голубым шлыком, воскликнул:

— А вот, браты-молодцы, зараз скажу толком. Раз уж мы заколыхали такое дело, то надобно нам теперь всем вкупе стоять, как родным братьям. Днем и ночью быть наготове. Ведь, прознав про наши дела, к нам сюда опять могут суностаты прийти. Начнут они тогда зло творить — жечь, сечь да казнить...

— Правильно говоришь!.. Правильно! — зашумел круг.

— А раз правильно,— продолжал Хохлач,— то надобно нам быть наготове. А по старому нашему казачьему обыкновению на такой случай должен быть у нас походный атаман... Вот и избирайте такого. На кого будете казать, браты?

— На тебя, Лукьян!— гаркнули голоса.

— Хохлача!.. Луньку!..

Лукьян не стал отказываться. Сняв шапку, он поклонился кругу.

— Ну что ж, атаманы-молодцы,— просто сказал он,— ежели на то ваша такая воля, то спасет вас Христос за доверие. Послужу народу... Но уж ежели вы меня выбрали походным атаманом, то я человек строгий, велю беспрекословно слухаться моих приказов.

— В добрый час! — загудели голоса.— В добрый час! Будем слухаться...

Так началось восстание в Пристанском городке. Этот небольшой, малоприметный городок вскоре стал центром булавинского движения.

Лукьян Хохлач сейчас же связался с другими восставшими верховыми городками, и весть о восстании се-

верных городов верхнего Дона быстро распространилась по всему Дону, Придонью и Слободской Украине.

Заволновались казаки Дона, заволновались и крепостные крестьяне на юге Московского государства, в особенности на Слободской Украине.

ГЛАВА VII

Распрощавшись с поручиком Матвеевым, Кондрат Булавин поехал в Волчью балку, лежавшую на пути в Запорожскую Сечь. В этой балке, как он уговорился ранее, его должны были ждать Иван Лоскут, Семен Драный, дед Остап, Мишка Сазонов, Семка Куницын и еще несколько преданных казаков.

Но когда он приехал в балку, то был изумлен, увидев вместо десятка своих товарищей, которых он надеялся здесь встретить, большую толпу — человек в двести. Толпа эта бурно приветствовала его:

— Здоров был, атаман! Здорово, Кондратий!..

— Заждались, батько!..

Это была разношерстно и пестро одетая вольница, бродившая по необъятным просторам Дикого поля, в большинстве голытьба, разбежавшаяся с насиженных мест от сыщиков Долгорукого, голытьба оборванная, голодная, злая, способная на лютую месть за свою потревоженную жизнь.

Собрались именно те люди, которые так нужны были сейчас Булавину.

Рассматривая толпу, Кондрат заметил между гультяями и несколько домовитых, старожилых казаков. Это были пешие казаки, провинившиеся чем-либо перед своими обществами и бежавшие из своих городков, не пожелав подвергать себя унизительному наказанию кнутом.

Оказался здесь даже беглый поп Питирим из Азова и, к удивлению Кондрата, подьячий Тит Чекин из Коротояка.

Кондрат не хотел знать, что побудило этих людей променять свою сытую жизнь на жизнь степных голодных бродяг, полную суровых лишений и опасностей. Раз они пришли сюда, значит, он сумеет их использовать для дела.

Булавин пришел к выводу, что ехать ему одному в Сечь нельзя — на запорожцев это не произвело бы ника-

кого впечатления. Поездку в Сечь нужно обставить так, как будто он, Булавин, является посланцем всего войска Донского.

Он начал подбирать людей в «посольство». Подьячий Тит Чекин был назван писарем, Тимофей Щербак, старожилый казак Донецкого городка, — есаулом; Семен Драный, Никита Голый, Иван Павлов и Иван Лоскут — полковниками и старшинами; остальные — рядовыми казаками.

Учел Кондрат и религиозность запорожцев, и их любовь к веселью, а поэтому брал с собой еще попа Питирима и домрачея — деда Остапа.

Булавин выстроил свое «посольство» и мрачно оглядел его. Вид был неказистый. Все эти люди, которые должны были представлять в Запорожье посольство донского казачества, скорее походили на придорожных бродяг, чем на посланников.

Мишка Сазонов, который также был отобран в «посольство», весело глянув на своих ободранных и обтрепанных товарищей, расхохотался:

— Ну и послы! Погонят нас запорожцы в шею из Сечи. Истинный господь, погонят.

Кондрат с огорчением согласился с Мишкой — в самом деле, являться с таким «посольством» в Сечь невозможно. На поне Питириме, вместо рясы, свисали лохмотья; прожженные дыры на подьяческом кафтане явно намекали на то, что «войсковому писарю» не раз приходилось в студеные ночи греть свое немощное тело у пламени костров; одеяние старого домрачея тоже никак не показывало, что он был в почете у войска Донского, да и «старшины и полковники» не блистали нарядной одеждой. Но главное — не у всех были кони.

Кондрат собрал всех обитателей Волчьей балки в круг.

— Атаманы-молодцы,— сказал он,— кто хочет погулять со мной по чисту полю, нарядно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить?

Толпа единодушно откликнулась:

— Все!.. Все, атаман!.. Все, батько!..

— Добре, атаманы-молодцы! — сказал Кондрат. — Все вы будете красно ходить, все будет сладко пить и есть, у всех будут добрые кони. В том порука моя голова! Верите ли мне, браты?

— Верим, атаман!.. Верим, батько!..

— А коль верите, то послухайте меня: зараз мы едем за пороги войско Запорожское приворачивать. И пойдем мы с тем войском добывать себе хорошую жизнь... И добудем ее, браты! — воскликнул Кондрат взволнованно.— Добудем, клянусь вам, браты! А ежели я брешу,— вдруг выхватил он из ножен саблю и потряс ею над головой,— то отсеките мне голову этой саблей... Отсеките!..

Взволнованная речь Кондрата подействовала на толпу.

— Верим, атаман! Верим!

— Надобно нам, браты, зараз одеть послов в новые кафтаны да конями снабдить,— продолжал Кондрат.— Нельзя нам, послам донских казаков, перед запорожцами нищими показываться... Давайте, что у кого есть. Кто что даст, тому в три раза больше возвернется.

Кондрат знал, что в саквах у казаков, особенно старожилых, кое-что найдется.

— Дадим, атаман!.. Дадим!..

К Кондрату подвели добрых лошадей. Нашлись новые кафтаны, дорогое оружие.

— Писарь,— сказал Кондрат подьячему Чекину,— запиши все, что у кого берем.

— Запишу, атаман,— ответил тот.

— А грамотка-то да чернила есть? — спросил Кондрат, не надеясь, чтобы все это было у подьячего.

— Найдется, атаман.

Уж с чем, с чем, а с пером да ваппицей * Тит Чекин никогда не расставался. Это было его «оружие» и средство к существованию. Нашлась и бумага. Сняв с шеи ваппицу, писарь переписал позаимствованные у казаков вещи и лошадей.

Оделись «посланники» в новые кафтаны, украсились дорогим оружием — и не узнать их. Настоящие послы, хоть представляйся самому турецкому султану.

Мишка Сазонов, примеряя атласный татарский канареечатый халат, ухмылялся:

— С миру по питке — голому рубашка.

Приоделся и поп Питирим. Привезенная Кондратом ряса была сшита как будто на него. Когда поп отмыл у ручья лицо, расчесал широкую сивую бороду, надел рясу и скуфью, Кондрат удовлетворенно улыбнулся. Перед ним стоял осанистый, почтенного вида поп, коему впору бы служить обедню в самом Черкасском соборе.

Назначив бахмутского солевара Сергея Беспалова полковником над остающимися в балке казаками, Булавин со своими спутниками тронулся в путь.

«Послы» добрались до Днепра, прибыли в Кодак, небольшую крепостцу, построенную еще в 1630 году поляками. Теперь крепость принадлежала запорожцам. Здесь было преддверие Сечи. За несколько десятков верст отсюда, за Кичкасом, у устья Чертомлыка, правого притока Днепра, ниже порогов, находилась и сама Сечь.

Караульные запорожцы долго не открывали ворот крепости. Путников бил колючий, злой дождь. Казаки, хотя на них были накинуты толстые шерстяные епанчи, промокли насквозь и дрожали от холода.

— Кто такие? — крикнули с башенки.

Булавин объяснил:

— Послы войска Донского.

Запорожцы посовещались между собой, а потом снова прокричали:

— А чего надобно?

И опять Кондрат объяснил, что они-де, посланники войска Донского, едут с войсковой грамотой к кошевому. Потом снова на башенке, по-видимому, обсуждали, что делать. А дождь лил все злей. Лошади, понурив головы, дрожали, казаки ругались. Запорожцы долго не показывались.

— Эй! — закричал Кондрат.— Кто там?

Из башенного оконца выглянула усатая голова запорожца в бараньей шапке.

— Чего?

— Скоро, что ль, откроете ворота? Видишь, дождь какой.

— А кто вы такие?

— Тьфу! — зло плюнул Кондрат, потеряв всякую надежду добиться толку.

Дед Остап, не вытерпев, выступил вперед, взмолился:

— Сыпку, чертяка тебя рогатый родил, ведьмячка твоя мать, що ж ты нас мучаешь? Ай у тебя, леший твой дядька, креста нема? Бач, який дощ иде. Я такий же запорожец, як и ты. Видчиняй ворота, а то я тебе, чертячий ты пасынок, таку взбучку закачу, як войду в крепость, що ты до самой своей смерти помнить будешь.

Угроза деда Остапа, видно, подействовала на запорожца.

— Зараз пиду к лиментарю * Сметане! — крикнул он.

— О, бисов сын,— выругался дед Остап,— щоб ты утоп в той сметане!

Наконец, через добрых полчаса, ворота, завизжав на ржавых петлях, распахнулись.

Запорожец, закрывая ворота, указал на беленький нарядный домик:

— Вон там живе лиментарь.

Вымокшие всадники подъехали к полковницкому домику. Кондрат, соскочив с лошади, вошел в хату.

— Во имя отца и сына...— сказал Кондрат, войдя в чистую комнату.

— Аминь! — ответил тонкий, словно бабий, голос.

В переднем углу под образами сидел тучный, расплывшийся от жиру запорожец с торчащими по сторонам, как у таракана, длинными усами. Выбритая голова его лоснилась от пота. На ухо с серьгой свисал влажный оселедец *.

— Здоров был, пан полковник,— приветствовал его Кондрат.

— Здоров был и ты,— писклявo ответил Сметана.— Чей будешь, видкиля бог послал?

— С тихого Дона, пан полковник, — ответил Кондрат.— Кондратий Булавин.

У полковника весело блеснули глазки.

— Га!.. Булава!..— заколыхав жирным животом, засмеялся он. — Як же, слыхал, слыхал о тебе... Ты ж, бисов сыну, ловко там, под Бахмутом, бил изюмских черкасов... Ха-ха... — звонко, придерживая колышущийся живот, захохотал он. — Сидай, Булава. Горилки хочешь?

Кондрат попросил сначала разместить приехавших с ним казаков.

— Оце ты правду кажеш, Булава,— согласился Сметана.— Зараз определимо. Грицько! — позвал он.

Из горенки, сладко позевывая, вышел черноусый запорожец в белой, расшитой разноцветными нитками, рубашке и в широченных алых шароварах дорогого сукна сильно уже испачканных.

— Грицько,— сказал ему Сметана,— пиды, хлопче, сховай козакив вид дощу...

Грицько сделал недовольную мину, глянул в окно.

— Та ну их к бису, — сказал он хмуро. — Глянь, який дощ иде.

— Пиды, пиды, Грицько,— сказал полковник.— Вси ж воны люди. Сховаешь их, прийдешь — горилки дам. Ий-богу, дам.

Лицо у запорожца повеселело.

— Ну, пиду.

Он накинул на широкие плечи жупан и вышел.

Булавин хотел было идти вслед за ним, но Сметана его остановил.

— Не ходи, Булава. Воны без тебя управятся... Сидай. Мати! — тонкоголосо закричал он.— Давай сюды горилки!

Из горенки вышла древняя старуха, подала на стол горилку, закуску.

Сидя со Сметаной за горилкой, Булавин рассказал ему о цели своего приезда в Сечь.

— Оце добре, Булава, — сказал на это Сметана. — Дуже добре. Наши братья запорожцы дуже заскучали без дила... Тильки о том надобно пану кошевому отаману вистку подать. Хай вин созове раду. А ты поки що живи тут.

На следующий день полковник Сметана послал гонца с письмом в Сечь к кошевому Тимофею Финенко, извещая его, что в Кодаке находится посольство войска Донского, которое просит разрешения приехать в Сечь.

Гонец вернулся с ответом на второй день к вечеру. Кошевой приглашал Булавина с его спутниками прибыть к нему на остров.

На следующий день Кондрат со своим «посольством», в сопровождении запорожцев, тронулся в путь. Погода установилась теплая. Голубой день был наполнен солнечным сиянием. От влажной земли поднимался дымок пара.

За крепостью засверкала широкая светлая полоса.

— Оце Днипро! — указал на нее плетью запорожец.

— О моя ридна Вкраина! — взволнованно крикнул дед Остап.

Хлестнув плетью коня, он стремительно помчался к реке и скоро скрылся из виду.

Когда казаки подъехали к Днепру, дед Остап стоял на крутояре, восхищенно смотрел на реку, величествен-

по проносившую мимо свои сиявшие на солнце воды. По морщинистым щекам старика текли слезы.

Подъехал отставший поп Питирим.

— Господи Исусе Христе,— еще издали закрестился он.— Благодарю тебя, пресвятого создателя, что удостоил меня, раба твоего... Атаманы-молодцы! — воскликнул он торжественно.— Ведь это ж святая река! В ней князь Володимир в древние века святую Русь крестил, в православие от язычества ввел... Во имя отца и сына... креститесь!

Поскидав шапки, казаки закрестились, благоговейно смотря на серые воды Днепра.

Отдохнувшие лошади шли бойко, чавкая копытами по грязи. Булавин ехал молчаливый, задумчивый. Он думал о том, как примет его кошевой и будет ли его поездка успешной. Ведь от этой поездки зависит все. Если будут плохие результаты, тогда... Впрочем, Кондрат старался гнать прочь мрачные мысли, он верил в успех.

К вечеру похолодало. Лошади застучали копытами по затвердевшей корке грязи, тронутой легким морозцем.

На следующий день, пробираясь берегом Днепра, всадники увидели в белесоватом мареве зимнего утра какие-то смутные очертания на реке. Дед Остап поравнялся с Кондратием.

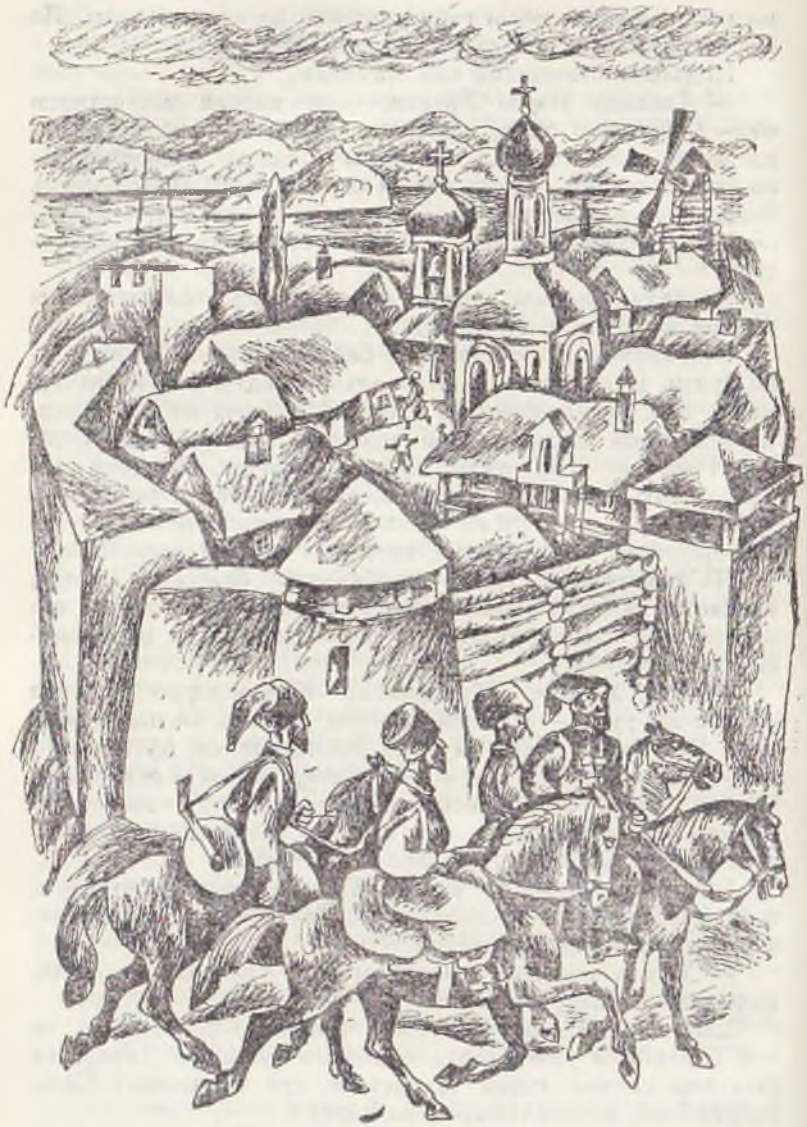
— Ось, дывысь, Кондратий,— возбужденно схватил он его за руку.— Бачишь посеред Днипра большой остров? Що таке? А-а? — лукаво посмотрел он на Булавина. — Не ведаешь?.. Так я тебе скажу: оце ж и есть Сич!.. Чуешь, сыну? Сич! — вскрикнул он с таким воодушевлением, словно ожидал, что это его открытие повергнет всех в величайшее изумление и восторг.

Он торжествующим взглядом оглянул своих товарищей и, видя, что его слова на них не произвели ожидаемого впечатления, загрустил.

— Там я молодым парубком був,— сказал он тихо, вздыхая,— козаковал.

...Нынешний год зима была теплая. Несмотря на то что наступила уже вторая половина декабря, Днепр не был еще скован льдом. На остров, где находилась Сечь, нужно было переправляться на пароме.

Остров был расположен на середине Днепра, чуть ниже реки Чертомлыка, окруженный, как стражами, со всех сторон множеством мелких островков, грозно ощетинив-



нихся острыми скалами, словно пиками. Этих выступавших из воды островков было так много, что сосчитать их затруднялись.

Они были надежной защитой запорожцев от нападения татар и турок. Преследуя однажды запорожцев, возвращающихся с набега, турецкие галеры проникли до самой Скорбницы (так назывались запорожцами все эти островки), но запутались в лабиринте их и были перебиты казаками.

На большом острове был устроен городок в девятьсот саженей в окружности, обнесенный земляным валом саженей шесть в высоту. С западной стороны вала, наиболее опасной, были набиты пади и устроены бойницы, с восточной — сделаны конн, наполненные землей, с южной — возвышалась башня, около нее бойница и восемь пролазов, таких узких, что можно было пройти только одному человеку с лошадью.

В городке находилось тридцать восемь куреней и церковь. Курени представляли собой большие хаты с нарами у стен, вмещавшие до полутораста человек каждая. Близ куреней стояли амбары, куда складывалось добро казаков, считавшееся достоянием всего куреня.

Когда паром подплыл к острову, булавинцы услышали невнятный шум, сквозь который прорывались обрывки песен и музыки. Где-то стреляли. Кто-то дико орал, как будто с него сдирали кожу... На острове, казалось, была шумная ярмарка.

Как только паром причалил и Булавин со своими казаками сошел на берег, их окружила толпа торговцев. Они набросились, как стая голодных псов. Под нос казакам совали кремни, кресала, табак, трубки, дорогие женские украшения, оружие в позолоченной и серебряной оправе.

Торговцы в крепость не допускались. Они жили и торговали за стенами городка.

Поп Питирим досадливо отмахивался от приставшего к нему армянина:

— Уйди!.. Уйди, нечистая сила!..

Но армянин прилип к нему, как муха к меду.

— Купы, батька, люльку. Купы... У самого котового тож така с... А вот тютюн. Паховитый, ай, какой паховитый!.. Аж из самого Крыма. Купы, батька...

— Да сгинь же ты с моих очей, исчадье ада! — загре-

мол вдруг выведенный из терпения, рассвирепевший поп, взмахивая плетью. — Сгинь! Пропади!..

Испуганный армянин попятился в толпу и исчез.

Торговцы сопровождали казаков до самого городка, на разные лады расхваливая свои товары.

Весь городок был в необычайном движении, словно это был огромный котел с варящейся кашей. Слышались бойкий струнный перебор кобз, вой дудок, гром литавр и бубен. Танцоры лихо отплясывали, стуча каблуками.

Где-то под звон кобзы пьяный голос, пытался подпевать:

Ой, у лузи та ще й пры берези
Червона калына,
Породыла та й вдовонька
Хорошего сына...

В другом месте хором пели грустную казачью песню. Молодой сочный голос запевал:

Ой, полеты, галко, полеты, чорна,
Та й на Сич рыбы исты,
Ой, принесы, галко, ой, принесы, чорна,
Вид кошового висти!..

Хор подхватывал:

Ой, та вже ж галци, ой, та вже ж чорний
Та на Сич не литаты,
Ой, та вже ж галци, ой, та вже ж чорний
Вистей не слыхаты!..

Дед Остап восторженно оглядывался.

— Ой же и гарно в Сичи живут! — восхищенно воскликнул он. — Дуже гарно!

Обращаясь к Булавину, он махнул вокруг себя рукой, с гордостью сказал:

— Сынку, оце ж уси запорожцы!.. О господи, благодарю тебя, создатель, що привел меня перед смертью побачить ще раз ридну Сич!.. Кондратий, не можно мне того казать, як мое сердце радуется! Оце ж я туточки був, молодость моя прошла тут...

Старик отирал градом лившиеся у него из глаз слезы.

Провожатые указали на просторный курень кошевого. Булавин с беспокойно забившимся сердцем направился к нему.

ГЛАВА VIII

Довбиш * неистово колотил палками по литаврам, подвешенным к столбу на площади, созывая казаков на раду.

Из куреней высыпали запорожцы. Собираясь кучами, они во главе с куренными атаманами шли на площадь.

Кондрат достал из саквы новый бархатный кафтан вишневого цвета, с серебряными шнурами, и надел его. Велел и своим казакам почиститься, принарядиться. Когда собралось достаточно народу, он во главе своего «посольства» пошел на площадь.

Запорожцы вначале недоуменными взглядами встретили незнакомых людей. А когда пригляделись, то оказалось, что прибывшие были многим знакомы и по совместным походам в Туретчину и Крым.

К Булавину и его товарищам подходили запорожцы — здоровались, расспрашивали о цели их приезда в Сечь. Вскоре вся рада уже знала, зачем приехали донские казаки.

Запорожцы мало чем отличались в одежде от донцов. Та же смесь турецкой, татарской и русской одежды. Видно, были у них одни и те же источники ее добывания.

Разбившись на группы, запорожцы горячо обсуждали цель приезда донского посольства. Площадь гудела от споров, брани, криков. Кое-где, под хохот толпы, запорожцы дрались, не сумев убедить друг друга словами. В дополнение ко всему довбиш, продолжая ожесточенно ударять в литавры, заполнял площадь назойливым дребезжащим гудом.

Показались войсковые старшины. Толпа притихла. Довбиш бросил наконец палки.

Впереди важно шествовал есаул с длинным жезлом, за ним шел кошевой атаман с булавой, а затем следовали судья с печатью и писарь с чернильницей и пером. Толпа перед начальством расступилась. Старшины прошли на середину рады и, поскидав шапки, стали кланяться на все стороны, взмахивая чубами.

Кошевой Тимофей Финенко, низкого роста, но плотный, крепко сбитый казак, с одутловатыми, словно краснобокие перезревшие яблоки, щеками, в богатом зеленом жупане дорогого сукна, внимательно оглянул притихших запорожцев, покрутил длинный ус и звонко крикнул:

— Панове козаченьки, послухайте мене... До нас приихали зараз посланцы вид козакив вийська Донського — отаман Кондратий Булавин з своими товаришами. Воны привезли до нас грамоту од вийска Донського. Хай зачитае ту цидулку писарь... А ну, пан писарь, читай!

Толстый писарь, с жирным рыхлым лицом, поклонился раде, не спеша достал из кармана письмо Зерщикова, писанное кошевому, важно откашлялся и загнусавил тепорком нараспев:

— «Его царского пресветлого величества обеих половин Днепра прехраброго и военного войска Запорожского кошевому атаману Тимофею Финенко и всему любительному общему братству, великому войску Запорожскому, его же царского пресветлого величества донские атаманы и казаки, наказный войсковой атаман Илья Григорьев Зерщиков и все войско Донское челом бьют.

В нынешнем тысяча семьсот седьмом году и допрежде присланы были к нам войску, в Черкасской, из посольского приказу о непринимании новопришлых с Руси людей. И его ж, великого государства, указу и по грамоте велено новопришлых с Руси всяких чинов людей с тысяча шестьсот девяносто пятого году выслать в Русь до прежнему в старые их места, откуда кто пришел. И пришел в октябре месяце к нам на Дон полковник Юрий Володимирович Долгорукий со товарищи, и они не одних пришлых с Руси людей, многое число и старожилых казаков, которые пришли лет по двадцати и больше, и тех всех неволею в Русь выслали, и в воду сажали, и по деревьям за ноги вешали, женска полу и детичья, также и младенцев меж колод давили и всякое ругательство над нашими женами и детьми чинили, и городки многие огнем выжгли, а пожитки наши себе поотбирали. А присланного его, великого государя, полковника князя Юрия Долгорукого убил не один Кондратий Булавин, с ведома с общего нашего со всех рек войскового совета, потому что он, князь, поступал и чинил розыск не по указу великого государя.

А ныне нам, войску Донскому, слышно чинится, что-де собранием государевы полки идут разорять наши казачьи городки. И мы всем войском Донским просим у вас, атаманов-молодцов, и тебя, кошевого атамана Тимофея Финенко, и у всего войска Запорожского милости, чтобы

ны дали нам вспоможение, чтоб нам стать вкупе, обще, а в разорение нам себя бы напрасно не дать.

Ежели государевы полки станут нас разорять, и мы им будем противиться, чтоб они нас вконец не разорили напрасно, так же б и вашему войску Запорожскому зла не учинили. Ожидаем к себе вашей общей казачьей единобратской любви и вспоможения, чтобы наши казачьи реки были по-прежнему и нам бы быть казаками, как было искони казачество, и между нами, казаками, единомысленное братство, и вы, атаманы-молодцы, всевеликое войско Запорожское, учините нашему походному атаману Кондратию Булавину вспоможение в скорых числах, чтоб нам обще с вами своей верной казачьей славы и храбрости не утратить. Также и мы вам в какое ваше случение рады с вами умирати заедино, чтоб наша слава казачья в посмех не была».

Толпа зашумела, послышались крики:

— Пидемо поможем!.. Гей, батько коповий, веды нас!..

Кошевой поднял булаву.

— Паны козаки, уси слухали грамоту Донського вийська чи ни?

— Уси, батьку!.. Уси!..

— Що, братове, будете казать на те?

Запорожцы закричали:

— Спочатку ты кажи, батьку!.. Кажи!..

Но кое-кто продолжал настойчиво выкрикивать:

— Пидемо, братове!.. Пидемо поможем!..

Большинство же требовало, чтобы вначале высказал свое мнение сам кошевой.

Кошевой долго прислушивался к крикам, внимательно смотрел на кричавших запорожцев, как бы изучая их настроение, потом поднял булаву. Толпа сразу же смолкла.

— А ось и скажу, братове... Ось зараз мы слухали тут цидулку донських козакив. Може, и правду люди кажуть, а може, и брешуть...

Кондрата передернуло. «Ах ты перевертень собачий, — подумал он гневно, — вчера ты мне не то говорил».

Вчера вечером кошевой, когда Кондрат рассказал ему о цели своего приезда в Сечь, заверял в своей любви к братьям — донским казакам, очень огорчался, что их постигло такое несчастье, и обещал оказать помощь в вербовке запорожцев. А сейчас Кондрат с первых же его слов

понял, что он будет говорить не в его пользу, и опасения эти сбылись.

Кошевой, избегая взгляда Кондрата, продолжал:

— Як що и правда, то це дило до нас не касаемо... Нас, слава тоби, господи, — перекрестился кошевой, — нихто не трогае... Хай воны, паны козаки, там сами разбираються. Чужый дом — темна крыша... Бить басурманив — татар та турчан — оце дило наше. А на москалив мы не пидем. Ни, братове, не пидем.

Распаленный словами кошевого, Кондрат рванулся на середину рады.

— Атаманы-молодцы! — гневно крикнул он. — Браты!.. Мы, донские казаки, всегда с вами жили братской любовью. Всегда друг дружке помощь оказывали. Не раз вместе в походах бывали, кровь проливали... Правда ай нет? — обвел он горящим взглядом запорожцев.

— Правда!.. Правда!.. — прокатилось по раде.

— А ежели правда, то как же нам теперь жить? Вот разразилась над нашей головой беда, а кошевой ваш не хочет нам помощь оказать. Разве ж это по-братски? Он говорит, что не хочет идти на москалей. Да ведь мы ж не на москалей идем, а на злых бояр, собак-немцев да прибыльщиков, кои в разор нас всех привели. Они, злые собаки, наши городки жгут, наших братьев не за что страшной казнью казнят, пытают, носы, губы режут, кнутом бьют... Наших жен и дочерей берут на постель, сильничают и всякое надругательство учиняют. Младенчиков на деревья за ноги вешают... Семка, подь сюда! — весь вздрагивая от волнения, позвал он Куницына и, когда тот подошел к нему, сорвал повязку с его лица. — Вот глядите, браты, что они с ним сделали! А ведь он природный казак, старожилый! Кошевой сказал тут, что, может, мы брешем... А ну, поп, пойди сюда! — позвал он Питирима. — Поклянись им перед истинным господом богом, брешем мы ай нет...

Поп Питирим при общем настороженном молчании запорожцев поклялся:

— Во имя отца и сына и святого духа, — загудел его мощный бас по площади. — Ежели мы тут хоть одно слово брешем, так пусть нас всевышний создатель покарает своей десницей. Пусть мы сейчас на этом самом месте провалимся в преисподнюю, на рога к самому главнейшему сатане...

— Слыхали, браты? — тяжелым взглядом обвел Кондрат толпу. — А теперь решайте, идти нам на помощь али нет. Ежели нет охоты помочь нам, то и не надобно. Значит, такая уж жизнь у нас с вами пойдет. Ежели у вас тож какая беда приключится, то мы тож вам помощи не дадим. А беда у вас неминуемо приключится, потому как с нами бояре рáсправу учинят, то на вас пойдут. Вот тебе господь, пойдут. Видно, вам, браты, не надоели еще паны да рендари, кои пьют кровушку, душат ваших братьев украинцев.

Горячая речь Кондрата и клятва попа Питирима произвели глубокое впечатление на запорожцев. Они заволновались.

— Пидемо, братове!.. Пидемо!.. Поможем нашим братам — донским козакам!.. Пидемо бить панив да рендарив!.. Веди нас, батько кошовий!

До поздней ночи бурно бушевала и волновалась Сечь. Почти все рядовые казаки, особенно голытьба, были за то, чтобы немедленно выступить с Булавиным. Но кошевой, старшины, куренные атаманы и некоторые добрые казаки были против. Они приводили всяческие доводы. В такую-де теплую зиму, когда не замерзли Днепр и другие реки, выступать немыслимо. Не было, дескать, посуды для переправы, а вплавь простудишь и людей и лошадей. А к тому же сейчас в Москве находились сечевые казаки, посланные за жалованьем, — узнав о выступлении запорожцев, Москва задержит их.

Не договорившись ни до чего, рада выбрала несколько десятков старых казаков и поручила им вместе с кошевым, старшиной и куренными атаманами обсудить это дело.

Кондрат был огорчен таким уклончивым и неопределенным решением рады. Он был убежден, что дело его теперь проиграно — запорожцев ему в поход не поднять.

И действительно, совет старых казаков совместно с войсковой старшúной дал Булавину туманный ответ. Кондрату предложили ехать в Кодак и ждать там весны. Весной-де не опасно будет запорожцам переходить вплавь реки. К тому времени авось и казаки прибудут с жалованьем из Москвы...

Делать было нечего. Кондрат решил ехать в Кодак и ждать там весны.

Вечером накануне отъезда Кондрата в Кодак к нему пришли куренные атаманы: высокий и стройный, смугло-

среди зверей, не видя людей, не слыша живого человеческого слова. Отец был человек мрачный, замкнутый, он неделями мог не разговаривать с дочерью. И Ольга была предоставлена самой себе, своим думам, своей безысходной тоске.

Единственный раз за всю свою жизнь в лесу она увидела чернобрового казака, который пожалел ее, приласкал. С тех пор, как встретила его Ольга, жизнь ее стала неспокойна. Образ его, как видение, всюду преследует ее.

Сегодня Ольга обошла капканы. На редкость была богатая добыча. Радостная от удачной охоты, она брела домой, неся на спине двух лис и четырех зайцев. Все лесные тропки занесло, и она с трудом вытаскивала из глубокого снега ноги в валенках.

До дому уже недалеко. Ольга ускорила шаг. Хотелось быстрее добраться до теплой избы, отдохнуть, поесть вкусной каши.

Обойти только эти вот мятежно разметавшиеся густые заросли бузины, запорошенные обильным снегом, а там и родная избушка. Ольга обошла кустарники и вдруг за поворотом, почти нос с носом, столкнулась с огромным бурым медведем. От неожиданности и испуга она выронила из рук лис и зайцев. Медведь не менее ее был ошеломлен этой неожиданной встречей. От страха он даже тихонько взвыл и присел на задние лапы. Мгновение они напряженно глядели друг на друга, потом у медведя злобно засверкали маленькие черные глазки, он тяжело приподнялся на задние лапы и, взмахивая передними, пошел на Ольгу.

У Ольги никакого оружия не было, кроме маленького топорика, которым она добивала попавшихся в капкан лис и зайцев. Она выхватила его из-за пояса и, когда медведь, оскалив зубы, с гневным рычанием ринулся на нее, с размаху ударила топориком по голове медведя. Она почувствовала жаркое дыхание зверя, мохнатая туша навалилась на нее. Ольга вскрикнула и, падая, потеряла сознание...

Ее отец в это время был дома. Услышав рев медведя и полный ужаса крик дочери, он схватил рогатину и кинулся на помощь.

Раненый медведь грозно ревел и мял его дочь. Старик добил медведя и с содрогающимся сердцем опустился на колени перед неподвижным телом Ольги.

— Доченька моя родная!.. Ольгушка!.. — плача, рвал он свои седые волосы, в первый раз в жизни называя так ласково дочь. — Голубица, на кого ж ты меня, сироту горемычного, оставляешь?.. Очнись, родимая!.. Очнись!..

Ольга открыла глаза, мутно посмотрела на отца и тоскливо прошептала:

— Кондратий!.. Любый мой!..

Так в беспамятстве она открыла свою тайну отцу. Старик удивился, услышав из ее уст чужое, незнакомое имя. Но он не стал допытываться, кого она так называла. Бережно поднял он ее на руки и отнес в свою лесную избушку.

ГЛАВА X

Лукьян Хохлач приютил у себя в курене Григория с Галей и Никитой. Гришка и Галя жили, как в сказке. Они существовали только друг для друга, не замечая никого и ничего, кроме самих себя. Все им казалось прекрасным, и они не видели той страшной суровой нужды и нищеты, в которой жили сами и все вокруг них.

Гришке хотелось скорее повенчаться с Галей. Ведь это так просто: пойти с Галей на казачий круг, поклониться казакам и попросить их утвердить брак. Он сказал об этом Гале, но она боялась сделать это без согласия отца. Вот уж приедет он из-за порогов, тогда... И оба они, и Гришка и Галя, как дети, радуясь и мечтая, нетерпеливо ждали весны.

Восстание в Пристанском городке принимало широкие размеры. Тихий казачий городок казался теперь шумным военным лагерем. Сюда отовсюду стекались толпы народа — приходили крестьяне, бежавшие от помещиков, работные люди, бросившие изнурительную разработку леса, солдаты, раскольники и всякие другие люди, обиженные и обездоленные.

Все они рассказывали, что и в Придонье и в Слободской Украине неспокойно, там широко ведомо имя Булавина и все ждут, когда он подаст весть к выступлению, — и тогда заколыхается, забурлит матушка-Русь во всеобщем мужицком мятеже...

Лукьян Хохлач понимал, что пришло время действовать, иначе волна крестьянского возбуждения может спасть.

Он собрал старшин и сказал:

— Дело, браты, обернулось так, что надобно послать за Кондратием. Не то он приворотит там запорожцев, не то нет, а мы тут можем упустить время. Народ же заколыхался... Его только толкни — он пойдет, горы своротит. А ежели притихнет, то и рожном с печи не сгонишь. Надобно ехать за Кондратием.

Все присутствовавшие на совете старшины согласились с доводами Лукьяна — Кондрат был нужен сейчас здесь.

— Тебе, Гришка, надобно ехать за ним, — сказал Хохлач Григорию. — Бери казаков и езжай. Более некому, потому как ты наиперевейший его помощник.

Гришке очень не хотелось покидать Галю, но разве он мог отказаться от поездки? Ведь от этой поездки зависит многое, а притом она была кстати. Путь в Сечь лежал через Новый Айдар, там можно будет узнать о судьбе своей семьи, а также о Наталье Булавиной. Может быть, даже представится возможность помочь им.

Галя, прощаясь со своим возлюбленным, как бы опасаясь, что видит Григория в последний раз, никак не хотела отпустить его от себя.

— Не пущу я тебя, Гришенька, — рыдала она. — Не пущу!.. Ох, знаю, знаю я, что по увижу больше тебя. Ой, не езди, Гришенька, не езди, мой любый... Не оставляй меня тут сиротинкой. Ни отца, ни матери у меня тут нет... Все здесь чужие.

Гришка даже прослезился от жалости к своей любимой. Не хотелось ему огорчать ее, но что он мог поделать? Долг прежде всего. Он — казак. Не поехать он не может: позор на всю жизнь.

— Галечка, моя медовучая, — горячо целовал он ее, — так я ж скоро вернусь, моя голубочка... Батька твоего приведу, да тогда и повенчаемся с тобой... Может, мать твою где разыщу.

В курень, воинственно гремя саблей, подаренной Хохлачом, вошел Никита.

— Никишка, — сказал Григорий мальчугану, — приглядывай тут за Галей, никому в обиду не давай.

— Ладно, — важно согласился Никита, польщенный таким поручением. — Ты, дядя Гриша, не бойсь. В случае чего я их, — вытащил он саблю из ножен и грозно потряс ею, — всех порубаю.

Никита за последнее время заметно повзрослел. Ему исполнилось шестнадцать лет, он вытянулся, похудел, считал себя совсем взрослым. Ходил он теперь с саблей, привешенной к поясу, и все его мысли и желания были направлены к тому, как бы раздобыть пистоль и копя. И верилось ему, что все это у него будет, как только приедет отец из Запорожья.

Когда Гришка с сорока казаками, отобранными им для поездки в Сечь, готовился тронуться в путь, Хохлач вынес из становой избы кумачовый хорунок.

— На, Гришка, — сказал он, передавая хоругвь Григорию. — Отдай Кондратию Булавину, пусть он под этим хорунком ведет сюда большое войско...

Гришка поклялся:

— Вот истинный господь, Лунька, приведем войско. В том не сумлевайся... Не таковский Кондратий, чтобы вернуться с пустыми руками.

Путь лежал вниз по Хопру до Донецкого городка, с Донецкого па Шульгин и через Новый Айдар и Бахмут до Кодака.

Куда бы ни заезжал Гришка в верховые городки, он всюду видел возбуждение казаков. Все они знали, что Булавин находится сейчас в Сечи, и готовились к весне.

— Кличь его скорей оттуда, — говорили они Григорию. — Все мы, как один, поднимемся...

В Новом Айдаре Григорий увидел грустную картину: вместо веселых куреней, опушенных кудрявой зеленью деревьев, стояли обугленные развалины. От родного куреня остался один пепел. Городок был мертв, ни единой души в нем не было. Лишь кое-где бродили одичавшие, тощие, голодные собаки.

Григорий решил съездить в Ореховый буерак. Может, там остались какие-нибудь следы исчезнувших родных и Натальи. Он велел отряду продолжать путь, а сам, взяв с собой казака, свернул в Ореховый. Это было не так далеко.

Но и в Ореховом, как всюду в этой местности, он увидел лишь пустынные развалины. Все было сожжено и разрушено. Григорий вздохнул и сказал казаку:

— Что ж, брат, видно, пропала моя семья... Поедем догонять своих.

Они помчались, держа за повод заводных лошадей. Ехали они уже долго, но нагнать отряд не могли. Гри-

горий подумал, что, видимо, они поехали не той дорогой, и хотел было возвращаться, чтобы поискать верную дорогу, но его спутник, указав на пригорок, сказал:

— Глянь, вон и наши!

Вдалеке маячили всадники.

Григорий хлестнул плетью аргамака и помчался к ним. Его товарищ, уронив повод запасной лошади, отстал.

Подъехав уже совсем близко к всадникам, Григорий вдруг с силой натянул поводья. Аргамак, жалобно заржав от неожиданности и боли, взвился на дыбы.

— Эй! — замахали с пригорка шапками. — Езжай сюда!.. Езжа-ай!

Григорий, крутнув лошадь, стремительно помчался назад. Сердце его учащенно забилось, когда услышал, как сзади защелкали выстрелы. Григорий почувствовал, что всадники эти были враги.

Его спутник казак, еще издали заметив погоню за Гришкой, вскочил на лошадь и скрылся в лесу.

Григорий бешено мчался вперед, мчался долго, стегая плетью покрывшегося пеной и дрожащего от устали аргамака, но дробный перестук копыт, раздававшийся за ним, не отставал, погоня не прекращалась. Гришка на полном скаку перепрыгнул с уставшего аргамака на запасную лошадь. Аргамак сейчас же приученно перебежал на правую сторону и, не отставая, поскакал рядом.

Казаки в дальние поездки всегда брали с собой заводных лошадей. Во время опасности они, несясь во весь опор, пересаживали с усталого коня на запасного и избегали преследования.

Григорию показалось, будто стук копыт по мерзлой земле отдалился. Он оглянулся и убедился, что преследователи действительно отстали. Он облегченно вздохнул, считая себя уже в безопасности. Но неожиданно его лошадь споткнулась и грохнулась на землю. Гришка кубарем перелетел через ее голову. Вскочив, он бросился было к лошади, но тотчас же со стоном присел: он вывихнул ногу. Превозмогая боль, он все же дотащился до смирно стоявшего аргамака и попытался влезть на него. Но перекинуть в седло больную ногу никак не мог. Пока он возился у лошади, настигли преследователи. Это были домовитые казаки из Черкасска. Со злобной радостью окружили они Гришку, вправили ему ногу, усадили на аргамака и, крепко связав, повезли.

— Эх, прости-прощай ты, тихий Дон Иванович! — тоскливо закричал Григорий. — Теперь мне по тебе не ездити, дикого зверя не стрелявати, вкусной рыбы не лавливати... Прощай, волюшка казачья!..

У него навернулись на глазах слезинки, он вспомнил о любимой девушке и тихо, про себя, прошептал:

— Прощай, Галечка!.. Прощай, моя медовучая голубочка!..

ГЛАВА XI

Около месяца уже жил Кондрат в Кодаке, но пока ничего не добился. Правда, к нему пришло с сотню самых отчаянных, забурунных запорожцев, готовых пойти за ним хоть к самому сатане в пекло. Но разве это могло его удовлетворить? Он мечтал о многотысячном сильном войске.

Раза два за это время к нему приезжали Костя Гордеенко и Калин Щука. Но оба они ничего определенного не обещали, просили ждать весны. Весной-де легче уговорить запорожцев.

И Булавин покорно ждал.

Но вот неожиданно в Кодак приехали пристанские казаки, посланные Хохлачом. Они вручили Кондрату кумачовый хорунок и передали просьбу Хохлача, чтобы он быстрее ехал в Пристанский городок.

События, происшедшие в эти дни в верховых городках Дона, в Придонье и Слободской Украине, взволновали Булавина. Обо всем этом он узнал только сейчас — от прибывших. Он понял, что надо было немедленно действовать.

Узнав о поимке своего друга, Григория Банникова, Кондрат был потрясен. А тут он еще получил печальное известие о том, что его жена Наталья заточена в Белгородскую тюрьму.

На другой день Булавин в сопровождении пристанских казаков поехал в Сечь. Он решил еще раз поговорить с радой, выяснить окончательно, дадут ему запорожцев или нет.

Кошевой Финенко принял Кондрата с нескрываемым неудовольствием. Созвать раду наотрез отказался. Калин Щука, узнав об этом, ринулся на площадь, забил в литавры.

Когда запорожцы заполнили площадь, вынужден был прийти туда и кошевой. Был он распаленный, гневный.

— Ясновельможные паны козаки! — в ярости закричал он. — Хто це такий заводыть мнж нас, запорожцив, смуту, а?.. Що це таке робиться, а-а?.. — И вдруг, указывая своим коротким пухлым пальцем на Булавина, гневно загремел: — Оце вин, вражий сын, приблукав до нас та заводыть смуту! Що тоби потрибно, вор?! Що ты издпш до нас та замануеш тут наших козакив, а? Хватайте його, братове, закуйте в кайданы *... Видвезем його, вора и смутьяницика, до Москвы...

Поднялся невообразимый шум, гвалт. Рада разгневанно забушевала, потрясая кулаками.

— Кладн палицу, вражий сын!..

— Геть, Финенко!.. Геть!..

— Не гож кошовий!..

— Геть звидциля, бисова дупа!..

Кошевой побледнел, понял, что сделал непростительную оплошность, приказав схватить Булавина. Он нарушил древний обычай Сечи — не выдавать никого, кроме воров в прямом смысле этого слова.

Не могла потерпеть казачья рада такие слова из уст самого кошевого атамана.

— Геть, вражина!... Геть!..

— Кладн булаву!..

Кошевой, вздрагивающий от волнения, пытался что-то говорить, но на него так заорали и замахали кулаками запорожцы, что он счел благоразумным замолчать. Зная, что в подобных случаях рада может избить кошевого до смерти, как и бывало иногда, он молча поклонился, положил булаву на землю и ушел.

В это суровое время Запорожская Сечь, выдвигая своего избранника кошевым, вверяла ему право распоряжаться сечевиками, как он хотел, и беспрекословно подчинялась ему. Кошевой в военное время волен был за малейшее ослушание казнить смертью провинившегося. И это не вызвало бы ни у кого нарекания и осуждения. Но если казацкая рада видела непростительную оплошность своего кошевого, уличала его в чем-либо, то она его не миловала.

Как только Финенко ушел с казачьей рады, сейчас же начались выборы нового кошевого атамана. Рада закри-

чала, называя ловкого, умевшего ладить с казаками Костю Гордеенко.

— Константина!..

— Гордеенко кошевым!

— Костю!.. Костю Гордеенко!..

Гордеенко стремился к власти, однако сейчас избрания не хотел. Он понимал, что попадет в трудное и опасное положение. Но разве он мог отказаться? Ему было хорошо известно: если избираемый неохотно соглашается принять булаву, отговариваясь неспособностью, неопытностью или дряхлостью, то казаки ему отвечают, что действительно он недостоин чести быть казацким предводителем, и нередко убивают его, как изменника. Пришлось Гордеенко взять булаву кошевого.

Кондрат Булавин несказанно обрадовался этому. Гордеенко был его сторонником, и Кондрат надеялся, что тот приложит теперь все усилия, чтобы побудить Сечь к выступлению.

Но когда Кондрат произнес горячую, взволнованную речь, рассказав запорожцам, что сейчас делается на Дону, в Придонье и в Слободской Украине, и стал просить их выступить с ним против бояр, прибыльщиков, попов и арендаторов, — Костя, к его изумлению, повел себя уклончиво.

Он начал путано говорить о том, что донские-де казаки, хотя и братья запорожцев, что Дону хотя и нужно помочь, но сейчас, мол, Сечи выступить рискованно. Нужно ждать весны. Гордеенко продолжал линию старого кошевого. Но что особенно раздосадовало Кондрата, — Гордеенко стал настаивать на том, чтоб Булавин сначала поднял в поход Белгородскую орду, ногайцев, черкесов и калмыков.

Возмущенный речью своего друга, Калин Щука зло плюнул.

— Тьфу, дьявольский сын!.. Що вин каже? Чи мои ухи не то слухают, чи у него язык не то балакае?

Гордеенко услышал брань Щуки. Несколько смутившись, он добавил:

— Но кто охоч идти зараз с Булавой, того я не держу. Не возбраняю...

Возмущенный поведением Кости Гордеенко, не попрощавшись с ним, Кондрат уехал из Сечи. С ним отправилось с полтысячи запорожцев, в том числе Калин

Щука со всем своим курепем. Не заезжая в Кодак, Кондрат поехал в урочище на Вороной, что было верстах в двадцати от крепостцы Новобогородицкой, и расположился там лагерем.

Сюда к нему стали стекаться со всех сторон охотные люди *. Среди других пришел отряд бахмутских солеваров во главе с Сергеем Беспаловым.

У Булавина насчитывалось теперь до тысячи человек. Но идти с таким войском на Дон Кондрат не хотел. Он все еще на что-то надеялся, хотя надеяться было не на что.

Кондрат решил подождать еще немного. Может быть, запорожцы все же основной своей массой примкнут к нему. Свой отъезд на Дон он задерживал еще и потому, что хотел обзавестись пушками. Он выискивал удобный случай, чтобы напасть на Новобогородицкую крепость и забрать их оттуда. Кроме того, он получил сведения, что на днях по этим местам из Белгородского разряда должны перегонять на работу в Азов и Таганрог двадцать три тысячи работных людей. Кондрат хотел отбить их и присоединить к себе.

В палатке Кондрата за наскоро сколоченным столом сидели старшины и полковники. Пили горилку.

Дед Остап, перебирая струны домры, дребезжащим старческим голосом пел:

Як со славной, со восточной со сторонушки
Протекала быстра речушка, славный тихий Дон,
Он прорыл, прокопал, младец, горы крутые,
А по правую по сторонушку — леса темные,
Как да по левую сторонушку — луга зеленые...

Кондрат порывисто вскочил со скамьи.

— Дюже добрую песню, старый, заиграл. Ажно сердце кровью облилось.

И звучным голосом подтянул:

На Дону-то все живут, братцы, люди вольные,
Люди вольные живут, братцы, донские казаки,
Донские казаки живут, братцы, все охотнички...

Кондрат взмахнул руками.

— А ну, братцы, пойте все!

Полковники и старшины дружно подхватили:

Собирались казаки-други во единый круг,
Они стали меж собою да все дуван делить,
Как на первый пай они клали пятьсот рублей,

На другой-то пай они клали всею тысячу,
А на третий пай становили красну девицу.
Доставалась красна девица добру молодцу.

Кондрат оборвал песню, схватил со стола кубок, наполненный горилкой, жадно выпил.

— Сердце мое поет, браты! — крикнул он. — Душа требует простору! Душно мне! — рванул он ворот рубахи и, оголив могучую, заросшую черными густыми волосами грудь, постучал по ней кулаком. — Дайте мне войска! Такую дам я вам, браты, жизнь привольную...

— Погодь, атаман, погодь, — успокаивающе сказал Лоскут. — Дай срок, будет у тебя войско... Большущее войско, атаман.

— Сейчас надобно!.. Сейчас давай, дядя Ивашка!.. Эх, вы! Помощники тож... Титка, — обернулся Кондрат к длинношему, тощему подьячему, низко опустившему пьяную голову, — писарь, что ты зажурился? Что губы-то развесил? Пьян, что ль?

— Нет, батько, — встрепенулся подьячий. — Не пьян я... Тоска напала на меня. — Подьячий залился пьяными слезами и, растирая их по лицу грязным кулаком, жалобно проговорил: — Войска нет у нас, атаман... войска. Что будем делать?

— Брешешь, чернильная твоя душа! — гневно топнул ногой Кондрат. — Будет у нас войско! Будет!.. Садись, собачья твоя утроба, садись, пиши, что буду говорить.

— Сейчас, батько, — всхлипнув, покорно поднялся Тит и, подойдя к столу, обтер рукавом облитый водкой стол.

Достал из сумки бумагу, снял с шеи ваппицу, зажал в руке перо, приготовился.

— Говори, атаман.

— Пиши, писарь. «Атаманы-молодцы, дородные охотники, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники...» Написал, писарь?

— Погодь, атаман, — скрипел пером подьячий, — погодь... «...во-ры и раз-бо-о-йники...» Говори дальше, атаман.

— «Кто похочет с военным походным атаманом Кондратием Афанасьевичем Булавиным, кто похочет с ним погулять по чисту полю, красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить, то приезжайте ко

мне. А со мною силы донских казаков семь тысяч, запорожцев шесть тысяч, Белгородской орды пять тысяч». Написал? Все! Давай подпишу.

Схватив перо, Кондрат, разбрызгивая чернила, неровно расставил каракули «Булавин». Старшина и полковники переглянулись, захохотали. Лоскут укоризненно закачал головой.

— Прибрехнул, атаман. Прибрехнул.

— Молчи, старый пес! — уязвленный смехом старшин и словами Лоскута, гневно крикнул Кондрат. — Ежели у меня зараз нет такого войска, то завтра будет!.. Будет, проклятый! Пей, браты, гуляй, казачья душа! Играй, старый хрыч!

Дед Остап звякнул струнами в веселом переборе. Кондрат топнул подковами сапог, пошел в пляс.

Извиняйте вы, девчонки,
Что марфоток не принес,
Карман мыши проточили,
Все марфотки проскочили...

В шатер вбежал Мишка Сазонов.

— Атаман, иди, там к тебе татары приехали.

Окруженные казаками, держа в поводу уставших лошадей, татары что-то рассказывали им. Завидев идущего к ним в сопровождении старшин и полковников Булавина, они низко поклонились.

— Здорово, атаман! Здорово, батька!

— Здорово. Отколь бог принес?

К Кондрату подошел высокий, широкоскулый татарин, возглавлявший отряд.

— С Кубани, батька. Нас сорок человек. Принимай нас, батька.

— Зачем пожаловали?

— Служить к тебе, атаман, приехали... Служить. Там к тебе, атаман, много татар да калмыков собирается идти.

— Спасибо тебе за добрую весть, — сказал обрадованно Кондрат и, обняв татарина, поцеловал. — У меня, браты, служить будет красно... Пойдем, князь, погостюю тебя чем богат.

Обняв татарина, он повел его к себе в шатер.

ГЛАВА XII

Подходила широкая разгульная масленица, подходила она, веселая, угарная, с жирными блинами, пенистым медом, крепкой брагой. Любит русский народ масленицу. Еще задолго до нее все станицы Черкасска-городка, обе Черкасские, Средняя Прибылянская и Дурновская начали готовиться к торжествам.

В станицах за Протокой и в станицах Скородумовской, Тютеревской, Прибылянской и трех Рыковских также чувствовалась предраздничная суета. И даже в Татарской станице, населенной татарами, не были равнодушны к приближению русской масленицы.

Казаки точили сабли, чистили оружие, холили коней; бабы варили мед, брагу.

В четверг атаман Максимов вышел из дому ранним утром с насекой в руках. Он торопливо направился к становой избе. Там его уже поджидали конные казаки — представители всех станиц.

— Кличь, браты! — сказал им атаман.

Казаки вскочили на коней и помчались в станицы Черкасска-городка созывать на сбор станичников.

Те не мешкали. Все они нетерпеливо ждали начала масленичного разгула. Веселыми, праздничными толпами быстро заполнили станичники майдан. Максимов поздравил их с масленицей и, предупредив, чтобы во время гульбы не было бесчинств, пожелав веселья, распустил их.

Казаки, разбившись на ватаги, выбрали себе ватажных атаманов, судей, квартирных и со знаменами да хоругвями, под гром тулумбасов и бубнов с песнями разошлись по своим станицам.

Два дня подряд казаки, конные и пешие, вооруженные с ног до головы, ездили и ходили из станицы в станицу, объедались блинами, горланили песни, стреляли, состязались.

В субботу с утра казаки всех станиц Черкасска-городка, оседлав лошадей, выстроились в колонны и со знаменами и бунчуками, во главе со станичными атаманами и есаулами, съехались в Сухое займище.

Лукьян Максимов и старшины были уже здесь. Около них лежала кучка черкесских ногайских седел с цветными чепраками, пучки уздечек в серебряных набо-

рах, тюки крымских попон с цветистой яркой вышивкой, турецкие аркебузы *, персидские сабли, булатные ножи в черных сафьяновых ножнах, в золотой и серебряной оправе, с черенками из рыбьего зуба.

Все это было приготовлено для раздачи в награду лучшим наездникам.

Шумные толпы народа спешили из станиц на торжество. Молодые бабы и девки, празднично одетые, в шубках с атласным или суконным ярким цветным верхом, неумолчно гомоня, как галочьи стаи, усыпали холмы и бугры. Седобородые старики, уже неспособные, за старостью, принять участие в конных состязаниях, толпами стояли, опершись о костыли, и с сумрачной насмешливостью оглядывали гарцевавших в долине наездников.

— Тьфу! — ревнул, зло отплевывался старик. — Тоже наездники! Нае-здни-ички...

— Правду истинную гутаришь, — откликались другие. — Разве ж это конники? Вот мы, бывало... Эх!

— Правда, правда, — вздыхали старики. — Мы, бывало, ездили, так ездили — не то что ныне...

Ребятишки с гамом и криком, как воробьи, метались с одного конца на другой.

Максимов, озабоченно поглядывая на цветисто разодетых всадников, выстроившихся в длинную шеренгу, испытывал какое-то беспокойство. Он даже не мог уразуметь, отчего оно началось. Но, поймав на себе пристальный взгляд Ильи Зерщикова, понял, что эти-то частые, назойливые взгляды старшины и являются причиной его беспокойства.

Максимов строго посмотрел на Илью. Тот в ответ дружелюбно усмехнулся. Атаман помрачнел и забеспокоился еще больше. Он знал лисий норов Зерщикова. Если тот прикидывается лисой, значит, задумал что-то злое. Но размышлять об этом было некогда. Максимов махнул платком *.

Из шеренги всадников вырвался седой старик в голубом зипуне на тонконогом рыжем жеребце.

Жеребец, изогнув красивую шею, взблескивал серебряным нагрудником, несся в намете. Всадник словно прирос к седлу, не шелохнется. Из толпы стариков послышались восхищенные восклицания:

— Вот это, братцы, наездник!

— Да ведь это ж старый казак!
— Чей такой?
— Твердохлебов.
— А-а... Ну, это ездок!
— Да, не чета молодым.

Старик, подскакав к пуку камыша, торчавшему на колу посреди долины, не останавливая коня, приложился к ружью, выстрелил. Сухой камыш, начиненный порохом, вспыхнул, как факел.

Вслед за стариком из строя выскочил на сером аргамаке гибкий юноша, почти мальчик. Он разжег плетью лошадь и, развевая полами алого кафтана, стремительно помчался к горящему камышу.

Сидел он в седле так же стройно, как и старик, может быть даже и стройнее, но старики молчали, на их лицах застыла пренебрежительная усмешка. И только у молоденьких девушек юный наездник вызывал восхищенные восклицания.

Близ горящего камыша юноша соскочил с седла. Держась рукой за гриву несущейся лошади, он свободной рукой выхватил из-за пояса пистоль и выстрелил в факел. Камыш в искрах рассыпался по земле. Наездник, толкнувшись о землю ногами, мгновенно вскочил снова в седло.

Толпа разразилась громким одобрением.

Но вот из строя вырвались новые четыре всадника. Один за другим они мчатся к горящему камышу, на скаку хватают его и разбрасывают по долине...

Максимов снова взмахнул платком.

Как буря, с шумом и воем сорвалась вся длинная шеренга всадников. Развернувшись в лаву, она домчалась до середины долины, где торчал кол, и мгновенно рассыпалась на небольшие группы. Вся долина заполнилась мечущимися взад и вперед всадниками.

Одни, с ожесточением нахлестывая лошадей плетьми и низко пригнувшись к гривам, яростно мчались, испытывая быстроту лошадей; другие на всем скаку стреляли из лука в цель. Третьи, стоя на седлах, отбивались кривыми саблями от воображаемого врага. Иные, перевесившись с седла, стреляли из пистолей под брюхом мчавшейся лошади. Некоторые на лету хватали монеты, бросаемые из толпы. То там, то сям лихие наездники рубили лозины саблями, кололи дротиками чучела

из соломы. Потом всадники разделились на две половины и разъехались. Они выстроились длинными шеренгами на противоположных концах долины лицом друг к другу, застыв в напряжении, ожидая знака войскового атамана.

Максимов поднял пернач.

И снова, шумя и дико завывая, шеренги сорвались и с бешеной стремительностью помчались. Толпа замерла, пожирая взорами всадников. Как две бурные волны, в шуме и реве, катились шеренги друг на друга, пенясь кровавой пеной алых шапок. Ураганно столкнулись. Лошади вздыбились, шарахнулись, сбрасывая с себя всадников. В воздухе замелькали плети. Начался бой плетьми.

Всадники смешались в кучу, лошади бестолково топтались, встревоженно ржали, люди кричали, избивая друг друга. Один за другим выбывали из боя изувеченные бойцы: тот с рассеченной губой, другой с изуродованным носом, третий со шрамом вдоль щеки.

Наконец одна сторона не выдержала и, повернув коней, под гогот и улюлюканье толпы ускакала.

Атаман подал знак отбоя. Всадники съехались в круг, атаман роздал премии отличившимся в состязаниях.

Потом Максимов со старшинами, есаулами и хорунжими поехал к Черкасску. Вслед двинулись конные колонны, сопровождаемые кричащими толпами народа. Загремели бубны, литавры, завыли дудки. Казаки грянули песню:

Как у нас на Дону, на Черкасском острову,
Как ранней было зарей, круг становится,
Середи круга стоит золотой бунчук,
А под бунчуком стоит раскидное стуло,
А на стуле сидит войсковой наш атаман,
Войсковой наш атаман Лукьян Васильевич...

На следующий день, в прощеное воскресенье, когда по русскому обычаю все друг другу прощают обиды, с полудня на городском майдане начали устанавливать столы и скамьи.

Когда прибыли сюда казаки, то столы были уже уставлены всевозможными яствами и напитками. Стояли сидовы с заморскими винами и фруктовой водкой, ог-

ромные жбаны и чаны с разными сортами меда. Кто что любил. Был мед пенистый, игристый, от которого бросает в дрожь, как в лихорадке. Был мед крепкий, переварной: выпьешь ковш — и одурманишься. Был и тройной кисельчатый, и собирало, приготовленный по особому способу, от глотка которого дух захватывало и язык сразу же переставал повиноваться.

Казаки умиленными, поблескивающими глазами поглядывали на столы, облизывали губы, но без атамана и старшин не решались садиться, нетерпеливо ждали их прихода.

Но вот показался и атаман Максимов с войсковыми старшинами. Казаки заволновались, придвинулись теснее к столам, облюбовывая место поудобнее, ближе к хмельному.

Максимов и старшины сели за особый — «атаманский» — стол, под склоненные знамена и бунчуки, дарованные войску казачьему московскими царями. Уселись и казаки.

Атаман встал и, дождавшись, когда затих гомон, поклонился на четыре стороны, высоко поднял ковш.

— Здравствуй, наш великий государь, — крикнул он, — в кременной Москве, а мы, донские казаки и атаманы-молодцы, на тихом славном Дону!

— Ура! — гаркнули казаки, вставая и поднимая высоко ковши. Некоторые, выхватив пистоли, выстрелили в воздух.

Атаман выпил из своего ковша, а за ним выпили и все.

— Здравствуй, вольное казачество донское! — встал и крикнул Илья Зерщиков. — Бесстрашное, на многие лета!..

— Ура-а!

То с одного, то с другого стола выкрикивали здравицы.

— Будем, братцы, смелым сердцем за казачью честь!

— Поддержим свою атаманскую, молодеческую славу!

— Дай, господь, нам пожить да порадоваться!

— Дай господи, что задумали да загадали!

Каждую здравицу сопровождали криками и стрельбой. Пиршество затянулось до поздней ночи. Зажгли плошки. По улицам ходили веселые толпы народа, плясали, пели песни. Тут же сновали ребятишки, стреляли

из пустых костей-затравок и камышинок, пугали девушек.

Максимов хотя выпил немало, но на ногах держался еще крепко. Илья Зерщиков сидел напротив. Он все время пытался заговорить с Максимовым, но тот был занят разговорами со старшинами и, казалось, не замечал его попыток. Он избегал заговорить с Зерщиковым, боялся его.

Но Зерщиков сейчас не мыслил зла против Максимова. Он хотел примириться с ним. Он уже прослышал, что у Булавина в Сечи ничего не вышло, запорожцы к нему не пошли, а потому решил замести следы своей связи с ним: нужно было подумать о спасении своей головы.

Уже поздно вечером Максимов, а вслед за ним и все старшины и казаки поднялись и закрестились на восток.

— Простите, атаманы-молодцы, — сказал Максимов, обращаясь ко всем. — Может, кого чем и обидел. — Он низко склонил непокрытую голову.

— Бог простит, Лукьян! — послышались голоса. — Бог простит!

Все стали просить друг у друга прощения, кланяясь в ноги и целуясь.

— Прости, ради бога, Лукьян, — подойдя к Максимову, смиренно сказал Зерщиков. — Примириться с тобой хочу. Друзья мы с тобой давнишние. Прости, Васильич, не серчай.

Он упал в ноги Максимову. Атаман умилился и растроганно поднял Зерщикова.

— Бог тебя простит, Илья, — прослезился Максимов. У него мелькнула мысль: «Одним врагом меньше будет».— Я на тебя зла не имею... Прости и ты меня, Илья.

И он низко поклонился Зерщикову. Зерщиков его обнял. Всхлипывая от наплыва чувств, они расцеловались.

ГЛАВА XIII

В марте Кондрат с полуторатысячным отрядом прибыл в Пристанский городок. Его здесь ждали давно, а потому встретили радостными криками:

— Батька!.. Атаман!.. Заждались!..

Городок до отказа кишел пришлым народом. Люди стояли на улице густыми колоннами, неистово крича и размахивая шапками:

— Здорово, атаман!.. Здравствуй на долгие годы, батька!..

Булавин пытливо всматривался в народ, заполнявший улицы. Здесь, кроме беглых крестьян, которых было большинство, можно было видеть работных людей, бежавших с воронежских верфей и лесных разработок, бурлаков, солдат, нищих, гуляющих людей, без определенных занятий и профессий, татар, раскольников.

Здесь собрались все, кто бежал из кабалы и неволи в поисках лучшей жизни, кто горел лютой злобой к угнетателям-помещикам, боярам, приказным лиходеям, прижималам-откупщикам. Многие из беглецов бросили семьи, избы и пошли сюда искать правды и справедливости. Все они томились здесь в нетерпеливом ожидании Булавина, своего вождя, чтобы по одному лишь его слову пойти кровью добывать себе освобождение. Понятна была их радость при виде Булавина. Их выжидательному, томительному бездействию наступил конец.

Народу в небольшом Пристанском городке собралось так много, что все не могли вместиться в нем. Многие жили за городским валом, в шалашах.

И все здесь — в городке и за городком — кричали восторженно:

— Здорово, батька!.. Здорово, атаман!..

Иногда Кондрат снимал шапку и приветственно размахивал. Народ приходил в еще больший восторг.

— Дай тебе бог здоровья, атаман!.. Дай бог!..

Следовавшие за Булавиным запорожцы производили на толпу сильное впечатление. Все ведь здесь знали, что Булавин должен привести с собой запорожское войско.

— Ура-а, браты!.. — ликующе кричали повстанцы. — Запорожцы с нами!

Порозовевшая от волнения, радостная от мысли, что она сейчас увидит своего любимого, Галя стояла в шумной толпе и искала среди проезжавших всадников Григория.

Вот проехал отец... вот дед Остап с своей неразлучной домрой... вот кому-то подмигивающий Мишка Сазонов... Куницын Семка безносый... Иван Лоскут... «Где же

Гришка?» Сердце девушки забилось в тревоге. «Неужто батя его оставил за порогами? — думает она. — Нет! Этого быть не может. Григорий ни за что не остался бы... Ведь он же знает, как я его люблю, как его жду. Но где же он?..»

От огорчения она готова разрыдаться, но в сердце ее еще теплится слабая надежда, что, может быть, он едет где-нибудь позади отряда. И она ждет, вглядываясь в мелькающие перед нею лица всадников.

Вот проехал последний всадник, больше нет никого. Лицо девушки помрачнело, губы вздрагивают, но она еще крепится, теряется в догадках: «Куда же мог деться Гриша? Куда?..» Вдруг она бледнеет. У нее мелькает страшная мысль: да уж не поменял ли он ее на другую? Похолодев от этой мысли, она, расталкивая толпу, бросилась в курень Хохлача. Сейчас же, не медля ни минуты, надо узнать, что случилось с Гришей.

В курене было полно народу. Кондрат, снимая с себя оружие, о чем-то весело разговаривал с Никитой.

— А, донька, — ласково встретил он дочь, — подь-ка сюда. Какая же ты стала красавица! — с удивлением разглядывал он ее. — Молодец, Галька! Молодец!.. А я тебе привез гостинец. Добрый гостинец, — потрепал он ласково дочь по щеке. — Вот развяжу саквы, достану.

В другое время ласка отца растрогала бы Галю. Но сейчас она стояла перед ним, словно окаменевшая, равнодушная к его словам. Заметив это, Кондрат озабоченно спросил:

— Да ты, донька, не хвораешь ли?

— Нет, батя, я здорова.

Ей не терпелось узнать у отца о Григории, но в избе было слишком много народу, она стеснялась спросить.

Никита, поняв состояние сестры, спросил у отца:

— Батя, а где Гришка Банщиков?

Кондрат помрачнел.

— Нет его теперь, сынок, — вздохнул он.

Лицо Гали покрылось мертвенной бледностью. В ужасе расширив глаза, она судорожно схватила отца за руку:

— Батя... где он?.. Скажи!..

Кондрат с удивлением взглянул на дочь и, поняв ее, грустно покачал головой.

— Скажи, батя! — умоляюще произнесла Галя.

Кондрат медлил. Он знал, что значит любовь, и убивать дочь страшной вестью не хотел. Он придумывал, что можно было бы сказать о Григории, чтобы не так больно было дочери.

Дед Остап никогда не мог равнодушно слушать, когда речь заходила о его любимце — Гришке Банникове. В таких случаях на его глазах навертывались слезы.

— Да, жалко хлопца, — сказал он, отирая рукавом глаза. — Дуже жалко.

Мишка Сазонов толкнул его кулаком в бок. Дед Остап, недоумевающе взглянув на него, закончил:

— Должно, вживе теперь нема... Царствие ему небесное, — широко перекрестился он.

Галя вскрикнула и свалилась на пол.

— Старый хрыч! — возмущенно выругался Мишка. — Разве можно о том гутарить?.. Глянь, что наделал, — указал он на бесчувственное тело девушки.

Старый запорожец растерялся.

— Да я ж не ведал того, — сконфуженно оправдывался старик.

Казаки, тихо ступая, один за другим вышли во двор. В курене остались Кондрат и Никита.

Кондрат бережно поднял дочь с пола и уложил на нары.

— Дай воды, Никишка.

Никита зачерпнул из жбана корец воды, подал отцу.

— Давно это у них? — спросил Кондрат.

— Давно, батя, еще с прошлого года... Они тебя, батя, ждали, чтоб повенчаться.

Кондрат прыснул водой на Галю. Она вздрогнула и, открыв глаза, посмотрела на отца.

— Батя, — схватила она отца за руку и, прижавшись к ней горячей щекой, зарыдала, сотрясаясь всем телом.

Кондрат нежно гладил ее по шелковистым волосам.

— Донюшка, родимая моя донюшка... Что ж теперь делать?.. Такая уж наша жизнь... Ныне живы, а завтра помрем. Все мы под богом ходим. Не плачь, донька, не плачь... Не кручинься.

Галя долго плакала. Кондрат не отходил от нее и утешал. Потом девушка успокоилась и попросила отца рассказать подробно, что случилось с Григорием. Кондрат рассказал. Выслушав отца, Галя спросила:

— Батя, а может быть, он еще живой?

— Все может быть, донька, все. Может, он до сей поры еще сидит в подземелье в Черкасске.

Галя оживилась. Она приподнялась на постели.

— Батя, у нас теперь много войска, — прерывающимся от волнения голосом сказала она. — Пойдем в Черкасск, батя. Пойдем! Отобьем Гришу.

Кондрат грустно усмехнулся.

— Они нас, Галя, ждать не будут.

— Батя, — умоляюще взглянула она на отца, — ведь ты же сам сказал, что, может, он еще живой... Так пойдем, батя, скорее, спасем его... Пойдем, родимый мой!..

— Пойдем, донька, обязательно пойдем.

Она радостно спрыгнула с нар.

— Когда, батя? Скоро?

— Нет, Галя, скоро нельзя идти, — покачал головой Кондрат, — надо обождать, покуда дороги пообсохнут. Зараз с войском не пройдешь, балки залило водой, а по Хопру лед еще не прошел.

Галя потускнела и задумалась.

— Ладно, батя, я обожду, — сказала она. — А ты правду говоришь, что пойдешь на Черкасск?

— Истинную правду, донюшка.

— Верю, батя, — тихо сказала она.

Взглянув на отца, подумала: «Ежели не пойдешь, одна уйду».

С приходом Булавина в Пристанский городок восстание приняло невиданные размеры.

По Придонью, по Слободской Украине пылали боярские хоромы, помещичьи усадьбы. Крестьяне, работные и всякие черные люди расправлялись со своими притеснителями, хватали косы, рогатины, топоры, бежали толпами к Булавину.

— Батька!.. Атаман!..— исступленно кричали они ему.— Веди нас!.. Веди!.. Сокрушим все!.. Сокрушим!..

Тысячи людей, вооруженных чем попало, опьяненных первыми успехами восстания, ждали приказа Кондратия Булавина, чтобы ринуться на врагов.

Сила и влияние Булавина росли с каждым днем. Вначале Кондрат даже не подозревал, как высоко он поднялся, как велика стала его мощь. А когда он это понял, тщеславные мысли стали одолевать его. Ему думалось, что он может достигнуть такой вершины, которой до него не достигал еще никто. Часто ночами он не

мог заснуть от осаждавших его мыслей. Ему грезились дивные картины: восставший народ сметает с лица земли бояр, слуг царских и самого царя. По всей стране устанавливается народное управление, в каждой деревне, в каждом городе самим народом избирается власть, а сам он, Кондрат, быть может, будет поставлен народом над всею Русью...

Но это были пока только мечты...

Булавин прежде всего решил всю горящую жаждой мщения стихийную толпу холопов, крестьян, работных людей и казаков, которая окружала его и ежедневно прибывала к нему со всей России, превратить в грозную силу. Он разбил всех повстанцев на полки и отряды, ввел строгий порядок в подчинении начальникам, издал приказ карать смертью за неповиновение, запретил пьянство, полковниками назначил опытных боевых своих товарищей. В деревни и города юга России и Украины, чтоб там не угасало восстание, он беспрерывно посылал отряды с «прелестными», «приворотными» письмами.

Каждый день он получал радостные сообщения о том, что его отряды с успехом продвигаются все дальше и дальше в глубь страны, повсюду устанавливая управление по казачьему образцу.

Теперь Кондрат окончательно порвал с домовитыми казаками. Гневная, возмущенная волна угнетенного народа подмыла и понесла его в своем круговороте. Он стал на сторону народа. Как умный человек, он понял, что дело теперь не в отстаивании казачьих вольностей, а в гораздо большем: в ожесточенной борьбе народа со своими угнетателями — боярами, помещиками, прибыльщиками — за свои права.

Его отряды были уже около Воронежа, Тамбова, Саратова. На Украине был захвачен город Ямполь, и булавинцы подходили к Харькову.

Но все это было лишь подготовкой к тому великому походу, который был задуман Булавиным и вот-вот должен быть объявлен им.

Все знали, что Булавин задумал что-то покуда неведомое, и все с нетерпением ждали, но он медлил. По-прежнему в Пристанском городке без дела томились огромные скопища народа. То и дело толпы собирались в круг и обсуждали будущие действия. Недовольные роптали на Булавина, что он задерживает поход. Люди

горячились, кричали. Украинцы утверждали, что нужно идти на Украину и перевешать панов и арендаторов, воронежские бурлаки и работные люди настаивали, чтобы идти на Воронеж, тамбовские крестьяне — на Тамбов, а некоторые предлагали даже идти на Москву — бить бояр.

Когда среди них появлялся Булавин, все смолкали. Он тяжелым взглядом обводил толпу и спрашивал:

— Братцы, о чем толкуете? Ай мне не верите? Ай мне не ведомо, куда вас вести?

— Верим, батька!.. Верим, атаман!.. — слышались крики.

— А ежели верите, то молчите... Раз уж я заколыхал этим делом, то не отступлюсь, назад не ворочусь. Пойдем, мы, браты, на Украину бить панов да рендарей, пойдем и на Воронеж, и на Москву пойдем — вешать бояр, да дьяков, да прибыльщиков с немцами... Пойдем всюду, браты. Дайте только срок. А ежели я не исполню того, отсеките мне голову этой саблей.

Он выхватил из ножен кривую турецкую саблю и потрясал ею над головой.

— Верим, батька!.. Верим!.. — исступленно кричала толпа.

Кондрат бросал саблю в ножны и убеждающе говорил:

— Но допрежде, атаманы-молодцы, пойдем мы на Черкасск-городок. Побьем атамана Максимова и старшин за то, что предали нас боярам, возьмем там богатую казну войсковую. А оттуда пойдем на Азов да Таганий рог, освободим подневольных работных людишек, пополнимся войском, копями да одежиной. А тогда уж, к лету, тронем на Москву...

— В добрый час, атаман! — отвечала толпа.— В добрый час!.. Тебе видней. За тобой пойдем везде!..

Приняв решение идти на Черкасск, Кондрат начал готовиться к походу.

Однажды, придя в станову избу, в которой помещались полковники, старшины и писарь Тит Чекин с попом Питиримом, Кондрат застал пьющих. Писарь, Питирим да дед Остап хлестали мед. Домрачей играл что-то веселое, длинноногий писарь плясал. При виде Кондрата они растерялись, кинулись было прятать хмельной мед, но не успели.

— Вы что, сучьи дети, делаете? — рассвирепел Кондрат.— Я ж велел, чтоб никто не бражничал. Вы что хотите, чтоб я вас на кол посадил?

— Милостивец,— упал на колени писарь,— мы ж потому пьем, что зело радостно на душе... Ты гляди, атаман, сколько теперь у нас войска! Да ведь с таким войском мы весь мир завоюем. Чую, милостивец, Кондратий Афанасьевич, быть тебе великим человеком. Вот те господь, быть. Будешь ты, милостивец, сидеть на тропе золотом, яко владыка вселенной. Не забудь тогда, Кондратий Афанасьевич, раба твоего вечного, пса паршивого Титку Чекина. Повели тогда мне за службу мою песью верную по братине меда бражного выдавать утром, вечером и в обед. Не забудь, милостивец.

— Ах ты чертяка! — смеясь, пнул ногой Кондрат писаря.— Я тогда назначу тебя первым боярином над всеми винными и бражными делами. Попа Питирима — митрополитом, а деда Остана — дворцовым домрачеем.

— Спасет Христос, благодетель,— залился пьяными слезами писарь.— Я ж всегда знал, что у тебя сердце доброе.

— Титка, ты можешь зараз писать? — осведомился Кондрат.

— Всегда, атаман, готов свое дело прилежно выполнять, днем и ночью, пьяный и трезвый.

— Ну, садись коль к столу. Пиши.

Попатываясь, писарь приготовил свои чернильные принадлежности, разложил их на столе.

— Готово, милостивец, говори.

— Пиши, писарь! «От Кондратия Булавина...»

Когда писарь написал, Кондрат велел ему читать.

В письме было написано:

«От Кондратия Булавина и от всего войска походного, от Пристани вниз по Хопру и по Дону атаманам-молодцам. Ведомо им чинить, чтоб по всем станицам всем верстаться и быть готовыми, конными и оружными: и одной половине — в поход, а другой быть на куренях. В которую станицу придет сие письмо, та б станица была готова в тот час в поход. Для того, что зло на нас помышляют, жгут и казнят напрасно злые бояре и немцы. А ведают они, атаманы-молодцы, как деды их и отцы стояли прежде сего за Старое поле. А ныне те злые супостаты Старое поле ни во что почли. А ему, Булавину, зопорож-

ские казаки все, и Белгородская орда, и иные орды слово дали, что быть с ними заодно. А ежели которая станица тому войсковому письму будет противна, пополам верстаться не станет, или кто в десятки не поверстается, тому казаку будет смертная казнь. А верстаться опричь вольницы и посылать то письмо по городкам наскоро и на усть Бузулука и на усть Медведицы. Списав, послать вверх по Бузулуку и Медведице».

— Добре, — выслушав, сказал Кондрат. — Пойди, Титка, скажи, чтоб отвезли это письмо в Григорьевский городок, а оттуда пусть перешлют в Михайловский, Котовский, Урюпинский и по всем речкам.

Письмо это пошло гулять по казачьим городкам. Никто не осмеливался его уничтожить. Его переписывали и посылали дальше. Оно еще больше волновало народ, будоражило Дикое поле.

ГЛАВА XIV

Царь Петр в сопровождении своего кабинет-секретаря Макарова и денщиков Нартова и Орлова объезжал расположение войск, заслоном стоявших против шведского вторжения в Россию. Объехав войска, Петр направился в Дзенциолы — главную квартиру Александра Даниловича Меншикова.

У Петра было мрачное настроение. Положение на войне неожиданно изменилось. Шведы разбили слабо подготовленную союзницу России — Саксонию. Принудив Августа Саксонского отречься от престола Речи Посполитой в пользу своего ставленника Станислава Лещинского, шведы пошли в наступление на русских.

А тут Петра омрачали вести о Булавине. Они были неутешительны. Булавинское восстание на Дону не только не угасало, как об этом поспешил сообщить Ефрем Петров, но принимало неожиданные размеры, охватывая весь север Дона, Придонье и Слободскую Украину, приближаясь к Воронежу, Козлову, Тамбову, Саратову.

Петру сообщали, что крестьяне восстают против своих помещиков, громят усадьбы, растаскивают помещичий хлеб и скот. На лесных разработках и верфях работные люди убивают начальников и бегут к Булавину. Волновались татары, башкиры, калмыки, мордва.

Петр молча ехал верхом на крупном вороном жеребце. Его угнетали тяжелые думы.

«А может быть, немедля поехать на Дон, поговорить с казаками, успокоить их?» — мелькнуло у него в голове. Но он тотчас же эту мысль с негодованием отверг. Разве можно с ослушниками и своевольцами мириться?

«Ведь подумать только,— размышлял царь,— что делают казаки! Убивают помещиков, жгут, купцов грабят... Ведь помещики и купцы — основа государства...»

Он видел в них свою опору. Для них он в первую очередь укреплял могущество своей страны...

Размышления царя были прерваны прискакавшим гонцом, который сообщил Петру, что шведские войска снова перешли в наступление и сейчас движутся двумя трактами: на Гродно и к Дзенциолам, пытаясь таким образом отрезать русскую армию, находившуюся у Гродно под командованием австрийского фельдмаршала, шотландца по происхождению, Огильви, взятого Петром на русскую службу.

— О, черт! — выругался Петр.— Ведь этот дурак Огильви, пожалуй, и не выкрутится, может так армию сдать Карлушке...

Он с возмущением вспомнил об измене осыпанного его благодеяниями немца Мюленфельда, который недавно перебежал к Карлу XII и теперь дает ему советы и указания в войне с русскими.

— Сатана! — вскипел Петр.— Я тебя, дьявола, поймаю. Повешу! * Надобно зорким оком следить за иноземцами, доверять им нельзя,— это не русские... Поворачивай! — подал он команду.

Взяв с собой казачий полк, он поскакал к Гродно.

Карл XII, разбив союзников России, всеми своими силами теперь обрушился на русские войска. Самонадеянный молодой король хотел заключить мир с русскими в Москве, свергнув с престола Петра и посадив вместо него на престол поляка Якова Собеского.

Вспомнив об этом, Петр заскрежетал зубами.

— Я тебе посажу...

Война со Швецией, тянувшаяся уже несколько лет, научила Петра многому. Вместо нестройных, отсталых отрядов ратных людей, с которыми он начинал войну со шведами и потерпел поражение под Нарвой, он имел теперь под своими знаменами сильную армию, хорошо обу-

ченную, вооруженную лучше многих западных армий, закаленную в битвах, готовую идти за ним, Петром, в дальнейшей борьбе.

Погода стояла промозглая, моросил мелкий колючий дождь. Выпавший накануне снег стаял, и по раскисшим от непролазной грязи полям звенели мутные ручьи. В лесу клубами дымился туман, ободранными клочьями цепляясь за ветви.

Царь, укутавшись в плащ и надвинув на глаза шляпу, мчался впереди отряда. Заметив, что высланные вперед разведчики остановились и предостерегающе машут шапками, он натянул поводья, останавливая жеребца.

— Поезжай,— сказал он одному из офицеров,— узнай, в чем дело.

Офицер скоро вернулся.

— Господин бомбардир,— доложил он,— показался неприятель. Казаки заметили шведский авангард.

Петр оглянулся. Справа от тракта шумел вершинами густой сосновый бор. У царя возникла смелая мысль: напасть на авангард врага. Он коротко приказал:

— В лес!

Казаки на маленьких мохнатых лошадках рассыпались, как мыши, по лесу. Спрятавшись за ствол старой сосны, царь стал наблюдать за дорогой. Ждать пришлось долго. Конь не стоял на месте, крутился, вертел головой, фыркал. Петр терпеливо успокаивал его, похлопывая по горячей шее. Казаки, тихо переговариваясь, звякали саблями, готовились к бою.

Бог знает откуда взялась сорока. В настороженной лесной тишине послышалось ее озабоченное стрекотание. Стрекот сороки в эту минуту был до того неуместен и смешон, что казаки, не выдержав, зажимая руками рты, зафыркали. Петр хмуро глянул на развеселившихся казаков и строго бросил:

— Тише!

Сорока снова застрекотала, на этот раз уже весело и беспечно.

Казаки снова засмеялись. Засмеялся и сам царь.

Непонятное веселье вдруг охватило людей. Странно было видеть, как они с хохотом готовились к жестокой схватке, может быть, к смерти.

Где-то тихо свистнули. Царь поднял руку, и все вокруг затихло.

Петр, по-прежнему похлопывая рукой своего неспокойного жеребца, пристально смотрел на дорогу. Сердце его учащенно колотилось: сейчас должен показаться враг. И вот он увидел шведов... Они ехали медленно, беспечно, словно им не угрожала никакая опасность. Закутавшись от дождя в свои плащи, они даже не оглядывались по сторонам. Впереди проехала небольшая группа всадников — видимо, разведчики. Их беспрепятственно пропустили. Потом, через некоторое время, показался головной отряд человек в триста. На рослых, откормленных лошадях сидели отборные шведские кавалеристы.

В толпе всадников ехал на сером коне важный, с горделивой осанкой командир в светлом кафтане. Распахнув малиновый плащ, он то и дело прикладывал к глазам подзорную трубу, вглядывался в окутанный серой дымкой тумана город Гродно.

Швед ехал с таким видом, как будто въезжал в свою собственную страну, где его только и ждут.

Мгновение Петр смотрел на самонадеянных, зарвавшихся наглецов, потом, выхватив из ножен шпагу, крикнул:

— Вперед!

Взмахивая над головой саблями, казаки с шумом и криками ринулись на противника.

Величавый швед, командир отряда, позеленел от ужаса, съежился и, растерявшись, обезумевшими глазами несколько мгновений смотрел на казаков, с пронзительным гиканьем мчавшихся на его солдат. Затем он порывисто выхватил неуклюжий длинный меч из ножен и стал визгливо выкрикивать какие-то приказания. Но было уже поздно. Его солдаты в беспорядке заметались, наскакивали друг на друга, неистово хлестали коней, вздымавшихся на дыбы и сбрасывавших всадников. Некоторые пытались спрятаться в лесу. Но это им не удалось. Казаки изрубили почти всех до единого. Несколько человек взяли живьем — в плен. Едва ли кому-нибудь из шведов удалось уйти.

Из сведений, полученных от взятых «языков», выяснились существенные подробности ожидаемого шведского наступления. Удалось уточнить численность и состав наступающих неприятельских частей. Приближалась громадная шведская армия во главе с королем.

Приехав в Гродно, Петр тотчас же распорядился, чтобы войска оставили город. Через два часа после того, как он со своей свитой выехал из Гродно, в него вступил Карл...

Петр отправился в Вильно. Здесь его ждали фельдмаршал Шереметев и Меншиков. Петр устроил с ними военное совещание. Он рассказал о наступлении шведских войск и их намерениях.

Толстый, с усталым, одутловатым лицом, фельдмаршал Шереметев не спеша поднялся, степенно сказал:

— Я, государь, разумею так: Карл неминуемо должен свои войска двинуть через Двину, потому другого пути ему нет. Вот тут-то, на переправе, ему и надобно баталью знатную дать, чтоб запомнилась она ему на всю жизнь... Я уже велел своей пехоте залечь по берегу. Тут ужо наша матушка пехота поддаст ему жару... А конницу с флангов пустим.

— Вот-вот! — с живостью подхватил Меншиков.— Ежели с трех сторон нажать на шведа, так ему зело жарко станет, неминуемо кинется купаться в Двину.

— Нет, — в раздумье покачал головой Петр, — так не гоже. Карл не дурак, чтоб, как мышь, в мышеловку идти... Прикажи, фельдмаршал, нашим войскам ретироваться к своим границам. Приманим шведов подальше к себе, вглубь, а там ужо и бить будем. В родной избе и стены помогают... Только надобно зело зорко смотреть, куда свой путь Карлушка направит. Пути-то ему теперь широкие открыты. Может на Лифляндию пойти, а то на Новгород направится, либо и на самую Москву ударит, а то, глядишь, и на Украину вздумает двинуться...

Петр вспомнил о булавинском восстании, которое встало ему поперек горла, задумался.

— Больно уж мое сердце сия зараза гложет,— сказал он вслух.

— О чем говоришь, мин херц? — не понял его Александр Данилович.

— О Кондрашке Булавине говорю. Надобно Кондрашкину заразу выжечь. Советуйте, генералы, как от сей заразы избавиться?

— Что ж, государь, — проговорил Меншиков, — надобно на усмирение Кондрашки войско послать.

— А откуда взять солдат? Отсюда я ни одного не спиму.

Шереметев откашлялся. Петр понял, что он хочет что-то сказать.

— Говори, фельдмаршал, что надумал? — посмотрел на него царь.

— Отсюда, государь, мы не можем войско брать. Ежели бы ты мне еще дивизии три дал, так я б тебе за то земно поклонился... Швед — лютый враг, надобно его натиск с великим упорством удерживать. Ведь ему теперь пути широкие открылись: куда захочет, туда и пойдет... А насчет Кондрашки Булавина дума у меня такая: ежели у нас сейчас свободных полков нет, то их надобно создать.

— Рекрутов, что ли, новых набрать? — спросил Петр. — Это длинная история. Покуда их обучишь военным наукам, так Кондрашка может и до Москвы добраться... Нет, это не гоже.

— Не о том, государь, я речь веду. Я разумею так, что надобно всех дворян да царедворцев, кои дома сидят, на коня посадить да на Кондрашку послать. Ежели они будут сидеть в одиночку дома, то их Булавин, как кур, переловит да перевешает... А собрать их — это будет большая сила.

— Верно, фельдмаршал, верно,— согласился Петр.— Надобно так и сделать. А в подмогу им слободские полки Шидловского послать. Они, как черти ладана, не любят донских казаков из-за бахмутских варниц. Не раз из-за них грызлись друг с другом... А вот кого мы командиром супротив Булавина поставим, а?..

Петр закрыл глаза, перебирая в уме всех офицеров, способных возглавить экспедицию.

— Надумал! — весело вскричал Петр, открывая глаза.

Он вспомнил о сравнительно молодом гвардейском офицере, майоре князе Василии Долгоруком *, брате убитого булавинцами князя Юрия Долгорукого.

— Ваську Долгорукого пошлем. Сметливый офицер, разумный и храбрый. Как раз на Украйне теперь сидит, тамошними казаками занимается. За брата своего убитого будет мстить Кондрашке круто.

— Правильно, государь,— поддержали его и Меншиков и Шереметев.

Петр взял гусиное перо, обмакнул в чернила и крупно вывел на бумаге:

«Роспись, кому быть.

Бахметеву со всем. С Воронежа 400 драгун. С Москвы полк драгунский фон Делдина да пехотный новый. Шидловский со всей бригадой, также из Ахтырского и Сумского полков. К тому ж, дворянам и царедворцам всем и прочих, сколько возможно сыскать в Москве конных».

С минуту Петр сидел задумавшись, а потом на том же листе пониже написал:

«Рассуждение и указ, что чинить.

Понеже сии воры все на лошадях и зело легкая конница, того для невозможно будет оных с регулярною конницей и пехотой достичь, и для того только за ними таких же посылать по рассуждению. Самому же ходить по тем городкам и деревням (из которых главный Пристанский городок на Хопре), которые пристают к воровству, и оные жечь без остатку, а людей рубить, а заводчиков на колеса и колья, дабы сим удобнее оторвать охоту к приставанию воровства у людей, ибо сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть.

Прочее полагается на господина майора».

ГЛАВА XV

Над лесом появилось солнце. Небо поголубело, и по нему, как белые клубы пара, задвигались слегка порозовевшие облака.

В лесу потеплело. Снег почернел. Ожили ручьи. Холодная мутная вода побежала в балки и овраги. Оголенные рогатины ветвей покрылись набухающими почками. Лопаясь, они наполняли лес сладким ароматом. В прели прошлогодней травы голубыми огоньками вспыхивали подснежники. И день ото дня все больше и больше заполнялся лес веселым, неумолчным звоном птиц.

В низинах вода, пенясь и кружась в пузырях, медленно движется. На плывущей коряге, переплетясь и сбившись кольцами, недвижимо лежат желтобрюхи и медяницы, поблескивая дробинками маленьких глаз.

На буром холме, напуганные половодьем, сидят зайцы. Они сбились в кучу, дрожат от страха. В кустах мелькнул рыжий ком шерсти. Вот из-за пня показалась вороватая продувная мордочка лисы. Маленькие глазки горят жадностью. Она застывает в напряжении, внимательно оглядывая зайцев, пружинно крутя хвостом. Молниеносно хватает зазевавшегося зайчонка и исчезает. Зайцы в ужасе разбегаются.

Жалобно скуля и озираясь, бежит тощий волк...

Уж какой раз в своей жизни встречает Ольга весну в лесу. Все здесь до мельчайших подробностей знакомо ей. И каждый раз, как только оживала природа, как только лес заполнялся ароматом распускающейся зелени и всюду начиналась неугомонная кипучая жизнь зверей и птиц, Ольга чувствовала прилив крови, в висках стучало, а сердце наполнялось щемящей тоской...

Ольга бредет по лесу. Сегодня ей особенно не по себе. Как никогда, остро ощутимо одиночество.

Медленно догорал вечер. Затихли лесные звуки и шорохи. Кроны исполинских деревьев пламенели в багряных лучах заката. И от всего здесь исходила непонятная грусть, вечерняя печаль.

Ольга только что оправилась от нападения медведя. Несколько месяцев она лежала в постели, борясь со смертью, и только искусное лечение старика спасло ей жизнь.

Прислонясь к стволу дерева, она задумалась о своей нерадостной жизни. Шли годы, отцветала юность, и никому не нужна ее большая любовь, которую она, как драгоценность, носит в своем сердце. Тот чернобородый казак, который когда-то, как видение, явился к ней, исчез навсегда, оставив в ее сердце тоску и страдания. С тех пор образ его всегда в ее думках и сновидениях...

На суку сидит филин. Молчаливый и недвижимый, он с задумчивой сосредоточенностью, как бы сочувственно смотрит на нее. По лесу носятся мягкие вечерние шорохи, со звоном булькает в ручьях вода, на ветвях озабоченно болтают птицы, усаживаясь на ночь.

— Кондратий! — в глубокой тоске вырвалось из груди Ольги.

Филин испуганно вздрогнул и, захлопав крыльями, поднялся в воздух.

Откуда-то издалека, чуть слышно, донеслось:

— Эй-ей-ей!

Ольга с недоумением прислушалась. Кто бы это мог быть? Отец? Но он дома готовит рыболовные снасти и не мог кричать с той стороны. Кто ж это? Кто мог прийти в лес в эту пору?

И снова издалека послышалось:

— Эй-ей-ей!

Ольга быстро пошла по звериной тропе в гущу леса, навстречу крикам.

Крики становились все ближе и ближе. Приложив руку к сильно забившемуся сердцу, Ольга побежала. Ожидание, мелькнувшая догадка влекли ее на эти крики. По лицу ее хлестали до крови ветви, из-под ног дождем сыпались брызги, окатывая ее холодной водой.

Она выбежала на лужайку и остановилась, тяжело дыша. Навстречу ей ехали три всадника, ведя в поводу запасных лошадей. Узнав переднего, она вся затрепетала.

Кондрат Булавин подскакал к ней. Остановился. Сзади ехали писарь Тит Чекин и Мишка Сазонов.

— Ездил раскольников приворачивать к себе,— сказал Кондрат.— Тут их в лесу немало живет... Да вот вспомнил о тебе, Ольгушка, и заехал проведать. Как живешь, девонька, в лесу? Не истосковалась ли тут со зверями?

— Истосковалась,— сказала Ольга и заплакала.

— Чего ж ты плачешь-то? Не хочешь здесь жить?

— Не хочу, мочи моей нет больше...

— Так что ж, поедем с нами. У нас, девка, жить весело.

— Возьмешь меня, Кондратий? — просияла она от счастья.

— А почему ж не взять? Собирайся, завтра утречком поедем.

Старик Никифор, отец Ольги, был несказанно поражен, когда Ольга, вся сияющая от радости, пришла с Кондратом в избушку, заявила, что она завтра покидает его.

— А я куда ж? — растерялся старик.— Как я останусь один? Кто будет стряпать мне, кто стирать?

Кондрату стало жалко старика.

— Поедем с нами, дед.

— А изба, а мое хозяйство? — изумленно посмотрел старик на Булавина.— Мыслимое ли дело? Весь век наживал.

— Бросай свою берлогу, дед. Будет тебе волком-то тут жить. Поедем на люди, все у тебя там будет: и курень и хозяйство.

Старик ничего не ответил, а наутро, когда Кондрат с Ольгой стали собираться в дорогу, стал собираться, кряхтя и вздыхая, и он.

— Значит, надумал с нами ехать? — спросил у него Кондрат.

— Куда ж деваться-то? — сокрушенно вздохнул старик.— С волками, что ли, мне сгибать тут без креста и молитвы одному?

Когда солнце поднялось над лесом и все здесь вокруг заполнилось радостным звоном птиц, от лесной избушки отъезжали пять всадников.

Старик Никифор скорбно оглянулся на три креста над могилами и вытер шершавой ладонью глаза. Много лет прожил он здесь, много пережил радостей и горя, а теперь бросал он свою избушку, хозяйство и родные могилки. Бросал все и ехал неведомо куда...

ГЛАВА XVI

Лукьян Хохлач пришел к Булавину.

— Атаман,— сказал он,— прослыхали мы, будто в Тамбове на государевом конном заводе есть добрые кони... Ох, и добрые же, говорят! Не кони, а огонь! Отпустил бы ты нас, атаман, за ними, а? Привели б тебе доброго жеребца.

Кондрат уже слышал, что действительно на царском конном заводе в Тамбове есть несколько сот чудесных породистых лошадей. У Кондрата коней было мало, и мысль обзавестись хорошими лошадьми его соблазняла.

— Ну что ж, Лунька,— согласился он.— Бери казаков да с богом езжайте... В добрый час!

На следующий день Лукьян с Митькой Туляем, набрав стосабельный отряд самых отважных, лихих казаков, выступили в поход.

В Тамбове войск не было. Драгунский двор, на котором находились лошади государственного завода, охранялся малочисленной стражей. Булавинцы появились неожиданно. Стража отбивалась слабо. Захватив триста самых лучших лошадей, булавинцы ускакали.

На обратном пути, около деревни Михайловской, Лукьян заметил медленно двигавшийся по грязной дороге обоз, окруженный конными солдатами.

— Митька, — сказал он, — глянь, чего-то везут.

— И впрямь везут, — согласился Митька. — Может, водку?

— А может, кафтаны да оружие.

— Все может быть,— согласился снова Митька.

Они ехали несколько времени молча.

— Митька!

— Чего?

— Может, налетим?

— А что ж, налетим.

Когда они сказали об этом своим казакам, те приняли восторженно их предложение.

Отряд разделился пополам. Одна половина осталась с лошадьми, а другая, во главе с Лукьяном Хохлачом и Митькой, дико завизжав и загикав, сверкая кривыми турецкими саблями, неожиданно обрушилась на солдат. Произошла короткая схватка. Солдаты частью были побиты, частью ускакали.

Яростно и долго отбивался лишь один молодой бледнолицый, красивый офицер. Он зарубил уже троих булавинцев и сейчас бился с двумя. Митька ринулся на него и с силой оглушил его тупой стороной сабли. Офицер без сознания ткнулся лицом в гриву лошади.

— Атаману его повезем,— сказал Митька, бросая саблю в ножны.

На подводах оказался странный груз: в каждой телеге сидело по пять-шесть молодых женщин.

— Куда вы, женки, едете? — спросил Хохлач.

— В Азов,— дрожа от страха, пропищала черноглазая женщина.

— В Азо-ов? — протянул Хохлач.— Это зачем же?

Оправившись от испуга, женщины рассказали, что в Москве была собрана тысяча девиц и молодых вдов, которых партиями направляли в Азов и Троицкое для вступления в брак с солдатами гарнизонов. В Москве, дескать, были переписаны многие невесты. Из каждого десятка их одна по жребию должна была ехать в эти города выходить замуж, а остальные девять обязаны были снабдить ее приданым и двадцатью рублями.

— Во, Митька,— захохотал Хохлач, подмигивая Туляю, — невесты-то богатые... Выбирай, зальян, любую.

Митька ухмыльнулся:

— Это добыча-то, Лунька, пожалуй, похлеще твоих лошадей.

Он оглядел подводы. На телегах сидели дебелые, красивые девки одна краше другой. Митька даже растерялся, не зная, на ком остановить глаз: до того уж они были все пригожи, так, кажись, и приголубил бы их всех у своей широкой груди. Вот оно, счастье-то!

Подъехали коноводы с лошадьми. Хохлач заторопился:

— Поехали, браты, не ровен час, могут еще нагнать да отобрать коней. Трогай! Поехали, с богом!

Возвращение булавинцев было веселым. Казаки не отъезжали от подвод с девками, вступали с ними в разговоры, перебрасывались шутками и прибаутками.

Митька облюбовал себе красивую, рослую девку. Звали ее Лушкой. Она была смешливая, веселая.

Митька решил не разлучаться с Лушкой: как приедет в Пристанский городок, так сейчас же потребует, чтоб поп Питирим обвенчал его с нею.

Улучив момент, он шепнул ей:

— Лушка, ты давай-ка мне двадцать целковых, какие везешь в приданое, а то, не дай бог, потеряешь, а они нам в хозяйстве пригодятся.

Вздохнув, девка подняла подол и покорно вынула из гаманка деньги.

Молодой офицер, которого Митька взял в плен и вез к Булавину, сидел на передней подводе и, подпирая обеими руками покорную голову, с опаской поглядывал на казаков. Митька проникся жалостью к офицеру. Видя его одиноким и несчастным, он подскакал к нему и радушно предложил:

— Слышишь, милый человек, может, к девкам подсядешь? А? Веселее будет. А то ведь, как привезем к атаману, все едино тебя на кол посадим. Развлекайся, покуда жив.

— Спасибо,— мрачно усмехнулся офицер.— Не надо. Развлекайтесь сами.

— Да нам что... Пересаживайся, право...

— Не надо.

— Как хочешь, была б честь оказана, — обиделся Митька и отъехал.

За дорогу казаки так сдружились с девками, что как только прибыли в Пристанский городок, сейчас же потребовали, чтоб поп Питирим венчал их. Но тот наотрез отказался: был великий пост.

— Вот ужо придет красная горка, тогда и обвенчаю оґулом,— сказал он,— а покуда живите невенчаные.

Когда пленного офицера привели к Булавину, офицер сразу же узнал атамана. Да и Кондрат узнал офицера.

— Здорово, господин офицер,— засмеялся он.— Вот как на свете бывает: гора с горой не сходятся, а человек с человеком завсегда встретятся. Привел господь бог нам с тобой свидеться...

Офицер промолчал.

— Стало быть, теперь, Матвеев, мы с тобой в расчете, — сказал снова Кондрат. — Тебя б следовало в воду кинуть, но раз ты меня осенью от погаев упас, то и я у тебя в долгу не останусь... Милую тебя.

— Не особо желательно мне от тебя милость получать,— мрачно ответил офицер.— Но раз ты мне даруешь жизнь, то спасибо. Только скажу тебе прямо, атаман, хочешь гневись, хочешь нет: ежели б я знал, что тогда осенью ко мне в руки попал сам Кондратий Булавин, то я б тебя не пощадил.

Откровенность офицера Кондрату понравилась. Он захохотал.

— Молодец! Я сам такой. Видать, парень ты с норовом.

— Уж какой есть. Каким господь бог уродил.

— Ну, ничего,— добродушно сказал Кондрат.— Вот погутарим с тобой, пополднюем — небось маленько пообмякнешь. Садись вот,— указал он на скамью рядом с собой.— Эй, бабы! — крикнул Кондрат за занавеску у печки, где Ольга с Галей возились за приготовлением пищи.— Собирайте на стол полдневать.

Ольга отдернула ситцевую занавеску и, поклонившись, начала подавать на стол блюда с кушаньями.

Ольгу теперь и не узнать было. Она вся сияла от счастья. Радостная и довольная своей жизнью, она любящими глазами взглядывала на Кондрата, давшего ей это счастье, и каждый раз, как только их взгляды встречались, лицо ее розовело от смущения. Кондрат богато одарил ее. Еще никогда в жизни она не одевалась так роскошно. На ней розовый из камки сарафан и атласная

душегрея. Густые русые волосы вобраны в сетчатый волосник, усыпанный жемчугом и каменьями. На шее дорогие ожерелья и монисто. На ногах красные сафьяновые саножки. В этом непривычном наряде она чувствовала себя немного стесненно и неловко.

Молодой офицер с изумлением смотрел за занавеску. Там стояла Галя, прекрасная и стройная. Она взглянула на офицера, и ее глаза, печальные, жгучие, казалось, проникли в самую глубину его души. Таких чудесных глаз он никогда еще не видел.

В курень вошли дед Остап с домрой, поп Питирим, писарь Чекин и Мишка Сазонов. Вскоре пришли и Хохлач с Митькой Туляем. Все уселись за стол.

— Спасибо, браты, что не побили Александра,— кивнул Кондрат на офицера,— ведь он мне жизнь спас осенью.

— То ж я его, атаман, не предал смерти, — с гордостью сказал Митька.— Казаки было поровили ему башку ссадить, да я не дал. Думаю, может, атаману зачем надобен будет. Вот и привезли его к тебе.

— Молодец, Митька,— похвалил Кондрат.— Спасет тебя Христос за это.

— Милостивец,— поглядывая на еду, облизывал губы писарь,— но сухая ложка рот что-то дерет...

— Ничего,— засмеялся Кондрат.— Казачье, брат, горло-то проглотит и долото... Чую, длинноногий, хмельного захотел. Что, ай тебе не ведомо, что запретил я в походе бражничать?

— Атаман-батюшка, — ласково возразил писарь, — то ж в походе, а мы ж покуда не в походе. Неужто тебе жалко по ковшу на рыло хорошим людям дать? Ведь вот с друзяком своим повстречался,— кивнул он на офицера. — Со встречи-то надо глотнуть хмельного...

— Вот леший, уговорил ведь,— смеясь, покачал головой Кондрат.— Ольгушка, дай по ковшу меду добрым людям.

Когда на столе появилось бражное, стало сразу же веселее. Дед Остап дернул струны домры, Мишка Сазонов рванулся на середину хаты, завертелся, припевая:

Моя кундюба чеберица
За Доном жила,
Захотела повидаться,
В решете приплыла...

— Видал, Санька,— подмигнул Кондрат офицеру,— казаки-то как живут? Ве-есело, брат!

Мишка неистовствовал. Он вертелся волчком по хате, плясал на животе, на спине, дрыгая ногами.

Пропью сестру,
Пропью брата,
Я надеюся на то —
Жаличка богата...

Опьяневший Кондрат обнял офицера, говорил:

— Оставайся у меня, Санька. Первым полковником назначу тебя. Ей-богу, оставайся. Полюбил я тебя, брат... Полюбил с той поры, как ты меня от ногаев выручил. Грешным делом, думал я тогда, что свяжешь ты меня да губернатору азовскому отвезешь. Ан ты того не сделал, а отпустил меня... Нельзя мне того забыть. Дай я тебя поцелую.

Они расцеловались. От крепкого меда у офицера кружилась голова. Присутствие Гали его волновало, он не сводил с нее глаз. С нею он не обмолвился еще ни единым словом, но чувствовал, что начинает любить ее со всем пылом своей юношеской души.

Галя стояла у печки, задумчиво поглядывая на офицера, рассеянно теребя свой нежно-розовый кубелек тонкого шелка, спускавшийся почти до колен. Из-под него выглядывали алые шелковые шальвары. Тонкую талию обхватывал серебряный пояс с украшениями из цветных камней и золота. Из-под маленькой куньей шапочки выбивались черные пышные волосы. На румяные щеки свисали жемчужные чикплеки.

Кондрат, заметив взгляд офицера, устремленный на дочь, усмехнулся.

— Дочь-то у меня, Санька, царевна настоящая... Впору тебе, а?

Офицер смутился.

— Вижу, впору,— смеялся Кондрат.— Ежели останешься у меня, то так и быть — отдам за тебя замуж дочку. Галя, пойди попляши!

Она грустно покачала головой.

— Не пойдет, — огорченно сказал Кондрат. — А ведь, бывало, плясала-то как! Господи, любого казака забивала! А теперь вот прихворнула.

— Что ж с ней? — встревоженно спросил офицер.

— Ее женйха домовитые казаки изловили,— шепнул на ухо офицеру Кондрат.— Казнили, должно. А добрый казак был, дюже добрый. На тебя был схож... Потому-то на тебя так Галя и глядит, глаз не спускает.

Мишка все еще плясал, озорно припевая:

Что мне, что мне не гулять,
Что мне не бахвалиться,—
У отца одна овца,
Мне пога достанется...

К нему присоединились писарь Тит и поп Питирим. Поп, грузный, тяжелый, притопывая толстыми ногами, гудел:

Был у тещи я в гостях,
Она плавает во щах,
Я хотел ее поймать,
Она плавает опять...

— Ну что, Санька, надумал у меня оставаться ай нет? — спросил Кондрат.

Офицер пристально посмотрел на Галю, как бы от нее зависел его ответ. Галя взглянула на него большими грустными глазами, и офицеру показалось, что она едва приметно улыбнулась. Офицер вздохнул и сказал:

— Не неволь меня, атаман, с ответом. Дай подумать. Вот поживу у тебя, огляжусь, а тогда и дам свой ответ.

Офицер, конечно, не думал оставаться у Булавина, но ему хотелось несколько дней пожить около Гали.

— Ладно,— сказал Кондрат.— Поживи, оглядись.

ГЛАВА XVII

Примирившись с Лукьяном Максимовым, Илья Зерщиков благодушествовал. Дело оборачивалось так, что теперь как будто можно быть спокойным. Никто не скажет о его связи с Булавиным. Но вдруг он вспомнил о письме, которое писал в Сечь, призывая запорожцев выступить с Булавиным. Илья забеспокоился. Письмо это уличает его в причастии к восстанию. Если запорожцы перешлют его царю, то не снести тогда Илье своей головушки. От беспокойства Илья лишился даже сна. Днем и ночью он стал думать об этом и придумал свалить все на Булавина.

Он написал в Сечь письмо.

«Кошевому атаману,— писал он,— и всему войску Запорожскому его царского пресветлого величества донские атаманы и казаки, наказный войсковый атаман Илья Григорьев Зерщиков и все войско Донское челом бьют. В нынешнем 708 году, в филиппов пост, приехал к вам в Сечю вор и изменник, донской казак Кондрашка Булавин с единомышленниками своими и привез прелестные воровские письма и сказывал вам, будто мы войском Донским от великого государя отложились и для того будто ево, вора, к вам прислали, чтобы вы войском шли б к нам, войску Донскому, на помочь. И тем его словам прелестным вы не поверили и из Сечи ево выслали вон... И ныне мы войском Донским в своем войсковом кругу приговорили послать от себя к вам в Сечю свое письмо, для подлинного уверения, что мы великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу служили верно и за православную христианскую веру, и за него, великого государя, готовы головы свои положить... И вам, кошевому атаману, и всему войску впредь таким ворам и никаким возмутительным письмом и ево, Булавина, товарищам не верить. А буде такие воры к вам явятся, то их присылать к нам Войску или в Троицкий или на Таганрох, оковав, за крепким караулом... Атаман Илья Зерщиков».

Послав письмо в Сечь, Илья успокоился и повеселел.

Сейчас в Черкасске о Булавине ничего не было слышно. Старые друзья Илья Зерщиков и Лукьян Максимов встречались по-прежнему, как и в доброе старое время. Попивая винцо и медок, вели задушевные разговоры, вспоминали свои прежние походы, ни единым словом, ни намеком не обмолвясь о кровавом деле, по их наущению разыгравшемся несколько месяцев назад в Шульгинском городке. Словно ничего и не случилось.

Но вот по Черкасску поползли тревожные слухи: Булавин появился в Пристанском городке, собирает большое войско, готовится к походу на Черкасск. Вначале этим слухам не верили, но потом с верховья Дона приехал Ефрем Петров и подтвердил правдивость слухов. Он даже показал копию с прелестного письма Булавина, посланного тем по казачьим городкам с призывом идти к нему.

— Ну что, браты,— сказал решительно Максимов на совещании старшин, — покуда вор Кондрашка будет там собирать свое войско, надобно нам сейчас же созвать казаков да напасть на него... Покуда он там будет собираться, мы окружим его и разгромим.

— Правду говоришь, Лукьян, — согласился Ефрем. — Надобно немедля идти разбивать вора, а то он нам таких делов наделает, что и не расхлебаешь потом... Вы тут собирайте круг, а я поеду с Соколовым Тимохой к Толстому в Азов — надобно с ним потолковать о сем деле. Может, он батальщиков своих в помощь нам даст.

— Добро, — согласился Максимов. — Езжай, только поспешай там. Не задерживайся. А мы тут с Ильей соберем казаков.

Зерщиков молчал. Сообщения Ефрема сбили его с толку. Кажется, напрасно он поспешил примириться с Лукьяном и послать письмо в Сечь. Если правдивы все те вести, которые привез Ефрем Петров, то он не верит в успех предпринимаемого Максимовым похода против Булавина, так как знает настроение большинства казачества,— оно сочувствует восстанию.

Шел от Максимова Илья угрюмый, встревоженный.

— Тьфу! Черти б меня побрали на старости лет, — зло ругал он себя. — Ведь если обо всем этом узнает Булавин, то не сдобровать мне.

Придя домой, Илья сейчас же послал своего сына за Василием Позднеевым.

— Скажи, чтобы зараз же был. Дело есть важное.

Когда Позднеев пришел, Илья плотно прикрыл дверь и спросил:

— Слыхал?

Позднеев встревожился, видя побледневшее, озабоченное лицо своего друга.

— Что, Илья? Говори.

— Булавин с большим войском на Черкасск идет.

— Да я слыхал о том. Брешет, должно, народ.

— Не брешут, а правду говорят... Сейчас только что вернулся Ефрем с верху — сам видал, своими глазами. Народ, говорит, помутился, валом валит к Кондратию... Грозится Кондратий побить всех старшин... Что, Васька, будем делать?

— Зря мы, Илья, помирились с Максимовым. Говорил я тебе: не надо. Так нет, в одну дуду загорелось тебе

с ним скорее помириться. А ныне что будем говорить Кондратию, как заберет он Черкасск?

Илья молчал и уныло думал: «А ежели б ты знал, какое я, старый черт, письмо в Сечь написал?»

— Давай, Василий, писать Кондратию, — после раздумья сказал Илья, — будем просить его, чтоб скорее шел в Черкасск. Мы, мол, тебя ждем не дождемся; все, мол, подготовили к твоему приходу.

— Что ж это мы подготовили? — насмешливо спросил Василий.

Илья вспылил:

— Что скалишься-то? Слушай, что тебе говорят! Я лучше тебя ведаю, что надо делать.

Позднеев знал изворотливый ум своего приятеля, а поэтому довернлся ему.

— Ну, что же, тебе, Илья, видней. Делай, как разумеешь.

— Напишем письмо Кондратию, пусть уверится, что вроде мы на его стороне, а там будет видать. Само дело покажет. Ежели к тому придет Кондрашка в Черкасск да ежели дознается, что примирились мы с Максимовым, то скажем ему, что это мы для того делали, чтобы замаслить Лукьяшке глаза... Да вряд ли дело до этого дойдет. Как только Булавин будет подходить к Черкасску, то, может, подговорим казаков да выдадим Лукьяна головой.

Позднеев со страхом посмотрел на Илью и подумал: «Не человек, а сатана! Он может и родного отца предать».

Азовский губернатор боярин Иван Андреевич Толстой, еще не старый человек, в черном кафтане, подбитом лисицей и отороченном по вороту и подолу бобром, с золотыми шнурами на груди, в высокой меховой, горлатной шапке, сидел молодцевато на рыжем жеребце. Лицо его, по государеву приказу, было чисто выбрито, торчали лишь небольшие усы.

Боярин выехал из крепости для осмотра работ по укреплению городка. Его сопровождала немногочисленная, разношерстно одетая свита: кто успел уже надеть новое иноземное платье, которое велел носить государь, а кто оставался еще в старом русском одеянии, не успев приодеться по-новомодному.

Тысячи работных людей копошились у крепостных стен и на пристани. Слышались стук и звон топоров, пил, лопат. Сотни подвод возили камень, землю, бревна. С песнями вбивали толстые сваи, крошили камень, ссыпали землю.

Толстой, осмотрев работы и отдав распоряжения, направился в городок.

К крепостным воротам подъезжали два всадника. Завидев губернатора, они остановились.

— Здравствуй, боярин, на многие лета, — поздоровались они.

Боярин прищурил близорукие глаза.

— А-а, Петров, Соколов! — узнал он. — Здравствуйте, атаманы! С добрыми аль с худыми вестями ко мне?

— Хорошего покуда ничего нету, боярин, — хмуро сказал Ефрем. — С худыми вестями к тебе, боярин.

— Что такое? — встревожился Толстой.

— А вот уже поедем к тебе, боярин, порасскажем.

Они вместе въехали в городок. Проехав несколько кривых улочек, повернули к новому каменному дому.

Губернатор ввел Петрова и Соколова в большую просторную комнату, устланную коврами.

— Садитесь, атаманы, — сказал Толстой, — да отдыхайте. А я сейчас прикажу принести вина да закусок. Небось с дороги-то проголодались.

Он вышел и вскоре вернулся, переодевшись в короткий французский коричневый кафтан с серебряными пуговицами.

Когда слуги накрыли стол, он пригласил:

— Садитесь, атаманы, отведайте хлеба-соли. Да рассказывайте, с чем приехали.

Казаки не заставили себя долго упрашивать. Они были голодны и с удовольствием подсели к столу. Толстой, мелкими глотками попивая вино, терпеливо ждал, когда они насытятся и начнут рассказывать.

— Плохи дела, боярин, — утолив голод, сказал Ефрем. — Вор Кондрашка Булавин с большим войском идет на Черкасск.

— Кондрашка? — изумился Толстой. — Стало быть, жив еще, дьявол? Откуда ж он идет, Ефрем?

Петров подробно рассказал, что ему было известно о Булавине, и показал Толстому копию с прелестного письма, которое Кондрат рассылал по городкам.

Прочитав письмо, Толстой рассвирепел.

— Да мы его, суностата, на кол посадим за такие дела!

— Допрежде надо его поймать, — угрюмо усмехнулся Соколов.

Толстой задумался. Известие было очень неприятное. Забот прибавлялось. Большая ответственность за подавление восстания ложится теперь на него, Толстого.

— Как же вы думаете поступить? — спросил он у Петрова.

— А ума-разума не приложим, боярин, что и делать,— развел руками Ефрем. — Лукьян Максимов собирает войско. Да разве ж его соберешь? Сам знаешь, казаки-то наши почти все в походе, в Польше да в балтийских землях, супротив шведов бьются... Земно кланяемся тебе, боярин, — низко поклонился Петров, — помоги побить вора, дай войска.

— Слов нет, помочь-то я вам помогу, — сказал Толстой, — но много войска не могу дать. Крепость без войска оставить нельзя. Но небольшой отряд пошлю, да вы там подберете казаков, вот и хватит, чтобы вора разбить... Но тут не токмо дело в войске. Зело уж зараза-то прельстительна. Черный люд, словно к меду, льнет к ней.

Толстой замолк, что-то обдумывая. Потом, придя к какому-то решению, сказал:

— Вот что я вам скажу, атаманы: надобно к Кондрашке послать верных казаков, на коих нам можно было бы положиться, а Булавин поимел бы в них веру... В случае чего эти казаки могли бы предать Кондрашку... Подумай, Ефрем, кого можно послать на это дело.

— Не знаю, боярин Иван Андреевич, на кого и сказать, — задумчиво проговорил Ефрем. — Нету у нас как будто таких казаков. Вот разве Тимоху, — нерешительно взглянул он на Соколова. — Его Кондрашка любит.

— Вот-вот, — оживился Толстой. — Верно говоришь. Тимофей, послужи ты великому государю. Царь тебя не забудет за твою верную службу, наградит своей милостью. Ты был с Булавиным, он тебе верит.

— Я, боярин, не супротив бы, — замялся Соколов, — но боязно. Кондратий дюже зол на меня, ведь убег я от него.

— А ты не бойся, Тимофей, ничего тебе вор не сделает. Скажешь, что убоялся, мол, потому и убег. А теперь

одумался и пришел, мол, служить верной службой. Поверит Кондрашка. Иди, Тимофей, потрудись для государя. Великое дело сделаешь.

— Ну что ж, — вздохнул Соколов. — Ежели такое дело, я согласен.

Через два дня из Азова в Черкасск выходил конный отряд казаков и калмыков под командованием полковника Николая Васильева. С отрядом ехали и Ефрем Петров и Соколов.

А в Черкасске в это время Лукьян Максимов уже собрал казачий отряд.

Двадцать первого марта черкасские казаки, соединившись с азовским отрядом полковника Васильева, под командованием самого атамана Максимова, выступили в поход против Булавина. В войске Максимова насчитывалось восемь тысяч сабель и четыре пушки.

Тимофей же Соколов окольными путями спешно направился прямо в Пристанский городок, к Булавину.

ГЛАВА XVIII

На берегу шла упорная, кипучая работа. День и ночь стояли там шум и грохот. Жгли костры, топили смолу. Строили, конопатили, смолили струги *.

Булавин готовился в поход.

С юга дул теплый ветер. Полая вода заливала низины и займища. На Хопре, у причала, покачивались на волне, сверкая осмоленными боками, новенькие, пахнущие деревом, только что спущенные на воду струги и баркасы.

Кондрат, с засученными рукавами и расстегнутым воротом кумачовой рубахи, с топором, стоял на берегу, наблюдал за работой и помогал там, где требовалась помощь.

Только что спустили на воду большой, вместительный струг, предназначенный для самого Булавина с его старшинами. Кондрат любовался красавцем стругом.

— Эх, и хорош же струг! — воскликнул он восхищенно.

— Здорово, побратим! — сказал кто-то за его спиной.

Кондрат удивленно обернулся. Перед ним стоял Соколов.

— Тимоха? Откуда?

— Из самого Черкасска, — улыбнулся смущенно Соколов.

— Из Черкасска? — нахмурился Кондрат. — Ты что ж там делал?

— Хоронился по чердакам, Кондратий... Да надоело пыль и паутину обтирать, прослыхал про тебя и сбег.

Кондрат усмехнулся, но, вдруг вспомнив что-то, снова нахмурился.

— А куда ты девался, как мы с Лунькой Максимовым у Закатного городка столкнулись?

— Испугался, Кондратий, — виновато сказал Соколов. — По правде скажу — испугался. Хочешь — карай, хочешь — милуй... Как только начали разбегаться твои казаки, так и я сбег. Думал — все пропало.

Искренность Соколова понравилась Кондрату.

— Ишь ведь ты какой, — укоризненно сказал он. — Видать, ты, Тимоха, забыл, что братья мы с тобой перед богом. Я б тебя не покинул никогда при любой беде. А ты...

— Прости меня, ради бога, брат, — вздыхая, сказал Соколов. — Совестно мне о том вспоминать, виноват перед тобой. Помню, что перед богом брат ты мой, потому и пришел к тебе.

— Ну да ладно, бог тебя простит, Тимоха, — миролюбиво проговорил Кондрат. — Забудем про старое. Кто старое помянет, тому глаз вон... Как там, Тимоха, в Черкасском? Ждут меня ай нет?

— Черти их знают, — уклончиво ответил Соколов. — Будто не ждут.

— Это хорошо, что не ждут. Мы на них нагрянем, как гроза в ясную погоду. А скажи вот, Тимоха, ты там, в Черкасском, про Гришку Башмакова ничего не слыхал? Где он нынче?

— Кажись, еще сидит до сей поры в подземелье, — сказал Соколов, хотя хорошо знал, что Григорий еще в январе в числе других булавинцев был отправлен в Москву, где и погиб на дыбе.

— Недолго ему придется там томиться. Ежели поспеем, освободим. Мишка! — позвал Кондрат Сазонова. — Поведи Тимоху к бабам, пусть покормят его.

— Соколов! — обрадованно воскликнул Мишка. — Здорово! Собираются, значит, казаки с одной реки... Пойдем, однодум, угостим тебя.

Дорогой Мишка все порывался спросить о чем-то Соколова, но не решался. Потом все же спросил:

— Соколов, ты там про женку мою ничего не слыхал?

Соколов насмешливо посмотрел на него.

— Слыхал, будто балуется с казаками.

Мишка помрачнел, тяжко вздохнул. Он поверил Соколову, так как знал слабость своей жены. Куда только и девалась после этого веселость Мишкина. Он стал печальный, задумчивый. Прослышав, что Булавин написал письмо в Черкасск Зерщикову и Позднееву и ищет человека, с которым мог бы послать это письмо, он вызвался отвезти его.

— Нет, Мишка, — покачал головой Кондрат, — тебе нельзя туда ехать. Ведь тебя ж всякая собака в Черкасске знает. Пошлю татарина.

Мишка надумал послать с татарином письмо жене. Пообещав писарю Титу ковш меду, он затащил его в займище, подальше от досужих глаз, и потребовал:

— Пиши, писарь, письмо.

— Ух ты! — изумился писарь. — Да ты что, Мишка, ай атаманом стал?

— Атаманом-то, может, и не атаманом, — строго сказал Сазонов, — все же какой ни на есть, а помазанник божий, потому как назначен главным атаманским кашеваром.

— Ох ты, какой! — улыбнулся писарь, глядя на тщедушного, рябого Мишку. — А ты мне меду-то вправду поставишь ай брешешь?

— Сказано, поставлю, стало быть, поставлю.

Писарь, покачивая головой, снял с шеи чернильницу, вынул из сумки гусиное перо, бумагу.

— Ну, говори коль, что писать.

Мишка уселся на траву, задумался.

— Пиши, писарь: «Богоданная моя, болезная моя супружница Аксинья Никитична. По милости всевышнего господа бога мы находимся в живом здравии и благополучии, — токмо горе, конь наш карий околел, — чего и тебе, бесценная наша женка, желаем от всей души нашей. По коню ты, Аксинья, не жалкуй, потому как дали мне другого коня, добрее карего, мерина сивой масти, с лысинкой на лбу, три ноги по щиколку белые. Конь резвый, слава богу. Прослыхали мы, ваш супруг Михаил Иванов

Сазонов, что ты, наша супружница Аксинья, с казаками баловством занимаешься...»

Писарь хмыкнул. Мишка строго посмотрел на него и внушительно сказал:

— Ты, писарь, гляди, не подумай чего худого про мою женку. То ж я нарочно такие слова пишу, для внушения супружеского, чтоб от худых, нечистых помышлений ее сберечь.

— Разумею, — усмехаясь, мотнул головой писарь. — Говори, Мишка, дальше.

— «...Слезно, ради бога, прошу тебя, супружница, береги в чистоте свою ленцу ока, избегая соблазна черного злого духа, до нашего прибытия. Помни Писание: прилепится к жене своей, и будут два в плоть едину. Настрого заказываю тебе, Аксинья Никитична, берегись блуда. На том свете дьяволы ловят блудниц крючком да вешают на самом жупеле...»

Кончив, писарь глубокомысленно сказал:

— Жену бить надобно, тогда она и не подумает о блудных делах. Бей жену — добрей будет, а шубу — теплей будет.

— Я люблю жену, как душу, — хвастливо воскликнул Мишка, — а трясу, как грушу!

— Навряд ли, — с сомнением взглянул Тит на Мишку, — куда тебе, такому щепку.

— Ты не гляди, писарь, что я такой маленький. Кулик — он тоже не велик, а все-таки птица... Иголка — она, брат, не велика, а больно колется.

— Но ведь то иголка, — возразил писарь, — а то ты... Ну, ладно, что о том толковать, пойдем мед пить.

— Зараз пету меду, Тит, — развел руками Мишка. — Вот уже приедем в Черкасск, тогда куплю.

— Ах ты халява! — свирепо рванулся на него писарь. — Ты что ж, вздумал насмехаться, что ль, надо мною? А ну, давай грамотку, издеру.

Но Мишка увернулся и убежал от писаря.

Поручик Александр Матвеев был послан еще в январе азовским губернатором Толстым в Москву с обстоятельным донесением о подробностях убийства князя Долгорукого. Офицер в Москве задержался и, пользуясь оказией, ехал в Азов с обозом невест. Путь лежал на

подставных подводах через Борисоглебск до Паншина-городка, что на Дону. Оттуда уже невесты, как вскроется Дон, должны были плыть на стругах до Азова. Но по воле Хохлача и Митьки Туляя все изменилось. Теперь поручик вынужден был жить в Пристанском городке. И он жил здесь уже вторую неделю. Его никто не удерживал, любую минуту он мог бы уйти куда ему угодно, но он не уходил. Его притягивала здесь какая-то сила. Впрочем, он хорошо знал, что это была за сила — вспыхнувшая в нем, овладевшая всем его существом, всеми помыслами и желаниями любовь к Гале.

Поручик понимал ложность своего положения. Казалось бы, что могло быть общего между ним и девушкой-казачкой, дочерью величайшего преступника, поднявшего восстание голытьбы против нерушимых государственных устоев? Между ними лежала глубокая пропасть. Поручик знал, что его любовь не сулит ему ничего хорошего, и не раз порывался уйти из городка, но властная, непреодолимая сила удерживала его здесь, около Гали.

Матвеев не раз пытался заговорить с Галей, но она уклонялась. Это его очень огорчало.

Последние дни дед Остап прихворнул. Кондрат велел ему не выходить из куреня. Старый запорожец, лежа на нарах, покуривал трубку и рассказывал женщинам диковинные истории из своей богатой приключениями жизни. Ольга и Галя часами просиживали около него, зачарованно слушая его рассказы.

Галя подружилась со стариком. Часто, когда в курене, кроме них, никого не было, она просила его рассказать что-нибудь о Гришке. Старик понимал, что рассказы о нем доставляют удовольствие девушке, и сочинял про Григория разные небылицы. По его словам выходило, что Григорий чуть ли не с десятилетнего возраста водил казаков в поход на Туретчину, овладевал Царьградом, самого турецкого султана полонил, а все жены султанские влюбились в него, но он и смотреть на них не хотел.

Однажды старый домрачей, по обыкновению, лежал на нарах и курил. В курене, кроме Гали, никого не было. С реки слышались крики, там спускали на воду последние струги. На завтра был назначен поход. Вначале старик, перебирая струны домры, тихо пел старые казачьи песни, потом, отложив домру, задумался, вспоминая былое.

— Дед Остап, — попросила Галя, — ты б рассказал какую-нибудь сказку, а то такая тоска на душе...

— Яку ж тебе, моя кохана? Про льва разве?

— Расскажи про льва.

Прохладная весенняя ночь покрывала городок. Галя огня не зажигала, и густая тьма заполняла курень. Во мраке слышался голос старика:

— Жил-был на свити старий-престарий лев. Чуе вин однова, як иде за ним смерть, позвал старий своего сынка, молодого львенка, и каже ему: «Чую, смерть иде за мной. Много, каже, я за свою долгу жизнь бачив и доброго и плохого. Много у меня было ворогив, но никто мене не мог побороть, потому як сильнее мене никого не было на свити... Боялся тилько я чоловика. Пасись и ты его, сынку, бо вин дуже опасный». — «Що ж вин, батько, — дивился молодий лев, — чоловик цей, имее остри и могучи зубы чи що?» — «О ни, хлопец, у чоловика того зубы хужее, чим у новорожденного мышонка». — «Мабуть, батько, у цего чоловика сильны лапы?» — «О ни, сынку, у чоловика того лапы, як соломинки».

Дивився молодой лев ще больше: «Та чим же, батько, страшен цей чоловик?» — «О сынку, чоловик цей...» — не успел сказать старый лев, чем страшен человек, захрипел и умер.

Заплакал молодой лев по своему батькови, затащил его тило в пещеру и закидал камнями. И пишов вин бродить по свиту билому.

Иде вин однова и чуе, як кто-то страшно-страшно кричить. Испугался лев, хотел тикать прочь, да думае: «Ведь я ж лев, царь усих зверей, чего ж я испугался?» Побиг лев на крики и бачить, як махонький ослик страшно-страшно оре.

Лев пытае его: «Кажи, звирь, мабуть, ты ж и е чоловик?» — «О ни, — каже ослик, — я осел, а чоловик там живе, за горой». — «А кажи, осел: чоловик схож на тебя?» — «Слыхав я, — каже ослик, — як люди называли друг дружку ослами, — значит схож».

Бижыть дальше и бачить, як ползе огромадный змий. Ползе и страшно-страшно шипить.

Придавил лапой лев змия и пытае: «Кажи, ты чоловик?» — «О ни, — каже гадюка, — це ж я тилько змий, а чоловик там живе, за горой». — «А чоловик схож на

тебя?» — «Я слыхав, як люди называли друг дружку змиями, — значит схож».

Бижыть лев дальше, встретилась ему лисица; поймав ее лев и пытае: «Кажи, мабуть, ты и е чоловик?» — «О ни, — каже лиса, — це ж я тилько лисичка-сестричка, а чоловик там живе, за горой». — «Кажи, лисичка-сестричка: що, чоловик схож на тебя?» — «Я слыхала, як люди называли друг дружку лисами, — значит схож».

Дивился лев: який же це есть чоловик, ежели вин схож и на осла, и на змия, и на лисицу? Бижыть вин дальше и бачить — на дереви сидит обезьяна.

«Кажи, — пытае у нее лев, — мабуть, ты и е чоловик?» — «О ни, добрый лев, — каже обезьяна, — я обезьяна, чоловик там живе, за горой». — «Кажи, обезьяна: чоловик той схож на тебя?» — «О, це ж мий ридный брат!»

Дивился тут лев ще больше: який же це чоловик, ежели вин схож на усих зверей? Бижыть вин дальше и бачить на скале орла.

«Кажи, орел: чоловик схож на тебя?» — «Я слыхал, — каже орел, — як люди называли друг дружку орлами, — значит схож». — «Кажи, орел, — пытае лев, — що, чоловик той так же высоко летает, як ты?» — «Ни, — отвечае орел, — чоловик не може летать, но у чоловика в голове е така коробочка, из якои вин выпускает птичку... Птичка ця летает выше меня и быстрее, чем молонья. Она называется «мысль».

Бижыть лев дальше и думае: який же це чоловик, ежели вин схож и на осла, и на змия, и на лисицу?.. Обезьяна ему брат, а птичка у него е така, що летае выше орла и быстрее, як молонья...

Побиг лев за гору побачить чоловика. Биг-биг и провалився в яму, вырытую чоловиком.

Подошел к яме чоловик и направляет из лука стрелу в льва. Плаче лев и пытае: «Кажи, мабуть, ты и е чоловик?» — «Да, я чоловик, царь земли».

Вспомнил лев батькови слова: «Пасись, сынку, чоловика», — и заплакал ще дужее. А чоловик спустил калену стрелу и пронзил львиное сердце... Вот и уся моя сказка.

— Хороша твоя сказка, дед! — воскликнул кто-то в темноте.

От неожиданности Галя вздрогнула. По голосу она узнала поручика Матвеева. Не замеченный никем, он вошел в курень и, стоя у двери, прослушал сказку.

— А я всегда гарни сказки сказываю, — проговорил старик и, кряхтя, поднялся. — А що, струги там поспускали чи ни?

— Последний спускают, — ответил офицер.

— Пиду побачу, — сказал старик и, надев кожух, вышел.

Галя думала, что офицер уйдет с дедом Остапом, но он не ушел. Ей стало страшно, она хотела крикнуть старику, чтобы он вернулся, но не посмела.

Офицер молча подошел к ней и сел рядом. Несколько минут он молчал, как бы собираясь с мыслями, потом прерывающимся голосом сказал:

— Хочу отсюда уйти, да не в силах того сделать.

Галя молчала. Он вздохнул и снова глухо сказал:

— А уйти надобно. Погибель моя тут.

Поручик слышал ее дыхание, чувствовал устремленный на себя взгляд ее больших глаз. Ему очень хотелось обнять ее, прижать к своему сердцу, сказать ей, как она ему дорога. Но он не смел это сделать.

Вдруг ему пришла мысль: вырвать, во что бы то ни стало, вырвать ее из этой дикой, необузданной толпы.

— У тебя был жених? — спросил он.

Она не ответила.

— Ты со мною не хочешь говорить, — сказал он опечаленно. — А я к тебе со всей душой... Добра желаю...

Гале стало жалко его.

— Был, — тихо сказала она.

И поручик скорее почувствовал, чем услышал, как она заплакала.

— Ты плачешь? — вскрикнул он с огорчением и схватил ее за руку. — О чем? Галечка... как тебя утешить? Скажи!.. Все для тебя сделаю. Все!

— Гришу жалко, — прошептала она и отняла свою руку из его руки.

Офицер вздохнул. Он видел: все ее мысли и думы были о другом, но он не хотел отступиться от этой девушки.

— Григория твоего теперь в живых нету.

— Нет! — вскричала она. — Он живой! Живой!.. Соколов сказал, что в подземелье он в Черкасске сидит, — и с горечью, казалось, от самого сердца, заговорила: — Сердце мое исстрадалось... Так бы я и полетела к моему любому, разузнала б про моего голубя... Жду не дождусь, когда батя пойдет с войском в Черкасск...

— Ты хочешь в Черкасск? — прервал ее офицер.

— Ой, как хочу! — с болью вырвалось у Гали. — Ведь там же Гриша.

— Так слушай, Галечка, — вскочил озаренный какой-то мыслью поручик. — Слушай! Только не бойся меня, ради бога. Я тебе зла не сделаю. Поедем со мной в Черкасск! Сейчас же поедем. Что в моих силах будет, все сделаю, чтобы освободить твоего Гришку... Поедем, Галя. Собирайся!

Галя была поражена.

— Пропускная отписка твоего отца у меня есть, — горячо говорил офицер, — конь мой, который подарен мне твоим отцом, стоит в конюшне. Сейчас же, пока казаки не пришли с Хопра, оседлаем твоего коня и поедем. Теперь дороги обсохли...

— Так мы ж завтра с отцом поплывем в Черкасск на стругах, — возразила Галя.

— Галечка, твой путь с отцом будет долгий. На каждом шагу предстоят битвы, схватки... Пока вы доберетесь до Черкасска, Григория уже не будет живке.

Гале показалось это убедительным.

— Поедем, — сказала она, вставая.

Ночью они выбрались из городка и поскакали в Черкасск.

ГЛАВА XIX

На следующий день, ранним утром, на берегу Хопра толпился народ. Стоял шум, раздавались крики. На струги грузилась булавинская пехота.

С атаманского струга поп, размахивая скуфьей, оглушающе кричал:

— Садись! Са-ади-ись, атаманы-молодцы! Поплыли! Поплыли в самый Черкасск мед-собирало пить!..

Мишка Сазонов, грозя пальцем молодым бабам, собравшимся на берегу провожать казаков, озорно балагурил:

— Не подмигивай, косая, я видал твое бельмо... У меня в Черкасском другая, я забыл тебя давно.

Бабы отворачивались и хихикали в концы платков.

Наконец все посадились на струги и баркасы и ждали приказа Булавина к отплытию.

Сам атаман еще не приходил. Он был сильно разгневан побегом дочери. Ее хватились только сегодня утром,

долго искали, но потом кто-то сообщил, что Галю видели ночью с офицером Матвеевым выезжавшими из городка.

— Подтынница дьявольская! — гневно кричал Кондрат. — Бросается на шею каждому! Шалава! Ну, черт с нею!.. Прощайте! — стал он прощаться с Лукьяном Хохлачом и Митькой Туляем, остававшимися в Пристанском городке со значительным отрядом. — Глядите тут. Подговаривайте побольше беглых холопов и работных людишек. Посылайте мне их вслед на помощь. Мне много войска понадобится. А ежели батальщики будут плыть по Хопру, не пропускайте, бейте, топите... Как заберу Черкасск, так напишу оттуда, что нам делать.

Он расцеловался с Митькой и Лукьяном и направился к стругу.

— Поплыли!.. По-плы-ыли! — прокатилось по стругам.

На берегу стояла толпа остающихся в городке казаков с девками, отбитыми у Михайловской деревни. При виде Булавина казаки поскидали шапки. Вперед выступил молодой казак, держа за руку дебелую краснощекую девушку.

— Атаман, — обратился он к нему, видимо от всей группы, — что это поп кочевряжится? Просим его Христом-богом, чтоб повенчал нас, а он, дьявол волосатый, говорит: сейчас, мол, пост великий, не хочу на себя греха брать зря. Ежели б, говорит, у вас мед был, чтоб мне до Черкасска хватило, тогда б, может, и взял бы на душу грех, обвенчал бы. А где ж мы, атаман, того меду-то возьмем? Все ведь выпили, а больше ты не велел варить. Смилостивись, батько атаман, прикажи попу, чтоб повенчал. А то ведь такому случаю больше не бывать. Где тут на Диком поле сыщешь длинногривого жеребца?

— Да ведь пост, — возразил было Кондрат. — Грех.

— Замолим, атаман. Господь бог милостив... Так-то, повенчанными, грешнее жить. Ни муж, ни жена, не разберет и сам сатана.

— Питирим! — крикнул Кондрат. — Иди венчай казаков.

— Не можно того делать, атаман, — замотал головой поп. — Пост великий. Греха на душу не хочу принимать.

— Отмолим, поп, в Черкасском.

— Ежели б мед был, — ответил поп, — с ним бы веселее грешить, а то меду нет!

— Питирим! — грозно крикнул Кондрат. — В воду кину!

Поп, тяжело вздыхая, сполз со струга; пошатываясь, подошел к толпе.

— А ну, становись! — гаркнул он, словно команду отдавая. — Во имя отца и сына... — неистово замахал он крестом.

Казаки, хватая невест за руки, поспешно становились парами.

— Поп!.. Поп, погодь!.. — закричал кто-то от ворот городка.

Питирим, опустив крест, оглянулся. Из городка, таща за руку запыхавшуюся Лушку, стремглав мчался Митька Туляй.

— Чего ж мне-то не сказали? — обиженно закричал он. — Ай вам неведомо, что мне тоже надобно с Лушкой венчаться?.. Эх, вы!..

— Ну, становитесь, — разрешил поп, — все едино... Исайя, ликуй! — вдруг оглушающе забасил он. — Ликуй, Исайя, ликуй!.. Погодь, — спохватился он. — Идите сюда!

Он взобрался на телегу, стоявшую на берегу.

— Ходи кругом, ходи! — приказал он. — Исайя, ликуй! Ликуй, Исайя, ликуй!

Сто пар венчающихся покорно ходили вокруг телеги, а поп, раскачиваясь и осеняя их крестом, ревел:

— Исайя, ликуй!.. Исайя, ли-куй! — больше пьяный Питирим, как ни силился, ничего не мог припомнить из богослужения, приуроченного к свадьбам. — Да ниспошлет господь бог свою благодать на рабов твоих Митек, Ванек, Манек, Кирюшек, Матрешек, Лушек... Да убоится жена своего мужа, яко... яко... Целуйтесь! Целуйтесь, дьяволы! Всё! С законным вас браком! Не забудьте, коль доведется бывать мне у вас, напоить медом.

Повенчанные пары, довольные, разбрелись по берегу. Снова все уселись на стругах.

— Отчаливай! — раздалась команда.

Весла разом высоко взметнулись и упали, врезаясь в воду. На атаманском струге запели:

Как по синему мо-рю-ю
Плывет легонький корабль...

И сотни голосов подхватили:

Ай, с Дону, с Дону
Плывет легонький корабль...

Мощная тысячеголосая песня разнеслась по займищам и лугам:

Как на этом корабле
Девяносто семь гребцов...

Конница под начальством Ивана Лоскута пошла сухопутной дорогой. Впереди выступали донские казачьи полки. Поблескивая оружием и развевая хвостами бунчуков и кумачовыми хоругвями, они пели любимую песню:

Возмутился славный, тихий Дон
До славного до устьица
До города до Черкасска...

За донцами под водительством старого рубаки, куренного атамана Калина Щуки, ехали запорожцы. Из их рядов неслось:

Гей, був у Сичи старый козак, по прозвищу Чалый;
Выгодував сына Саву козакам на славу...

На добрых конях гарцевали калмыцкие и татарские наездники.

Сзади везли пушки, скрипели тяжелые обозы с пороховым зельем, разным снаряжением и продовольствием. Под охраной отряда бахмутских солеваров пастухи гнали огромные стада скота, отбитые у бояр и помещиков.

Довбиши ударяли палками в котлы и бубны, звонко гремели медными тарелками, трубачи неистово вопили в трубы, калмыки пронзительно свистели в дудки...

Степные звери в испуге разбегались от неожиданного шума и гама, птицы взлетали в воздух и стаями кружились над степью.

В глубине неба парили орлы, ястребы и вороны. Хищники предчувствовали кровь...

ГЛАВА XX

Король Карл, усталый, измученный, возвращался в Гродно. Он только что объехал деревни и села, в которых были расположены его войска, отдыхавшие после тяжелых боев в Саксонии. Король проделал за день до семидесяти верст и сейчас, подъезжая к городу, почувствовал, как все его тело ломило. Раньше этого не было — уж не заболел ли?

У окраины города его чуть ли не с полудня поджидал адъютант.

— Какие новости, Иоганн? — не взглядывая на офицера, спросил хмуро король.

— Посол гетмана Мазепы, ваше величество, Данила Апостол прибыл с казаками.

Король презрительно скривился, ничего не ответил. Миновав несколько кварталов, он завернул в кривую улочку и рысью подъехал к небольшому дому, в котором жил. Не спеша слез с лошади, бросил поводья подбежавшему конюху.

— Оботри коня насухо, — сказал ему король.

Конюх молча поклонился и взял коня. Карл быстро направился к дому, по дороге стряхивая грязь с кафтана. Адъютант привык к странностям короля. Передав своего коня тоже конюху, он направился вслед за королем. Он видел, как король, перед тем как войти в дом, сбросил с себя кафтан, оставшись в голубой куртке с желтыми пуговицами, повесил кафтан на гвоздь у двери, чтобы почистили от грязи, и уже после этого вошел в дом, в свою рабочую комнату.

Комната была маленькая и неопрятная, но это, видимо, нисколько не смущало короля. Кроме нескольких простых табуреток, стола да деревянной кровати, в комнате ничего не было.

Карл снял с себя длиннейшую шпагу и, скинув куртку, остался в одной сорочке, небрежно повязанной, вместо галстука, черным крепом. Посмотрев на дверь соседней комнаты, король свистнул.

Бесшумно вошла маленькая старушка с морщинистым лицом и накрыла стол скатертью.

Обед был неприхотлив: тарелка горохового супа, каша и на третье кружка легкого пива. Крепких напитков король не пил.

Пообедав, король взял из-под подушки Библию в позолоченном переплете, подсел к окну, стал читать.

Странный был этот король. Всем своим образом жизни, поведением и манерами Карл XII внушал страх и изумление не только своим подданным, но и иностранцам. Был он груб, молчалив, замкнут. К роскоши и удовольствиям, свойственным его высокому положению, питал отвращение. Носил грубую, простую одежду; его конюхи одевались красивее и опрятнее, чем он. Не любил

он также, чтобы его сопровождала пышная свита, нередко ездил один. Все так уже привыкли к этому, что не удивлялись, если встречали короля лишь в сопровождении адъютанта или даже одного, запыленного и обветренного, на загнанной быстрой ездой лошади.

Куда бы он ни приезжал — в город или село, — он выбирал наиболее мрачный, одинокий дом.

Король делал вид, что углублен в чтение Библии, на самом же деле он обдумывал беседу, которая должна состояться у него с послом украинского гетмана, Данилой Апостолом. Так продолжалось около часу.

— Иоганн! — крикнул король, закрывая Библию.

Распахнулась дверь, вошел адъютант.

— Позови Гилленкрока.

Адъютант вышел. Минут через пять в комнату короля поспешно вошел его советник Гилленкрок, высокий, полный мужчина, лет под шестьдесят, в пышном парике, так же просто одетый, как и король.

— Ваше величество приказали мне явиться? — с почтительным поклоном спросил он.

— Да. Скажите, друг мой, вы с гетманским посланцем Апостолом говорили?

— Очень мало, ваше величество. О пустяках. О серьезных вещах я не смел без вашего разрешения вести беседу.

— Каков он?

— Хитер и лукав, ваше величество.

— Гм... Но моего Гилленкрока, я думаю, он не перехитрит?

— Надеюсь, ваше величество, — скупо улыбнулся советник.

— На нашем языке он говорит?

— Нет, ваше величество. Но у него есть переводчик. И, кажется, довольно важная особа.

— Ну, что ж, посмотрим. Зовите их.

Королевский советник вышел.

Карл был еще молод, ему минуло всего двадцать шесть лет. Он был худой, нескладный, всегда хмурый. Каштанового цвета волосы коротко острижены. Лицо чисто выбрито. Серые глаза несколько навыкате, свинцовые, тяжелые, и большой мясистый нос придавали лицу суровое выражение.

Подойдя к стене, Карл резким движением руки сорвал с вешалки голубую куртку, надел ее, застегнулся, пере-

кинул через плечо лакированную портупею своей длинной шпаги.

В дверь три раза стукнули. Король свистнул. Вошел адъютант.

— Ваше величество, гетманский полковник Данила Апостол просит вашего позволения войти.

Король молча кивнул головой.

Сгибаясь, чтобы не стукнуться о притолоку, через порог перешагнул длинный человек, одетый в алый жупан, затейливо расшитый золотом, и широкие синие казацкие шаровары, вобранные в желтые сафьяновые сапоги.

Вошедший, скинув запорожскую шапку с жемчужной кистью, низко поклонился.

— Доброе здоровье, ваше пресветлое королевское величество. Дай бог вам долгие годы жить да царствовать на страх своим врагам.

Карл круто повернулся и взглянул на посла Мазепы. Тонкие губы его дрогнули в едва приметной презрительной усмешке. «Старый петух», — подумал он, разглядывая Апостола.

И действительно, в фигуре Апостола было что-то петушиное. Высокий, тощий, он то и дело горделиво вытягивался. На длинной тонкой шее торчала маленькая голова с коротко остриженными белыми, как серебро, волосами. На грудь свисали длинные седые усы. Он пристально, не мигая, смотрел своим единственным, левым, глазом на короля. Правый глаз у Апостола был крив и прикрыт веком, отчего казалось, что он хитро прищурился, словно прицеливался в своего собеседника. Ему было лет под шестьдесят, но он был крепок и гибок, как юноша.

Король молчаливо и внимательно рассматривал гетманского полковника, словно стремясь проникнуть взглядом в полковничью душу и выведать все, что в ней таилось.

Апостол стойко выдерживал пронизывающий королевский взгляд, не спуская своего черного плутоватого глаза и покручивая длинный седой ус.

«Таращь, таращь, чертяка, свои глазищи, — думал он, усмехаясь, — черта с два сморгну! Давай кто кого пересмотрит».

Глаза Карла, как пудовые гири, давили Данилу, и полковник почувствовал беспокойство. Дьявол его знает,

может, король колдун? Не проведает ли он тайные мысли в полковничьей голове?

Апостолу казалось, что все зависит от того, выдержит ли он взгляд короля или нет. Если выдержит, то все будет хорошо, если не выдержит, то король разгадает его темные, глубоко затаенные замыслы.

А замыслы у гетманского полковника были черные.

Вместе с ним, под видом переводчика, приехал еще и другой посол. Оба прибыли, чтобы договориться с Карлом об измене России и вместе с тем украинскому народу. А если задуманная сделка со шведами не состоялась бы, то они как ни в чем не бывало сообщили бы Петру, что ездили к Карлу ради выведывания его злых умыслов.

То ли глаз у полковника был слабее королевских, то ли душа у него была темна, как осенняя слякотная ночь, но Апостол почувствовал, как глаз его заломило и он налился слезой.

«Не моргну! Ей-богу, не моргну!» — твердил полковник, не сводя своего взгляда с короля. Но он почувствовал, как из его глаза выкатилась слезинка и, пробежав по щеке, спряталась в седом усе.

Тонкие бледные губы короля скривились. Полковник побагровел.

«Не выдержал, не выдержал я, старый черт!» — сокрушался Апостол.

— Садитесь, полковник, — указал король на табурет.

Загремев своей кривой, осыпанной дорогими каменьями саблей, Апостол сел.

— Вы меня понимаете, полковник? — спросил король по-немецки.

Апостол пожал плечами, делая вид, что не понимает.

Король повторил вопрос по-польски. Апостол снова пожал плечами и непонимающе развел руками, несмотря на то, что он отлично понимал короля, так как и немецкий и польский языки хотя и плохо, но знал.

Он хотел было встать, чтобы позвать «переводчика», но дверь распахнулась и в комнату вошли королевский советник Гилленкрок и «переводчик».

Второй посол, явившийся к Карлу в качестве переводчика, был уже пожилой человек, лет за шестьдесят, но еще молодцеватый, в зеленом, дорогого сукна, жупане с золотыми застежками на груди. Он с достоинством поклонился королю.

Мнимое незнание языков Апостолом и роль переводчика, взятая на себя вторым послом, понадобились им для того, чтобы получить возможность тут же посовещаться между собой.

Украинские послы приехали с чрезвычайно секретным, предательским предложением гетмана Мазепы.

Жизнь гетмана была полна приключений. В его жизни большую роль играли женщины. Даже и эта посылка Апостола к шведскому королю была ему отчасти внушена одной из влиятельных любовниц.

По натуре человек колеблющийся, склонный к интригам, Мазепа, став гетманом Украины, не был искренен по отношению к России, хотя царь Петр ему очень доверял и окружал его необычайным почетом.

Мазепа хитро лавировал между Турцией, Польшей и Россией. Многие русские и украинские деятели сумели разгадать истинный нрав Мазепы, считая его ненадежным и способным на измену, но Петр верил ему и не придавал значения неоднократным предостережениям.

На Украине орудовали польские эмиссары, которые подстрекали украинцев к присоединению к Польше. Оживленные сношения завязаны были гетманом и с крымским ханом и с Турцией.

До поры до времени Мазепа оставался верен Петру. Он даже сообщал ему о некоторых попытках Турции и Польши привлечь его, Мазепу, на свою сторону, чем еще больше укреплял доверие царя.

Но вот положение изменилось. Началась Северная война. Тут в жизнь лукавого, изворотливого гетмана вмешалась женщина. Она ускорила дело. Колебания Мазепы кончились, и он решил пойти на измену России.

Мазепа был как-то приглашен польским магнатом, имевшим обширные владения на Волыни, князем Вишневецким. Князь просил гетмана быть крестным отцом его новорожденной дочери. Мазепа принял приглашение и прибыл на крестины. В доме Вишневецкого он познакомился с княгиней Дольской, красивой женщиной, которая была агентом польского короля Лещинского. Полька вскружила голову старому гетману. В одно из своих свиданий с Мазепой она осторожно заговорила о Лещинском, для которого хотела бы приобрести поддержку Украины. Видя, что Мазепа внимательно, как будто сочувственно слушает ее, она стала откровеннее и сообщила ему, что

дело идет не столько о Лещинском, сколько о его победоносном покровителе, Карле XII.

Мазепа сначала хотел было прекратить этот разговор. Но несколько слов, как будто небрежно оброненных княгиней, заставили гетмана насторожиться. Дольская упомянула о том, что она имела встречу с русскими генералами Шереметевым и Ренном и слышала их разговор о Мазепе. Они говорили будто бы, что в недалеком будущем гетман будет низложен и его место займет Меншиков.

Все это показалось Мазепе правдоподобным. Он знал, что некоторые соратники царя Петра замышляют поставить Украину в большее, чем ранее, подчинение Москве. Однажды в присутствии гетмана, в Киеве, о намерениях русского правительства проговорился Меншиков.

Княгиня Дольская, видя, что в душу гетмана заронено сомнение, сообщила об этом королю Лещинскому. Тот не замедлил прислать к Мазепе хитрого интригана — иезуита Зелинского, которому поручил говорить с Мазепой не только от имени польского короля, но и короля Карла.

На этот раз Мазепа о новых происках врагов России уже ничего не сообщил царю Петру и договорился с Зелинским о посылке своего полковника Даниила Апостола, ненавистника России, к Карлу для переговоров.

Переговоры начал Карл, без обиняков заявивший:

— Я предлагаю гетману Мазепе союз и свое покровительство.

Гилленкрок стал за спиной короля, внимательно приглядываясь к украинским послам. Уставился на них своими тяжелыми, свинцовыми глазами и Карл.

Второй посол, делая вид, что переводит, сказал Апостолу:

— Ты чуешь, Данило Павлович, що вин нам сказав? Союз и покровительство... Як ты розумиешь, на тому далеко заидешь чи ни?..

— А що там розумить, ты йому скажи, бисовий собаци, що союз його мы в сметани мочити та жраты не будем. А покровительство його у нас в горле застряне. Хай вин, бисов сын, каже, що вин думае про самостийность Украины.

— Посол ясновельможного гетмана пан Данило Апостол, — сказал «переводчик», кланяясь, — приветствует решение вашего величества покровительствовать украин-

скому народу. Союз великого короля, — снова поклонился «переводчик», — могущественной державы, предлагаемый несчастной Украине, есть великая честь для нее, но... — запнулся он.

— Что? — поднял свои густые брови король.

— Но гетман хочет знать мнение вашего величества в отношении будущности Украины.

— О какой будущности говорит полковник? — остро взглянул Карл на Апостола.

— Бач, прикидается дурником, — сказал «переводчик».— Його, Данило Павлович, легко не проведешь.

— А ты йому риж прямо, — произнес с пылкостью Апостол. — Треба видразу выришуваты — хоч пан, хоч пропав! Ничого в жмурки гратысь!

— Гетман, — снова обратился «переводчик» к королю, — просил сказать вашему королевскому величеству, что он готов будет служить вашему величеству со своим войском против московского царя Петра при условии, что ваше величество обещает признать независимость Украины, а гетманство — наследственным...

— Гетман останется мною доволен, — твердо сказал король. — Украина будет независимым государством, но под протекторатом Швеции. Гетман будет королем в своем государстве, королевство — наследственным. Моя власть в Европе велика — что захочу, то сделаю. Мое слово — закон. Гетман должен это понять и честно служить мне. Тогда моему великодушию и щедрости не будет предела.

Карл пристально посмотрел на «переводчика», потом на Апостола и добавил:

— Гетман со своими полковниками должен помочь мне сокрушить Московию.

Завязался долго продолжавшийся торг.

Вечерело. Серые густые тени ложились на улицах города. Королевский адъютант, переступая с ноги на ногу, томился в соседней комнате у двери, прислушиваясь к голосам. Он слышал, как король властно говорил:

— Царю Петру подходит конец. Я договорился о выступлении крымского хана. Ваша помощь также будет своевременна.

Потом король спросил:

— Вы слышали, что на Дону поднял восстание против Петра атаман Булавин?

— Слышали,— отвечал голос «переводчика».

— Надо, чтобы гетман немедленно послал своего посла к Булавину, — продолжал звенеть металлический голос короля. — Надо Булавина перетянуть на нашу сторону. Пусть ваш посол скажет Булавину, что как только я заберу Московию, я отдам Булавину все Придонье вплоть до Саратова и всю Волгу до Астрахани, если он будет мне служить. Все понятно послу ясновельможного гетмана?

— Все понятно, ваше величество, — поговорив по-украински с Апостолом, ответил «переводчик».

Король резко свистнул. В комнату быстро вошел адъютант и застыл у двери.

— Иоганн! — сказал ему король. — Прикажи в городской управе приготовить ужин. Позови на ужин всех моих генералов. Сегодня мы поднимем бокал с гетманскими послами в честь союза короля Швеции с гетманом Украины!

ГЛАВА XXI

Весна 1708 года была ранняя. Уже в марте с юга, из-за моря, прилетели птицы, а в апреле неоглядные равнины Дикого поля покрылись зелеными коврами молодой сочной травы.

Прекрасна степь весною! На многие сотни верст от придонских городов до Азовского и Черного морей лежит она, красавица, не тронутая сохой и лопатой, благоухающая густыми запахами, сладкими и нежными.

Восьмой день ехали поручик Матвеев и Галя. И чем ближе они подъезжали к Черкасску, тем ярче и красивей становилась картина весенней степи.

Весь простор был залит изумрудным морем зелени. Со всех сторон слышался неумолчный, весенний гомон птиц.

В полдень становилось жарко. Солнце палило своими горячими лучами. Сторожевые курганы дрожали в голубом мареве, и древние каменные бабы на них призрачно маячили.

Путники отыскивали затерянное в степи озеро, расседлывали лошадей, стреноживали и пускали их пастись. Садились в тень на берегу и отдыхали.

Перед взором открывался чудесный мир. С шумом и свистом, разрезая воздух крыльями, поднимались и спу-

скались стаи гусей и уток. В камышах бродили черные аисты и, прищелкивая своими красными клювами, выискивали пищу. Брапились на своем непонятном языке журавли, кулики. Неистово гудели лягушки.

Где-то совсем близко слышалось ржание. Подозрительно косясь по сторонам, к берегу подходил табун тарпанов. Прикоснувшись розовыми нежными губами к воде, лошади долго пили. Временами они отрывались от воды, поднимали свои красивые головы и, навострив уши, оглядывались, призывно и звонко ржали, как бы приглашая своих собратьев отведать вкусной воды. Матвеев пронзительно свистел. Тарпаны, вздрагивая от испуга всем телом, в ужасе уносились прочь, громко стуча копытами. Потревоженное маленькое озеро откликалось разноголосыми звуками.

И эти неумолкаемые крики, шум и звон казались прекрасной музыкой, заполняющей все пространство, всю необъятную степь...

Путники поочередно спали до вечера. А когда вечерело, они продолжали путь.

Медленно угасал день. Трава темнела, и лучи догорающего солнца, ложась отблесками по степи, зажигали ее россыпью огня. В вечерней степи особенно остро чувствовался пряный, пьянящий аромат цветов и травы. Курганы становились лиловыми, и каменные бабы на них пылали, как маяки.

Жизнь дня затихала, наступала жизнь ночи.

В бездонной глубине темного неба бесчисленными огоньками вспыхивала гигантская люстра звезд. Кругом становилось торжественно молчаливо, и все здесь, в этом величественном молчании, напоенном благоуханиями ночи, ждало, казалось, чего-то чудесного, непередаваемого.

Всходила неяркая луна. Степь бледнела, и все принимало призрачные, неестественные, причудливые очертания. Впереди неожиданно вырастала тень притаившегося человека. Матвеев поднимал пистоль, нацеливался. Но когда подъезжали ближе, человек оказывался кустом. В каждой балке и буераке, казалось, притаились тени, настороженно следящие за путниками. Клекот летящих лебедей пугал Галю, ей казалось, что кто-то кричит, прося о помощи.

Красива и ласкова степь ночью, но жутка. Там и сям белеющие черепа и кости приводят в содрогание...

Луна исчезала, а небо темнело, и звезды становились ярче и крупнее. Чувствовалось — скоро наступит рассвет.

...Дрогнули первые отблески зари. В небе торжественно, предвещая нарождающийся день, закричал журавль. С сонного тихого озера, неясно поблескивавшего во мгле, будто в ответ на журавлиный крик простонала лягушка, и сейчас же, как по сигналу, хором отозвались тысячи болотных голосов.

По степи пробежал легкий ветерок. Казалось, это, пробуждаясь, сладко вздохнуло утро. Неуверенно и робко на востоке по небу заиграли багровые полоски зари. И все вдруг ожило: обрадованно загоготали гуси, зазвенели птицы, с веселой песней в голубеющее небо взвился суетливый жаворонок.

Показалось свежее, нарядное, словно чисто вымытое солнце. Степь засверкала в своей утренней красе.

...Без особых приключений путники доехали до Черкасска.

Городок жил веселой, беспечной жизнью. По-прежнему кабаки и харчевни были заполнены казаками. Оттуда неслись разгульные песни, шум, крик, смех. По-прежнему на пристани покачивались иноземные галеры с дорогими товарами. Ничто здесь не предвещало надвигающейся с севера грозы.

Поручик оставил Галю на постоялом дворе и пошел к войсковому атаману узнать о Гришке Башикове, но не это, собственно, побудило его пойти к атаману: Матвеев хотел предупредить его о выступлении Булавина в поход на Черкасск.

Максимова дома не оказалось, он был в походе. Тогда офицер направился к заменявшему Максимова старшине Илье Зерщикову. Тот, выслушав офицера, оживился.

— Спасибо тебе, господин офицер, за весть, — сказал он. — Атаман Максимов с полковником Васильевым уже пошли на вора. Ты, может, не побрезгуешь нашим хлебом-солью, отведаешь, что господь бог послал?

— От хлеба-соли не отказываются, — проговорил поручик.

Офицеру хотелось скорее уйти к Гале, но он еще не узнал ничего о Григории, а без этого возвращаться нельзя было. Зерщикову же хотелось во время беседы за ковшом меду узнать у офицера подробнее о Булавине.

— Сейчас, сейчас, господин офицер, — засуетился он.

Он приказал ясырке накрыть стол в своей маленькой комнатке.

Когда выпили меду и в голове приятно затуманилось, Зерщиков осторожно завел разговор о Булавине.

— Скажи мне, господин офицер, как там вор Кондрашка-то? Много ль у него войска и оружия?

— Тысяч двадцать — тридцать, должно быть, будет,— сказал поручик. — Каждый у него вооружен саблей, многие ружьями. В большинстве же они вооружены рогатиной, топором или вилами... Пушки есть малые и большие.

— Ого! — восхищенно воскликнул Зерщиков. — Так его, сатану, не одолеть! Ей-богу, не одолеть! — Но, спохватившись, сокрушенно закачал головой: — Много трудов надобно положить, чтоб тягаться с ним. Войска у него, вора, больно много... Но даст бог, — перекрестился он, — одолеем супостатину.

Узнав все, что ему хотелось, о Булавине, Зерщиков перестал интересоваться разговором. Заметив это, офицер заторопился уходить. Прощаясь с Зерщиковым, он спросил:

— Атаман, скажи, а что, жив али нет булавинский полковник Гришка Банников?

— Банников? Еще в январе месяце отвезли проклятого в цепях в Москву. Там на пытошной дыбе и околел он... А ты что о нем спрашиваешь-то?

— Да видишь ли, какое дело, атаман, — признался офицер. — Кондрашки дочь Галя была вора того невестой. Все рвалась она в Черкасск выручать его, думала, что, может, он еще в подземелье сидит...

— Ну? — впился глазами Илья в офицера.

— А девка-то та, прям, писаная красавица. Признаться, зело полюбилась мне... По сердцу пришлась. Вот думал я, думал, как бы ту девицу из воровского логова вызволить, да и надумал. Говорю ей: «Галя, ежели хочешь, мол, своего Гришку увидать, так поедем в Черкасск. Я, мол, попробую его выручить...» Как услышала она такие слова, задрожала вся. «Поедем, говорит, поедем ради бога, вызволим Гришку». Ну, оседлали мы коней, да и приехали сюда. Бежали.

— А где ж она зараз, где? — забегав глазками, подался вперед Зерщиков.

— На постоялом дворе.

— Куда же ты ее теперь денешь?

— Да вот в том-то и дело, что и сам не знаю, куда ее деть, — вздохнул поручик. — Мне надо в Азов к губернатору явиться, а разве с нею можно туда ехать? Кто она мне? Ни жена, ни любовница. Ежели я с нею приеду в Азов да как признают, что она дочь вора и злодея Кондрашки Булавина, то могут ее на цепь посадить. Да и мне не сладко придется. Не разумею, что делать... А покинуть ее никак не могу. Люба мне она...

— Это ты правду говоришь, — произнес задумчиво Зерщиков, — ежели повезешь в Азов, можешь беды нажить. Брось ее, не возись.

— Что ты! — вскричал офицер. — Разве можно? Я не в силах этого сделать. Вот она где у меня сидит, — указал он на свое сердце. — Да и как я ее могу бросить, раз завез в чужую сторону?

У Зерщикова от какой-то внезапно пришедшей ему в голову мысли весело забегали глазки.

— Слышишь, господин офицер, — сказал он, — оставь ее покуда у меня. Человек, видать, ты хороший. Так и быть, уж сохраню ее тебе. А когда время приспеет, приедешь за ней да и заберешь.

Лучшего, казалось, ничего нельзя было придумать. Офицер восторженно схватил руку Зерщикова.

— Спасибо, атаман, спасибо, благодетель ты мой! Век не забуду. Пусть покуда у тебя поживет, а там видно будет. Как побываю у губернатора, возвращусь сюда поскорее... Вечером, атаман, приведу ее к тебе.

— Приводи, приводи, — ухмылялся Зерщиков. — Сохраню тебе твою пташку.

Поручик застал Галю в нетерпеливом ожидании.

— Ну, что? Жив Гриша? — бросилась она к нему навстречу.

Офицер не решился сказать правду.

— Видишь ли, Галя... — замялся он. — Он, может, и жив, но только его тут нет. Отвезли в Москву.

— В Москву? — побледнела девушка и тяжело села на скамью.

Она долго сидела как окаменевшая, шепча посиневшими губами:

— Неужто мои глазушки не увидят моего ясного соколика? О господи, и за что ты наказываешь меня... Может, там его убили? — подняла она на офицера сухие, воспаленные глаза.

— Может, и так, — буркнул он, не глядя на нее.

— О господи! — вскрикнула она, в отчаянии ломая руки. — Что же теперь делать?.. Что делать?

Поручик подсел к ней, взял ее горячую руку.

— Галя, теперь тебе о Григории нечего думать, далеко он. Послушай меня, я тебе зла не хочу и против твоей воли никогда не пойду... Ежели б хотел, то в степи с тобой все мог бы сделать.

Он замолк и взглянул на нее. Она, печальная, убитая горем, сгорбившись, сидела на скамье, низко опустив голову. Офицеру до глубины сердца стало жалко ее. Он крепко стиснул ее руку, зашептал нежно:

— Галечка, как мне тебя жаль! Как жаль! И люба ты мне. Люба! Жизнь свою готов за тебя отдать!

Она не отнимала от него своей руки и по-прежнему сидела сгорбившись и не шевелясь, молчала.

— Галечка, о Гришке забудь, — продолжал поручик, — не вернется он теперь. Вот поживешь тут у атамана Зерщикова... Хороший он человек. Вернусь я из Азова, встретимся... Может, утихнет твое горе, полюбишь меня.

— Нет! Нет!.. — вскрикнула она, отшатываясь от него. — Никогда я тебя не полюблю. Мне люб Гришка. Весь век буду любить его.

Офицер вздохнул.

— Не сейчас, когда забудешь Гришку!

— Я его никогда не забуду! Никогда! — вскочила она, возмущенная, негодующая. — Да разве можно его забыть? Мы с батей пойдем в Москву, все перевернем, а его разыщем, вызволим.

Она стояла, дрожа от волнения. Глаза ее горели непреклонной решимостью.

— Галя, по Гришки твоего уже вживе нет, — решился сказать Матвеев.

— Убили? — странно вскрикнула она.

— Убили.

Она бессильно опустилась на скамью. Неподвижная, молчаливая, она уставилась широко открытыми глазами в распахнутое окно.

Наступал вечер. Пора было идти к Зерщикову. Поручик сказал ей об этом. Она покорно встала и пошла вслед за ним. Теперь она была бесчувственна ко всему. Что с ней будет дальше — ее не интересовало.

ГЛАВА XXII

Войско, двинутое атаманом Максимовым против Булавина, шло с большими предосторожностями. Впереди, сзади и по сторонам шли небольшие отряды, оберегавшие основные силы от внезапного нападения. Далеко вперед беспрестанно высылались разъезды и отдельные лазутчики.

Седьмого апреля, в полдень, к Максимову прискакали дозорные и сообщили, что верстах в пяти, на лугу, у речки Лисковатки, они видели свежую сакму *. Сакма рассказала казакам-следопытам, что часа два назад здесь прошел отряд не менее чем в сто сабель.

А затем прискакали новые лазутчики и донесли, что к городку Паншину подплывают струги с булавинцами.

Максимов отдал войску приказ остановиться и приготовиться к бою.

Но в этот день ничего не произошло.

На следующее утро на бугрине, возле речки Лисковатки, замаячили толпы булавинцев. Максимов хотел сейчас же развернуть полки в конную лаву и броситься на противника. Он был смелый и решительный человек в бою, знал, что часто неожиданность атаки решает исход битвы. Выхватив из ножен саблю, он помчался по полкам, призывая их броситься на врага. Но, кроме азовских казаков и калмыков, вскочивших на коней и угрожающе засверкавших саблями, никто приказу атамана не подчинился. В черкасских полках, где было много верховых гультяев, поднялся шум.

— Чего кричите? Что за шум? — гневно подскакал к ним Максимов.— Почему не сполняете моего приказа?

— Не пойдем в бой! — запумели казаки.— Не пойдем!.. Не будем биться со своими кровными братами.

Атаман растерялся.

— Атаманы-молодцы! — крикнул он взволнованно. — Да вы что, ай очумели? Опомнитесь! То ж не наши братья, а воры и злодеи. Вы же все крест в Евангелие целовали, чтоб побить воров!..

Но сколько ни убеждал их атаман вступить в бой с булавинцами, казаки наотрез отказались.

— Прежде учини с ними разговор, — потребовали

опп. — Пусть обскажет нам Кондратий Булавин, чего он хочет, чего добивается.

Уж этого атаман никак не ожидал. Сердце его заныло. Он поскакал к полковнику Васильеву.

— Беда, полковник, — сказал он ему упавшим голосом. — Казаки не хотят на воров идти. Что будем делать?

— Созывай, атаман, старшин на совет, — сказал полковник.

Но совет старшин ничего не дал: все они были удручены и растеряны не менее Максимова.

Весь день шумели казаки, требуя от войскового атамана, чтобы он послал к Булавину послов для перемирия. Прислушиваясь к крикам, Максимов мрачно сидел у себя в шатре, придумывал, как бы выйти из тяжелого положения. Только сейчас Максимов понял, какая глубокая пропасть лежит между ними, низовыми домовитыми казаками и верховыми гультяями — беглыми крестьянами и холопами. Теперь он понял, что все они, находясь в его войске, сочувствуют Булавину. При первом же столкновении с ним они перейдут на его сторону. Только в азовских казаках да калмыках Максимов был уверен: они не предадут. Но их было мало. От перебежчиков атаман знал, что у Булавина войска тысяч пятнадцать. Своей массой они задавили бы Максимова с его небольшими силами.

«Что ж делать? Не бежать же позорно назад в Черкасск?»

Булавинцы заполняли весь берег. Оттуда слышались крики, песни, смех. Стреляли из пистолей. Гремели литавры и бубны. Этот веселый шум из вражеского лагеря еще больше угнетал Максимова. Значит, булавинцы уверены в успехе, если так беспечны и веселы.

На следующий день утром к Максимову явился посланец Булавина — Мишка Сазонов. Важный, неприступный, он смело вошел в шатер атамана. Баранья шапка с алым шлыком была лихо заломлена на затылок.

Войдя в шатер, он даже не поклонился атаману и старшинам. Холодно взглянув на Максимова, он гордо сказал:

— Присланы мы от нашего атамана Кондратия Афанасьевича сказать вам, атаманы и все войско Донское, чтоб нам напрасно кровопролитья не чинить...

Максимов взбешенно вскочил и оборвал красноречие Мишки:

— Чего хочет от нас твой вор и злодей Кондрашка? Чего?

Мишка оробел перед грозным видом атамана и, трусливо заморгав, попятился к выходу.

— Чего надобно твоему злодею? Говори!

— Наш атаман, — упавшим голосом сказал Мишка, уже без прежнего задорного вида,— говорил, чтоб вы учинили между собой сыск и всех виновных выдали б ему...

— Ишь, чего захотел, супостатина! — загремел в ярости Максимов, подступая к Мишке. — Да ты что в шапке-то стоишь? Пред кем стоишь? Долой шапку, рябой дьявол!

Мишка торопливо сорвал с себя шапчонку, лицо его посерело. Куда только девался его заносчивый, горделивый вид, с которым он так надменно вошел в шатер. Он стоял теперь перед Максимовым маленький, сжавшийся.

— Дьяволы! — озлобленно скрипел зубами Максимов. — Виновных им выдать! Да я вас, антихристов, всех перевешаю, всех на кол посажаю! Все вы у меня в ногах будете валяться. Кланяйся, дьявол, в ноги мне, приноси повинную!

Мишка вдруг преобразился. Маленькая фигурка его снова приняла важную, горделивую осанку. Глаза гневно засверкали.

— Атаман! — сказал он строго. — Прикуси свой язык! Слышишь, прикуси! Ай тебе не ведомо, что я посол? Не имеешь тех прав, чтоб ругать меня. Замолчи, не то худо будет! — закончил он угрожающе.

— Ах, ты! — в изумлении расширил глаза Максимов. — Да я тебя...

Он рванул из-за пояса пистоль.

— Постой, Лукьян, — загородил собою Мишку Ефрем Петров. — Не горячись. Надобно толком поговорить. Мишка, — обратился он к Сазонову, — скажи толком, чего от нас хочет Кондратий?

— Я все сказал, — вздрагивая от волнения, развел руками Мишка. — Более ничего не ведаю.

— А ну-ка, выйди покуда из шатра, — сказал ему Ефрем.

Мишка с большой охотой выполнил это предложение. Выйдя из шатра, он облегченно вздохнул и отер пот со лба. «Ну и черт же полоумный этот Максимов, — подумал он, — ажно до сей поры поджилочки трясутся».

Его сейчас же окружила толпа казаков. Многие узнавали его и здоровались.

— Здорово, односум!.. Здорово, брат!.. — послышалось со всех сторон.

Мишка, видя такое внимание, снова почувствовал себя большим человеком.

— Слава богу, браты, — отвечал он на приветствия важно. — Здорово и вы.

Его начали расспрашивать, много ли войска у Булавина и чего он добивается.

Вынув кисет с табаком, Мишка начал набивать трубку. Казаки жадно смотрели на него, ожидая, что он ответит.

— Войска у нас, браты, тысяч сто, — сказал он наконец, закурив и выпуская из ноздрей струю синего дыма. — А может, и того более. Вот мы пришли сюда, а вслед за нами десять тысяч стругов плывет, на сто верст тянутся по Дону и Хопру... А конницы тьма-тьмущая. Как саранча, всю степь усыпала, от края до края. Вся Запорожская Сечь с нами, татарская орда тоже у нас, калмыки у нас, все работные люди у нас, все бурлаки и ярыжки у нас, все русаки из Московии и хохлы с Украины тоже у нас. Да у нас, браты, войска-то, господи, сколько — мух на свете и то меньше. Да мы с таким войском не токмо Черкасск — плевое дело его забрать, — мы весь свет заберем. Турского султана завоюем, крымского хана разобьем... Всех бояр побьем и домой мед да пиво пить придем.

Рассказ Мишки произвел огромное впечатление на казаков.

— А ежели, Мишка, мы переметнемся к Булавину, он нас не побьет?

— За что ж вас бить-то, — усмехнулся Мишка, — коль вы сами охотой к нему идете? Приходите ко мне, браты, — я у Булавина первейшим полковником, — не утерпев, приврал Мишка,— я вас всех защищу.

— Придем, Мишка, придем, — с уважением глядя на Мишку, пообещали казаки.

Из атаманского шатра вышел Ефрем.

— Пойдем, Мишка, — сказал он. — Меня послом к Булавину назначили.

— Пойдем, — согласился Мишка.

Они быстро зашагали в сторону булавинского лагеря. Когда вошли в лагерь, многие булавинцы, узнав Ефрема Петрова, насмешливо кричали:

— Что, Ефремка, хвост-то поджал? С повинной, что ли, пришел?

Ефрем угрюмо молчал, не обращая ни на кого внимания.

В полумраке шатра сидели на седлах Кондрат, Иван Лоскут, писарь Тит и поп Питирим.

«Здорово живете!» — по привычке хотел сказать Ефрем, но вовремя спохватился.

— Пришел, Кондратий, говорить с тобой по-доброму, по-хорошему, — сказал он сухо.

— На добром слове спасибо, — насмешливо ответил Кондрат. — Ты что ж, Ефрем, не здороваешься? Ай богатым стал? Видать, забыл своих старых друзяков? Вместе ведь доводилось бывать в походах. Никак, одна чашка-ложка была.

— С ворами и цареотступниками я не здороваюсь, — тихо, но с достоинством ответил Ефрем.

У Булавина дрогнули желваки.

— Сказал, что по-доброму хочешь говорить, — мрачно усмехнулся он, — а сам ругаешься.

Ефрем промолчал. Он переживал унижение от того, что все сидели, а он, войсковой старшина, почтенный человек, стоял перед ними, ворами и злодеями, как преступник, и никто не приглашал его сесть.

— Говори, Кондратий, — сказал он, садясь без приглашения прямо на землю, подчеркивая этим свою независимость, — чего ты от нас хочешь? Чего надобно тебе? Чего ты возмутил весь Дон?

Кондрат нахмурился.

— Ты, Ефрем, вопрошаешь, чего мне надобно? Мне немного надобно, дюже немного.

Он порывисто вскочил с седла и, шагнувшись к Петрову, смотря на него загоревшимися глазами, сурово заговорил:

— Мне, Ефрем, мало надо. Мне надобна голова Луньки Максимова... За то, что предал меня. Сам подговаривал убить Долгорукого, а потом на меня ж с войском пошел... А еще мне надобно, чтоб вы мне без боя отдали Черкасск... И все! Больше мне ничего не надо... Вас, старшин, ежели по-мирному будете соблюдать себя, я не тро-

ну, сошлю лишь кое-кого в верховые городки на вечное поселение.

Ефрем, побледнев, поднялся.

— Этого, Кондратий, не будет! Никогда не будет! Мы с тобой будем биться. Не на жизнь, а на смерть... Лучше ты, Кондратий, подумай да повинись. Ведь пошел ты против государя нашего. Ежели повинишься, то, может, государь-то тебя и простит. Сам знаешь: повинную голову меч не сечет... А ежели не повинишься, то горе тебе будет. Изловим тебя и твоих товарищей и страшной смерти предадим.

Слова Ефрема заглушил дружный громкий смех присутствующих.

Смеялся Ивашка Лоскут, хихикал писарь, грохотал, как гром, поп Питирим.

— Ну и... па... говорил... — хохотал Мишка Сазонов,— сто... пудов... с горохом...

Не смеялся лишь один Кондрат. Он горящими глазами пристально смотрел на Ефрема.

— Ефрем, — сказал он глухо, — государю нашему меня нечего прощать. Я пошел супротив бояр, прибыльщиков да вот таких, как ты с Лупкой Максимовым. Пошел за бедный народ, за их горе и слезы... У меня давно была, Ефрем, охота тебе голову срубить, но, вижу, пришел ты ко мне будто по-доброму, по-мирному, то и хотел я было тебя вживе оставить... А теперь за такие твои слова нет тебе от меня прощения. Нету! Предам я тебя страшной смерти.

Заметив на лице Ефрема беспокойство, Кондрат сумрачно усмехнулся.

— Сейчас ты не бойся, Ефрем. Зараз же ты посол, нельзя того делать. А вот уж когда я тебя изловлю в бою, то тогда пасись меня, Ефрем. Пасись! Горе тебе будет. Истинный господь, горе... Я зря слов не теряю, ты меня знаешь... А своим скажи, что ежели супротивничать будут, хуже будет... Иди, Ефрем, не о чем нам больше с тобой говорить. Проводи его, Мишка, а то как бы его Семка Купицын не поцарапал. Скажи моим именем, чтоб не трогал Ефрема никто.

Кондрат сейчас же отдал приказ готовиться к бою.

И в то время, когда Ефрем, по настоянию казаков, стал рассказывать кругу, чего требует Булавин, неожиданно, со страшной силой, булавинцы обрушились на вой-

ска Максимова. Как и предвидел Максимов, верховые казаки, а с ними и много низовых, сдались Булавину. Ожесточенно дрались только калмыки из отряда Васильева да домовитые, оставшиеся верными Максимову.

На стороне Максимова осталось хоть и мало бойцов — тысячи три, — но все они были люди в боях искушенные, закаленные. Их трудно было сразу разбить.

Отряды конников в клубах пыли стремительно нападали друг на друга, потом снова отскакивали. В весеннем воздухе взблескивала сталь клинков. Лошади без седоков носились по степи, дико ржали. Трещали выстрелы, облачка порохового дыма стлались по полю.

От одной группы бившихся к другой бешено метался на высоком вороном жеребце бородатый всадник, в ярком голубом кафтане. Сабля его сверкала, как молния.

— Здóрово сатана Максимов дерется! — восхищенно воскликнул Булавин, наблюдая за ним с холма. — Вот это казак!

Он дал шенкеля своему белому, как лебедь, чистокровному «арабу», приведенному ему в подарок из Тамбова Хохлачом и Туляем, и стремительно ринулся на Максимова.

Булавин обогнал мчавшихся запорожцев. Он видел, как впереди них на гнедом коне скакал толстый поп Питирим, размахивая пистолем. Поп кричал что-то так громко, что покрывал чуть ли не весь шум битвы оглушающим басом.

— Молодец, поп! — крикнул Кондрат. — Благослови меня, отче, сразить Максимова.

Поп закрестил Кондрата пистолем.

— Господь тебя благослови, атамане! Как сразишь, не забудь тогда поставить ковш меду!

Максимов, заметив мчавшегося к нему Булавина, повернул жеребца и, со свистом замахав над своей головой саблей, помчался навстречу.

Два смертельных врага с необычайной быстротой приближались друг к другу. И каждый, кто их видел, думал, что одному из них уже не жить на белом свете. Откуда-то справа щелкнул выстрел, и пуля со свистом сбила с Кондрата шапку. Испуганный «араб» шарахнулся в сторону. Максимов проскакал мимо. Кондрат оглянулся на выстрел, там с дымящимся пистолем промчался Ефрем Петров.

С криком и шумом на противника налетели запорожцы. Доблестно защищались азовцы и калмыки, но не выдержали яростного напора, дрогнули и поскакали...

Бой закончился полным разгромом отряда Максимова. Булавинцам достались богатые трофеи. Был отбит обоз, четыре пушки, запас пороха, свинец и восемь тысяч рублей.

Бой оказался решающим. Если до этого некоторые городки еще воздерживались от присоединения к повстанцам, то после победы Булавина под Лисковаткой все казачьи городки по Хопру, Медведице, Бузулуку и Северному Донцу присоединились к нему.

Со всех сторон к Булавину потянулись конные и пешие отряды казаков.

ГЛАВА XXIII

Сославшись на болезнь, Тимофей Соколов не участвовал в бою. Пригревшись на солнцепеке, он лежал на корме струга, прислушиваясь к доносившимся отголоскам битвы.

Он был хмур и задумчив. То положение, в котором он находился у Булавина, его угнетало. До сих пор он даже и не пытался искать в булавинском лагере сторонников Максимова. Он знал, что их нет. Нечего было и думать о том, чтобы разложить булавинцев, натравить их на Кондрата, а потом схватить и выдать его Москве. Кондрат пользовался такой любовью и преданностью булавинцев, что если б Соколов попробовал кому-нибудь заикнуться об измене ему, то был бы мгновенно с яростью растерзан.

Угнетало Соколова и другое. Булавин, не подозревая о подлинных планах Соколова, относился к нему по-братски, был откровенен, делился с ним своими думами. Соколов тяготился своей двойственной игрой и решил покончить с нею. Игра была слишком опасной и сложной, требовала огромного напряжения сил.

Прислушиваясь к шуму битвы под Лисковаткой, Соколов думал, что она все должна решить: если победу одержит Булавин, то он будет ему искренне и честно служить, а если возьмет верх Максимов, то покинет Булавина... Впрочем...

Соколов задумался: есть ли смысл тогда уходить от Булавина? Ведь если победит Максимов, то конец Кон-

драта станет близок. От него отшатнутся. Тогда Соколову легче будет найти единомышленников в лагере Булавина и сделать то, что поручил азовский губернатор Толстой. Он закует Кондрата в цепи, выдаст царским властям, его ждут тогда государева милость, богатая награда, почет и уважение. Первым человеком в войске будет. Царь такую услугу оценит и щедро вознаградит... Как знать, может, царь предложит войску Донскому избрать его, Соколова, войсковым атаманом... Вполне возможно. Чем он, например, хуже Максимова?

«Нет, не уйду я от Кондрата», — решил Соколов.

Сразу же повеселев, Соколов вскочил, запел песенку и направился на нос струга, где, с тревогой прислушиваясь к гулу битвы, сидела побледневшая Ольга.

— Ольгушка, что, сердешная, сидишь ни жива ни мертва?

— Боюсь... Боюсь, Тимофей.

— Что ты? — не поняв ее, засмеялся Соколов. — Они сюда не придут. Мы ж вон под какой охраной-то, гляди, — указал он на лежавших на берегу булавинцев, оставленных Кондратом для охраны стругов.

— Я не о себе, — сказала она грустно. — За Кондратия боюсь. Горячий он, шальной... Битва, как хмель, дурманит ему голову. Кинется под пули, и убьют...

На глазах ее навернулись слезинки.

— Это ты зря, Ольга. Знаю я добре Кондратия. Попусту своей головы не подставит. Вернется целехоньким.

— Дал бы господь, — набожно перекрестилась Ольга, глядя на небо.

Ольга нравилась Соколову, и он завидовал Кондрату. Был он вдов, и если б Ольга попалась ему до Кондрата, он, не раздумывая, женился бы на ней. Лучшей жены он себе и не желал. Соколов осуждал Кондрата за то, что тот при живой жене, судьба которой была неизвестна, жил на глазах детей с любовницей. Об этом он как-то даже сказал Кондрату. Тот ответил:

— Не суди, брат. Единый ведь мы раз в жизни живем. Счастье, как голубь, порхает над нашей головой, а мы никак не можем его ухватить, а ежели ухватим, то никак не хотим выпустить из рук... Так и это дело. Люба мне Ольгушка! Хочу свое счастье испить до конца... Это как все едино глотнешь глоток крепкого переварного меду, так и хочется без передышки выпить ковш

до дна... А там что бог даст. Что касаемо детей, то это ты правду говоришь — срамно мне им в глаза смотреть... Вначале, как привез я Ольгушку из лесу, Галька чуть глаза мне не выцарапала. Говорю я ей: «Галя, матери твоей, может, вживе нет, а я ведь еще молодой...» Потом присмирела, замолчала. А вот Никишка, так тот взгальный парень. Как увидел он, стало быть, Ольгушку, так зараз же, ни слова не говоря, крутнулся и ушел. Прослыхал я, будто он с моим братом Иваном у атамана Семена Драного... Так вот, брат Тимоха, хочешь осуждай меня, хочешь нет, — мне все едино.

Гул боя угасал. По-видимому, битва заканчивалась. Вскоре все кругом затихло. Над голубой рекой и над долиной, благоухавшей цветущей, молодой яркой зеленью, горячее покойное солнце разливало весенний теплый день.

Соколов и Ольга нетерпеливо вглядывались в заросший сочной изумрудной травой пригорок, из-за которого должны были показаться сражавшиеся. Каждый думал о своем. Все мысли Ольги были о Кондрате, Соколов стремился предугадать исход боя.

И вот как-то сразу, словно из-под земли, на зеленом пригорке, в сиянии солнечного дня, появились всадники. Они быстро спустились с пригорка и направились к берегу. Впереди на кипенно-белом скакуне мчался Кондрат.

— Кондратий! — вскрикнула Ольга и заплакала радостными, счастливыми слезами.

Соколов искоса взглянул на нее. Он понял: Максимов разбит.

...И снова, мерно ударяя веслами о воду, под раскатистые, разбойные казачьи песни, медленно поплыли струги вниз по Дону-реке. Теперь уже к городу Черкасску.

И снова, под гром литавр и бубен, с звонкими песнями и присвистом, пошли берегом Дона конные казачьи полки: донцы, запорожцы, татарские и калмыцкие наездники.

Подплыли к Есауловскому городку, заросшему терном и диким вишенником. Издали казалось, будто весь городок опушен только что выпавшим обильным снегом. Оттуда резко веяло сладким, одуряющим весенним цветением.

Со стругов было видно, как на берегу с бунчуками и хоругвями стояла большая толпа народа.

С атаманского струга раздался сильный низкий голос Кондрата:

Не на море, не на море, не на синем море...

Поп Питирим подхватил густым басом:

По синю орлы собирались, они крыльями обнимались...

И голос его могучим эхом зарокотал по берегу и займищам:

— Ого-го-го!.. Ого-го-го!..

Со второго струга откликнулись высокие звонкие голоса:

То не поле, не поле, не широком раздолье...

И песня угасала где-то сзади в дружном хоре:

Два брата родные в поле съезжалися,
Они белыми руками друг друга обнимали,
Сахарными устами брат брата целовали...

И снова песня прилетела на передний струг:

Под дубом, под высоким, под кудрявым...

Тонкоголосо, по-девичьи, Мишка Сазонов страстно стонал:

Под высоким, кудрявым они кош свой занимали...

Серебряными колокольцами зазвенел голос Ольги:

Они резвыми ногами белый снег разгребали...

И опять песня, как перелетная птица, уносилась назад, затихая:

Они саблей о саблю огонь высекали,
С каленными стрелами огонь разводили...

На берегу толпа колыхалась из стороны в сторону и ликующе кричала:

— Ура-а!.. Ура-а!..

Струги один за другим с мягким скрипом приставали к песчаной отмели. Толпа неистовствовала:

— Ура-а!.. Здорово, атаман!.. Здорово!

Кондрат, взволнованный бурной встречей, спрыгнул на берег. К нему тотчас же с непокрытыми головами

степенно подошли атаман городка Игнат Некрасов, рослый, голубоглазый казак с черной бородкой, и несколько седобородых казаков. Все они, как на праздник, нарядились в лучшие свои кафтаны, сверкали чеканным оружием.

— Не обессудь, Кондратий Афанасьевич, — сказал Некрасов, подавая на подносе пшеничный каравай, — отведать нашего хлеба-соли.

— Милости просим, — отвесили низкий поклон старики.

— Спасет вас Христос! Спасет Христос! — растроганно говорил Кондрат, принимая поднос. — Так вы, стало быть, со мной? — посмотрел он на атамана и стариков.

— С тобой, Кондратий, — ответил Некрасов.

— С тобой, милостивец,— снова поклонились старики.

— Спасибо, атаман! Спасибо! — воскликнул Кондрат и расцеловал Некрасова. — Спасибо вам, старики! — расцеловал он и их.

От волнения у Кондрата даже голос дрогнул.

— Дюже рад я, что все вы со мной, казаки! И старики, и молодые!

— У меня тут, Кондратий Афанасьевич, до двух тысяч конных казаков собрано, — сказал Некрасов. — Все мы с тобой готовы в поход идти.

— Большую помощь подаете мне, Игнатий! Никогда не забуду вашей верной службы моему правому делу! Будь моим полковником.

— Спасибо, Кондратий Афанасьевич, за доверенность, — поясно поклонился Некрасов.

Жители обильно угощали булавинцев. Всю ночь гуляли они в Есауловском городке, пели песни, плясали, а наутро снова отправились в поход.

Дальнейший путь Булавина по Дону был полным торжеством. Всюду в городках встречали булавинцев, как желанных гостей, с хлебом-солью. Их угощали, несли им хлеб, сало, пшено. На пути казаки толпами присоединялись к Кондрату.

Не все, правда, относились сочувственно к Булавину. Домовитые казаки при его приближении, забирая свои семьи и добро, бежали в Черкасск, надеясь, что туда Булавин не доберется. Многие из них пытались сопротивляться булавинцам, но таких свои же казаки хватали, сажали в куль и топили в реке.

И чем ближе подходил Булавин к Черкасску, тем острее и ожесточеннее развертывалась борьба между домовитыми и голутвенными.

В Цимлянском городке Булавина ждал гонец с радостной вестью. К Семену Драному присоединились все городки по Северному Донцу, и сейчас он с большим войском стоял на Айдаре, ждал указаний Булавина.

— Титка, — позвал Кондрат своего писаря, — пиши Семену, пусть стоит на Айдаре заслоном супротив батальщиков да черкасов Шидловского, покуда мы будем забирать Черкасск. А потом, как заберем, я отпишу ему, что надобно будет делать его войску.

...А в это время по указу царя Петра против Булавина готовилась грозная сила правительственных войск. В Туле формировалась двадцатитысячная армия. Туда спешно из Москвы и других городов направлялись тысячи конных и пеших ратных людей. Собирались в поход украинские, слободские и компанейские полки.

Командующий всеми этими карательными войсками гвардии майор князь Василий Долгорукий, загоняя перекладных лошадей, мчался в Воронеж, чтобы возглавить эту армию. По тому времени она была огромной. В нее должно было войти тридцать две тысячи солдат.

ГЛАВА XXIV

Митька Туляй зажил счастливой семейной жизнью. Лушка была ему доброй женой. Ее, видимо, не тяготила жизнь в казачьем городке, и она была довольна своей судьбой. Митька оказался ласковым мужем. С беспечной веселостью она целыми днями распевала песни, лукаво поглядывая на Митьку.

Да хоть до ночи я ходила,
Да при себе знату носила,
Да носила ж столько лет,
Да своему же Митюше на совет.

Митька, прислушиваясь к звонкому голосу жены, добродушно ухмылялся. Оценивающим, хозяйским глазом он оглядывал дебелую, пышнотелую Лукерью, с удовлетворением приходил к заключению, что Лукерья — не турячка Матрена, у нее кость широкая, ей хоть десяток

добрых казачат родить — все будет нипочем, она все такая же будет цветущая и веселая. А иметь детишек Митьке очень хотелось.

Митька Туляй стал теперь большим человеком в Пристанском городке. С Лукьяном Хохлачом он верховодил здесь всем. С уходом Булавина под их властью находился весь север Донщины, тысячи людей вверяли им свою жизнь.

Пристанский городок был весел и шумен. День и ночь в нем толпился вооруженный народ. Одни отряды уходили, другие приходили, сопровождая тяжелые, груженные боярским и помещичьим добром возы. И сейчас же все это добро на городском майдане дувапили и продавали по дешевке: лошадь шла за двадцать алтын, кафтан — за пять.

Как-то Митька созвал станичников на круг. Когда казаки сошлись к становой избе, Митька взошел на крыльцо и закричал:

— Послухай, честная станица! Послухай казаки-молодцы! Все мы с вами, мужики, землю дюже любим. Ведь все мы сызмальства привыкли сохой землю ковырять. Бывало, вспашешь полоску, засеешь ее рожью. Пройдут вовремя дождички, ну и, глядишь, такой урожай выдастся, что прямо-таки закрома от хлеба ломятся. Душа радуется. А теперь, как попали мы на Дон, так и позабывали, как и хлеб-то сеять. Только и корму что охота да рыбальство. А ведь душа-то — она, браты, тоскует по земле. Тоскует... Охота уж больно выехать с сохой в поле... Земля-то, браты, глянь, какая тут жирная. Так, кажись, ткнешь ножом в землю, ну и из нее масло брызнет. Ей-богу, правда! Я к тому речь-то свою клоню: справляй, браты, сохи, запрягай лошадей, да и паши землю, сколь твоей душе угодно. Сей, засевай... По доверенности вашей я, Митрий Туляй, здесь власть, а потому и отменяю запрет — не сеять хлеб. Паши, сей, браты!.. Гуляй, душа крестьянская!.. Семена, браты, на посев мы привезли из амбаров помещичьих...

Речь Митьки заглушили ликующие голоса казаков:

— Спасет тя, Митька, Христос на добром слове! Будем сеять!

И многие казаки с того дня начали мастерить сохи, упряжь, добывать хомуты, обучать лошадей ходить в борозде.

— Атаман-то наш Митька, — весело переговаривались между собой казаки, — умнющий, черт. Понимает наши думки... Вот как начнем сеять, так доразу разбогатеем.

Земля по Хопру действительно была жирная, черноземная, девственная, не тронутая сохой. С наслаждением начали распахивать эту целину казаки.

Тугая крепь вековой целины трудно поддавалась примитивной сохе. Но труд человека был упорен, желание его властно, и вскоре вокруг Пристанского городка впервые за всю историю заселения Дикого поля зачернели бархатные полосы пашен...

Однажды на майдане случилась жестокая драка. Казаки бестолково толпились, ругались до хрипоты, а что случилось, трудно было понять. Позвали атамана Митьку Туляя. И выяснилось, что произошел небывалый тогда в казачьей жизни случай: у казака зипун украли. Это было тяжелое преступление. За воровство — будь украдена хоть пуговица — по суровым казачьим законам виновного сажали в куль и бросали в реку.

Никогда у казаков не наблюдалось воровства. Курени были всегда раскрыты настежь, сундуки не запирались. Уходя из дому, люди оставляли все открытым и были спокойны за целость своего добра. Даже находку на дороге не осмеливались утаивать, а приносили к атаману. А тут вдруг украден зипун! Митька даже растерялся, до того уж было необычно это происшествие.

Подозрение падало на пришлых бурлаков: свой не мог украсть зипуна. Но надо было проверить своих и чужих, чтоб не было обидно никому. Митька принес ружье, зарядил его на виду у всех и приказал принести стол. Когда из становой избы притащили стол и поставили его среди майдана, Митька положил на него заведенное ружье.

— Атаманы-молодцы, — торжественно сказал он окружающей толпе. — Сейчас все мы будем присягать по нашему казачьему обыкновению. Каждый должен подойти к ружью, перекреститься и поцеловать дуло. Ежели это сделает тот, кто украл зипун, — ружье выстрелит и убьет его наповал.

И, широко перекрестившись, Митька первый поцеловал дуло заряженного ружья. Отойдя в сторону, он стал внимательно наблюдать, как один за другим казаки крестились и прикладывались к дулу.

Один казак, как показалось Митьке, при целовании ружья побледнел.

— Иди сюда! — строго сказал ему Митька. — Стань в сторону.

— Да ты что, атаман, ай очумел? — ужаснулся казак, догадываясь, почему Митька отозвал его.

— Погутарь у меня! — сурово пригрозил Митька.

Казак замолк, поняв, что перечить бесполезно — навлечешь на себя еще больше подозрения.

Все перецеловали дуло ружья, но оно не выстрелило. Митька набрал десятка два казаков и бурлаков, которые чем-либо выказывали беспокойство при целовании ружья. Все они ругали и поносили Митьку на чем свет стоит за тот позор, которому он их подвергал.

— Замолчите! — свирепо показал он им здоровенный кулак.

Митька пересчитал отобранных им казаков и бурлаков и по числу их велел настругать палочек. Когда это было сделано, Митька засунул каждому из них по палочке в рот и приказал:

— Зажмите крепче зубами!

Двадцать человек стояло вокруг Митьки с палочками во рту, как с цигарками. Митька, строго оглядев их, сказал:

— Слухайте меня: кто украл зипун, у того зараз во рту палочка вырастет.

И, еще раз внимательно оглянув их, он ошалело закричал:

— Гляди, гляди, растет палочка! Растет!

И многим показалось, что действительно как будто у них во рту палочка удлиняется.

— Говори, у кого палочка выросла? — спросил Митька.

Никто не признался, но на лицах многих выразилось смущение.

Туляй был человек настойчивый и во что бы то ни стало хотел изобличить вора. Отобрав восемь человек наиболее, как ему показалось, смутившихся, он принес из дому вожжи и разложил их перед ними.

— Хватайтесь за вожжи! — кричал он. — Кто ухватится последним, тот вор.

Все восемь человек, как один, бросились к вожжам, хватая их.

— А вор ухватился ай нет? — спросил Митька.

— Ухва... — вырвалось у молодого бурлака.

Вор был изобличен. Все были поражены хитростью Митьки. Народ загудел в восторге. К нему кинулись казаки и начали качать, высоко подбрасывая вверх. С этого дня к Митьке стали относиться с еще большим почтением.

...К Митьке пришел Лукьян Хохлач.

— Митька, — сказал он, тяжело садясь на скамью, — тоска меня заела.

— Что ты, Лукьян? — удивился Митька. — Будто жизнь-то у тебя теперь хорошая. Начальником большим стал.

— Ничего не мило, — уныло махнул рукой Хохлач.

— А мне весело, — признался Митька. — Женка, дай ей бог здоровья, у меня веселая да голосистая, песенница. Не дает скучать.— И Митька любовно посмотрел на Лушку.

— Женка... хм... Не казачье дело ноне женкой забавляться. Наше казачье дело по чисту полю на коникe добром поскакать да острой сабелькой поиграть. Душа, Митька, рвется на простор. Что мы тут, Митька, сидим, киснем? — вскочил он порывисто со скамьи. — Что мы тут околачиваемся возле баб? Пойдем, Митька, в поход, погуляем!

Митька насупился. Не по душе ему было предложение Хохлача. Какой там поход, коль под боком такая красивая молодая жена? Но разве он мог возражать? Какой же он был бы казак, если променял бы поход на жену? Митька со вздохом посмотрел на краснощекую Лушку и невесело сказал:

— Что ж, Лупя, я не супротив.

— Молодец, Митька! — похвалил Хохлач. — Завтра, братуня, чуть свет будь готов в поход.

Лукьян ушел, а Митька, мрачный, невеселый, проклиная в душе Хохлача с его затеей, принялся чинить седло, готовясь к походу...

Робко скользнули по темному небу первые лучи света, и вскоре разлилась по голубеющему небу пышная, яркая заря.

На майдане, у становой избы, бряцая оружием, уже толпились всадники. Подскакал на высоком лысолобом рыжем жеребце Лукьян Хохлач.

— Митька! — окликнул он. — Все собрались?

— Все.

— Ну, с богом, поехали.

Скинув шапки, казаки закрестились на зарю.

— Дай бог удачи!

У Лукьяна не было определенного плана похода. Ему просто хотелось разгуляться по чисту полю, навестить боярские хоромы и усадьбы.

Верстах в десяти от городка лазутчики привели к Хохлачу напуганного рыжебородого тучного человека в синей однорядке.

— Кто ты такой? — спросил у него строго Лукьян.

— А бобровский я, милостивец. Из Боброва. Ездил по указу великого государя в Усть-Хоперский городок узнать, целы ли там лесные припасы. Были там заготовлены работными людишками. А теперь еду в Тамбов сказать, что целы, дескать.

Хохлач в бешенстве сверкнул саблей.

— Зарублю, сволочь! Потайный сыщик ты боярский. Говори правду.

Рыжебородый человек упал на колени, взмолился:

— Истинную правду говорю, милостивец. Пусть накажет меня господь, ежели я брешу. Пусть всех моих пятерых детишек поразит гром.

Клятва произвела на Лукьяна впечатление. Бросив в ножны саблю, он, смягчаясь, сказал:

— Ну, гляди, ежели брешешь, — несдобровать тебе. Везде тебя сыщем, хоть бы ты от нас в тартарары ухоронился... Как тебя кличут-то?

— Афанасьем, милостивец.

— Подь сюда, Афонька, — поманил его в сторону Лукьян и, нагнувшись с седла, зашептал: — Слышишь, Афонька, скажи: что, много у вас, в Боброве, батальщиков?

— Нет, милостивец, — оживился Афанасий, — самая малость. У тамошнего воеводы ратников сто в охране. Более нету.

— А не брешешь?

— Ей-богу, правда, — побожился Афанасий.

— Ну, ладно, Афонька, моли бога, что на меня напал. Видишь, вживе остался, а ежели б на другого, то он тебе голову отсек бы.

— Спасибо, милостивец, — земно поклонился Афанасий.

— Ты, Афонька, как приедешь в Тамбов, то подговаривай народ, чтобы к нам, в Пристанский городок, шел бы. У нас, брат, жизнь-то, эхма, веселая!.. Ни бояр, ни воевод не признаем. Говори, будешь подговаривать народ ай нет?

— Буду, милостивец, ей-богу, буду.

— Ты скажи им, Афонька, что когда мы подойдем к Тамбову с атаманом Булавиным, то чтоб они с нами заодно были, помогали б нам. Мы не супротив их, черных людей, а супротив бояр, прибыльщиков да немцев, подьячих да ябедников. Всех до единого истребим супостатов. Скажи им, Афонька, что сбор у нас будет в Туле, а оттуда мы пойдем на Москву. Все завоюем, и будет черному люду жизнь везде привольная, сытая. А ежели будут, Афонька, до нас какие вести, то ты уведомляй нас. Слышишь, Афонька?

— Слышу, милостивец, все будет исполнено.

— Заколыхали мы этим делом, Афонька, потому что великого государя и царевича вживе нет, — сказал внушительно Лукьян. — Владеют зараз всем государством бояре да немцы. Нельзя этого терпеть православному русскому народу.

— Да нет, атаман, — зашкнулся было Афанасий, — живой наш государь батюшка Петр Алексеевич. Сам, своими очами, зрел его в белокаменной матушке-Москве.

— Не бреши, дьявол! — свирепо заорал Лукьян, хватаясь за саблю. — Погубили бояре царя и царевича. Слышишь, погубили!

— Погубили, погубили, атаман, — испуганно согласился Афанасий.

— То-то ж. Ну, иди, Афонька, да исполняй, что я тебе наказал. Погодь. — Лукьян порылся в кармане, достал грош и бросил его Афанасию. — На вот.

— Спасибочко, милостивец, — снова земно поклонился Афанасий.

— Поехали, атаманы-молодцы! — закричал Хохлач и, выехав вперед, двинулся в голове отряда.

Афанасий долго стоял на том же месте, на котором оставил его Хохлач, и внимательно смотрел вслед уходящему отряду булавинцев, подсчитывая всадников.

Убедившись, что Лукьян повел отряд в сторону Боброва, он рванулся к лошади, сел и помчался.

Это был шпион.

Окутанный ночною тьмой, безмятежно и покойно спит городок Бобров. Ничто не нарушает его сна. Лишь изредка, встрепенувшись, полусонно прогорланит петух да хриплым лаем отзовется собака.

Подул предутренний прохладный ветерок. Городской сторож, древний старик, очнулся от сладкого оцепенения, схватил деревянную колотушку и стал нугать ночных воров. Дробные звуки взлетали над спящей улицей и тут же замирали. И все снова затихло, погрузилось в крепкий предутренний сон...

Вдруг ночную тишину разорвал на окраине тревожный, захлебывающийся лай собак. Сторож, запахнувшийся было теплее в тулуп, чтобы подремать, откинул воротник, прислушался, пытливо всматриваясь в темноту. Раздался топот мчавшихся лошадей. На городскую площадь с шумом и воем выскочили всадники. Старый сторож обомлел, в ужасе расширив глаза, закрестился.

— Матерь божья, упаси и помилуй!

Потом, опомнившись, начал неистово колотить своей палкой по чугунной доске. Городок наполнился тревожным гулом, остервенелым лаем собак, криками мечущихся по площади неведомых всадников. В маленьких слюдяных оконцах низеньких домиков замерцали огоньки.

— Чего гудешь? — свирепо крикнул всадник, подскакав к старику. — Зарублю!

— Погоди, брат, не руби, — подскакал второй всадник. — Эй, дед, а ну показывай, где воеводские хоромы?

— А вот, милые, — дрожа от страха, указал сторож.

— А бурмистерские? А поповские? Веди, показывай, старый хрыч! А не то зарубим!

— Пойдемте, пойдемте, милостивцы, — подкашиваясь от страха, повел их старик.

...Огромные языки огня лизали прохладное утреннее небо. Багровое зарево расцвело над городом, и зловещими тучами плыли черные клубы дыма. В кровавых отблесках огня метались кричащие люди.

Посажав на колья бобровских чиновных людей, булавинцы, нагруженные богатой добычей, выехали из города.

Раздувание за городом добычу, Лукьян Хохлач собрал казачий круг.

— Довольны ль, атаманы-молодцы, гульбой?

— Добре, атаман, — грянуло по кругу, — знатно погуляли!

— Что, браты, будем делать: домой вернемся ай еще погуляем?

— Погуляем, атаман! Погуляем! По душе сие дело.

— Пойдем, атаман, на Воронеж, — предложил кто-то. — Там бояр да чиновного люду пропасть.

— На Воронеж!.. На Воронеж путь держи, атаман! — кричали раззадоренные голоса.

Но Митька, здраво рассудив, что в Воронеже могут быть большие воинские силы, закричал:

— Нельзя нам идти на Воронеж, там солдат много. Погибель там нам будет. Нельзя, браты!

— Эге, Митька, испугался, — засмеялись казаки над Туляем.

— Ведь у нас сила-то казацкая!

— Кто ж нас может победить?

— У нас сабельки вострые... Да мы...

— Будь по-вашему, — сказал Хохлач. — Куда все, туда и атаман. Перечить мне вам нельзя... На Воронеж, так на Воронеж, все едино, браты, где бы ни гулять, где б душу казацкую ни потешить.

Но, говоря это, Лукьян втайне соглашался с Митькой. Идти на Воронеж было опасно. Однако перечить кругу он не мог. Круг волен в своих решениях, и он, атаман, обязан был подчиниться.

Шпион Афанасий сообщил подполковнику Рыкману о движении отряда Хохлача по направлению к Боброву. Рыкман сейчас же выступил во главе пехотного гренадерского полка и драгунского эскадрона в том же направлении. У села Садового он соединился с отрядом воеводы Бахметева, подавлявшим крестьянские мятежи по окрестным деревням.

Объединенный отряд форсированным маршем двинулся на Бобров.

Двадцать седьмого апреля вечером разведчики Рыкмана донесли, что отряд Хохлача расположился на берегу реки Битюг в Чиглянском юрте, намереваясь, по-видимому, назавтра с утра переправляться на другую сторону.

Рыкман решил дать возможность Хохлачу переправиться с своим отрядом через реку и на другой стороне напасть на него, отрезав путь к отступлению. Ночью отряды Рыкмана и Бахметева засели по другую сторону реки в засаду.

На рассвете, не подозревая опасности, булавинцы стали переправляться через реку на салах *.

Рыкман, дав возможность переправиться всем булавинцам, подал команду. Солдаты бросились на полураздетых повстанцев. Нападение было неожиданным и стремительным. Многие булавинцы бросились было в замешательстве вплавь обратно. Митька громовым голосом заорал:

— Куда, дьявол, куда? Вернись! Побью!..

Оправившись от замешательства, булавинцы быстро построились в боевую линию и начали отстреливаться из луков и ружей.

Неистово затрещали барабаны. Солдаты, в зеленых кафтанах и треуголках, выстраивались в длинные вздвоенные шеренги. Подвигаясь вперед, передняя шеренга припадала на колено, прицеливаясь из мушкетов, стреляла.

Лукьян бегал между казаками и, размахивая саблей, подбадривал:

— Не робей, браты, не робей? Зараз лавой на них пойдем.

И когда, по его мнению, настал момент броситься в атаку, заорал:

— По коням! По коням, браты!

Сев на лошадей, казаки, размахивая поблескивающими саблями, бешено ринулись на солдат.

Как ураган, налетела казачья лава на ощетинившихся багнетами * солдат. Лязгала сталь, сверкали клинки, трещали пистоли и мушкеты, ухали пушки. Синий дым стлался по полю. Злобно и дико кричали и гикали казаки, жалобно ржали раненые лошади, хрипели умирающие...

Разъяренный Митька Туляй метался с окровавленной саблей по полю битвы. От одного его страшного, свирепого вида солдаты шарахались в испуге. Хоть сокрушительна и яростна была атака булавинцев, но солдаты держались стойко. Только на правом фланге они начали

медленно подаваться назад. По рядам булавинцев ликующе пронеслось:

— Ура, браты, наша берет!.. Ура-а!

И они с удвоенной силой ринулись на солдатские шеренги. Солдаты дрогнули.

— Братцы, вперед! За веру и царя! Ура! — покрывая шум битвы, разнеслась звонкая команда.

Через пехотные шеренги прорвался поток драгун. Впереди на крупной серой лошади скакал сухощавый бритый, с злым бледным лицом офицер. Это был сам подполковник Рыкман.

Митька ударил коня ногами и понесся навстречу ему... Но в этот момент произошло что-то страшное, непонятное. Булавинцы в смятении отхлынули к реке, преследуемые драгунами. А наперерез им справа мчались неведомые всадники на вспененных лошадях. Они, как буря, налетели на булавинцев, сминая их в своем порыве. Это был компанейский полк Тевяшева.

Разгром булавинцев был полный. Много их потонуло, переправляясь через реку, много погибло под саблями драгун и от пуль пехотинцев, много было взято в плен.

Хохлач с Митькой Туляем едва спаслись бегством с небольшой частью отряда.

ГЛАВА XXV

Илья Зерщиков получил от Булавина письмо. Булавин настаивал, чтобы Илья с Поздеевым Василием подняли восстание в Черкасске и схватили Максимова со всеми его старшинами. Кондрат верил Зерщикову, верил в его искреннее желание помогать восставшему народу. Иногда, правда, он задумывался над тем, что Илья Зерщиков был богатым, домовитым казаком. Мог ли такой человек честно служить интересам обездоленного люда, добивающегося своего освобождения из-под гнета помещиков и бояр?.. «Конешное дело, может, — отвечал на такие свои мысли Кондрат. — Вот я же пошел за народ, а я ведь домовитый... Ай вот взять Семена Драного, тож домовитый, а как дерется с батальщиками!.. Ну, и Илья тож наш... Молодец!»

Между тем Зерщиков был себе на уме. Получив строгое, требовательное письмо Булавина, он забеспокоился. Позвав Василия Поздеева, он прочитал ему письмо Кондрата.

— Что скажешь, Васька, на это, а?

— Мудреную задачу задал нам Кондратий, — вздохнул тот. — О сем деле пока еще рановато думать.

— Как так? — не понял Илья.

— А вот так уж. Поживем — поглядим. Пошел вот Максимов в поход на Кондратия, поглядим, чья у них возьмет... Ежели Лукьян побьет Кондрашку, то нам надобно хвост поджать. А ежели Кондрашка Максимова, тогда нам можно подумать...

— Не запоздать бы, — раздумчиво проронил Илья. — Ведь он, Кондратий-то, крутой нравом человек, осерчает.

— Не бойся, Илья, — усмехнулся Позднеев. — Ворон ворону глаз не выклюпет.

— Это-то хоть правда, — согласился Зерщиков. — Давай обождем.

— Слышишь, Илья, — встревоженно спросил Позднеев, — а как ты разумеешь такое дело: ведь Кондрашка-то начал гнуть не туда, куда надо. С гультяями да холопами дружбу повел, за них стоит. Когда сие дело мы зачинали, то у нас другие думки были, хотели мы свои казачьи права да вольности отстоять, а теперь, вишь, как оно, дело-то, обернулось... Навроде дело идет не о наших правах, а о гультяйских... Боюсь, Илья, как Кондрашка власть возьмет, так кабы не дал такую волю гультяям, что они и до нас с тобой доберутся, до наших сундуков...

Зерщиков призадумался.

— Не бойся, Василий, все по-нашему будет, — самоуверенно ответил он.

Пока еще не было вестей о результате похода Максимова, Зерщиков хитрил. Он и с Булавиным держал связь, и войсковую старшину поддерживал. Булавину писал ябеды на Максимова и старшин, при них же всячески поносил и ругал Булавина.

И вдруг над Черкасском разразилась ошеломляющая весть: Булавин разбил Максимова.

Услыхав об этом, Зерщиков сейчас же послал за Позднеевым.

— Слыхал, Василий? — радостно встретил он его.

— Что, Илья?

— Кондратий Афанасьевич, — торжественно заявил Зерщиков, — разбил Луньку Максимова. Я ж так и

знал, я ж так и ведал, — радостно потирал он руки. — Я ж, Васька, о сем деле разумел еще раньше, потому как у Кондратия Афанасьевича сила великая. — Теперь он только по имени и отчеству называл Булавина. — Ныне и нам, Васька, надо подумать, чтоб поднять казаков. Время подошло. Подошло, Васька... Я ж всегда, Васька, Кондратию Афанасьевичу помощь оказывал. Я и в Сечь послал письмо. Я ему и на Хопер отписки писал. А кто с ним заодно надумал убить князя Долгорукого?. Все я. Ежели вдуматься да разобраться, то все дело я заколыхал... Да разве забудет обо всем этом Кондратий Афанасьевич? Ни в жизнь он этого не забудет. Ежели я примирился с Максимовым, то нарочно это сделал, чтоб выпытывать его да отписывать о том Булавину...— врал Зерщиков.

Заметив, что Позднеев с сомнением покачал головой, он вспылил:

— Что качаешь головой, как сивый мерин? Ай не веришь?

— Да это я так, мухи кусаются.

— Как придет сюда Кондратий Афанасьевич, — снова входя в раж, горячо продолжал Зерщиков, — большим я человеком буду. Заколыхаем мы, Василий, не только Доном, но и всей Русью, а может, и побольше. — И, нагнувшись к уху Позднеева, точно их кто мог подслушать, зашептал: — Ты только помогай мне, я тебя сделаю тоже большим человеком. Ведь дело-то все во мне. Что нам Булавин? Куда пошлю, туда и пойдет. Что захотим, то и сделает. Он, что котенок, будет в наших руках: куда бросим, там он и когти свои выпустит. Так-то... — засмеялся Зерщиков.

«Ну и дьявол же, ну и лиса», — с опаской посмотрел на своего приятеля Позднеев.

При прощании Илья сказал Позднееву:

— Я тебе потайно скажу, Василий: у меня укрывается дочка Кондратия Афанасьевича.

— Ну-у? — изумился Позднеев. — Как она к тебе попала?

— Азовский офицеришка увез ее из Пристанского городка. Полюбилась она ему. Да спасибо, на меня он с нею напал. Отобрал я ее у него да ухоронил. Как придет сюда Кондратий Афанасьевич, так предоставлю ему дочь — обрадуется.

— Хитер ты больно, Илья, — покачал головой Поздняев. — Тебя и сам бес не обхитрит.

— Правду истинную говоришь, Василий, — польщенно засмеялся Илья, — хитрый я. Меня трудов стоит обхитрить... Ну, ладно, Васька, теперь дело видное: Кондратий Афанасьевич беспременно скоро прибудет к нам в Черкасск. Надобно нам тут не зря сидеть. Приходи завтра ко мне, обсоветуем, что делать. А сейчас я пойду к Гале, поведаю ей радостную весточку про отца.

Галя жила в полуподвальной светелке вместе с невольницами и выполняла всякую черную работу. Илья велел за ней строго надзирать, чтоб не сбежала. За каждым ее шагом неотступно следили ясырки.

Зерщиков прошел в комнату ясырок. При его появлении они, побросав работу, вскочили, изумленные и испуганные. Небывалое дело, чтоб сам господин пришел к ним, несчастным невольницам. Галя также поднялась, дивясь появлению Зерщикова. За все время пребывания в его доме она только раз видела его, и то мельком, когда привел ее поручик Матвеев.

Илья ласково посмотрел на Галю.

— Довольна ль ты, чадушко, своей жизнью? Может, нуждишку в чем испытываешь? Говори, не бойся.

— Спасет Христос, — тихо сказала Галя. — Ничего мне не надо.

— Катерина! Жена! — вдруг возмущенно закричал Зерщиков. — Да что это ты ее с ясырками-то поместила? Ай у нас места не нашлось для нее получше?

Прибежала испуганная жена Зерщикова, уже поблекшая, когда-то красивая пленная турчанка, отбитая Ильей из гарема знатного паши во время налета казаков на Туретчину.

— Ты ж сам, Григорьич, велел ее сюда поместить, — попыталась было оправдаться Катерина.

— Иль куда поместила! — не отвечая жене, кричал раздраженно Илья. — Что она, невольница? Зараз же помести ее в горенку. И все ты, Катерина, недоглядаешь, — укоризненно посмотрел он на жену.

— Все исполню, Григорьич, — низко поклонилась Катерина, в душе дивясь такой перемене в отношениях мужа к Гале.

— Поди сюда, мое чадушко, — подозвал Илья Галю. — Не кручинься, родимая, — погладил он ее по го-

лове, — господь бог милосерд. Может, скоро все по-хорошему обернется... Может, скоро с отцом увидишься.

Так уж ласково говорил Илья с Галей, что у нее, бедной, от его ласки даже слезы потекли по щекам.

— Не плачь, денонька, не плачь, — приветливо сказал Илья, обтирая своей костлявой рукой слезы с ее щек. — Не плакать надобно, а радоваться. Скоро все по-доброму будет...

Галя чувствовала: Зерщиков чего-то не договаривает. В ее душу проникла надежда: может, Илья толкует о Гришке Банникове. Может, она скоро его увидит...

Прослышав, что Максимов вернулся из неудачного похода, спасшись бегством, Илья пошел к нему.

Максимова он застал за укладыванием своих пожитков на огромные арбы.

— Куда это ты, Лукьян, собираешься? — изумился Зерщиков.

— В Азов, — буркнул тот хмуро.

«Бегут, дьяволы», — злорадно подумал Илья и простодушно, как бы не догадываясь, спросил:

— Зачем же, Лукьян? Ай проживать там думаешь?

— Ты что, антихрист, скоморошничаешь? — сердито огрызнулся Максимов.

— Не серчай, Лукьян, я же в самом деле не ведаю, зачем ты туда едешь.

— Сам я не еду, — так же хмуро сказал атаман, присматривая, как увязывают воз, — а отправляю туда жену Варвару от греха.

— Какого ж греха ты ждешь, Лукьян?

— Ты брось, Илья, распевать мне тут божьим соловьем! — гневно оборвал его Максимов. — Небось ждешь не дождешься вражину.

— Да про кого это ты речь-то ведешь?

— Ты, Илья, либо галман несмыслящий, либо как лиса старая, хитрющий.

— Расскажи толком, Лукьян, не разумею ничего, — прикидывался Зерщиков. — Ей-богу, не разумею.

— Ведь вор Кондрашка-то разбил мое войско! — выпалил атаман. — Может к Черкасску подойти. Черкасска-то ему хоть и не взять, а все же добро-то свое от всякого греха надобно ухоронить.

— Стало быть, разбил вор наше войско? — огорченно сказал Зерщиков.

— А ты что ж, ай до сей поры не слыхал? — насторожился атаман.

— Не слыхал ничего, Лукьян, — печально проговорил Илья. — Откуда ж я мог бы услыхать?.. Ах, беда-то какая, господи, — вздохнул он, и на его лице отразилось глубокое горе. — Ну, ничего, Лукьян, — воскликнул он в порыве, — будем, стало быть, до последней капли крови защищать сердце Донского войска — наш стольный город Черкасск! Все до единого помрем, а Черкасска своего не отдадим на поругание ворам и огольцам.

И так это он сказал, казалось, искренне, прочувствованно, что Максимов, вначале недоверчиво отнесшийся к нему, поверил ему, оживился.

— Ты это правду говоришь, Илья?

— Лукьян! — воскликнул Зерщиков и прослезился. — Неужто ты мне не веришь? Не может того быть, чтобы вор и цареотступник осквернил нашу святыню. Не может быть того! Все поляжем костьми у стен городка.

— Ты ж ведь, Илья, с ним заедино был? — все еще сомневаясь в искренности Зерщикова, спросил Максимов.

— Ты же ведь, Лукьян, с ним тоже поначах заедино был, — печально вздохнул Зерщиков. — Каюсь я теперь в том грехе. Что ж, конь о четырех копытах и то спотыкается. Сам ведь ты так говорил. Помнишь? Ошибку мы с тобой допустили, Лукьян, да, слава тебе господи, вовремя уразумели ее. Ужо искупим кровью своей ту ошибку. Я тебе, как друзяку своему, начистоту всю правду говорю. Ведь Кондрашка-то не туда оглобли повернул, куда мы хотели вначале. Холопьим вожаком стал. Поверь мне, Лукьян...

— Верю, Илья, верю, — растроганно сказал атаман, обнимая Зерщикова. — Стало быть, вместе, Илья, будем биться?

— Конешное дело, вместе, Лукьян.

Весть о приближении Булавина к Черкасску воспринималась здесь по-разному.

Никогда еще не были заполнены так кабаки и харчевни городка, как в эти дни. В них было тесно, душно, чадно. Стоял шум и гам от споряших голосов. Казаки возбужденно обсуждали приближение Булавина с его войском. Жаркие печи, дымя, бросали пламя, багрово освещая потные лица стряпок. На очагах огромные ка-

заны гудели и булькали, пуская к потолку густые столбы пара. Скворчало, сердито брызгаясь жиром, мясо на сковородах. Чад тонкими синеватыми струйками поднимался к закопченному скользкому потолку, расползался едкой паутиной, бил в голову, слепил глаза. Как очумелые, метались прислужники, расставляя на грязных столах тяжелые братины с пенистым медом, ендовы с фряжским вином, медные кувшины с фруктовой водкой.

Укутанный до глаз в капюшон плаща, в углу харчевни сидел одинокий человек. Он ни с кем не разговаривал, а лишь прислушивался, что говорилось вокруг, попивая свой ковш меду.

— Я ему первый открою ворота! — кричал взъерошенный косой казачишка в старепьком зипуне. — Я, может, сам пропадаю в бедности да нужде. Вот они где, боярин-то с атаманом, сидят, — хлопал он рукой по своей обветренной, загрубевшей шее. — А Кондрашка-то ведь волю нам хочет дать да жизнь хорошую. За голутвенных да за черный люд стоит.

— Брешешь, чигоман! * — озлобленно возражал ему смуглый высокий казак в щегольском малиновом бархатном кафтане, с золотой серьгой в правом ухе.— Вор Кондрашка предал казачество. Он в эллинскую веру нас введет, в ясырь продаст. Умрем, а не пустим вора в Черкасск! Ты, гультяй, хочешь быть изменником казачеству. Бить таких надобно! — с яростью рванулся он к косому казачишке.

Тот ловко увернулся и, размахнувшись, с силой ударил смуглолицего казака в ухо. Серьга со звоном упала на пол. За смуглолицего вступились домовитые, за косого — гультяи, и пошла всеобщая потасовка.

Человек в плаще, встав из-за стола, пробрался к выходу. Зашел в соседний кабак, там те же разговоры, крики, брань, споры и драка гультяев с домовитыми. Выйдя на улицу, он слегка откинул капюшон с лица, удовлетворенно усмехнулся. По ястребиному носу, по хитро бегающим глазам нетрудно было признать в этом человеке Илью Зерщикова.

— Добро! Можно начинать, — сказал он вслух и зашагал к своему куреню.

Он ходил по кабакам, чтобы узнать, какими настроениями живут казаки. И убедился, что сторонников Булавина в Черкасске было много.

ГЛАВА XXVI

Прошло уже немало времени с того дня, как отряд Лукьяна Хохлача понес жестокое поражение от полковника Рыкмана на речке Битюге. Дни бежали пестрой вереницей, каждый день рождал новые события, новые впечатления и настроения.

До Пристанского городка доходили слухи о том, что восстание гультяев и работных людишек, поднятое ими на Дону, проникло в глубь России и делало там свое дело.

Восстание распространялось все дальше и шире. Оно охватывало теперь Поволжье, Слободскую Украину, Запорожье, Придонье. Было неспокойно у Нижнего Новгорода, Мурома, Брянска, Волоколамска, Мценска и других городов. Волновались народы Кавказа. Шло брожение на Тереке. Восставали башкиры, татары, чуваши, мари, вотяки.

В Пристанский городок приходили люди со всех концов России и рассказывали о том, что крепостные крестьяне перестают подчиняться помещикам, отказываются на них работать и платить оброки, а нередко и расправляются с своими угнетателями, убивают своих господ и их управителей, разбивают и жгут барские усадьбы, растаскивают господский хлеб, делят скот, запахивают помещичьи земли, косят помещичью траву, рубят помещичий лес...

Митька Туляй в восторге хлопал своей тяжелой ладонью Хохлача по спине.

— Вот, Лупька, заколыхали мы сим делом-то... Ха-ха! Заварили кашу... Ежели и дальше дело пойдет, то, гляди, ничего нет мудрепого, еще скоро и в белокаменной Москве гостить будем... А-а? Ха-ха!

— Ну что же, Митька, — усмехался и Хохлач. — Уж ежели атаману нашему Кондратию доведется идти на Москву, то не миновать и нам с тобой там побывать.

— Не иначе, как так, — соглашался Митька и снова хохотал. — Может, доведется еще в боярских теремах проживать, навроде боярами быть, пряники с медом жрать да сладкой брагой запивать... Ха-ха!

— Вот ты, Митька, свою Лупку-то раскормишь на привольных сладких харчах. Она у тебя и так толстущая да краснорожая, а тогда она, прям, свекла пареная будет. Ха-ха!

— Правду истинную гутаришь, зальян, — смеялся Митька. И вдруг, погасив смех, проговорил: — Знаешь, Лунька, засела мне в голову думка одна и, прям, молотком оттель не вышибешь...

— Что ж это за думка? — поинтересовался Хохлач.

— Поехать охота.

— Поехать? — удивился Лукьян. — Куда тебе нагадал дьявол ехать?

— Да вишь, какое дело-то, Лунька, — доверительно заговорил Туляй. — Дело-то оно, правда, хочь и давнее, но никак я не могу о нем позабыть.

И он рассказал Хохлачу о своей старой обиде на помещика Лопухина.

— А ведь, вот те господь, Лунька, не виноватый я тогда был, — закончил Митька. — Ездок я ведь добрый, не одну лошадь объездил. А тут, как на грех, попался мне жеребец ошалелый. Истинный господь, ошалелый... За что ж он меня, проклятый, бил, Лопухин, а? — скрипнул зубами Туляй. — За мою честную службу... Ну, с той поры и засела у меня на кровопивца кипучая обида, не могу я позабыть его измывы... С ума у меня не сходит пузатый дьявол. На днях видел я одного земляка своего с Грибановки, расспрашивал его: как, мол, Лопухин-то, жив? Жив, говорит, еще более ожирел... А Грибановка-то, ты сам знаешь, Лунька, отсель недалече. Охота поехать туда припомнить старому дьяволу... Как думаешь, зальян, а?.. Поехать али нет, говори правду.

Хохлач долго молчал, посасывая короткую турецкую трубку, пуская синие струи табачного дыма сквозь свои белесые вислые усы.

— Как разумеешь-то, Лукьян, а? — нетерпеливо повторил свой вопрос Митька.

— Да что ж тут разуметь, Митька, — сказал наконец Хохлач. — Ежели есть охота поскать, валяй... Господь с тобой! Отбери сотню казаков, да и с богом. Только езжай ты, Митька, потайными дорогами, а то, не приведи господь, попадешь ты на такого, как Рыкман, голову зазря потеряешь.

Обрадованный согласием друга, Митька весело воскликнул:

— Не бойся, Лунька! Этого быть не может. Я, брат, знаю, что береженого бог бережет. Я ведь стреляный воробей, меня на мякине не проманешь... Ни единого че-

ловека не потеряю и свою головушку уберегу. Она у меня, вишь, какая кучерявая? — засмеялся он. — Разве ж можно Лушку-то мою оставить без нее, кого ж она тогда будет расчесывать?.. С доброй добычей возвернусь — тебе, брат, знатную долю привезу.

— Спасет тебя господь на добром слове, — сказал Лукьян. — Ничего мне не надобно, сам бы доволен был.

— Ну, коли так,— живо поднялся с лавки Митька,— то, стало быть, надобно в путь-дорожку собираться. Завтра утречком и тронем. Пойду казаков в поход отбирать.

— В добрый час! — пожелал Хохлач.

ГЛАВА XXVII

Еще с утра в Грибановке чувствовалось какое-то необычное оживление. Боязливо озираясь, по деревне от избы к избе бегали мужики с топорами и вилами в руках. Собираясь группами и отчаянно размахивая руками, они что-то кричали, указывая на огромный господский дом, сквозь деревья белеющий своими степами.

По улице не спеша шел плечистый, рослый мужик в кумачовой рубахе и новых лаптях. Завидев его, мужики обрадованно кричали:

— Дрон идет!.. Дрон!..

Окружив, они стали его допрашивать:

— Дронушка, ну чего ж мы теперича будем делать-то, а?.. Скажи, родимый... Вишь, сколгатили нас.

Дрон, суровый и степенный, теребя широкую, густую черную бороду, молча продолжал идти своей дорогой.

— Дрон, чего ж ты молчишь-то? — заглядывали ему в лицо мужики, как бы стремясь угадать его затаенные мысли.

По всему тому заискивающему вниманию, которое оказывали мужики Дрону, было видно, что он был деревенским вожаком, к голосу которого прислушивались все.

— Ну, Дрон, чего ж ты молчишь? — в отчаянии выкрикивали мужики. — Вот те, заварили кашу, а как будем расхлебывать, а?..

— Ну что горланите-то, как вороны? — хмуро крикнул Дрон. — Замолкните! Пойдемте со мною, там увидим, что надобно делать.

Толпа замолкла и пошла вслед за Дроном.

Подойдя к господскому саду, Дрон остановился и сурово оглядел толпу мужиков, разыскивая кого-то взглядом.

— Ермолай, — сказал он молодому рыжеволосому, курносому мужику в длинной холстинной рубахе, — пука, отбери человек десять мужиков да зайди с ними с той вон стороны, — махнул он рукой на скирды соломы. — А то он, пузатый дьявол, может сбежать через гумно. А ты, Терентий,— обратился он к смуглому, с черной курчавой, как у цыгана, головой, приземистому мужику,— беги с мужиками к озеру, а оттель подходите к господскому дому... Да, гляди, не выпусти его, лешего.

Мужики ринулись выполнять приказания.

— Ну, пошли и мы, братцы! — сказал Дрон оставшимся с ним мужикам и первым шагнул в сад, направляясь к господскому дому, стоявшему в глубине аллеи.

Помещичий дом был безмолвен. Видимо, в нем все спали, не догадываясь о надвигавшейся беде.

Мужики с шумом и гамом окружили дом со всех сторон. Потрясая топорами и вилами, они угрожающе закричали:

— А ну, выходь, барин! Выходь по-доброму! Выходь, а то мы те! Вдрызг разнесем! На-апа сила!

В одном из окон на мгновение появилось заспанное, испуганное лицо помещика Лопухина и тотчас же исчезло.

— Выходь, по-доброму! — гудела толпа. — Выходь, потолкуем!.. Землю отдай! Землю! Луга! Лес! Наши! Мирские!

Сквозь окна было видно, как в комнатах торопливо замелькали тени.

Долго шумели мужики, требуя, чтоб к ним вышел барин, но на их крики никто не отвечал. То, что дом стоял безмолвным, и то, что в нем чувствовались какие-то таинственные приготовления, вносило в мужичью толпу смятение.

— Выходь, барин!.. Выходь к нам добром! — раздавались не совсем уверенные теперь крики. — Выходь, держи ответ перед миром!

Дрон стоял поодаль и молчал, мрачно наблюдая за домом.

— Да что с им, пузатым, разговаривать-то? — вопро-

сительно взглянув на Дропа, взвизгнул смуглолицый Терентий.— Ломись, ребята, ему в дверь!.. Ломись!..— И он ринулся на крыльцо, с размаху садануп топором дверь.

Тонко и жалобно звякнуло стекло, в мелких брызгах рассыпаясь по полу.

— Громи, бей! — гремел в ярости Терентий, рубя дверь.

К нему подбежали еще три осмелевших мужика. Четыре топора дружно застучали по двери, превращая ее в щепы.

Из глубины дома глухо протрещал залп. Два мужика на крыльце, роняя топоры, тяжело рухнули на пол. По желтым доскам поползли черные змейки крови. Терентий с двумя мужиками, разбивавшими дверь, кубарем скатились с крыльца.

— Стреляют, нечистые! — вытирая пот с побледневшего лица, с удивлением проговорил Терентий. — Вот антихристы-то!

Толпа притихла, оцепенела, ошеломленная неожиданным поворотом дела.

Вдруг напряженную тишину пронзил тонкоголосый истерический вопль:

— А-а... Нефеды-ыч!.. Уби-или тебя ироды... уби-ли!..

Невзрачная бабенка, босоногая, в крашеной холстинной юбке, с воплями кинулась к дому.

— Акулька, куда те черт понес-то? — послышался предостерегающий голос. — Очумела, что ль?.. Ведь убьют тебя, ей-ей, убьют!..

Но баба, не обращая внимания на предостережения, с жалобными причитаниями упала на труп мужа, крепко сжимавшего мертвыми пальцами топорище.

Толпа очнулась, загалдела:

— Что ж это, братцы, а?.. Убивают ведь наших мужиков-то...

— Сжечь барина за такие дела! — взвизгнул чей-то голос. — Сжечь!..

Толпа заколыхалась, подхватила, завопила:

— Сжечь, дьявола!.. Сжечь, ирода!..

— Тащи, ребята, солому!.. Та-ащи!..

— Солому!.. Солому!..

Несколько мужиков с готовностью ринулись на гумно. Они живо притащили огромные охапки ржаной соломы и, с опаской поглядывая на окна, обложили ею дом.

— Дед Лука, — властно крикнул Дроп, до сих пор

никакого участия не принимавший в происходящем и стоявший в стороне, — высекай огонь! Запаливай!

Маленький старичишка с редкой седенькой бороденкой угодливо достал из кармана кресало с кремнем и начал высекать огонь. Но трут долго не загорался.

— Дропушка, — плаксиво взмолился он, — кремень, анафема, никудышный. Нет ли у тебя доброго?

— Дай-кось сюды! — сердито вырвал Дроп из рук старика кресало и кремень и с силой начал высекать огонь.

Искры дождем брызнули из-под его пальцев. Трут задымился, и Дроп, взяв пук соломы, сунул в него загоревшийся трут, стал раздувать. Пук вспыхнул, как порох.

Мужики, бегая вокруг дома, запалили его со всех сторон. Вскоре дом был объят пламенем.

Все здесь знали, что в доме люди: помещик со своей семьей, дети, слуги, а поэтому толпа, примолкнувшая, с жадным любопытством вглядывалась в багряные от пламени окна, в двери подъезда, ожидая, как из них выскочат выкуренные обитатели. Но, к удивлению мужиков, в доме по-прежнему было молчаливо, и даже не чувствовалось сейчас движения, словно все живое там вымерло.

— Пооколели они, что ли, там? — недоумевал дед Лука, смотря своими выцветшими, слезящимися глазами на пожар. — А может, от дыма позадохлись, а?..

Ему никто не ответил.

Когда занялось крыльцо и языки огня начали лизать стропила и столбы, изрубленная мужиками дверь вдруг с шумом распахнулась, и из дома, как оглашенный, с жалобным воем выскочил огромный белый пудель. Обрадованный тем, что он живым и невредимым выбрался из горящего дома, кобель радостно взвизгнул и весело перекувырнулся. Это было так неожиданно и забавно, что толпа невольно разразилась дружным хохотом.

Кто-то из мальчишек швырнул в собаку камнем. Кобель жалобно заскулил и, поджав хвост, отбежал в сторону.

— Ну, ты! — строго прикрикнул Дроп на озорника. — Я те побалую. Почто забижаешь божью тварь? Тютек!.. Тютек! — ласково позвал он собаку.

Пудель доверчиво подбежал к нему и, виляя хвостом, обнюхал мужика. Дроп погладил собаку, та в ответ подпрыгнула и признательно лизнула его в губы.

— Тьфу ты! — отплюнулся Дроп, но не рассердился.

Пудель, видимо убедившись, что этот огромный му-

жик в красной рубахе настроен к нему добродушно, вдруг, как будто о чем-то вспомнив, жалобно заскулил и стал порываться к объятому пламенем дому, оглядываясь на Дрона, словно приглашая того следовать за ним.

— Ишь ты, животина, — глубокомысленно покачал головой Дрон. — Просит, стало быть, чтоб я спас ее хозяев... Нет уж, кобелек, будь они трижды прокляты, кровопийцы! Пущай все до единого сгибают в огне. Жизни от них нету.

Из дому вдруг послышались душераздирающие крики детей и умоляющие причитания женщин. Пудель стремительно подбежал к охваченному огнем крыльцу и протяжно завыл.

Толпа, с замиранием прислушиваясь к детским и женским воплям и к завываниям собаки, с ужасом смотрела на зияющую пасть двери, откуда уже клубами валил черный дым. Но в дверях никто не показывался.

— Дедушка, пусти-и... пусти-и нас!.. Мы го-орим!.. — неслись из горящего дома полные смертельного ужаса детские голоса.

— Спа-сите нас!.. Спасите, добрые люди! — умоляюще закричал женский голос. — Барин нас не пускает!.. Не пуска-ает!..

— Дунька, никак? — в ужасе вскричал кто-то в толпе.

— Господи, люди живые горят,— простонала старуха.

Дрон рванулся к веранде и громовым голосом заорал:

— Пустя, барин, детишек-то! Пусти! Пусти и баб. Не тронем никого! Вот те господь, не тронем! Не бери греха на душу! Слышишь?

В ответ послышались ругательства. Дрон перекрестился и рванулся в клубившуюся дымом дверь.

— Васька! — крикнул Терентий. — Пошли!

Терентий и долговязый парень кинулись вслед за Дроном и исчезли в дыму.

Толпа, затаив дыхание, прислушалась. В доме прозвучали выстрелы, кто-то закричал, потом все стихло. Из горящих дверей выскочил Дрон, неся на руках вцепившихся в него ручонками двух девочек. Вслед за ним бежали дворовые девки, рыдая навзрыд от радости. Терентий и Васька замыкали шествие, обороняясь вилами от кого-то.

Толпа разразилась восторженным гулом.

— Ай да молодцы! Ай да Дрон!..

Когда Дрон с детьми, дворовые девки и Терентий с Васькой подбежали к толпе, из двери, в клубах дыма, вышел сам барин Лопухин. Он был страшен: седой, взлохмаченный, с дико блуждающими глазами. С ним вышли приказчик Лихоусов и буфетчик Пров. У всех были ружья.

— Стреляй! Стреляй в бунтовщиков! — завопил Лопухин и выстрелил в толпу.

Лихоусов и Пров, приложившись к ружьям, тоже выстрелили.

Толпа отшатнулась, отбежала. Дрон, отдав девочек бабам, медленно вышел навстречу стрелявшим.

— Пров, в кого ты, сукин сын, стреляешь, а? — грозно спросил он. — В народ? А ведь сам ты холоп. Холоп, проклятая твоя душа! Холоп!..

Буфетчик виновато потупил глаза.

Из дому выбежали старуха Лопухина с невесткой.

Старик Лопухин пошел на толпу.

— Иван! Пров! За мной! — командовал он. — Заряжай ружья.

Толпа подалась назад. Видя это, Лопухин, осмелев, строго и властно закричал:

— Бунтовать, негодяи?.. На колени, мерзавцы!.. Шапки долой!..

Мужики, увидев своего барина, которого они боялись, как огня, молчали, растерянно переглядываясь. Смелый и решительный тон помещика их озадачил. Черт его знает, а может, у него сила такая, что он их всех в бараний рог согнет? Лопухин понимал, что если напустить на себя смелость, то толпа может еще больше оробеть, и тогда он станет победителем. Багровея от бешенства, он заорал, топая ногами:

— В кандалы закую!.. Перевешаю!.. В Сибирь сошлю!..

— Чего галдишь-то? — почти спокойно спросил его Дрон. — Все, барин. Песенка твоя спета. Все!.. Была твоя власть, а теперича стала наша, мирская...

Ободренные Дроном, мужики разом закричали:

— Хватит! Отвластвовался, прод! Отдай нам землю!.. Отдай луга и леса!.. Наши они, мирские... Иишь пузо-то себе отрастил на наших хлебах!..

Лопухин попробовал еще что-то крикнуть, но его не слушали.

Раздались голоса:

— Повесить его, толстого!.. Повесить вверх ногами!.. Жир с него спустить!..

Лопухин понял, что с возмущенными, взбунтовавшимся мужиками он ничего не сделает. Сила их была огромная, гнев непрощающий. Он сразу обмяк и тихо сказал жене:

— Даша, идите с Маней к реке, садитесь в лодку и переправляйтесь на ту сторону, а мы... мы тут попробуем их сдержать... Идите, ради бога!.. Разойдись, сволочь! — грозно закричал он на толпу. — Разойдись, стрелять будем!..

— А-а... стрелять? Бей его, братцы!.. — взвыла толпа.

Голоса слились в общем шуме и гаме. Все кричали, орали, озлобленно, гневно. Сотни красных, жилистых кулаков угрожающе тряслись в воздухе.

— Бей, братцы, его!..

Лопухин тоже что-то кричал гневное, угрожающее, но его голос тонул в шуме разъяренной толпы. Пока что никто из мужиков не осмеливался броситься на помещика. Три ружья, наведенные на толпу, удерживали их на почтительном расстоянии.

Лопухин огляпулся. Убедившись, что жена с невесткой уже подошли к маленькой речушке, он, не спуская ружья, стал пятиться к реке. Приказчик и буфетчик последовали за ним.

— Ах, так его! — ахнул кто-то.— Уйдет, черт!.. Уйдет!..

— Не уйдет! — крикнул Дрон и рипулся к барину. Мужики только этого и ждали. Они с криком набросились на помещика. Прогрохотали выстрелы. Кто-то застонал. Но это не остановило народного гнева. Лопухина с приказчиком и буфетчиком Провом сбили с ног. Вокруг них образовалось месиво из человеческих тел. Толпа мужиков выла озлобленно, дико...

Послышался конский топот. По улице скакал Митька Туляй со своими казаками.

ГЛАВА XXVIII

Митька запоздал. Мужики уже расправились со своим помещиком и сожгли его дом со всем добром.

Мужики стояли толпой над тремя обезображенными трупами и бестолково галдели, о чем-то споря. В сторо-

не бабы, истошно причитая, оплакивали мужиков, убитых Лопухиным и его слугами.

Еще издали Митька понял все.

— Ах ты, дьявол! — выругался он. — Запоздинлся.

При виде вооруженных всадников мужики бросились было врассыпную, но Туляй успокаивающе закричал:

— Свои!.. Свои, какого лешего испугались-то?.. Я — Митька Туляй. Ай не признали?..

Мужики приостановились и, все еще опасливо и подозрительно поглядывая на прибывших казаков, недоверчиво стали подходить к ним.

— Здорово, земляки! — поздоровался Митька.

Кое-кто из мужиков робко ответил на приветствие, но большинство молчало, не угадывая в этом пышно разодетом всаднике на добром коне господского конюха Митьку Туляя.

— Ах, так твою! — весело воскликнул чей-то голос в толпе. — Братцы, да ведь это и впрямь Митька Туляй! Здорово, Митька!..

Мужики захохотали, оживились, повеселели. Полезли целоваться с Митькой.

— Митяшка, сатана те забери! — протискиваясь сквозь густую толпу мужиков, хихикал радостно дед Лука. — Здорово, мой голубь! Вишь, ведь какой ты стал-то! Боярин чистый... А помнишь, как мы с тобой коров-то пасли, а?.. Хи-хи-хи... А мы тут, брат, того... пузатого-то... пришибли... — кивнул он на труп Лопухина и засмеялся дребезжащим смехом. — И приказчика его Ваньку и буфетчика Провку... Помнишь их, Митяшка, ай не? Заступились за него, пузатого. Вишь, наших мужиков-то постреляли... А ведь Провка-то, буфетчик нашинский, ведь хо-оло-оп! Холоп, проклятущий!..

— Ладно, дед Лука, все я вижу, и все я понимаю, — сказал Митька и соскочил с лошади. — Здорово, дед! — расцеловался он со стариком. — Все пасешь коров, а? Будя те этим делом заниматься, поедем со мною, будешь сладко есть, мягко спать, на лихом коннке по степу скакать... А-а? Поедешь, что ль? Заместо отца родного будешь у меня.

— А то что ж, Митяшка, поеду, — охотно согласился пастух. — У меня ведь тут ни кола ни двора — один пуп голый.

Митька расправил свои широкие плечи, подошел к трупу Лопухина. Долго смотрел на синее от кровоподтеков, изуродованное мужицкими кулаками старческое лицо помещика.

— Эх-хо! — вздохнул он. — Вот такая она, наша жизнь-то. То ты измывался над нами, а теперь навроде и тебе пришлось лихой смертью околеть... Жалко, что мне с тобой не пришлось посчитаться.. Ну, господь с тобой! Царствие тебе небесное! Я человек не злой, на том свете сидимся — посчитаемся.

Взгляд его остановился на скорбной фигуре старой помещицы, понуро сидевшей на бревне с связанными руками. По дряблым желтым щекам старухи текли слезы. Рядом сидела ее невестка, прижимая к себе обезумевших от ужаса детей.

— Зачем старухе связали руки? — спросил Митька, гневно обводя взглядом мужиков. — Ай боитесь, что убежет? Дураки!

Вынув саблю, он перерезал веревки на руках старухи.

Старуха благодарно взглянула на него.

— Спасибо, добрый человек.

Митька усмехнулся.

— Что, барыня, ай не узнаешь своего конюха-то Митьку Туляя, а?

Помещица мутно, сквозь слезы, посмотрела на него.

— Прости, милый, не узнала. Видишь, горе-то у нас какое...— и она зарыдала.— За хлеб-соль нашу убивают.

Митька в ярости хлестнул себя по голенищу плетью, скрипнул зубами.

— Ох, молчи, барыня!.. Молчи, не дай разгневаться, а то плохо то будет... За хлеб-соль, говоришь? Знатна уж больно нам ваша хлеб-соль. Вот она где, ваша хлеб-соль-то, — похлопал он себя по спине, — на горбу да на шее. Мы в работе надрывались, до смерти засекали нас... Я еще до сей поры, барыня, помню, как сек меня барин-то за жеребя. А разве ж я был виноват, а? Чуть до смерти не засек. Забыла, барыня?.. Так что ты уж молчи, не гневи меня и народ...

— Что ты с ней, Митька, лясы-то точишь? — послышались мужичьи голоса. — Побить ее, старую ведьмячку!.. Побить!.. В воду покидать!.. И детишек тож! Тож такие волчата будут!..

Митька живо обернулся к мужикам, окинул их суровым взглядом.

— Эх, вы! — укоризненно сказал он. — Креста на вас нет. Почто детишек-то невинных гибели предавать? Ведь у них ангельские души. Зачем нам на душу грех брать? Они за своего деда-кровопивца не в ответе. И старуху не трожьте. Сама скоро помрет. Она хоть и понила тоже немало нашей крови, да господь ей судья. Не в ней ведь было дело-то, а в Лопухине...

Митька подошел к мужикам, те окружили его.

— Ну что ж, братцы, — обратился он к ним, обводя их испытующим взглядом, — вот теперича будто и изничтожили вы своего злодея-сатанюку, какой, мол, вам жизни не давал. Сожгли его усадьбу, никого над вами теперича нету, так как же вы теперь думаете жить? Что думаете делать? А-а?..

Мужики, поскидав шапки, молчали, потупив глаза.

— Что ж молчите-то? — снова спросил Митька. — Раз барина порешили, стало быть надобно как-то свою жизнь устраивать. Раньше за вас барин думал, а теперича вам надобно самим за себя подумать. Как ты разумеешь, Дрон?

— Землю б господскую разделить,— проговорил Дрон.

Сразу же толпа разразилась шумом:

— Землицу нам! Луга! Леса!

— Правду истинную говорите, — поддержал Митька. — Земля должна отойти к вам. Она ваша! И травы ваши и леса. Все надобно разделить по душам... Поделить надобно между вами и хлебец господский... Вот разобьем амбары лопухинские и раздадим.

Мужики радостно заговорили:

— Правильно, Туляй! Спасет тя Христос за добрые слова!

— И скотинку бы господскую-то разделить! — выкрикнул чей-то просящий голос.

— Истинно так, — согласился Митька. — И скотину разделить надо. Но кто ж, мужики, делить-то все это меж вас будет, а? Я за это дело браться не буду. Не мое это дело, да и некогда мне, надобно ехать... А ежели вы сами начнете дележ устраивать меж собой, то передеретесь... Ей-ей, передеретесь.

Мужики озадаченно молчали, не понимая, к чему это клонит Туляй.

— Будто выходит, что и некому дележ вам устраивать, — усмехнулся Митька. — Некому, что ль, а?.. Ну, кто будет делить, Дрон, что молчишь?

— Ну, кто ж, — хмуро буркнул Дрон. — Сами и переделим все по-справедливому...

— Ой ли! — хитро сощурил глаза Митька. — По-справедливому поделите, а?.. Нет, Дрон, не поделитесь, морду набьете друг дружке, смертоубийство может быть. Мы, мужики, жадные. Как начнете делить, то каждый будет норовить себе что получше да побольше забрать... Не поделитесь.

— Кто ж будет делить-то? — изумился Дрон.

— Власть! — строго сказал Митька.

— Какая ж власть-то? — еще больше изумился Дрон. — Вон она, власть-то, — кивнул он в сторону трупов помещика и его приказчика. — Отвластвовались.

— Ваша власть, мирская! — внушительно крикнул Митька. — Выбранная всем миром... Небось слыхали, мужики, что делается у нас на Дону, да не токмо на Дону, по всей Расеюшке-матушке, а?.. Наш-то атаман Кондратий Афанасьевич Булавин весь русский православный народ поднял супротив бояр; господ да лихих людишек бьет и жгет, по всей Руси ставит власть народную, из самого народа, стало быть, без господ и чиновных подлых людишек... Везде по Святой Руси будет ваша выборная власть служить вам верой и правдой... Вот давайте зараз и у вас атамана выберем. Будет он вами управлять по справедливости, без обид всяких...

Митька долго и обстоятельно рассказывал мужикам, что должен делать атаман и какие обязанности он должен выполнять.

— Так вот, братцы, какое оно дело-то... Все вам понятно али нет?

— Понятно! Все понятно! — хором отозвались мужики.

— Ну, а ежели понятно, то и давайте выбирать атамана. Кого будете кликать в атаманы, а? Кричите!

— Дрона!.. Дрона Анкипа!.. — разом загудела толпа.

— Ну что ж, — согласился Митька. — Ежели Дрона, так Дрона... Знаю я его, мужик добрый. Пусть будет Дрон у вас атаманом... А теперича, стало быть, чтоб ему была помощь крепкая, надобно ему выбрать добрых помощников — двух есаулов. Кого будете кликать есаулами?

Есаулами мужики выбрали Терентия Цыгана и курносого Ермолая.

— Ну, и в добрый час! — сказал Митька. — Теперь с божьей помощью приступайте к дележу господского добра. Да делите по справедливости, чтоб обид никаких не было...

Галдя и споря, мужики, во главе со своей выбранной властью, двинулись делить господское имущество и землю.

ГЛАВА XXIX

Войсковой атаман Максимов и старшины лихорадочно укрепляли Черкасск, готовясь к осаде. К обороне городка были призваны казаки окрестных станиц. У Максимова набралось тысяч восемь войска.

Но, несмотря на все приготовления к защите Черкасска, несмотря на то, что войска у Максимова стало много, настроение у большинства казаков было невоинственное. И если б Максимов оказался проницательнее, то понял бы, что с таким войском воевать нельзя. Но он был ослеплен дикой ненавистью к Булавину, он горел яростным желанием во что бы то ни стало уничтожить своего дерзкого врага,— затеявшего великую смуту на Дону. Он думал, что все его войско горит таким же желанием.

Илья Зерщиков также вместе со всеми деятельно готовился к обороне Черкасска. Он бегал из одного конца городка в другой, деловито осматривал укрепления, давал советы, как их усовершенствовать, расставлял полки по боевым участкам. Не раз давал Лукьяну Максимову ценные указания, за которые тот был ему благодарен. По всему видно, что Илья решил самоотверженно защищать Черкасск.

Часто Зерщиков ездил в окрестные станицы — Рыковские, Скородумовскую и Тютеревскую. Там он так же внимательно осматривал укрепления, проверял расстановку сил, разносил атаманов и старшин, если замечал какие-либо неисправности и нераспорядительность. А по окончании своих осмотров, по обыкновению, вел какие-то тайные беседы с атаманами этих станиц. Кто бы мог усомниться в искренности Ильи Зерщикова? Кто мог бы подумать, что на уме у него было другое?..

Двадцать седьмого апреля лазутчики сообщили Мак-

симову, что струги Булавина появились недалеко от Черкасска. Максимов сейчас же приказал развести мосты и приготовиться к обороне.

В ночь под двадцать восьмое к стругу Булавина в сумерках вечера кто-то подплыл на каюке.

— Эй, что за человек? — закричали со струга. — Чего надобно?

— К атаману, — ответил с каюка охрипший голос. — Самого Булавина надобно.

Услышав крики, Кондрат велел поднять на струг подплывшего человека. Приказание его быстро было выполнено, и к нему подвели закутанного в епанчу казака.

— Откуда будешь? — спросил у него Булавин. — Чего надобно?

— К тебе, батька Кондратий, прислан, — скинув шапку, сказал казак. — Вот отписку тебе привез, почитай.

И, достав из-за пазухи свернутую в трубку бумагу, он передал ее Булавину.

— Титка, — стал будить писаря Кондрат, — вставай!.. Слышишь, проснись!..

Писарь, по обыкновению хмельной, спал безмятежным сном, добудиться его стоило больших трудов. Он что-то бессвязно мычал во сне и не поднимался.

— Вставай, дьявол плешивый! — долбил его ногой в бок Кондрат. — Проснись, проклятый вурдалак! Прочитай вот отписку.

— Иди ты к монаху... — страдальчески пробормотал писарь, сторонясь от сыпавшихся на него ударов и переворачиваясь на другой бок.

Видя, что таким образом от писаря не добьешься толку, Булавин переменил тактику.

— Тит Макарыч, — ласково сказал он, — вставай скорей! Тут вот меду крепкого переварного привезли, вставай, выпьем маленько...

— А-а?.. Чего? — приподнял взъерошенную, заспанную голову писарь. — Чего гутаришь?

— Меду, говорю, привезли доброго, вставай, а то весь попьем.

— Зараз, — весело откликнулся писарь, приподнимаясь. — Мед пить — не рожь молотить, от этого никогда живот не заболит.

Поднявшись, он протер глаза, спросил:

— Где ж мед-то?

— Так тебе меду, сатана, захотелось, а? — гневно вскрикнул Булавин. — Меду? Так на ж тебе добрый ковш! — дал он ему по щеке увесистую затрещину.

Долговязый писарь ахнул от неожиданности и, взмахнув руками, повалился снова на свое ложе.

— Эх, Кондратий Афанасьевич, — жалобно заскулил он, — за мою-то верную песью службу обижаешь меня... Грех тебе за это будет, Кондратий Афанасьевич... Бог тебя накажет за меня...

— Ну уж, ладно, ладно, Титка, — посмеиваясь, сказал Кондрат. — Извиняй, что ненароком по сусалам заехал. Это ж я любя. Кого люблю, того и бью... Встань, почитай вот письмо. За это прикажу тебе дать ковш меду.

— Обижаешь меня, милостивец, — вздохнул писарь, — а сам без меня, яко поп без кадила.

Трисущимися с похмелья руками писарь поднес бумагу к слабо мерцавшему жировику в фонаре, нараспев по складам начал читать:

— «От пяти станиц, от трех Рыковских, от Тютеревской, от Скородумской атамана Дмитрия Степановича, от Антипа Афанасьевича, от Ивана Романовича, от Абросима Захарьевича, от Якова Ивановича и от всех станиц Кондратию Афанасьевичу челобитье и всему вашему войску походному челом бьем. О том у тебя милости просим, когда ты изволишь к Черкасску приступать, то ты, пожалуй, на наши станицы не наступай. А хоть пойдешь мимо нашей станицы, мы по тебе будем бить пыжами из мелкого ружья. А ты такожде вели своему войску в нас пыжами бить. И буде ты скоро управишься, и ты скоро приступай к Черкасску, потому что наши станицы будут из Черкасска мозжерами палить, и ты пожалей нас...»

Ниже было приписано:

«Кондратий Афанасьевич, в нас не сумлевайся, все будет исполнено. *Зерщиков*».

— Молодец Илья! — усмехнулся Кондрат. — Вот что, парень, — обратился он к посланцу, — передай своим атаманам, что Кондратий, мол, Афанасьевич сказал, что так и будет, как они писали в своей отписке. Прощевай, брат, добрый тебе путь!

На следующий день в полдень струги Булавина подплывали к Черкасску. Казаки Рыковских станиц открыли беспорядочную стрельбу холостыми зарядами — пыжами. Со стругов отвечали тоже холостым огнем. Миновав эти станицы, струги стали на речке Васильевке, на виду Черкасска.

На стенах городка взвились дымки, загрохотали пушки.

На берегу речки Васильевки расположился шумный лагерь булавинцев. Весело горели костры, звучали удалые песни, гремели литавры, и бубны. Казалось, что Булавин со своим войском обосновался здесь надолго. Иногда несколько быстроходных стругов, как бы дразня, приближались к острову, на котором возвышался Черкасск. Со стен городка тогда грохотали пушки, ядра взбрасывали над водой фонтаны брызг. Струги быстро мчались назад.

Стоявшая вначале ясная погода изменилась, небо посерело, нахмурилось, пошел обложной дождь. Булавинцы притихли, прячась от дождя, где только было можно. Промокнув до нитки под двухдневным беспрестанным дождем, люди начали роптать:

— Что это мы тут сидим, мокнем, как куры без насеста? Надобно на приступ городка идти...

Слыша такие возгласы, Булавин понял, что медлить нельзя: пока еще не погас пыл его войска, надо штурмовать городок.

Он отдал приказ назавтра готовиться к штурму.

Ночью к нему из Черкасска на лодке прокрался Василий Поздеев.

— Ты только начни, Кондратий Афанасьевич, — говорил он Булавину, — а мы уж с Ильей там закончим. В нас не сомневайся. Народ у нас подготовлен. Как пойдете на приступ, так зараз же вам ворота городские откроем...

— Добре, Василий, — отвечал Кондрат. — Только вы мне Луньку Максимова да Ефремку Петрова живыми поймайте.

— Ладно, Кондратий Афанасьевич, постараемся, — пообещал Поздеев.

Рано утром первого мая полковник Игнат Некрасов под ураганным огнем городских пушек переправился со своим полком на остров и бросился на штурм городских

стен. Приставляя лестницы, булавинцы быстро полезли на стены. На их головы полились потоки расплавленной смолы, кипятка, их засыпали камнями, гранатами. Обваренные, искалеченные люди, корчась от боли, в страшных мучениях дико кричали, валились с лестниц, увлекая за собой товарищей, но ничто не могло сломить упорства штурмующих. Невзирая ни на что, булавинцы упрямо лезли наверх и были уже почти у цели, когда неожиданно оказалось, что лестницы коротки и не достают до верха стен. У булавинцев произошло замешательство. Спрыгивая с лестниц, неистово ругаясь и проклиная все на свете, оставляя у городских стен горы трупов и раненых товарищей, они побежали к бударам.

— Нет, браты! — закричал Некрасов, отталкивая от берега пустые будары, не давая сесть в них булавинцам. — Чем отступать и погибнуть, так лучше идти вперед и умереть. Ура, браты! За мной!..

Взмахивая саблей, он снова ринулся на городскую стену.

— Ура-а! — подхватили булавинцы, бросаясь вслед за своим полковником.

И снова, взбираясь на лестницы, они подставляли друг другу спины и плечи, яростно лезли на стены.

Но вдруг все смолкло. Защитники перестали обороняться. Они перестали лить растопленную смолу, перестали бросать камни и стрелять... Городские ворота широко распахнулись...

...Максимов в начале штурма озабоченно бегал по городским стенам, отдавал распоряжения казакам:

— Тащи смолу! Тащи! Лей кипяток! Лей! Насыпай камней поболее! Не бойся, атаманы-молодцы! — ободрял он защитников. — Вовек не взять ворам нашего городка. Немыслимое дело!.. Пали в них, антихристов!..

Он подбежал к пушкарю, оттолкнул его от пушки, сам зажег фитиль. Пушка дрогнула и с ревом выплюнула из жерла сноп пламени.

— Ого-го! — удовлетворенно загоготал атаман, увидя, что выпущенное им ядро попало в кучу булавинцев. — Я вас, дьяволов, напаче погощую!

Он с яростью забил в пушку новое ядро и намеревался уже зажечь фитиль, как неожиданно пуля с присвистом черкнула его по голове. Кровь темными струйками потекла по лицу. Максимов обессиленно присел на камень.

— Господи Исусе Христе, — простонал он, ощупывая рану.

Рана, видимо, была не опасная, легкая, но из нее обильно лилась кровь. Максимов вытащил из гамапка, висевшего у него через плечо, чистое холстинное полотенце и перевязал рану. Белая холстина сейчас же покрылась алыми пятнами. Максимову хотелось хоть на минуту прилечь и недвижимо полежать, пока бы не утихла боль в голове. Но вокруг крики усилились, и, превозмогая боль, он поднялся и оглянулся. Кругом гремело и грохотало, как в аду. Люди угорело сновали взад-вперед, подтаскивали чаны со смолой, огромными ковшами черпали из них, выливали на стену, опрокидывали котлы с кипятком, бросали огромные камни, стреляли из луков, ружей и пищалей. Атаман, почувствовав в себе прилив сил, вскочил и зажег фитиль. Пушка рявкнула. Пошатываясь, Максимов пошел, взял ядро и стал забивать его в пушку.

— Лукьян! — в ужасе вскричал кто-то возле него.

Максимов оглянулся. Перед ним, как в тумане, стоял бледный, без шапки, с всклокоченными потными волосами, запыленный и весь перепачканный в смоле и крови Ефрем Петров.

— Лукьян! — в отчаянии снова вскричал он. — Ай ты ничего не видишь, а?.. Ведь нас же предали!.. Предали, Лукьян! Измена... Илюшка, нечистый дух, оказался предателем. Он возмутил наших казаков. Вон, гляди, пошли ворам открывать ворота... Что будем теперь делать, Лукьян, а? Ведь погибель нам неминучая. Куда будем деваться?.. Кондрашка на кол посадит! Да что ж ты, Лукьян, молчишь-то?..

У Максимова сильно ломило голову. Голова кружилась, и в глазах мерцали огневые язычки. Он даже не мог понять сразу, о чем ему говорит Петров. Он пристально посмотрел на него и хотел попросить, чтобы тот объяснил ему толковее, в чем дело, но Ефрем Петров, безнадежно махнув рукой, бросился куда-то бежать.

Атаман изумленно посмотрел ему вслед и огляпулся. Его поразила вдруг наступившая тишина. Повсюду стояли понурые, молчаливые и печальные защитники городка. Теперь они уже не лили на стену смолу и кипяток, не бросали камней, не стреляли из луков и ружей... И тут только в сознание атамана проникли слова Ефрема, он по-

нял их страшное значение. Максимов содрогнулся и побледнел.

— Атаманы-молодцы! Браты! — загремел его голос возмущенно. — Да что же это такое?.. Ай вы, соколы боевые, испугались черного коршуна? Ай вы разучились держать острую саблю в руках, а?.. Ай у вас глаз помутнел и не может метко послать пулю в грудь ворога? Ободритесь, браты!.. За мной! — исступленно кинулся он к стене. — За мной, атаманы-молодцы!.. Постоим за честь казачью, за доблесть лыцарскую!

Но ни один человек не двинулся за стоим атаманом. Потупив взоры, стояли недвижимо его соратники.

— Что же это, браты, а? — с тяжелым хрипом выдавил атаман, обводя казаков растерянным взглядом.

— Все, атаман, — вздохнул рыжебородый казак, ближе всех стоявший к нему. — Предали нас. Что же мы теперь сделаем, ежели все пошли замиряться с ворами? На рожон-то ведь не полезешь. Нам своей головы, атаман, все же жалко... Может, он, Кондрашка-то, постебает нас батогами да вживе оставит. А ежели будем до последнего обороняться, так погибель нам всем будет... Беги, атаман, — сочувственно проговорил рыжебородый казак, — может, свою головушку-то и упасешь, а то вон, глянь, воры идут...

Атаман посмотрел на ворота. Они были широко распахнуты, и в них толпой входили булавинцы. Атаман что-то хотел сказать рыжебородому казаку, но лишь махнул рукой и, спрыгнув с крепостной стены, побежал по улице.

— Стой, Лукьян! — услышал он за своей спиной повелительный голос, но он не остановился, а ускорил бег.

Он бежал, пошатываясь от истощения, от потери крови, часто поправляя сползавшую окровавленную повязку. Сзади он слышал тяжелый топот бежавших людей. Атаман знал — это бежали его враги. Они хотели его бесчестия, его смерти. Зная теперь наверняка, что смерть его неизбежна, он хотел защищаться до последней капли крови, до последнего предсмертного вздоха и продать свою жизнь дорогой ценой...

Он почти падал, когда подбежал к своему дому. С трудом взобрался он на крыльцо и уже хотел было толкнуть ногой дверь, как почувствовал, что кто-то крепко ухватил его за рукав. Максимов оглянулся и увидел торжествующее, злое, такое ненавистное, с бегаю-

щими, горящими, как у хищного зверя, глазами лицо Ильи Зерщикова.

«Вот он, коршун-то, прилетел клевать меня», — с ненавистью подумал Максимов и с невероятной силой и яростью ударил наотмашь кулаком в это противное ему, мерзкое лицо. Зерщиков ахнул и, падая с крыльца, выпустил рукав атамана.

Максимов распахнул дверь. На улицу выглянуло жерло маленькой пушки, приготовленной атаманом на всякий случай. Проворно подкатив ее к порогу, атаман зажег фитиль. Пушка грохнула, толпа, гнавшаяся за Максимовым, отхлынула...

Долго отбивался атаман от своих врагов. Потом, обессилев от огромной потери крови, он упал и потерял сознание.

Илья Зерщиков осторожно, крадучись, выглянул из-за двери. Увидев Максимова распростертым возле пушки и кучи ружей, он подался вперед, подскочив к атаману, навалился на него всем своим телом.

— Веревки! — торжествующе завопил он. — Скорее веревки!

И когда ему бросили веревки, он крепко-накрепко связал Максимова. Придя в себя, Максимов мутно посмотрел на Зерщикова.

— Тьфу! — плюнул он ему в лицо. — Будь ты проклят, предатель!

— А-а! — взвыл Зерщиков. — Я предатель?.. А помнишь, дьявол, как ты крест целовал?.. Помнишь?.. Целовал, клялся вместе быть, а потом изменником стал, супротив Булавина пошел. У-у, антихрист! — взвыл он и с яростью стал пинать его ногами.

— Илья, ай у тебя креста нет? — жалостливо сказал Василий Позднеев. — Что уж ты его так избиваешь-то? Ведь он же раненый.

— Молчи, дурак! — свирепо накинулся на своего приятеля распаленный Зерщиков. — Черт его дери, что он раненый. У такого надобно с живого кожу содрать!

Позднеев укоризненно покачал головой и отошел.

Посажав в лодку крепко связанных веревками атамана Максимова и войсковых старшин — Ефрема Петрова, Абросима Савельева, Никиту Соломату и Ивана Машлыкина, Илья Зерщиков и Василий Позднеев повезли их на стоянку Булавина.

Заметив еще издали Булавина, стоящего в толпе на берегу, Илья Зерщиков осклабился и приветственно замахал шапкой.

— Будь здоро-ов, атаман Кондратий Афанасьевич! — крикнул он из лодки. — Будь здоро-ов на мно-огие ле-ета!.. Подарочек тебе знатный везем!..

Когда лодка причалила к берегу, он, пиная связанных ногами, приказал:

— А ну, сходите, дьяволы!.. Сходите, что развалились, как баре?

— Посовестился бы бога, Илья, — тихо проронил Ефрем Петров. — Что ты так остервенился-то?

— Молчи! — злобно толкнул его в спину Зерщиков.— Скажи еще хоть одно словечко, так я тебе голову шашкой отрублю.

Ефрем тяжело вздохнул и замолчал.

Видя, что за ним наблюдает Кондрат с берега, Зерщиков неистовствовал еще пуще. Он матерно ругался, бил старшин, медленно выходивших из лодки.

Всех старшин выстроили на берегу перед Булавиным. Кондрат молча долго рассматривал их, как будто видел впервые.

— Отвоевались, сучьи дети, а? — мрачно усмехнулся он. — Эх вы, вояки!.. Ефремка, — глянул он на Петрова, — ты ж похвалялся изловить меня да страшной смерти предать. Помнишь ай нет?.. А вот видишь, бог-то по-другому рассудил. В мои руки ты попал. Что же теперь с тобой делать, а?..

— Предай смерти, Кондратий,— глухо сказал Петров.

— Да ну? — с притворным удивлением протянул Кондрат. — Смерти? Вишь ты, какое дело-то. Смерти просишь, а я тебя, черта, хотел на волю пустить.

Толпа булавинцев, окружавшая Кондрата и старшин, захохотала.

— Пусти его, атаман, на волю, пусти.

— Нехай он нашего брата еще покалечит.

— Пущай еще нашей кровушки попьет.

— Ну, уж ежели ты просишь смерти, — насмешливо продолжал Кондрат, — то ладно, будь по-твоему. Предам тебя смерти. Но такой смерти, Ефрем, что ты и своим врагам-лиходеям не пожелаешь. С живого кожу сдеру.

Заметив, как содрогнулся Петров, Булавин злорадно спросил:

— Испугался, Ефремка? Сдеру, Ефрем, мое слово крепко, ты знаешь. Что сказал, то и исполню. — И, приходя в гнев, заскрипел зубами: — Помнишь, Ефрем, как ты казаков казнил, а? Забыл ай нет? Помнишь, Паньку Новикова из Шульгина, а?.. Запамятовал? А я помню... Видал своими глазами, как ты его казнил... Помнишь, тогда старый монах-то с Зерщиковым в толпе стоял?

Максимов, слушая Булавина, вспомнил седого черноца, присутствовавшего при казни Паньки Новикова.

— Так тот монах-то я был, — продолжал гневно Кондрат. — А моего ближайшего друзяка, Гришку Банникова, помнишь? Ты ж его в Москву возил в кандалах закованным. Куда дел его? На пытошной доске умертвили... А помнишь, Ефрем, как вы носы да губы казакам с князем Долгоруким резали?.. Тоже забыл, а?.. Много ты зла наделал народу... Теперь пришел тебе час расплаты за все... За все припомним тебе, Ефрем!..

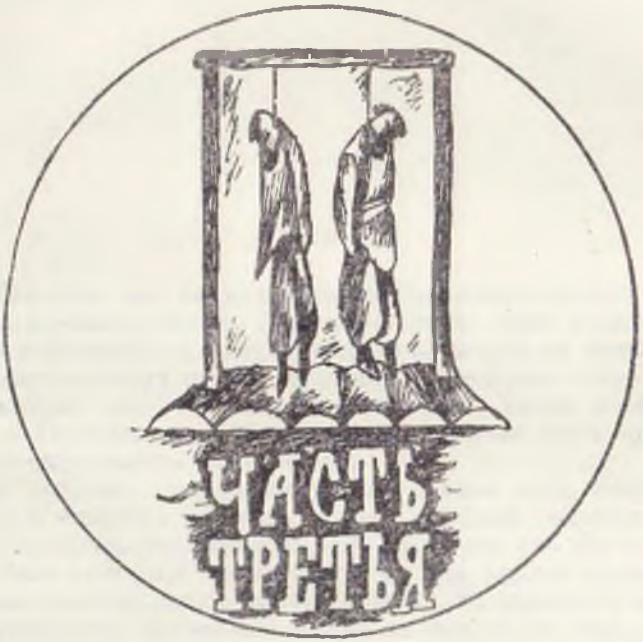
— О господи! — простонал Максимов, приподнимаясь с земли, куда его положили булавинцы, снеся с лодки. — За какие такие грехи ты нас наказываешь?.. Ну, что же, вор?—вызывающе посмотрел он на Кондрата.—Пытай нас, жги огнем, сажай на кол... Чего ж ты, дьявол, ждешь?

— А-а, Лукьян Васильевич, очнулся? — насмешливо посмотрел на него Кондрат. — Погоди, Лукьян, время придет — все испытаешь. И огня попробуешь, и кол от тебя не уйдет... Покуда отдохни, окрепни силами, пусть твои раны подживут... У нас с тобой особый разговор будет. Я еще тебя поспрошаю, из каких таких умыслов ты клятву нарушил да супротив меня и моего войска пошел...

— Тьфу! — возмущенно плюнул Максимов. — Антихрист ты, Кондрашка! Насешь, вор, придет и твой черед. И тебя также на кол посадят. Истинный бог, посадят! Вместе вас с Ильюшкой Зерщиковым посадят! А нам умирать не страшно... Мы, казаки, ко всему привычные,— горделиво закончил он и обессиленно свалился на землю.

У Кондрата гневно сверкнули глаза, он рванулся было к Максимову, но сдержал себя.

— Уберите их! — сказал он властно.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Шестого мая на колокольнях Черкасска-городка звонили по-похоронному. Тоскливые стоны меди расплывались над городком, наводя уныние и печаль на жителей. С десяток старух стояли на улице и с испугом озирались на майдан, где шумела многотысячная толпа казаков.

— Господи, прими их души во царствие твое небесное, — крестились они набожно.

С майдана, тяжело передвигая слабые ноги, сгорбившись и опираясь на костыль, шел дряхлый старичок. Он так был стар, что, казалось, ему было лет сто. По ногам его била такая же старая, как и он сам, кривая турецкая сабля в ветхих, потрепанных ножнах. За кушаком, перехватывавшим выцветший зипун на немощном теле, торчала костяная ручка пистоля.

— Нефедыч! Нефедыч! — обступили старухи старика. — Расскажи, родимый, что там деется-то?

Старик оглянул старух мутными глазами, сокрушенно закачал головой.

— Ой, девки, и не вопрошайте. Лихое дело совершается... Помутился наш славный тихий Дон с верху до низу. Не стало порядку... Свету конец, должно, скоро. Чую я... О господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, — закрестился старик. — Брат на брата руку поднял, сын на отца пошел, отец на сына...

— О господи! О матерь божья! — вздыхали старухи, крестясь.

— Я сам со Стенькой Разиным гулял, много на своем веку крови видывал, много ее и сам пролил, а такого, что зараз деется, и не приномню.

— Да что ж там, Нефедыч? Скажи, родимый? — изнемогая от страха и любопытства, спрашивали старухи.

— Страшное дело там, девки, свершается. Дюже страшное. Казаки своих атаманьев да старшин смертью смертной казнят.

Старухи плотно обступили старого казака, и он, покачивая горестно седой бородой, начал рассказывать:

— Вот привели их, стало быть, на майдан...

— Кого? Кого, Нефедыч, привели-то?

— Ну, да кого ж, ведомо кого: атамана, стало быть, нашего Лукьяна Максимова да старшин его Ефрема Петрова, Абросима Савельева, Никишку Соломату да Ивашку Машлыкина. Зерщиков-то Ильюшка — сукин сын, будь он проклят, нечистый дух! — стал спрашивать у казаков, что, мол, с ними делать. Они, мол, нас предали боярам, они, мол, ссылали казаков, носы им резали, пытали, казнили. Ну и поднялся тут, девки, шум страшный на майдане: «Предать их смерти! Предать!» И вот начали тогда старшин-то пытать в хомутах да огнем лютым жечь. Ефремка с Лукьяшкой Максимовым хоть бы слово промолвили. Как воды в рот набрали, не застонали даже. Настоящие казаки! А вот Абросим-то с Ивашкой Машлыкиным дюже надрывались, болезные...

— Господи-сусе Христе, — шептали старухи побелевшими губами.

— А потом стали им на плахе рубить головы, — продолжал рассказывать старик. — Не стерпело мое сердце, ушел я оттуда. Помутился, помутился нынче Дон. Конец свету, девки, конец свету. О господи, господи!

Бормоча и отплевываясь, старик побрел дальше.

...После казни в большом, просторном доме Максимова, в котором теперь жили Кондрат с Ольгой и Галей, собрались полковники и старшины на совет. Здесь был и булавинский полковник Игнат Некрасов, и Семен Драный, только что прибывший в Черкасск, и Тимофей Соколов, ближайший друг и советник Булавина, и старый разинец Ивашка Лоскут, были здесь и Илья Зерщиков с Василием Поздневым, важные и недоступные, считавшие себя главными виновниками происшедших в последние дни событий, были здесь и запорожские атаманы Калин Щука и саженного роста Марк Подоприбока. При-

суетствовали старый домрачей дед Остап, поп Питирим, писарь Тит Чекин. Были приглашены на совет и десятка полтора черкасских казаков, среди них домовитые: старые друзья Кондрата по походам — Степан Ананьин, Кари Казанкин и Иван Юдушкин.

Наступил вечер. Свечи ярко горели в шандалах. Просторная горница была увешана золотистыми богатыми коврами. На коврах золотое и серебряное оружие играло огнями дорогих камней.

Посреди горницы огромные дубовые столы были сдвинуты и накрыты красными, расшитыми золотыми и серебряными цветами столешниками. Столы уставлены всевозможными закусками, разных сортов медами, заморскими винами.

— Садись, атаманы-молодцы, — пригласил Кондрат. — Садись, браты, отведай черкасского хлеба-соли.

Казаки, шумно задвигав скамьями, уселись вокруг столов.

— Попьем, поедим, атаманы-молодцы, да и о деле поговорим, — снова сказал Булавин, усаживаясь посреди своих старшин и полковников и наливая себе вина из огромного жбана.

Все здесь были парадны, дорогое оружие сверкало на полковниках и старшинах. По приказу Булавина много старшин и домовитых черкасских казаков, сопротивлявшихся булавинцам, было сослано в верховые городки на вечное поселение, а имущество их отобрано в казну булавинского войска. Кондрат приказал часть взятого добра разделить между полками. В первую очередь полковники и начальные люди оделили этим добром самих себя. Вот теперь-то они и щеголяли в новом, добротном одеянии.

— Атаманы-молодцы! — крикнул Илья Зерщиков, вставая и высоко поднимая ковш. — Первую нашу чару выпьем за нашего донского атамана Кондратия Булавина. Ура-а, браты!..

Казаки поднялись и дружно закричали:

— Ура нашему батьке атаману!.. Многие лета ему жить да атаманить!

— Спасет Христос вас, браты, за доброе слово, — поклонившись, сказал Кондрат.— Вашу доверенность ко мне оправдаю... Вот девятого числа соберем войсковой круг, будем выбирать себе войскового атамана... Глядите, ежели люб вам я — выбирайте, а не люб — выбирайте

любого, серчать не буду. А то, что мною задумано, я все равно исполню: сначала пойду на Азов, Таганрог да Троицкое, потом выбью изюмцев с наших земель, а там будем держать поход до самой матушки-Москвы... А потом, как заберем Москву да установим власть народную, то...

— Веди нас, атаман... Веди!.. — не давая ему закончить, буйно кричали старшины и полковники. — Все до единого за тобой пойдем!.. Установим на Руси правду!.. Побьем проклятых бояр и шведов прогоним!..

— Куда ты, туда и мы, Кондратий Афанасьевич, — льстиво сказал Зерщиков. — Ты наш голова, а мы твои руки и ноги. А что касаемо атаманства, то неминуемо быть тебе нашим войсковым. Толковал я уже о том с казаками. Тебя все будут кричать.

Зерщикову хотелось самому быть войсковым атаманом, но он знал, как сейчас популярен Булавин, и поэтому себя выставлять в атаманы считал бессмысленным.

«Нехай поатаманит, — думал он, — а как позатихнет, то можно его с атаманства и спихнуть. А тогда боле некому атаманом быть, как мне...»

— Посмотрим, — сказал Кондрат. — Допрежде как выбирать меня в атаманы, хочу я вам, браты, одно слово сказать, чтобы потом, как стану атаманом, не серчали б на меня... Прошлый год осенью собрались мы в этой горнице: Максимов, Илья Зерщиков, Василий Позднеев, брат мой Тимоха Соколов да я. И был тогда промеж нас такой совет: побить до смерти злодея и паспльника князя Долгорукого. Слово наше было крепкое и нерушимое. Порешили на это дело послать меня и на помощь мне дали Соколова и Семку Куницына. Собрали мы гультяев да работных бахмутских солеваров и слово то выполнили — князя-собаку убили. Но нарушил нашу клятву первым Лунька Максимов, предал нас, с войском пошел супротив нас... Ну, собака и получил за свое предательство собачью смерть... И ежели, браты,— грозно обвел взглядом по лицам старшин и полковников Кондрат, — средь вас окажутся еще предатели, изменники, то и им смерть лютая будет!.. Никого не пощажу!

— Смерть всем предателям и изменникам! — в едином порыве закричали казаки.

— Погодите, атаманы-молодцы, — остановил их Кондрат. — Может быть, то, что я вам скажу, не любо вам бу-

дет. Послухайте!.. Когда мы делали уговор побить Долгорукого и его прислужников, то в уговоре были лишь одни мы, домовитые. Были мы тогда одних мыслей все: что притесняют, мол, нашу жизнь домовитых, а о гультяях да работных людях мы не думали. Мы думали лишь о себе, себе хотели улучшение жизни сделать. Таких мыслей мы были тогда. А вот теперь, как заколыхал я этим делом, как пошли ко мне мужики да холопы, как пошел ко мне со всей Руси обездоленный люд, то и понял я, браты, что в них-то вся и сила, за них-то и надобно нам стоять. За их волю, браты, за их жизнь! За них, браты, я ныне пошел, за них! За правду ихнюю... А теперь вот, после моих таких слов, пусть и подумают все домовитые казаки, кои с нами идут: по дороге ли им с нами? Подумайте, браты! Ежели не по дороге, то, пока не поздно, уходите прочь от нас... Прочь! Возбранять не буду. Разойдемся по-мирному, по-хорошему...

— Правду кажет атаман! Правду! — зашумели голоса, но не так дружно, как в первый раз.

Позднеев шепнул Зерщикову:

— Слыхал, Илья, что Кондрашка-то поет? Я ж тебе говорил.

Зерщиков хитро усмехнулся:

— А ты уж и испугался! Ведь это ж он поперву так, навроде надо народ к себе приманить... А потом обомнем, Васька, обомнем. Шелковый станет. Что захотим, то и выполнит...

Зерщиков твердо был убежден, что ему удастся восстание в любое время повернуть так, как ему хочется. Он не верил, чтоб Булавин, сам по происхождению домовитый казак, действительно стал на сторону гультяев и работных людей.

— Все, Васька, по-нашему будет, только дай время. А то, что болтает Кондратий, к тому не прислушивайся. Так это он... пустое говорит...

Со скамьи поднялся полковник Некрасов Игнат.

— Дозволь, атаман, слово молвить.

— Говори, Игнатий, — разрешил Кондрат. — Что хочешь сказать?

— Да вот теперь мы, Кондратий Афанасьевич, навроде прочно укрепились в Черкасском, — сказал полковник. — Дозволь нам пойти на морских стругах на море: погулять, добычи поискать.

— Нет, Игнатий, — покачал головой Кондрат, — покуда того делать нельзя. Вот послал я азовскому губернатору Толстому письмо, чтобы прислал мне войсковую казну и пожитки Максимова и Петрова, кои они отправили на сохранность ему. Подождем, а тогда пойдем всем войском на Азов да Троицкое, а как заберем, тогда, может, и на море погулять ударимся...

В то время как в горнице старшины пили и держали совет, Галя сидела в своей маленькой светелке у распахнутого окна и задумчиво смотрела на мерцающие звезды. Теплый ветерок нежно овевал ее, шевеля волосы. Она думала о Гришке. Теперь она убедилась, что его нет в живых, но думы о нем не оставляли ее. Слишком еще свежа была любовь в ее сердце. Разве можно забыть Григория? Ей кажется, что она вечно будет любить его. Разве найдется такой человек, который заменит его в ее сердце? Может быть, этот офицер из Азова? Галя печально улыбнулась. Конечно, нет. Галя он приятен. Она помнит, с какой нежной предупредительностью и заботой относился он к ней в дороге. Он хороший человек. Многие девушки, видимо, без ума от него, но Галя не может его полюбить. Все ее мысли и думы около Гришки, только он один ей дорог. Но Гришки нет... Что же остается делать? Неужели всю жизнь просидеть у окошка и грустить о потерянной любви? Нет, она найдет в себе силы для жестокой мести за свою неудавшуюся любовь, за своего возлюбленного...

— Галя, — окликнул ее женский голос, — ты тут ай нет?

— Ты, Ольгушка? — спросила Галя.

— Я, родимая.

Ольга во мраке подошла к Гале и, подсев к ней, обняла ее.

— Все тоскуешь, моя гулюшка? Пошла б посмотрела, как казаки гуляют. Сейчас поп плясал, ух, умора! — засмеялась Ольга. — Пойдем, моя кралечка, поглядим.

— Не хочу, Ольгушка, ничто не мило.

— Что так убиваешься по Гришке? Ведь мертвого не вернешь. Девка ты молодая, красивая, на тебя каждый заглядывается. Полюби какого-нибудь соколика. Есть молодые казаки такие собой пригожие, прямо загляденье.

— Не хочу, Ольгушка, никого, — печально сказала Галя. — Никак не уходит из сердца Гришка... Видно, уж весь свой век его одного буду любить.

— Ну, уж век! — усмехнулась Ольга. — Сказала тож. Забудешь ты своего Гришку, как только полюбится тебе другой.

Галя обиделась.

— Ты, должно быть, по себе, Ольгушка, судишь. Это ты, верно, отца моего могла бы забыть?

— Да ты что, Галя? — ужаснулась Ольга. — Да разве ж я хоть на минуту могу забыть Кондратия? Ведь то ж Кондратий.

— А то ж Гришка. И его нельзя забыть.

— Но Кондратий живой, — возразила Ольга. — А покуда он живой, он мой! Мой! Никому его не отдам! Не отдам, Галечка! — Ольга тихо засмеялась счастливым смехом и прижалась к ней пылающей щекой.

Галя почувствовала запах хмеля. Ольга была пьяна. Гале стала противна эта пьяная от хмеля и счастья женщина. Ей стало обидно за мать и за себя. Несчастная мать там где-то, в тюрьме, с грудным ребенком, страдает, а эта чужая женщина заняла ее место около отца. Галя возненавидела против этой женщины, ей захотелось обидеть Ольгу, унизить ее, показать, что счастье ее может каждую минуту развеяться, как дым.

— Матери моей отдашь, — сухо сказала Галя, отстраняясь от Ольги.

— Матери? — растерялась Ольга. — Но ее ж, Галя, нет вживе.

— Нет, она жива! — возмущенно воскликнула Галя. — Жива она! Сам батя говорил о том. В Белгороде она, в тюрьме сидит. Батя обещал, что он туда пошлет войско, чтоб отбить мать.

У Ольги перехватило дыхание. Она изумленно смотрела на Галю и не могла произнести ни слова.

— Не может быть... не может... — проговорила она наконец едва слышно. — Ведь Кондратий мне сам говорил, что мать твоя померла. Мы ж с ним венчаться будем...

— Венчаться? — зло рассмеялась Галя. — Может, и повенчаетесь недели на две ай на месяц, покуда мать не приедет. Вот тогда, Ольгушка, что будешь делать? — злорадно спросила она. — Скажи, что ж молчишь?

Ольга, как только увез ее Кондрат из лесу, ощущала всем существом свое неизбывное счастье. Казалось, что счастье ее неисчерпаемо и будет продолжаться вечно. А вот выходит, оно не так уж прочно. Приедет жена Кондрата, и Ольга должна будет уступить ей своего любимого.

— Нет, нет! — зарыдала она. — Не может этого быть!.. Не может! Лучше смерть!.. Да разве я для того спознала Кондратия, чтоб разлучаться с ним? Галя, ведь это ты нарочно сказала, чтоб посмеяться надо мною? Скажи, нарочно?

— Нет, Ольгушка, я тебе правду сказала.

— О господи! — простонала Ольга.

Гале стало жалко Ольгу. Чем она виновата, что полюбила отца? Галя знает, что такое любовь. Она притянула к себе плачущую Ольгу, стала ее утешать.

— Не плачь, Ольгушка, не плачь. Что будет — увидим, а покуда нечего горевать. Теперь я уж знаю: ты не скажешь мне, что можно Гришу забыть.

...Только к утру разошлись старшины и полковники от Кондрата.

— Ольгушка, — сказал Кондрат, садясь на скамью. — Разбирай, голубица, постель, хмелен я больно, спать хочу.

Кондрат стянул с себя красные сафьяновые сапоги, бросил синий бархатный кафтан, обшитый золотым галуном, и кинулся в постель, утонув в пуховой перине.

Ольга, тяжело сев на скамью, уткнулась лицом в колени, зарыдала.

— Ольгушка, что с тобой? — изумился Кондрат. Он вскочил с кровати, сел около нее. — Голубочка, о чем ты?

Ольга обвила его горячими руками, прижалась к нему.

— Кондратий, прежде убей меня. Без тебя мне нет моченьки жить... Убей меня, но не гони.

— Кто тебя гонит? Скажи мне, что с тобой?

Не сразу из бессвязных ее слов понял он все, что она услышала от Гали.

Кондрат призадумался.

— Трудно тебе, голубица моя... Понимаю... И мне не легко... Не будем наперед загадывать. Время покажет. Одно тебе скажу: полюбилась ты мне дюже...

Ольга верила ему. И снова сердце ее наполнилось счастьем.

ГЛАВА II

— Честная станица!.. Атаманы-молодцы!.. — кричал Илья Зерщиков с крыльца становой избы на майдане многотысячной толпе казаков, собравшейся на круг. — Послухай, честная станица, послухай!

Постепенно гул голосов затихал. Над площадью четко разносился голос Зерщикова:

— Атаманы-молодцы, ведомо ли вам, что у нас сейчас нет войскового атамана? По старым дедовским обычаям надобно нам избрать себе нового атамана. Кому прикажете пернач отдать?

— Кондратию Булавину! — в едином порыве зашумели казаки. — Булавину!

Других имен не выкрикивали, а если б кто осмелился выкрикнуть, то жестоко поплатился б за это, настолько был сейчас популярен Булавин.

Зерщиков по обычаю кричал до трех раз:

— Атаманы-молодцы, кому прикажете пернач отдать?

И каждый раз по майдану гремело.

— Булавину!.. Булавину!..

Зерщиков, взяв со стола пернач, передал Кондрату.

— На, Кондратий Афанасьевич, да послужи войску Донскому честью и правдою.

Кондрат низко поклонился кругу на четыре стороны.

— Спасибо, атаманы-молодцы и все войско Донское, — сказал он. — Послужу вам честью-правдою. Вот отвоевали мы ныне тихий Дон от сулостатов, кои предали нас боярам. Прогнали мы зараз со Старого поля всех, кто хотел нас сделать своими холопами. Никто теперь нас не тронет. Установим мы теперь жизнь привольную, никто не будет в обиде... Эй, вы, все заморские и русские торговые люди, слушайте меня!.. Везите в Черкасск свои товары, хлеб и разный харч, продавайте вольно, никто не будет чинить вам препятствия. А ежели кто вам зло сделает, тому велю голову рубить... А чтоб жилось сытно не токмо богатому, а тож холопу и работному старателю и гультяю, велю отныне дешево хлеб продавать: бочку по полтине, мешок по гривне... И чтоб отныне казакам-зипунникам можно б было на морских стругах по морю за добычей и ясырем ходить, пойдем мы, атаманы-молодцы,

в батальицу на Азов, отвоюем его, чтоб нам никто запрет не делал за зипунами ходить. Готовьтесь, атаманы-молодцы, в поход! Правильно я говорю ай нет?

— Правильно, атаман!.. Правильно! — загумели казаки.

На середину майдана выступил широкоплечий дюжий казак из Есауловского городка — Минай Варламов.

— Атаманы-молодцы! — закричал он басовито. — Оно, ведомо дело, идти нам не миновать на Азов, но прослыхал я, что там сила большая воинская. А ну, ежели пойдем мы, да отобьют нас? Что тогда? — обвел он вопрошающим взглядом толпу. — Срам и гибель. Я так разумею: ежели уж идти, так идти наверняка, без промашки, стало быть с силой грозной. Мы просим нашего атамана, Кондратия Афанасьевича, — обернулся он к Кондрату,— пусть он соберет поскорее казаков из верховых городков, а покуда те казаки соберутся, мы обождем их тут. А потом уж, как соберемся с силой, ударим на Азов и заберем, ей-ей, заберем.

— Правильно Минай говорит! Правильно! — поддержали голоса. — Надобно силы собрать!

— А покуда отпустил бы нас сено косить, атаман! — неуверенно крикнул кто-то из толпы.

— Право слово, отпустил бы, — подхватили голоса. — А то ведь скотина в зиму без корма останется. Отпусти покуда, атаман, а как покосим, вернемся.

Кондрат задумался. Предложения казаков казались разумными. Азов взять нелегко. Крепость теперь еще сильнее укрепили. А чтобы осадить ее, требовалось много войска. У Кондрата было около пятнадцати тысяч человек, но в большинстве крестьяне Придонья и Слободской Украины, бурлаки и работные люди, неопытные в военных делах, впервые взявшиеся за оружие. От такого войска только много шуму, а толку мало. При первых же неудачах оно разбежится. Уж если идти на Азов, то идти с таким войском, на которое можно твердо положиться. Прав Минай Варламов — надо собрать казаков со всех городков. Казаки — с юных лет испытанные воины, на них можно понадеяться.

— Будь по-вашему, молодцы, — сказал Кондрат. — Соберу в Черкасск со всех речек казаков. Тит, — позвал он писаря, — пиши войсковой указ по всем речкам и в верховые городки, чтоб от каждого десятка выделили по

семь казаков для похода на Азов. Утверждаете, атаманы-молодцы, такой указ?

— В добрый час! В добрый час! — одобрил круг.

Долго еще продолжался круг. Выбрали новых старшин да есаулов, среди них Зерщикова старшиной и Тимофея Соколова есаулом.

Разослав приказы о призыве казаков в Черкасск, Кондрат занялся хозяйственными делами.

В Черкасске не хватало хлеба. Кондрат распорядился грузить хлеб на будары из войсковых запасов, находившихся в Донецком и Паншином городках, и немедленно везти в Черкасск. В городе сразу же стало хлеба много, и народ повеселел. Кабаки и харчевни были переполнены. Пьяные булавинцы ходили по улицам, горлани разбойные песни. Появились русские и заморские купцы с товарами, завязалась бойкая торговля.

...Булавин одновременно получил два известия: с Хопра — от Лукьяна Хохлача и с Донца — от Сергея Беспалова. Хохлач писал о своем поражении. Беспалов сообщал о приближающихся царских войсках, больших силах. Оба просили помощи.

К Хохлачу на Хопер Булавин послал Игната Некрасова, а к Беспалову на Донец — Семена Драного, дав каждому по две тысячи казаков.

Через несколько дней после ухода Некрасова и Драного Кондрат отпустил атамана Павлова с бурлаками и всякой вольницей гулять на Волгу. Кондрат дал ему задание пройти на Каспий. С половиной войска Булавин остался в Черкасске.

Однажды Кондрат велел позвать писаря и запер его в горнице.

— Титка, — сказал Кондрат писарю, — не выпущу тебя до тех пор, пока, дьявол плешивый, не напишешь всего, что буду тебе говорить. Садись.

Трое суток, не выходя из горенки, писал Тит.

Кондрат написал пространное письмо царю Петру. В нем он излагал причины, побудившие казнить Максимова и старшин. Он ссылался на то, что войсковые старшины во главе с атаманом делали много несправедливостей казакам.

Кондрат заверял царя в своей верности и просил не посылать правительственных войск на Дон, а если войска пойдут и «казачьи городки будут разорять, то они им

противиться будут всеми реками вкупе с кубанскими» и могут все уйти с Дона на другую реку.

Одновременно написал Кондрат письмо Косте Гордеенко в Запорожскую Сечь и на Кубань атаману раскольников-казаков — Савелию Пахомову, мурзам Татарской и Ногайской орд. У них он просил немедленной помощи.

Написал Кондрат письмо к киевскому губернатору князю Голицыну с требованием немедленно освободить жену Наталью с грудным ребенком-сыном из Белгородской тюрьмы, грозя в противном случае прийти с пятидесятитысячным войском.

Между тем с севера наступали царские войска. В Азове шли приготовления к походу на булавинцев с юга.

В Черкасске нарастало беспокойство. С каждым днем усиливалось враждебное отношение к булавинцам со стороны зажиточного казачества. Домовитые казаки чуждались верховых гультяев, пришлых бурлаков, работных людей, относились к ним с нескрываемым пренебрежением и высокомерием. Гультяев и бурлаков они даже в курени свои не пускали, предоставив им под жилища амбары и сараи. Бедноту такое отношение возмущало. Между беднотой и домовитыми все более возрастала острая вражда, участились драки в кабаках и на улицах.

Вначале Кондрат не придавал серьезного значения вражде между голытьбой и домовитыми. Он считал это обычным. Но все чаще стали появляться толпы гультяев и работных людей перед его окнами.

— Атаман, побьем всех домовитых! — кричали они озлобленно. — Побьем!

— Кровушку они нашу повысосали!

— Вели, атаман, побить их!

— Раздай нам их пожитки! Отдай нам их курени!

Кондрат понял, что это были не обычные пьяные драки, а нечто более серьезное, что может вылиться в кровопролитие. Нужно было немедленно принять какие-то меры, которые могли бы охладить страсти, успокоить вражду и предотвратить то несчастье, которое каждую минуту готово было разразиться на его глазах. Но как успокоить эти разгневанные толпы?

Булавин хотел разобраться в событиях, которые совершались, как ему казалось, по его воле. Он хотел по-

нять их, чтобы предугадать неведомое будущее. Но это было ему непосильно. Он только чувствовал, что делалось все не так, как нужно было, как хотелось бы, однако ничего исправить не мог...

Положение булавинцев с каждым днем ухудшалось. Кондрат мучительно искал выхода.

Сильнейшее беспокойство охватило и Зерщикова. Он слишком далеко зашел. Гибель затеянного дела грозила ему личной гибелью. Как он оправдается перед царскими властями, когда восстание будет подавлено? Кто простит все его слова и действия?

Проведав о том, что Булавин, запершись с писарем Чекиным, несколько дней и ночей подряд писал кому-то письма, Зерщиков захотел обязательно узнать, кому они были адресованы и что в них писалось. Долгое время он ходил мрачный, злой, придумывая, как проведать о содержании писем Булавина.

Однажды он шел из становой избы домой. Ему повстречался писарь Тит.

— Здорово дневал, писарь, — остановился Зерщиков.

— Не дюже здоров-то, — сердито буркнул Чекин, намереваясь пройти мимо Ильи.

— Погоди, — задержал его Зерщиков. — А что с тобой, а? Хвораешь, что ли?

— Бокусь, не лихоманка ли меня одолевает, — пожаловался Тит. — Чего-то в дрожь бросает, голова трещит.

— Ишь ты, — сочувственно покачал Илья головой. Вдруг глаза его блеснули от какой-то внезапно пришедшей мысли, весело забегали. — Да лихоманка-то дело пустое. Доразу можно излечить.

— Да ну? — поднял на Зерщикова мутные, выцветшие глаза Тит. — Кто ж может излечить-то?

— Лекарь перед тобой стоит, — усмехнулся Зерщиков. — Знаю я одно такое средство. Как спробуешь, так доразу ж очунешься. Как все едино у тебя ничего и не было. Все твои лихоманки к лешему на рога сядут.

— Так ты ж, Илья, полечи меня, — взмолился писарь.— Век не забуду. Отблагодарствую тебя за это.

— За что ж тут благодарствовать-то? — добродушно рассмеялся Илья. — Говорю ж, дело пустое. Пойдем ко мне, дам тебе снадобья. Люди-то мы небось свои...

Они пошли к Зерщикову. Илья завел писаря в свою комнатку, позвал ясырку и шепнул ей, чтоб она принесла из подвала жбан прохладного переварного меда.

Когда ясырка принесла дымящийся от холода жбан меду и поставила на стол, писарь совсем развеселился.

— Это что ж, Илья, такое это твое средствие-то от лихоманки?

— Такое, Тит, — серьезно сказал Илья. — Я ведь медто этот наговорю. Заговор знаю от лихоманки. Как выпьешь ковш, так и лихоманка тебя бросит.

Он взял жбан, поднес его к переднему углу, уставленному иконами с горящей лампадой, и что-то пошептал.

— Ну, теперь можно и пить, — проговорил Илья, ставя жбан снова на стол и наполняя ковши. — Пей! Только прочти сначала «Отче наш».

Писарь прочел молитву и перекрестил ковш.

— Ну, господи благослови! — без передышки опорожнил он ковш. — Эх, да и хорош же у тебя медок, Илья, ей-богу, хорош!

— Пей, Тит, еще, — налил снова Илья.

— Как бы в голову не ударило.

— А ничего. Можешь у меня тут поспать.

— Ну, добро, коли так, — весело сказал писарь. — Ежели сопьюсь, так тут у тебя и высплюсь. Только ты, Илья, тоже со мной пей.

— Да то что же, и я могу выпить.

Но, спаивая писаря, сам Илья пил мало, воздерживался.

Когда Чекин уже достаточно захмелел и, раскачиваясь на табурете, пробовал хрипло запевать, Зерщиков осторожно, как будто между прочим, проговорил:

— Стало быть, разослали письма-то с Булавиным?

Писарь насторожился. Как верный пес, преданный Кондрату, он считал, что должен держать язык за зубами.

— А ты откуда ведаешь о том? — проворчал Тит, глядя на Илью.

— Гм... — усмехнулся Зерщиков. — Ты что же думаешь, Кондратий-то меня таиться, что ли, будет? Мы ж с ним друзяки наипервейшие. Одни мысли и думки у нас с ним. Я ему, может быть, и совет давал о том писать...

— Ну, раз Кондратий Афанасьевич сам сказал, значит, ты все и без меня знаешь,— ответил писарь.

Зерщиков нахмурился.

— Пей, Титка. Велю ясырке еще жбан принести.

— А я и так пью, милостивец. Спасет тя Христос.

Илья наполнил снова ковш писаря медом.

— Стало быть, что ж, Тит, вспоможения просим, а? — наугад спросил Зерщиков.

— Просим, милостивец, просим, — закивал головой Чекин.

Зерщиков чуть не рассмеялся от удовольствия. «Попался гусь», — подумал он.

— А как думаешь, Титка, помогут, а? — посмотрел Зерщиков на писаря.

— Кто ж его знает, Илья, — ответил писарь. — Кондратий-то Афанасьевич говорит, что кубанские казаки-раскольники должны прислать отряд, а вот что касаемо Татарской да Ногайской орд — неведомо.

У Зерщикова засверкали и забегали глазки...

Уложив вконец захмелевшего Чекина, он, не мешкая, направился к Булавину. Он застал его дома.

— Здорово живешь, Кондратий Афанасьевич, — поздоровался Илья.

Кондрат был задумчив и хмур.

— Здорово, Илья, — ответил он. — Проходи, садись.

Зерщиков степенно прошел и сел на лавку у стола.

— Надобно б, Кондратий Афанасьевич, стражу на лугу усилить, — сказал он для того, чтобы начать разговор, — а то азовские казаки озоруют, ночами наезжают и забирают коней. Так может дойти до того, что и без лошадей останемся. Не на чем будет казакам в поход идти.

— Что ты, Илья, ай у тебя такого права нет, чтоб приказать усилить охрану? — проговорил Кондрат. — Скажи, чтобы высылали казаков на охрану побольше. Я тебя во власти не умаляю. Опосле меня ты человек первый в нашем войске.

— На добром слове спасибо, Кондратий Афанасьич... Я, конешное дело, мог бы тебе о том не говорить и сам сделать, но я человек такой, люблю совет завсегда держать. Сам знаешь, один ум хорошо, а два лучше. Я не такой, как иные прочие, которые себе на уме, — с обидой закончил он.

Булавин пристально посмотрел на него.

— О чем это ты, Илья? На кого разобижен? Кто с тобой не хочет совет держать?

— Ты, Кондратий Афанасьич.

— Я?

— Да, ты, Кондратий Афанасьевич,— выдержал взгляд Кондрата Зерщиков. — Ты не хочешь со мною совет держать. А ведь я, Кондратий Афанасьич, можно сказать, к тебе всей душой стремление имею, — с дрожью в голосе проговорил Илья. — Зачем забижаешь? Зачем отворачиваешься от меня? Али я тебе не верный помощник был в твоих делах? Али я тебе помощь не оказывал?

— Да ты что, Илья? — с недоумением посмотрел Кондрат на Зерщикова. — В уме ли ты? А может, пьян? Когда я от тебя отворачивался? Когда я не хотел выслушать твоего умного совета? Нет, Илья, ты понапрасну на меня говоришь. Я в тебе, брат, уверился. Не скрою, было время, когда у меня иной раз сомнение в тебе было. Потому как ты казак дюже богатый, домовитее многих. Иной раз думка меня брала, что, может, тебе не по дороге с нами... А теперь, брат мой, думок у меня таких нет. Показал ты себя делами, за нас ты стоишь, за народ, за казачество... Выбрось из головы, Илья, нехорошие мысли, — дружески обнял Кондрат Зерщикова. — Выбрось. Помощник и друг ты мне наиперве йший. Всегда готов послушать твоего разумного слова.

— А вот и не всегда, — сказал Зерщиков.

— На что намекаешь, Илья?

— Ты вот, Кондратий Афанасьич, говоришь, что я твой наиперве йший друг и помощник, — вскипел Зерщиков. — А как же так понимать: вот понаписал ты письма кубанским казакам, ногайским да татарским мурзам, вспоможения у них просишь. Дело это сурьезное, надо б над ним со всех сторон пораздумать, а ты один все это сделал... А разве ж это дело только тебя одного касается? Оно, брат, касается нас всех, всего войска Донского... Позвал бы ты меня, да и посоветовались бы. Может быть, чего-нибудь надумали б и познатнее.

— Откуда ты знаешь о моих письмах? — строго посмотрел на Зерщикова Кондрат.— Соглядатая у тебя есть?

— Соглядатаев у меня нету, — спокойно сказал Илья. — А знать про письма все знаю. Меня, Кондратий Афанасьич, не перехитришь. Я, брат, стреляный воробей.

Булавин взбешенно подскочил к Зерщикову.

— Титка сказал?

— Охлопись, брат, — холодно проговорил Зерщиков.— Горячиться тебе нечего, я ведь тебе не враг.

— А я и не хоронюсь. Грамоту войску рассылаю. Братам-запорожцам и кубанцам пишу. Друзякам нашему делу средь калмыков, средь наших татар да средь ногайцев тож. Да посредь башкирцев наших подмоги ищу. Я в этом зла и воровства не вижу. Я, — распаляясь, продолжал Кондрат, — и царю Петру отписал. На сговор с царем надежу имею...

— Хоть ты мне не сказывал, наипервому товарищу своему, а про то все я знаю.

— Колдун, что ль, ты? — успокаиваясь, усмехнулся Кондрат.

— Колдун, — подтвердил Зерщиков, тоже усмехаясь.

— Хитрый ты, черт, — покачал головой Кондрат.

— Верно, хитрый, — согласился Зерщиков. — Ежели б не был хитрым, то тебе б никогда не казнить Луньку Максимова и старшин войсковых, да, может, и Черкасска б не взял. А хитрость моя помогла и с Максимовым расправиться, и Черкасск забрать, да, правду надобно сказать, и атаманом-то войсковым тебе стать!..

Кондрат задумался.

— Правду говоришь, Илья. Помог ты мне много. За это тебе спасибо. В обиде ты не будешь. Заслуги твои всегда будут оценены. Тебя, Илья, опасаться мне нечего.

И он подробно рассказал Зерщикову обо всех своих делах и помыслах.

— Это-то все хорошо, — выслушав Кондрата, задумчиво проговорил Зерщиков. — Но вот главного-то ты не делаешь.

— Чего главного? — в недоумении посмотрел на него Кондрат.

— Надо обратиться за помогой к султану турскому. Об этом надо ему письмо послать.

— Султа-ану?.. Ай ты очумел? Ай пьян? — побагровев, загремел Кондрат.

— Да ты погоди, Кондратий Афанасьич, — вкрадчиво заговорил Зерщиков. — Погоди. Враг, конешное дело, нам всем султан турский. А мне-то он не враг, что ли? Али я не воевал супротив турок всю свою жизнь? Да я под Азовом чуть было не лишился жизни от них. Помнишь, как меня рубанул янычар, антихрист? Но дело ведь не в этом. Они как были враги наши — так врагами и останутся. Но враги эти могут нам помощь подать. Дело мы затеяли большое, дюже сурьезное... Надобно его до конца

довести-то? Надо. А ежели не доведем, так головы наши с плеч долой. А зачем нам лишаться головы своей, коль можно ее уберечь?

— Ну-ну, так к чему ты, Илья, речь-то свою ведешь? — нетерпеливо перебил его Кондрат. — Говори короче.

— А вот к чему: надобно написать новое письмо кубанцам и заодно в том письме обратиться к султану турскому. Напишем в том письме: вы, мол, браты кубанцы-казаки, вспоможенье нам сделайте, а ты, мол, султан турский, будь наготове: царь, мол, наш Петр Алексеевич готовится с тобой воевать. Это испугает султана. Он свои войска двинет к нашим границам для охраны. А царь Петр-то, как прослышит о том, что султан придвинул свои войска к нашим границам, двинет своих батальщиков навстречу им... Хе-хе! Будет там у них война али нет — это нас некасаемо. Но то, что царю Петру будет тогда не до нас, — это верно. Где там тогда ему с нами возиться!.. А мы, пользуясь этим, можем свое дело до конца довести... Понял, Кондратий Афанасьич, к чему я речь-то свою вел? А ты говоришь, турки — враги наши. Да дьявол с ними! Врагами нашими они и завсегда будут. И ежели придется воевать, то я первый на них саблю подниму. Тут все дело в хитрости, Кондратий Афанасьич.

Кондрат низко опустил голову, задумался.

— Ну, и дьявол же ты хитрый! — хрипло засмеялся он. — Ты самого сатану перехитришь. Я думал, ты хочешь турок на помощь звать, а ежели так это... голову им подурачить... Что ж, надо об том поразмыслить... Стало быть, подуракуем над ними?.. Подумаем об том, подумаем...

Поблескивая хитрыми бегающими глазками своими, Зерщиков весело воскликнул:

— Об чем тут еще думать? Мешкать нечего! Давай зараз писать кубанцам... так, как я обсказал.

— Тита нет, анчутки пьяного, — решительно проговорил Кондрат.

— Нет, Кондратий, — оживляясь заговорил Зерщиков, — к такому делу Титку допускать не след. Тут бо-ольшая доверенность нужна. Где у тебя бумага? Сам отписывать буду. Чай, бог грамотой благословил. А ты, Кондратий, подпишешь.

В тот же день, 27 мая 1708 года, ушло письмо из Черкасска на Кубань.

«А есть ли царь наш не станет жаловать, как жаловал отцов наших, дедов и прадедов, или станет нам на реке какие утеснения чинить, и мы войском от него отложимся и будем милости просить у вышнего творца нашего владыки, а также и у турского царя, чтоб турский царь нас от себя не отринул...»

«А буде у вас, Савелий Пафомович, из вашей стороны какие люди, московские или украинские, из Азова или из Троицкого или откуды нибудь русския люди при вас будут, к вам бы пожаловать, про се письмо отнюдь им не явить и не сказывать, только ведатя милость ваша про себя с Хасаном Пашею да с Сартланом мурзою и с иными многими мурзами. А по совету, Савелий Пафомович, с пашею и с мурзами буде милости вашей и сие письмо угодно будет, и вы извольте, будя мощно, списав сего с письма списак, и списав оставтя у себя в Ачюеве, а подлинное наше сие письмо пошлитя к своему салтану в Цареград.

По сем писании войсковой атаман Кондратий Афонасьев и все войско Донское у тебя турского салтана милости прося и челом бьют. А нашему государю в мирном состоянии отнюдь не верь, потому что он многия земли и за мирным состоянием разорил и ныне разоряет. Также и на твое величество и на царство готовит корабли и каторги и иные многие воинские суды и всякой воинской снаряд готовит».

Борьба в Черкасске все более обострялась.

Однажды, после того как у Булавина под окнами снова побывали толпы гультяев, требовавших побить домовитых, Кондрат позвал к себе Ивана Лоскута и писаря.

— Идите в церковь, — сказал он им. — Заберите там всю казну.

— Нельзя того делать, атаман, — заколебался Лоскут. — То деньги церковные. Грех великий.

— Раз велю, стало быть, можно. Иди без разговоров, — топнул ногой Кондрат. — Пусть на меня грех падет. Заберите и подсчитайте.

Лоскут, зная крутой нрав атамана, не стал больше возражать. Он и писарь ушли. Вернулись они с толпой казаков, нагруженные мешками денег, только наутро следующего дня. Всю ночь считали деньги.

— Сколько? — спросил Кондрат.

— Двадцать тысяч рублей, милостивец, — ответил писарь.

— Высыпайте, — указал Кондрат на пол горницы.

Опрокидывали мешок за мешком. Со звоном падали на пол медяки и скоро заполнили всю горницу.

— О господи! — восхищенно воскликнул писарь, жадно оглядывая гору денег. — Весь век пить и не пропить. Ежели мы с тобой, милостивец, по пятьсот рублев в год будем пропивать, на сорок лет хватит.

— Нет, Титка,— усмехнулся Кондрат, стоя по колени в деньгах, — ни единым грошом мы с тобой не попользуемся из этих денег. Не наши это деньги, писарь, — войсковые. Дядя Ивашка, — сказал он Лоскуту, — кличь сюда всех гультяев, всех бурлаков, всех черных людишек.

— Да ты что хочешь делать-то, атаман? — изумленно спросил писарь.

— А вот уже поглядишь, Тит, — загадочно усмехнулся Кондрат.

— Ох, господи, матерь божья, — тяжко вздохнул писарь.

На лице его отразилось страданье, он понял, что из этой огромной кучи денег ему не попользоваться и полушкой.

...Многотысячная толпа гультяев, бурлаков, работных и разных гулящих людей шумно окружила курень Булавина. Кондрат распахнул окно, высунулся.

— Эй, атаманы-молодцы! — крикнул он зычно.— Подходите по одному. Держите шапки.

Писарь с Лоскутом подсчитывали и давали Кондрату по два рубля, три алтына и две деньги, а он из окна бросал их каждому в шапку.

К окну потянулись вереницы людей.

— Ура-а!.. Ура-а атаману! — радостно кричали из толпы.

Вместе с голытьбой к окну попытались было протолкнуться и некоторые домовитые казаки. Но, замечая таких, Кондрат строго прикрикивал:

— Куда прешь? Отойди! Ныне не вам раздаю.

Голытьба с хохотом отталкивала их.

Два дня раздавал Кондрат деньги. Ни единой деньги никто из домовитых не получил. Это еще более озлобило их.

— За голытьбу стоит! — зловеще шептались они по углам. — Ладно уже! Ладно, запомним!

И еще один поступок обозлил домовитых и восстановил их против Булавина. В угоду голытьбе он несколько десятков влиятельных, богатых казаков сослал с семьями на поселение в верховые городки, а имущество их роздал маломощным. По Черкасску разнеслись слухи, что Булавин-де всех домовитых природных казаков сошлет бог весть куда, а курени их и имущество раздаст гультяям. Многие домовитые бежали в Азов.

ГЛАВА III

Шведские войска, перейдя границу, заняли Минск и подходили к Борисову.

Король Карл говорил своим сановникам, что хочет наикратчайшим путем и как можно скорее достичь Москвы, а поэтому не будет терять время на осаду Нарвы и других крепостей. В Москве он хотел заключить мир с русскими «по-саксонски», то есть свергнув Петра с престола, как Августа саксонского и потом польского короля.

Положение осложнялось. Каждую минуту можно было также ждать выступления Турции и крымского хана на стороне Швеции. Страна клокотала в крестьянских восстаниях, и они не только не прекращались, но все больше разрастались. А тут царю Петру стало известно о новой беде: украинский гетман Мазепа изменил и перешел на сторону короля Карла.

— Надо, господа генералы, — говорил Петр на совещании со своими ближайшими сотрудниками, — сейчас паче чем когда-либо недремлющим оком следить зорко. Ежели б с Карлом один на один довелось столкнуться — это было б полбеды, а то беда в том, что у него много помощников находится. Карл хочет супротив нас поднять турецкого султана с крымским ханом.

— Пусть, мин херц, сунутся, пусть! — запальчиво воскликнул Меншиков. — Не первый раз бьем по рылу турок да крымцев. Еще дадим, ежели они на то напрашиваются. В Азове да Таганьем роге у нас сильные гарнизоны стоят.

— Ты, Алексашка, — укоризненно взглянул на него Петр, — хоть на дела-то и прыток, да разумом не больно

шибок. Где войск-то набрать, чтоб со всеми сразу воевать? А тут еще этот вор Кондрашка Булавин голову мне заморочил.

Петр помолчал и в раздумье проговорил:

— Сей вор Кондрашка подобен фитилю заложенной под землю мины. Того и гляди: догорит фитиль и взорвется мина... Пока бунт кипит там у них, на Дону, но может он и в глубь России проникнуть, охватить всю нашу державу, тогда уж его ничем не сдержать... Знаю я лихих людишек. Как появится тут Булавин, так сразу же к нему переметнутся, начнут грабить да убивать моих верных слуг, дворян да купцов. Надо с корнем вырвать этот зело опасный фитиль... Но как это сделать, кто б меня тому научил?..

Все молчали. Петр не спеша набил трубку, закурил и, пуская вверх густую струю едкого табачного дыма, насмешливо окинул взглядом своих советников.

— Что ж молчите-то? Языки, что ль, в карманы положили? Мне нужен ваш совет, умное слово, а вы молчите... Вот прислал мне Кондрашка Булавин отписку, пишет, что будто верен он мне. Просит, чтоб не посылал я свои войска супротив его.

— Врет, собака! — прервал царя Александр Данилович. — Врет Булавин, не верь ему.

— Может, врет, а может, и нет, — спокойно сказал Петр. — Вот хочу я поехать сам на Дон да разобрать сие дело. Позову Кондрашку, поговорю с ним, выведаю, что ему нужно. Может, мирно договоримся... Знаю я Кондрашку — умный казак. Ежели его к рукам прибрать, так он зело полезен может быть. Я уже князю Василию Долгорукому и указ послал, чтоб не трогал казаков и городки б их не разорял. Кабы мирно договориться с Булавиным, я б все войска казачьи на войну супротив шведов послал. Знатная помощь тебе б, фельдмаршал, была, — взглянул он на Шереметева.

— Помощь великая была б, государь, — вздохнул Шереметев, — что и говорить. Но ехать тебе к нему, государь, нельзя, зело опасно. Лихой человек Кондрашка, верить ему никак нельзя.

— Я ведь с большим войском пойду, — возразил Петр. — Прикажу вооружить в Воронеже шестьдесят кораблей да двести галер, и этой силой двинемся на Дон. А ежели Кондрашка и его воры оружие сложат, то набе-

ру еще сотни две казачьих весельных стругов да из Черкасска поплыву в Азов да Таганий рог. На турок да на крымского хана страха нагоним... Ради сего дела, я разумею, мне надобно туда месяца на три ехать, дабы с божьей помощью тот край безопасным сделать. Тот край, господа генералы, золотой. Весьма важен он нашей державе...

Во время речи царя Меншиков все пытался что-то сказать. Наконец, улучив минуту, он поднялся.

— Дозволь, государь, слово молвить.

— Говори, Данилыч, для того я вас и созвал.

— Я не супротив того, государь, чтоб ты поплыл к Азову турок да крымцев попугать. Спесь-то им надо сбить. Карлушка кашу заварил, а они ложки приготовили хлебать. Разумею я так, что больно горяча для них будет эта каша, губы пообожгут. Надобно повыбить из их рук ложки. Поезжай, государь, господь тебя благослови на это дело... А что касаемо вора Булавина, то зря ты надумал с ним мириться. Кондрашка — душегуб и клятвопреступник. С ним один мир должен быть — голову на плаху и долой. Каленым железом надобно выжечь все его воровское отродье. Ведь ежели б, государь, Кондрашка тебе верен был, то он поцапался бы со своими атаманами да старшинами, да и делу бы конец. А то что он делает?.. Поднял голытьбу. Его воры помещиков жгут да в разор пускают, купцов да дворян грабят, вешают... Ты пользу отчизне нашей приносишь, а он наперекор тебе зло учиняет... Не верь ему, государь, не верь! Обманывает он тебя. Ты говоришь, что он тебе в верности своей клянется. Врет! Вот почитай, мин херц, — порывисто вынул он из кармана какую-то бумагу и подал царю. — Почитай, государь.

Петр развернул бумагу и стал читать. По мере того как он углублялся в чтение, лицо его багровело от гнева.

Письмо это было от азовского губернатора Ивана Андреевича Толстого. Толстой сообщал, что, по сведениям, полученным от шпиона Тимофея Соколова, Булавин одновременно со своим заверительным письмом к царю послал письма запорожцам, кубанским казакам и татарским мурзам, прося у них немедленной помощи против царя.

Петр, не дочитав письма, гневно скомкал его в кулаке.

— Сволочь! — громыхнул он кулаком по столу. — Хитрый, обмануть хочешь. Не обманешь! Я тебя... — Царь

смачно выругался. — Макаров! — позвал он своего секретаря. — Садись, пиши!..

Когда секретарь уселся за стол, Петр продиктовал ему указ командующему действующими против Булавина войсками князю Василию Долгорукому:

«Господин майор!

Хотя пред сим вам писано было, чтоб без моего указа на ворон не ходить, не убивать и не разорять их, а ныне рассудили мы, что лучше вам собраться сейчас же и идти к Северскому Донцу и нещадно уничтожать воров и разорять их жилища».

— Сейчас же пошли Долгорукому, — гневно сказал царь, подписав приказ. — А тебе, Данилыч, спасибо, что упредил меня...

ГЛАВА IV

Однажды ночью старая турчанка Зейнаб стала тихо будить Галю.

— Проснись, голубица, — шептала она ей ласково на ухо. — Проснись!

— Ты что, Зейнаб? — открыла глаза девушка.

— Оденься, солнышко, оденься. Пойдем!

— Куда? — изумилась Галя.

— Пойдем, — таинственно шептала ясырка. — Пойдем, там увидишь.

Галя послушно оделась и, недоумевая, пошла вслед за ясыркой. Они вышли во двор. Была тихая лунная ночь. Зейнаб судорожно схватила Галю за руку и потащила в сторону маленького садика, буйно разросшегося за двором.

— Куда ты меня ведешь, Зейнаб? — остановилась девушка, дивясь той настойчивости, с которой тащила ее в сад ясырка.

— Там якши человек... якши...

— Не пойду. Что ему от меня надо?

— Иди, звездочка... иди, — умоляюще шептала ясырка.

Гале показалось все это подозрительным. Она вырвала руку и пристально посмотрела на ясырку.

— Ты что, Зейнаб, так меня упрашиваешь?

Ясырка смутилась.

— Просил человек... якши... якши...

— Не пойду, — наотрез отказалась Галя и повернулась, чтобы уйти к себе в светелку.

— О Гришка Банник... хочет сказать тебе, — испуганно зашептала турчанка, боясь, что девушка уйдет, — о Гришка...

— О Гришке? — радостно затрепетала Галя. — Что ж ты сразу о том не сказала? Пойдем, Зейнаб, пойдем!..

Они быстро перелезли через низкий плетень. Зейнаб, схватив Галю за руку, потащила ее в гущину вишенника. Из кустов выпел навстречу высокий, широкоплечий мужчина в казацком кафтане и запорожской бараньей шапке.

— Гриша? — испуганно вскрикнула Галя, приложив ладонь к сильно заколотившемуся сердцу.

Но она сейчас же поняла, что ошиблась. Это был не Гришка, а азовский офицер Александр Матвеев. Но как он был похож на Гришку в этом казачьем одеянии!

— Здравствуй, Галя, — сказал он грустно. — Вижу, что Григория своего ты не забываешь. Везде он тебе мерещится.

— Никогда и не забуду... Какие ты вести привез о нем?

— Отойди, — сказал Матвеев ясырке.

И когда Зейнаб исчезла в кустах, он взял Галю за руку и тихо сказал:

— Новых вестей, Галя, о Гришке нет. Видно, погиб он. Не о нем хочу я речь вести. Зачем о мертвом вспоминать? О себе хочу говорить. — И, помолчав, печально сказал: — Околдовала ты меня, Галечка, покоя мне не стало... Жизни мне без тебя нет... Днем и ночью ты в мыслях моих, извелся весь.

Свет луны падал на его лицо, и девушка видела, как взволнованно вздрагивали его тонкие губы. За это время, как они расстались, он сильно изменился, похудел, лицо побледнело и осунулось. Галя удивилась: неужто по ней так страдает он? Ей стало жалко его, она по себе знала, какие страдания приносит любовь.

— Не могу, — прошептал он, закрывая глаза рукой. — Не могу больше, Галечка. Я ж так тебя люблю, что и сказать того нельзя, как... Слядь, послушай, что скажу тебе.

Они уселись на мокрую от росы траву. Он подстелил ей свой кафтан. Над головой, где-то совсем близко, в кустах сирени, неутомимо, жизнерадостно звенела трель соловья.

— На горе свое я узнал тебя, Галя... Чую, любовь эта принесет мне много лютой беды. Может, гибель. А что я могу поделать? — развел он руками. — За тебя я готов и погибнуть.

Галя вздохнула. Она подумала о том, что она также могла бы отдать свою жизнь за Гришку.

— Знаю, не любишь ты меня, — грустно говорил молодой офицер, — а я вот никак не могу выкинуть тебя из сердца. Ехал я сюда, чтобы силой увести тебя. И казаков на это дело подговорил, и ясырку твою подкупил, обещал ее увезти да на волю в турскую землю отпустить... А вот глянул я на тебя сейчас и не могу того сделать. Ведь насильно не будешь тебе люб.

Теперь Гале стало понятно, почему старая невольница так настойчиво просила ее идти в сад. Но она не возмутилась тем, что ее хотели похитить. Ее сердце все больше наполнялось жалостью к молодому офицеру. Его переживания трогали ее, ей они были понятны, и она не обвиняла его.

— Галечка, неужто ты меня так никогда и не полюбишь? — заглянул он ей в глаза. — Неужто никогда и не приласкаешь?

— Саня, — тихо произнесла она, в первый раз назвав его так.

Офицер благодарно сжал ее руку.

— Ты хороший, Саня. Разве я не понимаю? Тебя б любая без раздумья полюбила. Ты пригожий, ласковый... Но разве я могу тебя полюбить? Ты ж, Саня, за них стоишь, кто моего Гришу убил.

— А ежели б я за них не стоял? — взволнованно спросил офицер.

— Тогда... ты, может, и люб мне был бы. Тогда... я приласкала б тебя.

Поручик откинулся от Гали, лицо его мертвенно побледнело. Он долго молчал. Видно было, что он переживал тяжелую внутреннюю борьбу.

— Галя,— спросил он глухо,— правду говоришь или нет?

— Правду, Саня,— вздохнула она.

— Ну, Галечка,— сказал он торжественно, прерывающимся голосом.— Хоть я и не верю в затею твоего отца, хоть я и сам из бояр, против коих он идет, хоть и мнится мне, что гибель лютая нам всем будет, но клянусь тебе перед господом богом,— порывисто стал он на колени и закрестился,— что остаюсь я с тобой. Многое мне люб в делах твоего отца и его товарищей, а первое то, что зело полюбилась мне ты, Галечка. Буду биться в войске твоего

отца... Не отойду от тебя ни на шаг. А там видно будет... Что ж я могу поделать? — в отчаянии развел он руками, как бы оправдывая свой поступок.— Не могу без тебя жить.

— Хороший ты, — погладила его по голове Галя.

— Пойдем, Галя, к твоему отцу! — вскочил офицер.

— Зачем? Ведь он спит.

— Разбудим, пойдем сейчас, скажем ему, а то завтра я, может, уже раздумаю.

Офицер свистнул. Галя испуганно вздрогнула.

— Ты что ж, обманул меня? — с негодованием посмотрела она на Матвеева, поняв этот свист по-своему.

— Это я хочу своим казакам сказать, чтоб они ехали в Азов, а я останусь.

— Подожди, Саня, покуда ничего не говори им, поговорим с отцом — тогда скажешь.

Выпырнув из вишенника, подбежали два казака.

— Обождите меня тут,— сказал поручик.

Из кустов выглянула укутанная в плат голова ясырки.

— Зейнаб,— сказала ей Галя,— иди сюда.

Видя всех мирно разговаривающими, старая ясырка подошла робко и неуверенно.

— Пойдем, Зейнаб, в курень.

Турчанка поняла, что побег не удался, и с жалобными причитаниями повалилась в ноги Гале.

— Солнышко, пожалей старуху... Не губи.

Галя подняла ее.

— Не плачь, Зейнаб, никто тебя губить не будет. Не бойся, пойдем.— И, нагнувшись к ее уху, шепнула: — А в Туретчину я тебя отпущу, только не сейчас, а после.

Ясырка, обрадованная не столько обещаниями Гали отпустить ее на родину, сколько тем, что гроза над ее головой миновала, кинулась целовать руки девушке.

— Спаси тебя аллах, спаси.

Кондрат был несказанно поражен, когда его разбудили и перед ним предстал поручик Матвеев.

— Ай опять тебя изловили, Александр?

— Нет, атаман,— качнул головой офицер,— теперь я уже сам к тебе пришел.

— Ишь ты,— усмехнулся Кондрат и посмотрел на дочь.— Уж не свататься ли за Галю пришел?

— Не смейся, атаман,— строго сказал поручик.—

О том разговор после будет, а сейчас пришел служить тебе.

— Ой ли? — удивился Кондрат. — Неужто правду говоришь, Александр?

— Правду, Кондратий Афанасьевич.

— А не брешешь? — нахмурившись, пронзая его взглядом, проговорил Кондрат.— Может, для проведывания пришел, а потом сбежишь? На вас ведь, бояр, надежда плоха.

— Нет, атаман, не сбегу,— выдержал его взгляд офицер.— Пришел правдой служить тебе. Можешь спросить о том у Гали.

— А она откуда знает? — изумился Кондрат.

— Знает.

— Поверь ему, батя, — сказала Галя, — правду он говорит.

— Ой, гляжу я на тебя,— покачал укоризненно головой Кондрат,— непутевая ты девка.— И, взглянув на офицера, усмехнулся: — Ты что же, Александр, вроде теперь мне богоданным зятем доводишься? Что же это вы и моего согласия не спросили?

— До того, чтобы быть твоим зятем, атаман,— сказал поручик,— еще далече. Но то, что твоя дочь мне люба, скрывать не буду. Но прежде я хочу послужить тебе.

Кондрат расхохотался.

— Послужить?.. Смех берет. Офицер из боярского рода, и вот те — на служение к вору, душегубцу Кондрашке пошел. Ты, Александр, хотя и полюбился мне, хороший ты, видать, человек, даром что боярин, а не верю я тебе, не верю. Обманешь. И ее обманешь,— указал он на Галю.— Помнишь, я в Пристанском городке просил тебя остаться у меня? А ты меня обманул, сбег и ее сманул.

— Батя, он меня не сманивал, — сказала Галя. — Я сама тогда уехала.

— Не сманивал? Ну, может, и не сманивал, а не верю я ему. У тебя ж, Александр,— озлобленно заговорил Кондрат, — кровь-то чистая, благородная, а у нее что? Холопья, поганая. Уходи ты от нас, Александр, поздорову, покуда я не гневен...

У Матвеева от обиды на глазах выступили слезы.

— Атаман! — вскричал он с дрожью в голосе. — Зачем обижаешь? Чем я перед тобой виноват? Нешто тем, что полюбилась мне твоя дочь? Уйти я не могу, поклялся я...

И снова Галя до глубины сердечной прониклась жалостью к офицеру.

— Батя,— сказала она тихо,— что ж ты ему не веришь-то? Правду ведь он говорит.

— Не верю, донька. Лучше псу поверить, чем боярину.

Лицо молодого офицера вспыхнуло гневным румянцем. Он судорожно схватился за рукоятку сабли, но тотчас же опустил руку.

Кондрат, насмешливо наблюдавший за Матвеевым из-под нависших на глаза прядей курчавых волос, усмехнулся.

— Ну что ж, Александр, рубай! Рубай! Ай испугался?

— Не обижай, атаман,— дрожащим голосом сказал поручик и отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Да и хороший же ты, зальян! — кинулся к нему Кондрат и обнял.— Ей-богу, хороший! Дай я тебя поцелую, люблю таких!

Они расцеловались.

— Ну что ж, господь с вами,— вздохнул Кондрат.— Люди вы молодые, пригожие, любите друг дружку. Я супротив не пойду. Ежели ты, Александр, в самом деле надумал ко мне пойти, то будешь у меня полковником. Ты все же скажи, как же ты решил пойти ко мне? Любовь-то любовью, по есть у тебя, должно, еще какая-нибудь причина? Скажи мне всю правду, не таись.

— Ты угадал, атаман. Многое мне любо в затее твоей, хоть мнится мне, что ее ждет погибель... Есть у меня и одна кручина,— тихо проговорил офицер.— Гложет она мое сердце...

— Расскажи, Александр.

— Когда я приехал от тебя к губернатору Толстому, то, как на исповеди попу, все начистоту рассказал ему: как к тебе попал я в Пристанский городок, как отпустил ты меня. Рассказал я ему и про то, как я тебя осенью от погаев спас и отпустил, не ведая о том, что ты Булавин. И вижу, я, не поверил Толстой ни единому моему слову. Стал он прослеживать да наглядывать за мною: дескать, не шпион ли я, тобой подосланный...

— Да как же он мог подумать это? — воскликнул пораженный Кондрат.— Ведь из бояр ты ай нет? Как ты мог пойти на услужение к вору?

— Мог подумать,— сказал печально офицер.— Отец-то ведь мой казнен царем Петром Алексеевичем за астраха-

ский стрелецкий бунт. Замешан он был в нем... Мог подумать, что я решил мстить за смерть своего отца... И вот не стало мне с той поры житья, вижу — везде следят да надзирают за мною. А раз я сам слыхал, как губернатор говорил дьяку, что меня надобно заковать да пытать, чтоб я всю правду сказал о тебе... Ну, я и решил Галю взять да уехать с нею куда подальше... К казакам-раскольникам. Жили б там спокойно...

— Ну, тогда, Александр, мне все понятно. Ты б сразу о том и сказал. Что ж, коли такое дело, будем держать совет. Садись, Александр, садись и ты, Галя. Погутарим.

Галя была задумчива, рассеянна, думала о чем-то своем. Поднявшись, она поманила отца в угол горницы и что-то горячо ему зашептала.

— Ох ты! — воскликнул осторожно Кондрат и похлопал по плечу дочь.— Умница девка!

Он снова сел на свое место и, обращаясь к офицеру, заговорил:

— Есть у меня такая думка, Александр: ежели уж ты надумал послужить народу, то послужи честью. Такая тебе будет задача: поезжай ты опять в Азов и послужи маленько у губернатора. Ежели закует в кандалы, то не бойся, мы скоро Азов заберем и тебя вызволим. Тебе в Азове все ведомо, и людей ты там всех знаешь. Возмути там народишко — стрельцов, казаков, бурлаков, работных людишек,— всех, кто хочет вольной жизни... Делай это все потайно. А как только пойдем мы на приступ, так ты и открой нам, с людишками своими, ворота городские. А как это дело ты сделаешь, так зараз же, прям в Азове, и сыграем вашу свадьбу... Согласен ты на это, зятек богоданный?

Офицер укоризненно взглянул на Галю. Он понял, что эту мысль отцу подала она.

— Так вы хотите обмануть меня? — глухо сказал он.— Хотите, чтоб я предал вам Азов, а потом меня прочь выгоните!

Галя взволнованно поднялась и, глядя на образа, перед которыми теплилась лампада, горячо заговорила:

— Клянусь перед истинным богом и матерью божьей, что этого и в уме не было. Я буду твоей женой, Саня, буду. Но прежде я хочу видеть,— гневно вспыхнули ее глаза,— как отрубят голову губернатору Толстому! Ведь это он отослал моего Гришу в Москву на смерть?

— Да, по его указу.

— Как только Азов будет в наших руках, так я, Саня, буду твоей женой.

— Ну что ж, ладно,— вздохнул офицер.

— Стало быть, по рукам, Александр? — спросил Кондрат.

— По рукам. Пусть будет что будет. Погибну, так туда и дорога,— мрачно проговорил поручик.

— Не сумлевайся, все по-хорошему обойдется,— заверил его Кондрат.— Мы тебе не дадим погибнуть. Верь мне. Пойдем с войском и выручим тебя. Беспременно нам идти забирать Азов.

— Пока не рассвело,— сказал офицер, заглядывая в оконце,— надобно ехать. Там меня казаки ждут.

— Езжай,— согласился Кондрат.— Погоди, я кафтан на себя накину, провожу, а то как бы тебя мои казаки не изловили.

Он вышел в другую комнату одеться.

Александр подошел к Гале, обнял ее.

— Галя, — сказал он проникновенно, — все свои силы, всю свою кровь до капельки, жизнь свою отдам тебе... А там... там хоть и гибель. Ты меня не обманешь?

— Нет,— твердо посмотрела она ему в глаза.

— Верю,— прижал он ее к своей груди и страстно поцеловал в губы.— Прощай, Галя.

— Прощай, Саня,— сказала девушка. Она обвила его шею горячими руками и тоже крепко поцеловала.

Вошел Кондрат.

— Ну, пойдем, Александр, провожу.

ГЛАВА V

Пришли хорошие вести, ободрившие Кондрата. К Семену Драному прибыло четыре тысячи запорожцев. Значит, оказало действие письмо Кондрата к запорожским казакам в Сечь. Игнат Некрасов, соединившись с Хохлачом, подходил к Саратову. Атаман Павлов со своими бурлаками взял Царицын.

Вскоре и в Черкасск прибыл отряд запорожцев. И почти вслед за ним прибыли две тысячи отборных татарских наездников.

Донеслись радостные вести и с Таманского полуострова — пристанища казаков-раскольников. Старый атаман кубанских казаков-раскольников Савелий Пахомов выделил в помощь Булавину тысячу сто казаков. И этот отряд уже выступил из Тамани в Черкасск.

В Черкасске повеселели. Разговоры велись только о предстоящем походе на Азов. Но настроение сразу же изменилось, как только стало известно, что со всех сторон к Донщине стягиваются огромные силы царских войск.

Командующий карательной армией гвардии майор князь Василий Долгорукий с отрядом преображенцев сжигал казачьи городки на Северном Донце. Князь Андрей Гагарин вел отряды ратников из Курска. К бригадиру Шидловскому, стоявшему с казаками в Изюме, спешно шли четыре гетманских компанейских полка: Чеснюковский, Кубасинский, Кожуховский и Полтавский городовой под командованием полковника Левенца и Кондратьева. Ожидались также с Украины Сумский, Ахтырский и Харьковский слободские полки. На Бахмут шел полковник Кропотов с двумя драгунскими полками. Из Козлова выступил с отрядом ополчения князь Григорий Волконский. Из ратных мест шли дворянские ополчения.

Уже прошел слух, что калмыки Бахметева разбили и прогнали из-под Саратова Некрасова с Хохлачом. Против повстанцев действовали также различные местные гарнизоны. В Черкасске стало тревожно. Немало бурлаков и гуляющих людей, поддавшись страху, стали разбегаться. Домовитые оживились, зашептались по углам...

Однажды Кондрат купался с Тимофеем Соколовым на Дону. День был солнечный, яркий. Река, как расплавленное серебро, сверкающим потоком медленно проносила свои воды мимо городка. На противоположном берегу, на сочном, густом лугу, бродили табуны лошадей. Жеребцы с звонким ржанием гонялись за кобылицами, злобно ржали, дрались. Пастухи-калмыки, громко хлопая длинными кнутами, разгоняли дерущихся лошадей.

Кондрат, сбросив с себя рубаху, гляпул на табуны.

— Опять, дьяволы,— сказал он с досадой,— угнали в Азов сотни две лошадей... Ты, брат, скажи, чтоб караулы на ночь усилили да не спали б ночами. А то ж, чего доброго, они нас так без лошадей оставят.

— Ладно,— буркнул Соколов, снимая рубаху.— При-

кажу, чтоб побольше казаков высылали к коням на караул.

На груди его заблестел большой серебряный крест Кондрата, обмененный в прошлом году при побратимстве.

— Гляпь, Тимофей, — засмеялся Кондрат, — крест-то мой как у тебя сияет. Видать, от чистого сердца я тебе его давал.

Он взглянул на свою обросшую густыми черными волосами грудь. На груди у него на гайтане висел маленький потускневший крестик Соколова.

— А вот твой, Тимофей, что-то уж больно почернел. Совесть, видать, у тебя черна, а?

Кондрат захохотал и посмотрел на Соколова. Соколов смутился.

— Ведь мой-то не серебряный,— сказал он,— оттого и почернел.

— Врешь, Тимоха,— смеялся Кондрат,— должно, черные мысли ты затаил.

Соколов, прикрывая смущение притворной обидой, сказал:

— Что ты, Кондратий? Ай не ведомо тебе, что душой и сердцем предан я тебе? Зря обижаешь.

— Знаю, знаю,— ответил Кондрат.— Я ведь шутейно, Тимоха.

Они несколько минут сидели молча на раскаленном песке, смотря на реку и думая каждый о своем.

— Что думаешь теперь делать, Кондратий? — осторожно спросил Соколов.— Казаки-то, никак, бегут? Испугались, дьяволы.

— А пусть себе бегут,— добродушно усмехнулся Кондрат, что крайне удивило Соколова.— Сволочь мне не нужна. Это не вояки, Тимоха, кои воронья крика боятся. Из такого дерьма толку мало будет. Пусть у меня тысяча казаков останется, да таких казаков, с коими я хоть в самый ад к сатане не побоюсь пойти.

— А ежели, Кондратий, сюда придут царевы войска?— выпытывал Соколов.— Что тогда?

— Придут? — насмешливо посмотрел Кондрат на него.— А ну, пусть сунутся!

Глаза его вспыхнули. Он вскочил, красивый и статный, словно вылитый из бронзы, и, подняв сильные руки, потряс кулаками. Мускулы, вздувшись шарами, забегали под медной упругой кожей.

— Горе им будет, если придут! Да они и не придут,— успокаиваясь, проговорил он, снова садясь на песок рядом с Соколовым.— У меня ж, Тимофей, везде свои люди есть, везде приворот делают. Вот, скажем, идут гетманские полки, а ведь в них же все черкасы. Разве ж они пойдут на своих братьев запорожцев? Я двинул им навстречу куренного атамана Калину Щуку. Он прислал письмо, что, мол, уже вел переговоры с черкасами тех полков. Как только подвернется случай, все они до единого перейдут ко мне... Ай вот идут калмыки. Тоже я послал туда своих калмыков, они их там замутят, и они тож перейдут ко мне... Да и солдаты навряд ли со мною будут драться,— есть у меня такие вести. Надобно опасаться одних лишь дворян, но их-то не очень много, побьем всех до единого... А что касаемо Азова, так там тоже своих людей у меня много. Вчера...

Булавин, на мгновение замолкнув, достал кисет с табаком, начал набивать трубку.

— Что вчера-то? — спросил сгоравший от любопытства Соколов, искоса взглянув на Булавина.

— Вчера,— добродушно усмехнулся Кондрат,— получил я оттуда отписку, что там уже сотни три, а может, и побольше среди стрельцов, казаков и солдат есть, кои, как пойдем мы на приступ, поднимут за собой всех работных людей, бурлаков и матросов и пооткрывают нам все доступы и ворота в Азов.

— Вот те! — удивился Соколов.— Кто ж у них там за главного?

Кондрат взглянул на Соколова и, поймав его загоревшийся, пытливый взгляд, помрачнел. Он пожалел, что был так откровенен.

— А тебе зачем это надобно знать?

— Да как же, Кондратий, — опуская глаза, ответил Соколов. — Любопытно. Небось я не чужой... — И вдруг поспешно предложил: — Пойдем, брат, купаться.

Поднявшись, он с разбегу кинулся в воду, взбрасывая радужные столбы брызг.

Сидя на песке, Кондрат задумчиво покуривал и смотрел на воду. Соколов, сильно взмахивал руками и мелькая белой спиной, плыл красиво и легко, прорезая грудью воду. Было досадно за себя. Зачем он затеял этот откровенный разговор? Соколов, конечно, человек свой, побратим, ближе, чем родной брат. Его нечего опасаться. Но

сегодня он вел себя как-то странно: его вопросы, какой-то нехороший огонек в глазах, смущение. Это не простое любопытство. Это что-то другое...

Кондрат старался припомнить все поступки Соколова, которые чем-либо могли бы навести на подозрение. Но поведение его было безупречно. Впрочем...— вспоминает Кондрат,— не совсем уж безупречен Соколов. Чем можно объяснить внезапное исчезновение его из лагеря у Айдара, когда подступил с войском Максимов? Или такой случай: когда казнили Ефрема Петрова (Кондрат, правда, при казни не присутствовал, но ему рассказал Иванка Лоскут), он, перед тем как лечь на плаху, посмотрел на Соколова и крикнул: «Тимоха, помни!» Может быть, это была просто угроза, а может быть, эти слова имели совсем другое значение, понятное только одному Соколову. При этом, говорят, Соколов страшно побледнел. Тогда Кондрат не придал этому значения, но сейчас все это стало казаться ему подозрительным...

Кондрат махнул головой, как бы отгоняя эти мрачные мысли, вскочил и с разбегу бросился в реку, поплыл вслед за Соколовым, дурашливо крича:

— Догоню, догоню!

Вылезли они из воды усталые, но бодрые и порозовевшие. Одеваясь, Кондрат ласково заговорил с Соколовым, как бы стремясь загладить свою вину за нехорошие мысли о нем:

— Зараз пойдем, брат, выпьем бражного меду. После купания хо-о-рошо!

— Нет, Кондратий,— отказался Соколов,— пойду домой. Голова что-то разболелась. Полежу немного, а потом приду.

— Как хочешь.

Ссылаясь на головную боль, Соколов говорил неправду. Ему просто хотелось остаться одному, чтобы поразмыслить над тем, что ему рассказал Кондрат. Все, что говорил он, было важно. Если об этом сообщить в Азов, то там могут сейчас же принять меры.

Идя домой, Соколов думал о том, написать ему в Азов Толстому или нет. Он все еще колебался, не зная, к кому твердо пристать: к Булавину или к царю. Все время положение менялось. То, казалось, успехи были на стороне Булавина, то наоборот. Зная, какая грозная сила правительственных войск наступает сейчас на Донщину, Соко-

лов, как и многие в Черкасске, был убежден, что дело булавинцев проиграно и приходит ему конец. Но рассказ Кондрата его ошеломил. Оказывается, уж не такая грозная сила наступает на Дон, если она не то что с червоточиной, а насквозь вся разъедена, если многие царские полки только и помышляют о том, чтобы перейти на сторону Булавина. Кто знает, если так случится, то, может быть, Кондрат и одержит победу. Как бы не промахнуться... Но Соколова одолевают и другие мысли: если сейчас же сообщить в Азов обо всем слышанном от Кондрата, то начальные люди сумеют обезвредить смутьянов и все-таки разгромят Булавина. Высоко будет оценена тогда его, Соколова, услуга. Его ожидает милость царская.

— Напишу, — шепчет Соколов, — кто о том может узнать?

Он был неграмотен. Посвящать кого-нибудь в такое дело было опасно, но иначе не обойтись. Надо найти грамотея, чтобы написал письмо азовскому губернатору Толстому. Долго он раздумывал, кому бы можно было довериться, и вспомнил о казаке Рыковской станицы Иване Юдушкине. Это был самый подходящий человек. Был он грамотен и едва ли привержен Булавину. Был такой случай. Однажды они, Соколов и Юдушкин, сидели в кабаке, распивали жбан меду. Захмелевший Юдушкин, близкий родственник казненного старшины Абросима Савельева, неожиданно со злобой выкрикнул:

— А все же, Тимофей, зря вы Абросима предали смерти! Человек он был тихий, смирный, никому вреда не делал.— Помолчав, угрожающе закончил: — Ну, ничего, может быть, кровушкой отплатится кому-нибудь его смерть.

Потом, сообразив, что спьяну бухнул такое, за что можно головой поплатиться, неестественно громко засмеялся, дружески хлопнул по плечу Соколова.

— Для смеха я говорю. Не подумай чего худого, Тимоха... Наропно я. Он мне, Абросим-то, хоть и родня был, а не любил я его. Лихой человек был. Бог с ним. По-правильному сделали, что голову ему срубили. По-правильному, одпосум.

Соколов тогда ничего не сказал, но подумал, что при случае Юдушкина надо будет использовать.

Соколов разыскал его в кабаке.

— А, Тимоха, — приветствовал его Юдушкин, — садись, угощу.

— Нет, Ивашка,— отказался Соколов.— Некогда. Пойдем ко мне. У меня мед есть.

— Ладно, пойдем,— согласился Юдушкин, вылезая из-за стола.

Приведя его к себе, Соколов поставил на стол кувшин с медом, налил ковши.

— Пей, Ивашка. Будь здоров!

— Будь здоров, Тимофей,— охотно взял ковш Юдушкин.

Соколов внимательно оглядел рыжеусое, в больших конопинах, багровое от хмеля лицо Юдушкина, как будто впервые его увидел и старался надолго запомнить.

— Ивашка,— сказал он тихо,— я ведь не забыл твои слова, кои ты говорил про Абросима-то. Ей-богу, не забыл.

Юдушкин удивленно поднял лохматые густые брови и, увидев устремленный на себя строгий, испытующий взгляд Соколова, смущенно проговорил:

— Да ты что, Тимофей, то ж я нарочно... для смеха. В голове у меня сроду таких мыслей не было. Пьяный, сболтнул зряшные слова.

— Не брешн! — строго крикнул Соколов.— Все, брат, мне известно.

— Что тебе, односум, известно? — испуганно спросил Юдушкин. — О чем ты говоришь? Не понимаю.

— Не понимаешь? А вот поймешь. Какой ты сговор с казаками ведешь, а?

Юдушкин побледнел. Соколов усмехнулся. Ни о каком сговоре Юдушкина он не знал. Сказал просто так, чтобы тот сговорчивее был. А выходило, что Соколов попал метко в цель.

— Никакого сговора нет, односум,— забормотал Юдушкин.— Ей-богу, нет.

— Кому ты говоришь? — гневно прикрикнул Соколов и так стукнул кулаком по столу, что подпрыгнули ковши, проливая мед, стая мух взвились над столом, а пестрая кошка испуганно метнулась под лавку.— Говори, Ивашка, все начистоту, а то тебе ж, проклятому, хуже будет. Говори все.

— Да я, односум, тут ни при чем, ей-богу, ни при чем... Это меня казаки втравили... А я, признаться, в это дело и не хотел вмешиваться.

— О чем у вас разговоры велись?

— Да так это...— замялся Юдушкин.— Ничего особен-

ного. Говорили о жизни. Казнили вот, мол, старого атамана да старшин, думали, что жизнь получшает, ан нет, она все хужеет. Вот и все разговоры.

— Врешь, не все! Не хочешь говорить — не надобно, на дыбе все расскажешь.

— Да ты что, Тимофей? — ужаснулся Юдушкин.—Ай предавать меня хочешь?

— А что ж, ежели ты не хочешь мне всей правды сказать.

Хмель из головы Юдушкина сразу же вышибло. Он сидел на скамье сгорбившись, вздыхая и раскаиваясь, что пришел сюда. Ему хотелось как-нибудь вывернуться из беды, неожиданно разразившейся над его головой. Он проклинал себя за болтливость. Ведь не будь того случая в кабаке, не было бы ничего. А теперь вот расплачивайся.

— Нечего, Тимофей, говорить,— глухо сказал он.— Ты, должно, все знаешь.

— Кондрашку изловить хотите?

— Да.

— Кто ж в сговоре?

— Не пытай меня! Не пытай,— зашептал исступленно Юдушкин.— Ничего не скажу! Ничего! Хоть огнем меня жгите на пытке, не скажу! Я не предатель, односум. Не предатель! А ты можешь меня предать, коль ты честь казачью потерял.

Соколов весело рассмеялся.

— Эх ты, чудова голова! Почему ты думаешь, что я тебя предавать буду? Садись, лепий тебя забери, давай выпьем. Будь здоров! Садись вот и пиши, что буду говорить тебе. Вот бумага и чернила. А в ночь садись на коня и езжай тайно к Толстому в Азов.

Они написали подробное письмо Толстому обо всем, что делалось сейчас в Черкасске, какими настроениями жили казаки, и о том разговоре, который был во время купанья с Булавиным.

Ночью Юдушкин, оседлав коня, выехал в Азов. Соколов же в это время бражничал с Кондратом.

ГЛАВА VI

Мишка Сазонов напрасно беспокоился. Когда он прибыл в Черкасск, жена его — дородная, красивая, черноокая, оказачившаяся черкешенка — встретила его ласково,

любовно. Мишка затруднялся определить, прав ли был Соколов, когда сказал ему, что Аксинья его была замечена в баловстве с казаками. Впрочем, Мишка особенно об этом и не размышлял — он был невзыскательным мужем.

Не успел он переступить порог своего куреня, как Аксинья так его приласкала, что он сразу же забыл о всех своих волнениях и сомнениях. Может быть, он и смущался иногда от мысли, что жена ему не верна, но не решался говорить ей об этом. Он побаивался ее. Когда он говорил писарю Титу: «Люблю жену, как душу, а трясу, как грушу»,— это было не чем иным, как бахвальством. Мишка до сих пор помнит, как однажды, несколько лет тому назад, он задумал было проучить жену. Он, как и подобает строгому мужу, вцепился было ей в косу и начал таскать по базу, а она, прюклятая баба, — нет, чтобы покорно перенести мужнину науку, — таким диким, душераздирающим голосом заорала на весь городок, что на вопли сейчас же прибежали ее отец и брат, бешеные черкесы, и так бедного Мишку избили, что с той поры он и помыслить боится о том, чтобы прикоснуться хоть пальцем к своей же собственной, законной жене. С тестем Мишка стал с тех пор необычайно почтителен, лишь втихомолочку да про себя ругался:

— Чертей тут развели! Кто это придумал всякую черкесскую сволочь в казаки принимать? Казачий городок тоже называется — русских в нем днем с огнем не сыщешь.

Мишка, конечно, сильно преувеличивал, но и в самом деле Черкасск был многонациональным казачьим городком. Казаки принимали в свою среду всякого, кто приходил на круг и, крестясь, говорил:

— Верую во единого бога отца, сына божьего и духа святого...

В Черкасске было немало таких казачьих фамилий, как Татариновы — татары, Поляковы — поляки, Латвиновы — литовцы, Калмыковы — калмыки, Сербияновы — сербы, Туркины и Турчаниновы — турки, Грековы — греки, Евреиновы — евреи и так далее.

У Мишки Сазонова частенько собиралась веселая компания. Придут казаки и говорят:

— А мы, Мишка, к тебе. Вспомнили своего друзяка. Принимай гостей. У нас, Мишка, все свое.

И выставляют на стол разные закуски, вина, меды. Мишка польщен таким вниманием: как же, самые домо-

питые, почетные казаки льнут к нему... Видно, дорога им его дружба.

Гости садились за стол, вели дружеские беседы, пели, плясали. Аксинья тогда вся расцветала, она наряжалась в лучшие наряды, прислуживала гостям. Мишку все угощали наперебой. Он, не желая никого обидеть, скоро напивался и засыпал. Его со смехом вытаскивали из-за стола, бросали, бесчувственного, на кровать и продолжали веселиться. И он уже не видел, кто обнимал его жену, кого она одаривала жаркими поцелуями...

Как-то к Мишке явились неожиданные гости: писарь Тит, поп Питирим и старый домрачей дед Остап.

— Насилу разыскали,— сказал писарь, вваливаясь в курень.— Здорово живете! Стань, Мишка, на стол жбан меду,— потребовал он сразу же.

— Это за какие же такие дела? — изумился Мишка.

— Ты что, ай забыл? — грозно посмотрел на него писарь.— Забыл? Гляди, а то я тебе напомню этим вот,— показал он ему кулак.— Помнишь, обещал, говорил: как прибудем в Черкасск, так сейчас же напоишь медом допьяна. Помнишь, письмо-то писали?

Мишка поморщился. Он не любил угощать, предпочитая лучше самому угощаться на чужой счет.

— Вы, видно, по гостям охочи ходить, — пробурчал он недовольно, — да никто вас не зовет. Я б рад вас угостить, да нечем. Извиняйте.

— А ты сходи в кабак, купи,— посоветовал писарь.

— Денег нет,— развел руками Мишка.

— У нас есть жбан меду,— ласково вступила в разговор Аксинья, успевшая уже принарядиться ради гостей.— Да толечко в нем крыса утопла. Противно пить.

— А крыса-то та вытащена, ай до сей поры в жбане плавает? — осведомился дед Остап.

— Да крыса-то хоть и вытащена,— сказала Аксинья,— да только как же его пить-то?.. А мед-то больно хороший, пенистый, да наваристый. Жалко выливать.

— Не погано море стало, что собака в нем лакала, — загудел поп. — А ну, давай, женка, тот мед сюда. Освящу его молитвой святой, и очистится он от всякой скверны.

Аксинья едва донесла огромный жбан до стола. При виде его писарь удовлетворенно крякнул и облизал сухие губы.

— Есть чем потешиться, братья.

Питирим перекрестил жбан и сказал:

— Изыди из сей посудины всякая нечисть и скверна. Садитесь, рабы божьи. Очистилась. Теперь сей мед будет чист, яко слеза пресвятой богородицы.

Все уселись за стол. Поп, наполнив ковши, снова что-то над ними зашептал.

— Умный поп, лишь губами шевелит,— ухмыльнулся Мишка.— А мы, грешные, догадываемся да к ковшам прикладываемся. Ну, дай бог не по одной, да чтоб денежки водились.

Хоть и плавала в меду крыса, но он не потерял своего качества — был он крепкий и хмельной. Вскоре у приятелей в голове приятно зашумело.

— Остап, — потребовал поп, — а ну, играй, дьявол старый!

Дед Остап дернул струны домры, запел:

Ой, на гори ячминь,
Пид горою жито,
Пришла вистка до милои,
Що милого вбито...

Питирим сорвался со скамьи, развевая полами рясы, грузно заплясал, подпевая:

У кундюбы двери сняли
И в Азов отправили.
У меня штаны украли,
Без штанов оставили...

Мишка подскочил к попу, вьюном крутнулся вокруг него и, подмигнув, тонкоголосо пропел:

Ты зачем попу ходить велела,
Ты, змея курносая.
Ты оставила попа
Без штанов и босого...

— Иди, женка, иди поплящи,— потянул к себе поп Аксинью.

И, подперев бока, пошел перед нею козырем, гудя, как в трубу:

Что мне, попу, не гулять,
Что мне не бахвалиться,
В храме есть одна овца,
Мне башка достается...

Аксинья, озорно поблескивая большими черными глазами, легко порхала по комнате, пурша атласными шальварами и звеня монистами и верстками.

Писарь Тит одиноко сидел за столом, ему становилось скучно.

— Эй, длинногривый,— кричит он попу,— будет тебе топотать-то жеребцом, иди выпьем!

Но поп не слышит. Лукаво поблескивающие глаза Аксиньи манят Питирима. Чувствует он, как забурлила в нем кровь, словно в молодости. Пляшет он, а сам все ближе и ближе подступает к полнотелой, красивой бабе и вдруг, метнув взгляд на отвернувшегося Мишку, обнял ее и поцеловал.

— Блудодейник, блудодейник волосатый,— укоризненно покачал головой скучающий писарь.

Дверь широко распахнулась, вошло несколько домовитых казаков.

— Здорово живете! — поздоровались они.— А мы, Мишка, пришли было тебя навестить. Да, видать, не вовремя, гости у тебя...

Сметливый писарь сразу же сообразил, что казаки не с пустыми руками пришли, радушно пригласил:

— Гость на гость — хозяину радость. Проходите, садитесь, атаманы-молодцы, вы нам не помеха, веселее будет.

Казаки чинно расселись, поставили на стол посудины с медом и вином, разложили закуски.

Веселье разгорелось с новой силой.

Поздно ночью, едва держась на ногах, поп, писарь и дед Остап ушли, а Мишка, опьянев, спал на кровати. Казаки продолжали гулять с Аксиньей.

Когда Мишка приоткрыл глаза, тусклый свет от жировика слабо освещал курень. У стола слышался веселый гул голосов и взвизгивания Аксиньи. Мишка хотел повернуться на другой бок, чтобы снова заснуть, но его внимание привлек заглушенный шепот двух казаков, сидевших спиной к нему на кровати.

— Тише,— опасливо прошептал один,— а то как бы этот олух не услыхал.

— Где ему, безмозглому барану, услыхать,— усмехнулся второй.— Я такого дурака, как он, сроду не видывал. За ковш меду он на все готов. Он спит, как убитый, а жена...

Казаки весело захохотали. Мишка, покраснев от негодования, едва сдержал желание ударить ногой в спину хохотавшего казака.

— Так, стало быть, в пятницу на той неделе? — обрывая смех, спросил первый казак.

— В пятницу, — подтвердил второй. — Как солнце зайдет, так зараз и соберемся.

— У Юткиного буерака?

— Там.

— Ладно. Приду. Человек двадцать с собой приведу.

— Приводи. Народу-то должно много собраться. Рыковцев немало придет.

— А что делать-то будем там?

— А там обсоветуем. Может, прямо оттуда пойдем да и огарпуем * проклятого вора с его полковниками и отвезем в Азов... Всю его сволочь поразгоним да в воду покидаем.

Мишка задрожал от страха. Если казаки обнаружат, что он подслушал их разговор, ему несдобровать — убьют. Он, как бы во сне, замычал и, повернувшись на другой бок, сладко захрапел. Казаки замолкли.

— Вот божья овечка-то,— засмеялся один.

— Эту божью овечку,— сказал второй,— тоже надобно на кол посадить. Крови-то небось немало пролил, проклятый.

— Посадим, будь спокоен.

Мишка при этих словах так всхрапнул, как будто уже почувствовал прикосновение острого кола к своему телу. Казаки, снова засмеявшись, встали.

— Стало быть, так, односум?

— Так, брат. Пойдем выпьем, да домой надобно идти.

Дождавшись, когда казаки ушли, Мишка опалело вскочил с кровати. Щелкая зубами и вздрагивая всем телом, он надел поспешно сапоги и кафтан.

— Куда ты, Мишка? — изумилась Аксинья.

— Недужится мне. Похожу по улице, проветрюсь.

— Опился, должно, Мишка,— посочувствовала Аксинья.

Выскочив из куреня, Мишка, озираясь, стремительно побежал. Надо было предупредить Булавина о готовившемся против него заговоре.

ГЛАВА VII

Ивашка Юдушкин вернулся из Азова и рассказал Соколову:

— Хороший, видать, человек этот губернатор азовский. Как приехал я в Азов, так сейчас же позвал он меня к себе в хоромы, прочитал нашу отписку и говорит: «Спасибо вам за ваше усердие. Как искореним вора Кондрашку, так надобно вам ждать от великого государя большой милости и награды. Особливо, говорит, надобно ждать награды Тимохе Соколову за его верную службу». Велел он тебе, Тимофей, побольше подговаривать казаков, чтоб при случае связать Кондрашку да в кандалах привезти к нему в Азов.

— Ладно, Ивашка,— сказал Соколов.— Ты об этом деле никому не говори. Много ли, Ивашка, у вас казаков в сговоре против Булавина?

— С полтысячи будет.

— Когда сбор назначен?

— В пятницу, при закате солнца. У Юткина буерака. Приходи, Тимофей.

— Нет, Иван, мне нельзя от Кондратия отлучаться. Может заподозрить. Ты, Ивашка, скажи казакам, чтоб были наготове. Как только я подам знак, чтоб все были в сборе. Обо мне ты пока никому ни слова не говори.

Соколов по-прежнему рьяно выполнял обязанности войскового есаула. По-прежнему он старался выведать у Кондрата все сведения о его планах и намерениях, чтобы тотчас же донести обо всем Толстому. Но он заметил, что Кондрат стал более сдержан, менее откровенен, хотя своих близких отношений к Соколову не изменил.

К тому времени стало известно, что атаман Голый разбил Сумский слободский полк, а Семен Драный подходит к Тору. В Черкасске снова поднялось настроение.

Со всех притоков Дона в Черкасск стали приходить отряды казаков, призванных Булавиным для наступления на Азов. Привели из Пристанского городка свой отряд и Лукьян Хохлач с Митькой Туляем.

Но все это Кондрата не радовало. Теперь только он понял, что сделал непростительную ошибку. Он днями и ночами мучительно размышлял об этом. «Дьявол меня понес в Черкасск, — ругал он себя, — на что он мне сдался?

А уж ежели пошел, то надобно б мне не разбивать свои силы, зараз же идти на приступ Азова и Таганрога. Забрал бы эти города, а там десятки тысяч работных людишек, бурлаков, каторжан да матросов, кои работают на берегах Азовского моря. Вот войска-то сколько было бы!»

Кондрата влекло на Волгу. Он знал, что там восстали башкиры, марийцы, вотяки, татары. Все они присоединились бы к нему. И Кондрат решил, хотя и поздно, немедленно вести все свое войско на Азов, Таганрог, Троицкое, штурмом овладеть ими, а потом обязательно идти в Поволжье, соединиться с восставшими волжскими народами и продвигаться далее, к Москве, по пути вбирая в свои войска все больше и больше крестьян волновавшейся Руси.

В то время, когда Кондрат обдумывал поход на Азов, ему сообщили, что прибыл посланец гетмана Мазепы. Кондрат еще не знал о его измене и переходе на сторону шведского короля Карла. Он велел позвать к себе гетманского посланца.

— Здоров був, батько отаман,— поздоровался высокий запыленный гетманский посланец, входя в горницу.

— Здоров был и ты, пан посол,— ответил Кондрат, с любопытством оглядывая молодого красивого украинца.— Не ведаю, как величать тебя.

— Гетманский полковник Митро Сметана,— с достоинством ответил тот.

— Га,— оживился Кондрат.— Это не твой ли, Митро, батько в полковниках в Кодаке?

— То мий дядько.

— Знаю, Митро, твоего дидьку,— засмеялся Кондрат.— Добрый казак. Дюже любит вареники. Меня угощал.

— Це вин любыть,— скупо усмехнулся и полковник.

— Ну, садись, Митро, будь гостем да сказывай, с какими вестями ко мне прибыл.

Полковник покрутил свой длинный черный ус и нерешительно взглянул на сидевшего в горенке Соколова.

— Потайно надобно побалакать, отаман.

— Это мой есаул,— сказал Кондрат.— Свой человек.

— Ни, — замотал головой полковник, садясь на скамью.— Це дило тайное, надобно говорить с тобой тилько с глазу на глаз.

— Ну, выйди коль, Тимофей,— сказал Булавин Соколову.

Соколов что-то буркнул недовольно, вышел из горницы, оставив дверь чуть приоткрытой.

— Сказывай, Митро.

Полковник, тихо ступая, подошел к двери и рывком распахнул ее. Сконфуженный Соколов отскочил от порога.

— Любопытственные у тебя, батько отаман, есаулы, — насмешливо проговорил полковник, прихлопывая дверь.

Кондрат нахмурился. Гетманский полковник, подсев к нему, начал тихо говорить:

— Ясновельможный гетман всея Вкраины Иван Степанович Мазепа поклон тебе, батько отаман, прислал.

— Спасибо. Дай ему бог доброго здравия. Знаком я с ним еще по крымскому походу.

— Вин, як и ты, Кондратий Афанасьевич, решил биться с москалями за самостийность Вкраины. Гетман зараз перешел до шведского короля Карла и иде со шведами на Московию...

— Твой гетман православный чи нет? — хмуро оборвал Кондрат полковника.

— А як же? — удивленно посмотрел на него полковник. — Православный. Святой крест мае на шии.

— Гм... Ну, так сказывай, сказывай, пан полковник, зачем тебя послал ко мне твой... гетман.

— Вин велел сказать тебе, отаман, щоб ты со своим вийском до него предався. Вин каже, що як король шведськый забере Московию, так зараз же назначыть тебя войсковым отаманом всего войска Донского и отдаст тебе под власть все Придонье до Саратова, всю Волгу аж до Астрахани.

Кондрат расхохотался.

— Все, Митро, все, а? — хохотал Булавин. — А еще ничего не сулили мне твой гетман с Карлом, а?..

Полковник с недоумением посмотрел на развеселившегося, как ему казалось совершенно беспричинно, атамана.

— Сволочи вы со своим гетманом! — распалясь, вдруг гневно загремел Кондрат. — Христопродавцы! Изменники! Предатели, так вашу!.. Ишь ты, насулил он мне чего. Все Придонье отдаст, Волгу с Астраханью... Да я и без Мазепы и Карлушки вашего, басурманина, все это заберу. Ишь, чем хотели подкупить... Сволочи! Биться с москалями?.. Я бьюсь не с москалями, а с боярами, прибыльщиками да немцами, такими же, как ваш Карлушка-нехристь. Они ж, проклятые дьяволы, народ наш изводят, русский народ,

православный!.. Ведомо ль тебе об этом, сучий ты полковник?

Запорожец опешенно смотрел на гневного Кондрата и молчал. Несколько успокаиваясь, Булавин уже тише сказал:

— Дядька у тебя, Митро, добрый казак, а ты сволочь. Надобно б тебя на кол посадить, да уж ладно. Послов вроде не сажают, не в обычае это. Езжай ты, Митро, и скажи своему собачьему гетману, что Кондратий, мол, Булавин не предатель своей русской земли и не отступник от святой православной веры. На услужение, мол, к Карлушке-басурманину не пойдет, лизать ему пятки не будет, как лижет их твой гетман... И скажи моим именем тому Карлу, что наши, мол, казаки добре бьют его шведов и что вот, мол, как только Кондратий Булавин управится тут, так, собрав многое войско, пойдет добивать шведов и того Карла с Мазепой на колья посажает... Иди, сучий сын!

Побледневший и взволнованный полковник встал и глухо проговорил:

— Отаман, прошу, дай отписку гетману, а то ж вин не поверит мне, що я був у тебя... Прошу, отаман.

Кондрат подумал.

— Ладно, дам тебе уже отписку. Иди, там на улице обождн.

Полковник вышел.

— Писарь! — закричал Кондрат. — Где ты, анчутка бражная?.. Покличьте его!

Где-то разыскали и втолкнули в горницу, по обыкновению, пьяного писаря.

— Милостивец, кликал?

— Кликал, — сурово взглянул на него Кондрат. — А ты где, черт, пропадаешь? Опять хмельной?

— Я, милостивец, может, и хмельной, но разума своего никогда не пропью.

— Ну, ежели не пропил еще, то садись пиши.

Писарь тяжело сел на табурет и приготовился писать.

— Говори, милостивец.

Кондрат задумался, теребя черную бороду.

— Пиши, писарь, — сказал он и начал диктовать письмо Мазепе: — «Ясновипячему гетману...»

— Ась? — переспросил изумленный писарь, думая, что ослышался.

Кондрат повторил. Писарь, прыснув, весело захихикал.

— Пиши, дьявол, не ржи! — сурово прикрикнул на него Кондрат, но, не выдержав, и сам рассмеялся.

— Так и пиши, Титка: «...свинячему... гетману Мазепе. Прибыл к нам твой сучий полковник — посланец Митро Сметана и сказал твои сатанинские слова. Хотели мы того, сучьего сына, Сметану на кол посадить, да удумали с ним свой ответ тебе послать. Христопродавец ты, Мазепа, изменщик и предатель родной земли, православного народа и святой веры христианской. Чтоб у тебя, сатана старая, за это сто чирьев на спине вскочило. Свинячья ты морда, бешеная собака, дурий твой лоб...»

Писарь поперхнулся от смеха. Захохотал и Кондрат. Они, смотря друг на друга, долго хохотали: писарь — тоненько, словно козленок блеял, а Кондрат густо, как в трубу, рокотал.

— Ну, пиши, пиши, Титка, — отдышался наконец Кондрат от смеха.

— Ой, уморил, милостивец! — вытерев выступившие от смеха слезы, проговорил писарь.

Кондрат продолжал:

— Я, атаман войска Донского, Кондратий Булавин, супротив своей родины и народа никогда не пойду, а тебе, сатане плешавому, голову оторву да на кол осиновый посажу. А засим челом бьем. Атаман Кондратий Булавин и все войско Донское.

— Пойди, Титка, отдай письмо гетманскому полковнику Сметане, пусть везет своему Мазепе.

Писарь, хихикая, свернул письмо в трубку и понес его полковнику, дожидавшемуся на улице.

ГЛАВА VIII

Мишка жил на окраине города. Чтобы добраться до куреня Булавина, ему надо было пройти пустырь с развалинами старых строений. Про этот пустырь ходили страшные рассказы: говорили, будто по ночам здесь собираются целые «ярмарки» колдуний, ведьм, чертей, шишиг, вурдалаков, оборотней и всякой, прости господи, не к ночи будь сказано, другой нечисти.

Мишка по натуре был не из особенно храбрых. Попасть в руки нечистой силы ему никак не хотелось. Подойдя к освещенному лунным светом пустырю, он остановился в

раздумье. Идти или нет? Обо всем, что он слышал, можно бы и завтра рассказать Булавину. Но возвращаться домой Мишка боялся: а ну, если казаки догадаются, что он подслушал их, и сегодня же ночью вернутся да прикончат его?

Мишка стал вспоминать все средства защиты против нечистой силы. Если бросится собака-оборотень, то надо, поймав ее, найти у нее на животе, под шерстью, пояс, разрезать его кинжалом — сейчас же собака оборотится человеком. Если вурдалак, то надо воткнуть кинжал в землю и закричать: «Сгинь, пропади!» — и вурдалак, как послушный ягненок, заблеяв, уйдет по острию кинжала в землю. Не так уж страшны и колдуньи с ведьмами. Стоит лишь «Отче наш» прочитать, окрестив себя кинжалом, как они сгинут. Вот не знал только Мишка, как защищаться от шишиг, особенно опасных чертей. Надеясь, что, может быть, на этот раз их нет на пустыре, он, озираясь, зашагал.

Мелькнула тень... Мишка вздрогнул и прирос к месту, пристально вглядываясь. И, о ужас! Мишка задрожал от страха... Собака! Самая настоящая собака-оборотень... Помня, что в таком случае надо оборотня ловить, Мишка, преодолевая страх, бросился к собаке, но она, жалобно заскулив, убежала, и Мишка совсем расхрабрился. Оказывается, не так уж трудно воевать с нечистой силой, — надо только побольше храбрости набраться. И Мишка почти уже весело продолжал свой путь. Большое облако скрыло луну, сразу же потемнело. Мишка как раз проходил мимо развалин старого здания. Ему бы миновать это самое страшное место, а там уже начинаются улицы. И когда он считал себя уже в полной безопасности, его вдруг охватили тяжелые, сильные руки.

«Вурдалак!» — в страхе подумал Мишка, втягивая шею, боясь, что упырь сейчас вопьется в нее и начнет высасывать кровь. Но вместо этого неведомая нечисть закричала:

— Петро, тащи его! Тащи!

Мишку легко подхватили и понесли.

«Шишиги, не иначе», — в отчаянии подумал Мишка. И ему представилось страшное пекло ада — куда же иначе могут тащить черти? Мишка жалобно заскулил, прощаясь с белым светом.

— Не скули! — свирепо зарычал шишига, добавив такое занозистое ругательство, что ему мог бы позавидовать и любой старый казак.

«Ишь ты, — изумился Мишка, — шишиги тоже по-каюрски умеют ругаться».

Мишку внесли в какое-то загаженное подземелье, стащили с него кафтан, сапоги, штаны и белье. Мишка забормотал молитву, — авось подействует. Шишиги — их было двое: Мишка это выяснил по голосам — стали ругаться:

— Замолчи, сатана! Не то прибьем!

«Ага, — злорадно подумал Мишка, — не по праву вам святая молитва-то», — и заговорил громче:

— Свят, свят господь Саваоф, да расточатся врази его... Сгинь, сгинь, пропади, нечистая сила...

Здоровенный кулак обрушился на его голову, и Мишка замолк.

Больше он ничего не помнил. Очнулся уже утром со связанными руками и ногами. Жидкий свет просачивался в узкие щели, слабо освещая внутренность ямы, в которой лежал голый Мишка. Отовсюду разило тошнотворной вонью. Мишка задыхался. Он оглянулся и увидел целые горы дохлых собак и кошек. Видимо, яма эта служила местом свалки падали.

Хотя Мишке было и очень неприятно лежать в этой зловонной яме, но он был рад, что так легко отделался от чертей. Ведь могло быть и хуже. Свое спасение он приписывал сотворенной вовремя молитве.

Вначале Мишка думал, что он легко сумеет освободиться. Он начал дергать ногами и руками, предполагая, что узлы ослабнут и веревки спадут с него. Но, видимо, шишиги были ловкачами вязать людей — узлы не ослабевали, веревки крепко держались на руках и ногах.

Весь день промучился Мишка в бесплодных попытках сбросить с себя веревки и под вечер, обессиленный, лежал на дохлых собаках, жалобно стеная. Когда стало темнеть, он с ужасом подумал, что, может быть, этой-то ночью шишиги и утащат его в преисподнюю. Он обливался холодным потом, отчаянно кричал, зовя на помощь. Крики его слышали некоторые суеверные жители. Косясь на пустырь, они, крестясь, говорили:

— Ныне нечистую силу что-то спозаранку разбирает.

А как только стемнело, Мишка замолк, боясь своими криками привлечь к себе все сонмище оборотней и шишиг.

Так прошла ночь, прошел день и еще одна ночь. Наступил новый день и, по расчетам Мишки, именно та роковая пятница, в которую должны собраться в Юткином бус-

раке заговорщики и совершить злодеяние. Мишка мучился оттого, что, зная об этой тайне, не может предупредить Булавина. Обессиленный, едва живой, он лежал в яме, ожидая смерти. И он ее желал скорее, как можно скорее, так как боялся, что если его найдут здесь заговорщики, то неминуемо посадят на кол. А уж лучше умереть в зловонной яме, чем в жестоких мучениях на колу.

Но, видно, судьба сжалилась над Мишкой и не суждено было ему в этот раз умереть. Под вечер он услышал шаги. Мишка оживился. Кто-то притащил околевшую собаку и швырнул ее на него. Мишка с отвращением отвернулся и умоляюще простонал:

— Добрый человек, помоги мне вылезть отсюда.

— Ась? — откликнулся изумленный старческий голос. — Кто это говорит?

Мишка узнал голос старика Нефедыча и с безумной радостью завопил:

— Нефедыч! Нефедыч! То ж я, Мишка Сазонов! Мишка Сазонов! Поди развяжи меня.

— А ежели ты Мишка, — с недоверием спросил старик, — то как ты сюда попал?

Мишка побоялся говорить, что его затащили в яму мишиги. Чего доброго, старик еще со страху сбежит.

— После скажу, дед, как вылезу из ямы, — уклончиво ответил он. — Развяжи, ради бога, Нефедыч, а то помираю.

— А не брешешь ты, что Мишка? — по-прежнему с недоверием выпытывал старик. — Может, ты леший ай упырь?

— Да ей-богу, Мишка, — глухо донеслось из ямы. — Вот тебе господь, я — Мишка Сазонов. Я б, дед, перекрестился, ежели б руки не были связаны.

— А ну, прочти «Отче наш», — потребовал старик.

— «Отче наш, иже еси...» — стал читать молитву Мишка.

Дослушав до конца молитву, старик пробормотал:

— Должно быть, вправду Мишка. Упырь не стал бы молитву читать.

Кряхтя и бормоча, старик спустился в яму.

— Где ты есть? — спросил он, оглядываясь. — Ничего не видать.

— А вот я, вот, дед, — радостно говорил Мишка. — Иди сюда. Гляди, о собаку не споткнись.

Старик нашел Мишку и перерезал веревки, связывавшие его. Мишка с трудом поднялся и сразу не мог пошевелить онемевшими руками.

— Дед, — зарыдал он, осчастливленный своим освобождением, — никогда этого не забуду тебе. Чем хочешь отблагодарю за это.

— Ничего, сынок, мне не надобно. Живи на здоровье, а мне все едино скоро помирать.

Он вывел Мишку из подземелья. У Мишки от свежего воздуха закружилась голова. Он присел и почувствовал, как силы к нему возвращаются.

— Спасет тебя Христос, Нефедыч, возродил ты меня на свет божий.

Но старика разбирало любопытство узнать, как Мишка попал в яму к дохлым собакам, и он спросил его об этом.

— Шишиги, дед, утащили, — сказал Мишка и подробно рассказал старику о своих приключениях.

— Господи Исусе Христе, — закрестился старик, боязливо озираясь. — Да не приведи господи и во сне увидать такую страсть! Пойдем отсюда, сынок, пойдем с нечистого места. С нами крестная сила!

Крестясь и шепча молитвы, старик торопливо зашаркал своими дряхлыми ногами.

Мишке стало страшно оставаться здесь одному. И хотя ему от слабости трудно было идти и он был нагишом, все же, попатываясь, побрел он вслед за стариком.

Мишка хотел было, околесив пустырь, пойти домой одеться, но, вспомнив о заговоре, взглянул на солнце. Оно заходило. Он бросился бежать к атаманскому куреню.

На улицах было людно. При виде бегущего по улице голого человека бабы взвизгивали и шарахались в ворота, думая, не сумасшедший ли, а казаки хохотали.

— Эй, зальян, сколь много выпил, что пропился донага?

Орава ребятишек с гоготом и улюлюканьем преследовали Мишку, швыряя в него камнями. Но он ни на что не обращал внимания. Задыхаясь от утомления, он ввалился в курень к Кондрату и упал на пороге. Напрягая последние усилия, пополз в горницу, в которой слышались голоса.

— Господи Исусе Христе! — дико вскрикнула Ольга, увидя выползающего из-за двери голого человека.

— Кто это? — подбежал Кондрат к нему.— Никак, ты, Мишка? Что с тобой? Пьян в дым, что ли?

— Нет, — прохрипел Мишка. — Пр... пропали мы, атаман.

— Дайте ему ковш меду! — распорядился Кондрат и, подняв Мишку, усадил на скамью.

Мишка выпил мед и, отдышавшись, рассказал Кондрату обо всем, что слышал, лежа на кровати во время пирушки домовитых казаков.

Кондрат побледнел.

— Коня мне! — закричал он. — Коня! Писарь, беги зараз же к Лупьке Хохлачу и Туляю, пусть немедля седлают коней! Я им, домовитым, покажу! Тимоха, брат мой, поедем! — крикнул он побледневшему Соколову.

— Хворый я, Кондратий, — сказал он.

— Ну, шут с тобой. Оставайся.

ГЛАВА IX

Кондрат мчался вихрем, в гневе сжимая кулаки. Ветер сорвал с него шапку, взлохматил волосы.

— Сговор супротив меня! Сговор! — рычал он, скрежеща зубами.

Следом, не отставая от него, мчались Хохлач и Митька Туляй, а за ними, поднимая облако пыли, рассыпавшись длинной лентой, тысяча верховых гультяев.

Не доезжая с полверсты до Юткиного буерака, Кондрат резко осадил разгоряченного «араба».

— Лупька,— сказал он хрипло,— оцепи буерак с этой стороны, а ты, Митька, с той.

Проследив, как выполнялось его распоряжение, он один поскакал к буераку.

В это время в буераке домовитые казаки обсуждали план захвата Булавина и его полковников.

— Я так разумею, — говорил высокий старик в коричневом кафтане с серебряными нашивками на груди, — надобно, атаманы-молодцы, немедля нам идти в городок да похватать воров, покуда они ни о чем еще не ведают. Гляди, ведь нас сила-то какая! — указал он рукой на собравшихся. — Си-ила! Повяжем, да и повезем в Москву.

Молодой черноусый казак в темно-синем бархатном полукафтане без рукавов перебил его:

— Что ты гутаришь? Да разве ж его сейчас возьмешь?

У него ж войска охранного много. Надобно подстеречь, когда вор поедет к своему брату в Рыковскую. Вот тут-то его и хватать.

— Погодь, атаманы-молодцы,— выступил на середину круга пожилой, медлительный в движениях походный атаман многих казачьих походов Василий Фролов. — Дайте слово молвить.

Казаки замолкли. Василий Фролов был среди домовитых весьма почтенным и уважаемым лицом. Он принимал участие в подавлении астраханского восстания и отличился в войне со шведами, за что был пожалован Петром чином полковника.

— Атаманы-молодцы, — сказал он,— дядь Василий,— кивнул он на старика в коричневом кафтане,— правду сказал, что нас сила. Но токмо не такая уж большая сила, чтоб можно вора сразу захватить. У вора сила поболее нашей. Его голыми руками, тепленького, не возьмешь. Надобно с разумом силу нашу приложить, чтоб зря наших людей не перевести...

— Правильно! — зашумели голоса.— Правильно гутарит!

— Надобно, братцы, — продолжал Фролов, — исподволь вора изводить, не сразу. Вот, начали мы у него из табунов лошадей уводить — это ему урон. А как угоним всех лошадей в Азов, то ему, вору, не на что будет войско свое посадить. Начали мы вот у него будары с хлебом перехватывать — это ему тоже урон. Войско его, не жравши, возмутится да разбегаться начнет. А когда он обессилеет — глядишь, тут и царские войска подойдут... Вот тут-то его, дьявола, и хватай. А так нечего зря бросаться, силу переводить...

— Правду, казаки, гутарит Василий Фролов,— выступил и Ивашка Юдушкин. — Надобно обождать маленько. Не пришел еще час... Потайно скажу вам, браты: с нами в сговоре есть его, вора, старшины. Они за каждым шагом следят Кондрашкиным. Те старшины велели сказать вам, чтоб вы, браты, были наготове. Как только подадут они нам знак, чтоб...

В этот миг караульный, выставленный у буерака, испуганно закричал:

— Спасайся, браты, скачут!

Сотни казаков, заполнявшие буерак, пришли в замешательство. Они растерянно смотрели на то место, откуда

только что прозвучал голос караульного. Некоторые, более трусливые, побежали.

Послышался конский топот. На обрыве, над бураком, в сумерках вечера выросла грозная фигура Булавина на вздрагивающем от бешеной скачки белом арабском скакуне.

— Собрались, предатели? — тяжелым взглядом обвел Булавин толпу. — Крови моей захотели?.. Крови? Нет, сначала я в вашей кровушке покупаюсь.

Очнувшись от оцепенения, толпа озлобленно заорала:

— Хватай вора!.. Бей его!..

Протрещали выстрелы. Над головой Кондрата просвистало несколько пуль, одна царапнула по виску. Тонкая струйка потекла по щеке. Кондрат блеснул саблей.

— Лунька! Митька! — загремел он. — Бей!.. Круши!..

Толкнув ногами коня, Кондрат с двухсаженной кручи ринулся в бурак, в гущу казаков. Со всех сторон бурака послышались крики и конский топот, заискрились на закате сабли булавинцев. Домовитые бросились врассыпную. Лишь десятка полтора яростно набросились на Кондрата, тыча в него саблями.

Конь под Кондратом, бешено извиваясь, поднимался на дыбы, сшибал грудью казаков, топтал их, злобно кусался. Белоснежная шерсть его покрылась алыми узорами, кровь струйками сочилась по ней. Молнией взблескивала сабля в руках Кондрата, со звоном вышибая сабли из рук врагов. Словно играя, перебрасывал Кондрат саблю из одной руки в другую и, пружинно вытягиваясь, доставал острием своих врагов. От каждого его удара голова домовитого раскалывалась, как арбуз. Но недругов было слишком много. Они наседали со всех сторон. И казалось, Кондрату их не одолеть. Но в это время кто-то страшно заревел. Это Митька Туляй подоспел на помощь. С сокрушающей силой налетел он на домовитых, размахивая тяжелым палашом. Казаки разбежались.

— Спасибо, Митька, за выручку, — прохрипел Кондрат, отирая пот со лба.

С заговорщиками было покончено. Человек двести было переловлено, десятка три побито, а остальные разбежались.

Возвращались из бурака уже поздно ночью, Кондрат стоял на холме, смотрел, как мимо него вели связанных заговорщиков. Луна освещала их хмурые, бледные лица.

Кондрат с огорчением думал: чего этим людям было нужно? Он хотел всем блага, добивался для них воли и независимости от бояр. Хотел, чтоб всем жилось правильно — и домовитым, и гультяям, и холопам, и бурлакам.

Размышляя об этом, Кондрат окончательно убедился, что доверяться домовитым нельзя, голытьба надежнее.

— Надобно быть с домовитыми настороже, — сказал он вслух.

Он слишком, слишком доверчив. Курень его никогда не заперт, всякий, кто захочет, может свободно войти. Если б Мишка Сазонов случайно не узнал о заговоре, то могло бы произойти страшное злодеяние.

К Кондрату подъехал Митька Туляй.

— Возьми, атаман, — протянул он что-то.

— Что это?

— Шапка твоя.

— Какая шапка? — удивился Кондрат: он до сих пор не заметил, что был без шапки. — Где ты ее, Митька, взял?

— А как слетела она с тебя, я ее на лету поймал да за пояс заткнул.

— Спасибо, Митька, — сказал Кондрат, надевая шапку, — поедем.

Они молча поехали вслед за отрядом. Кондрат о чем-то думал.

— Митька, — прервал он молчание.

— Чего?

— Скажи, ты — сволочь?

Митька опешил от неожиданности.

— Че-его?

— Я говорю: ты — сволочь ай нет?

— Как разуметь такие слова, атаман? — сердито засопел Митька.

— А так, Митька, — раздумчиво проговорил Кондрат, — сейчас никому верить нельзя. Кругом изменники да предатели.

— Да ты что, атаман? — наумился Митька и даже остановил лошадь. — Погоди, атаман! Погоди!

Кондрат остановился. Митька смотрел на него широко открытыми глазами.

— Ты, атаман, ай рехнулся? — с дрожью в голосе спросил он и, распалясь, обиженно, торопливо, как бы боясь, что Кондрат не будет его слушать, заговорил: — Так, ста-

по быть, Митька сволочью стал? Сволочью, атаман, а?.. Здорово, нечего сказать, дождался... А Митька-то услуживал. Митька-то изо всех сил старался... Первый с Лунькой Хохлачом возмущал гультяев да бурлаков. Не Митька ли, атаман, с Лунькой посылали за тобой за пороги? Скажи, атаман! А теперь, ишь, сволочью я стал... А не Митька ли тебе привел этого коня? — указал он на «араба». — Не Митька ль воевал, крошил батальщиков? Не Митька ль исходил кровью от ран? А-а? Скажи, атаман. Не Митька ль пришел сюда с войском по твоему зову? А-а? А не Митька ль тебя выручил зараз в буераке?.. И я, стало быть, сволочь. Изменник, значит... Эх ты, атаман! — И в голосе Митьки задрожала обида.

— Митька! Друг мой! — растроганно вскрикнул Кондрат. — Ведь я нарочно пытаю тебя. Знаю, что верен ты мне. Поэтому и хочу назначить тебя самым первым моим помощником. Хочешь ай нет?

В груди у Митьки еще не улеглась буря жестокой обиды и возмущения. Он отвернулся от Кондрата, чтобы скрыть слезы, предательски ползущие по щекам.

— Что ж ты молчишь, Митька? Ай не хочешь быть моим помощником? Постой, да ты, никак, плачешь? Что это ты, Митька? Казак-то ты какой, а, глянь, размокрился, как баба.

— Обидел ты меня дюже, атаман, — глухо сказал Митька. — Кабы кто другой сказал, так я б ему голову снес за такие слова.

— Будет, Митька, не серчай. Ведь я тебе не со зла это...

— Да ладно уж, что ж на тебя серчать-то, атаман, — примиряющим тоном сказал Митька.

— Ну и добре, Митька, что зла долго не таишь, — весело хлопнул его ладонью по плечу Кондрат. — Хочу первым своим помощником тебя сделать. Хочешь ай нет?

— А что ж не хотеть-то? Человек я испытанный. Не подведу.

— Так вот, Митька, — сказал Кондрат. — Завтра же отбери ты себе в помощь сотню казаков из голутвенных, самых что ни на есть надежных, кои как львы будут драться, голову свою положат, а не предадут. Разумеешь, Митька? Самых надежных да верных.

— Подыщем, — пообещал Митька.

— И будешь ты, Митька, с теми казаками всегда при мне, безотлучно. Будешь исполнять то, что я буду говорить тебе. Понял?

— Ладно, — хмуро буркнул Митька.

— Ну, а теперь поехали.

Ударив лошадей плетьми, они помчались нагонять отряд.

Митька скакал позади Кондрата и бурчал:

— Ишь ты, сволочью я стал. Погоди, атаман, ты еще Митьку узнаешь, какой он.

ГЛАВА X

Трудную задачу взял на себя поручик Александр Матвеев. Он служил при губернаторе Иване Андреевиче Толстом офицером особых поручений. С солдатами и стрельцами был плохо связан. Больше знал казаков из азовского гарнизонного полка. Казаки часто с ним по разным поручениям ездили. С некоторыми из них он сошелся, двух казаков даже сумел уговорить поехать с ним в Черкасск за Галей, обещав вознаградить за это.

Все детство поручика было связано со стрельцами. Отец его, Григорий Михайлович Матвеев, был начальником одного из московских стрелецких полков.

Петр жестоко подавлял стрелецкие бунты. Он стал распускать стрелецкие полки и разбрасывал стрельцов по солдатским полкам. Это вызывало недовольство против Петра со стороны стрельцов и их начальников. Привольной, праздной жизни их подходил конец. Стрельцы становились нередко зачинщиками и участниками мятежей. Они участвовали в большом народном астраханском восстании, почти первыми начали его.

Начальник стрелецкого полка Григорий Михайлович Матвеев сочувствовал возмущению стрельцов и помогал им. Но, будучи человеком крайне осторожным и ловким, он делал все так скрытно, что никто придраться к нему не мог. И если его стрельцы и многие его товарищи из начальников при разгроме бунтов поплатились своей жизнью, то Григорий Михайлович отделался сравнительно легко — он был сослан в Астрахань начальником одного из стрелецких полков. Это еще больше озлобило Матвеева против царя Петра.

Когда астраханское восстание было подавлено, то выяснилось, что Матвеев играл видную роль в его возникновении. На этот раз ему не удалось вывернуться, и он был обезглавлен.

Зная обо всем этом, губернатор Толстой, естественно, имел основание не доверять сыну казненного стрелецкого начальника. Это недоверие усилилось еще больше после того, как поручик два раза встречался с вождем казацких повстанцев Кондратом Булавиным, причем во время первой встречи отпустил Булавина, а во время второй был сам отпущен.

Возвращаясь из Черкасска в Азов, поручик Матвеев разговорился с казаками. Оба они были голутвенные, с Хопра: один из Урюпинского городка — Затямин Александр, второй из Котовского — Бирюков Илья.

— Как же вы, казаки, служите в Азове? — спросил офицер. — Отцы-то ваши и братья, наверно, находятся у Кондрашки Булавина?

— А что нам отцы и братья? — усмехаясь, возразил Затямин. — Пойдем и супротив отцов и братьев, коль надобно. Мы ж давали присягу, крест и Евангелие целовали за царя жизнь положить.

Но по тому тону, каким были сказаны эти слова, и по хитрой, лукавой усмешке, мелькнувшей на русобородом, румяном лице казака, поручик почувствовал, что сказал он это неискренне.

— Мы — люди военные, — сказал черный, как жук, верткий казак Бирюков, — куда прикажут, туда и пойдем. Не посмотрим, отец там ай брат. Всех до единого изничтожим воров.

Поручик уже давно знал этих казаков и был уверен, что они сочувствуют Булавину. Ему хотелось поговорить с ними по душам, расположить к себе, выяснить, какими затаенными думами они живут, а если удастся, вовлечь их в заговор и при их помощи начать свою работу. Но это сделать не легко. А вдруг каким-нибудь неосторожным вопросом или поступком отпугнешь их от себя, заронишь в их сердца подозрение, заставишь замкнуться. Поговорить все же нужно сейчас, иначе упустишь удобный случай.

Когда рассвело и солнце залило радостным, трепещущим светом цветущую изумрудную степь, поручик предложил казакам:

— Давайте позавтракаем.

Они подъехали к небольшому озерцу, лежавшему на пути, пустили лошадей пастись, а сами уселись под тенью лохматой вербы.

Завтракая, путники посматривали на голубое покойное озерцо, сплошь заполненное дикой птицей.

— Вот, казаки, где охота-то добрая, — сказал поручик, доставая из сумы вяленую тарань.

— Разве ж тут охота? — с пренебрежением произнес Затямин. — Вот попал бы ты к нам, на Хопер. Вот там охота так охота! Голыми руками забирай любую птицу. Бывало, пойдешь... — начал рассказывать он.

В его словах офицер почувствовал глубокую тоску по родному краю.

— Вольготно на свежем воздухе, — сказал офицер. — Теперь бы глоточек хмельного хлебнуть.

— Сейчас принесу, — с готовностью поднялся Бирюков. — Мы, казаки, народ ведь запасливый.

Он пошел и достал из саквы деревянную баклагу.

— Пей на здоровье, господин поручик, — подал он ее офицеру.

Офицер отпил из баклаги несколько глотков фруктовой водки и передал Бирюкову. Выпили и казаки. Водка была крепкая. В голове зашумело. После бессонной ночи хотелось развалиться на душистой траве и заснуть. Но надо было спешить в Азов, чтобы до закрытия крепостных ворот проникнуть в городок.

За оживленной беседой баклага быстро пустела.

— Гутарит народ, что у Булавина дочь-то красавица,— проговорил Бирюков.

— Да ты что, ай не видал ее? — усмехнулся Затямин.

— Нет. Где ж я ее увижу?

— А с господином поручиком в саду стояла.

— Неужто она? — изумился Бирюков и посмотрел на офицера. — Неужто она, господин поручик?

Офицер вздохнул и промолчал. Когда ехали в Черкасск, он сказал им, что хочет увезти любимую девушку, но имени ее не назвал.

— Знамо, она, — хитро усмехнулся Затямин. — Я сразу догадался, что она. Как стала ясырка ей руки целовать да приговаривать: Галечка, мол, прости мою провинность... Ну, думаю, известно, кто это такая Галечка. У Булавина ведь дочь-то Галечка... Ну и любочка, прям красавица писаная, что тебе царевна заморская...

— Правда, кралечка настоящая, — восхищенно подтвердил Бирюков. — За такую можно в огонь и в воду броситься.

Офицер снова вздохнул: он уже бросился.

— Что ж ты ее, господин поручик, не взял? — спросил Бирюков. — Не захотела, что ль?

— Не захотела, — тихо и печально сказал офицер.

— Ишь ты, — сожалеюще произнес Бирюков. — Что ж она не захотела-то? Какого же ей еще искать? Ты ведь не хуже ее, из себя пригожий да ловкий. Лучше-то небось не найдет.

— А ей нечего и искать, — снова хитро усмехнулся Затямин. — У нее найденный есть.

— Кто ж? — поднял на него глаза простоватый Бирюков.

— А вот, — кивнул Затямин на офицера.

— Ты, я гляжу, Затямин, обо всем знаешь, — усмехнулся поручик.

— А мы и не токмо про это знаем, — подмигнул Затямин.

— Хитер, посмотрю я на тебя. Про что ж ты еще знаешь?

— Есть старая казачья побаска, господин поручик: винтовы-то хоть и серые на нас, да умы бархатные у нас,— проговорил Затямин. — Много мы про тебя знаем, господин поручик. И про то нам ведомо, как ты Кондрашку Булавина осенью отпустил.

— Я ж не знал, что это Кондрашка, — растерялся офицер.

— Да ты нас не бойся, — успокоил его Затямин, — мы тебя не предадим. Опасаться тебе нас нечего.

— Почему вы знаете, что то был Кондрашка?

— Да как же его не знать? Я его сразу тогда узнал. Бывал он у нас, на Хопре, видывал его.

Разговор принимал откровенный характер, водка к этому располагала.

— Мы видим каждого человека насквозь, видим, кто чем дышит. Ты хоть и из боярского рода, а наш. Ей-богу, наш!

— Как это ваш?

— За нас стоишь. А почему б тебе и не стоять за нас, раз у тебя изверги казнили отца? Да нечего тут в прятки

играть. Говорить, Ильюшка, напрямки, а? — посмотрел Затямин на своего товарища.

— Говори, — мотнул тот головой.

— Мы ж знаем, с кем ты говорил в Черкасском.

— С кем?

— Да с Кондратьем.

— Следили?

— Зачем следить? — обиделся Затямин. — Мы ж видели, как тебя Кондратий провожал.

— Ну что ж, предавайте, — сказал офицер.

— Что ж тебя предавать, — рассмеялся Затямин, — коль мы с тобой одного духу? Разве мы поехали б с тобою в Черкасск, ежели б нам там дела не было? Покуда ты там со своей голубицей ворковал, мы успели повидаться с булавинскими казаками.

— Стало быть, в одну дуду будем играть? — спросил офицер.

— Поиграем, господин поручик.

— Что ж теперь будем делать?

— А это ты нам скажи, а мы послухаем...

— Надобно возмутить азовских казаков да солдат.

Сказав это, поручик испугался. А что, если казаки выпытывали его, чтобы выдать губернатору? Оба они, видать, хитрые, особенно Затямин, — почему бы им не одурачить его и не выдать, чтобы получить от губернатора хорошее вознаграждение?

Как бы поняв его мысли, Затямин сказал:

— А ты нас, господин поручик, не опасайся. Ежели б предать тебя, так мы давно могли тебя предать... Послухай, что скажу: у нас в Азове много есть таких, кои за Кондрата стоят. Токмо не знают они, что делать: то ль к Булавину подаваться, то ли обождать. Вот мы разговоры вели с булавинскими казаками, так они велят нам ехать в Черкасск.

— Нет, незачем, — ответил офицер. — Ехать сейчас в Черкасск не надо. Мы дождемся Булавина в Азове. А пока надо подговорить поболе казаков да стрельцов на свою сторону. Как начнет Булавин штурмовать Азов, так откроем ему ворота и сдадим крепость.

— Ловко придумано! — воскликнули оба казака. — Поедем, господин поручик, дорогой обо всем дотолкуемся.

Заговор в Азове принимал широкие размеры. В него было вовлечено до пятисот казаков, солдат и стрельцов.

Руководил заговором поручик Матвеев. Но никто из заговорщиков никогда его не видел. Лишь знали, что всем делом руководит какой-то неведомый, таинственный человек, посланный самим Булавиным.

Поручик выработал подробный план, по которому каждый из заговорщиков знал свое место, знал, что ему надо делать в случае, если Булавин начнет штурмовать крепость. Все было подготовлено, и все с нетерпением ждали, когда начнется штурм. Но Булавин медлил наступать на Азов.

Однажды к поручику прибежал бледный, взволнованный Затямин.

— Пропали! — закричал он. — Пропали! Губернаторские солдаты хватают наших стрельцов, заковывают в кандалы и сажают под караул. Боимся, что стрельцы под пытками выдадут нас. Казаки собрались бежать в Черкасск. Что делать?

Известие это потрясло поручика. Все шло так гладко и хорошо — и вдруг...

— Кто-то нас выдал, — сказал взволнованно офицер.

— Нет. Не может того быть! — твердо заявил Затямин. — Ведь народ у нас надежный.

Они не знали, что сам Булавин был невольным виновником провала их заговора, открывшись Соколову.

— Затямин, — сказал поручик, — пусть казаки остануться покуда тут, а ты скачи что есть мочи к Булавину. Скажи, чтобы сейчас же приступал к Азову, пока нас всех еще не заковали в кандалы.

— А ты, господин поручик? Тебя ж тут схватят первого.

— Никто, кроме вас с Бирюковым, не знает, что я в сговоре. Пока, может, и не тронут меня. А ежели тронут, то что ж, на то воля господня, смерти я не боюсь. А отсюда мне уходить нельзя, клятву я дал встретить атамана в Азове — и клятву свою выполню.

— Ну, ежели так, то прощевай, господин поручик.

— Прощай, Затямин. — Поручик нерешительно взглянул на него.

Затямин догадливо спросил:

— Может, Гале что передать?

— Да, передай ей, что Матвеев Александр свое слово, мол, сдержит до конца своей погибели. Пусть и она свое сдержит.

ГЛАВА XI

На пытке домовитые казаки показали, что Юдушкин Ивашка говорил им в Юткином буераке о ком-то из старшин Кондрата, руководившем заговором. Но допытаться у них, кто именно из старшин участвовал в заговоре, Кондрат не мог. Пытаемые не знали их имен. Юдушкин не назвал их. Кондрат приказал во что бы то ни стало разыскать Ивашку Юдушкина, но розыски не привели ни к чему: он с Василием Фроловым бежал в Азов.

Запершись и не пуская к себе никого, даже и Ольгу, Кондрат в исступлении бегал по комнате, пытаясь разгадать, кто из его старшин оказался предателем.

Все они, старшины и полковники, у него на виду. Всех он их знает чуть ли не с детства. Кто же из них оказался клятвопреступником? Кто этот презренный человек? Кто прячет кинжал, чтобы вонзить его в спину?

Как призраки, как видения, проносятся в мыслях Кондрата все его старшины и полковники: Зерщиков, Хохлач, Беспалов, Туляй, Павлов, Соколов, Некрасов, Драный, Лоскут, Голый... Нет! Не может быть между ними предателя! Преданность Булавину они доказали своей кровью... Некрасов, Драный, Лоскут, Голый, Беспалов, Павлов дрались сейчас с царскими войсками. Они не могли участвовать в заговоре.

Наиболее близкими здесь были Зерщиков, Соколов, Хохлач, Туляй. Ни на одного из них нельзя было подумать, чтобы он был предателем.

Но кто же он? Кто змея, пригретая на груди, которая теперь пытается ужалить?

Не Зерщиков же? Смешно подумать об этом. Зерщиков все время деятельно помогал, вел с ним, Булавиным, тайную переписку, наконец он открыл ворота Черкасска. Нет, не мог быть предателем Зерщиков. И не Соколов, ведь он — побратим, он роднее брата, перед богом он клялся быть верным.

Но кто же предатель? Не Хохлач же? Не Митька Туляй? Не писарь же, наконец, или дед Остап?..

Так терзаясь уже несколько дней, Кондрат не мог найти изменника среди своих старшин и полковников.

— Ольгушка, — наконец позвал он Ольгу, весь измученный и истерзанный. — Поди сюда, голубица!

Ольга вошла в горницу и, взглянув на Кондрата, заплакала. Он за эти дни сильно изменился, побледнел, под глазами от бессонных ночей обозначились синие круги.

— Ну что ты, Ольгушка? — болезненно усмехнулся он. — О чем ты плачешь?

— Изболелась душа у меня. Все ночи я не спала, все слушала, как ты по горенке бегал. Какое у тебя горе-то, Кондратушка? Что ж мне-то не скажешь? Ведь ближе меня у тебя никого нет. Все, может, своим бабьим умом глупым посоветую что... Может, на сердце и полегчает. Скажи, Кондратушка, не таись.

— Ой, Ольгушка, — тяжко вздохнул Кондрат, — не твоего ума дело. Сам не разберусь.

Но все же он поведал ей о том, что его тревожило и мучило.

— Кондратушка, — всплеснула руками Ольга, — и от этого ты так и закручинился? Болезный ты мой, да ведь он, может, Юдушкин-то, нарочно похвалялся, чтоб побольше приманить казаков на злодейское дело.

Кондрат пристально посмотрел на Ольгу и радостно улыбнулся.

— Ольгушка, а ведь ты, должно, правду говоришь. Ведь он, Юдушкин, мог нарочно сказать про старшин, чтоб больше взманить казаков на сговор. Ведь ежели б мои старшины были в сговоре, то про них домовитые знали б, да и в Юткин они б пришли. Спасибо тебе, Ольгушка, — расцеловал он ее, — умница ты. Ишь ты, своим бабьим умом додумалась до чего! Сразу на душе легче стало.

И, совсем развеселившись, Кондрат распахнул окошце и выглянул на залитую солнцем улицу. Под окнами стояли казаки, охранявшие атаманский курень. Это Митька расставил караул. Он теперь был начальником личной охраны Булавина. Кондрат хотел крикнуть казакам, чтобы к нему позвали Митьку, но в это время на улице раздался топот быстро мчавшихся коней.

Подымая клубы жаркой пыли, к атаманскому куреню подскакало около полсотни всадников. Запыленные и потные, они, по-видимому, проделали дальний путь. Один из них, русобородый плотный казак, соскочив с лошади, побежал к дверям атаманского куреня. Но дорогу ему преградили казаки из охраны.

— Куда прешь?

— К атаману надо, пустите.

— Не пускает никого.

— Как так не пускает? — возмутился прибывший. — У меня к нему наиспешное дело есть.

— Пустите его! — крикнул Кондрат.

Стража расступилась, и русобородый казак торопливо взбежал по ступенькам крыльца.

— Откуда прибыл? — спросил у него Кондрат, когда тот предстал перед ним. — Кто таков?

— Казак Затямин из Урюпинского городка, — сняв шапку, сказал вошедший, — а прибыл я из Азова.

— Где я тебя видел? — пристально всматриваясь в казака, силился вспомнить Кондрат.

— Доводилось встречаться.

— Ты осенью прошлого года отбивал меня от ногаев?

— Отбивал.

Кондрату вспомнился бородатый казак с хитрой, недоверчивой усмешкой слушавший его рассказ у костра о поимке Булавина.

— Скажи, Затямин, ты знал тогда, что это был не старшина Матвеев, а я?

— Знал, атаман.

— И не выдал?

— А зачем же тебя выдавать, коль ты за нас, гультяев, пошел.

— Ну, спасибо тебе, — с чувством сказал Кондрат. — А я, брат, было невзлюбил тебя тогда... С какими вестями прибыл ко мне, Затямин?

— От поручика Матвеева.

— От Матвеева? — оживился Кондрат. — Письмо, что ль, привез?

— Нет, атаман, письма не привез, — мрачно ответил Затямин. — Не было времени его писать. Торопились к тебе. Нас губернатор Толстой почти всех повязовил.

И Затямин подробно рассказал Кондрату о руководимом поручиком Матвеевым заговоре, который по доносу кого-то был раскрыт.

— Сейчас, атаман, сажают всех в кандалах под караул. Матвеев послал меня сказать тебе, чтоб ты зараз же приступал к Азову, пока еще губернатор не всех пересажал и есть кому ворота тебе открыть.

— Митька! Туляй! — закричал Кондрат.

Митька встревоженно вбежал в горницу.

— Митька! — крикнув ему Кондрат. — Объявляй по-

ход на Азов! Объявляй! Зови ко мне всех старшин и полковников. — Митька и Затямин вышли из горницы.

Кондрат, не мешкая, и сам стал готовиться к походу в Азов. Он решил самолично возглавить войска.

Узнав об этом, в горницу вихрем ворвалась Ольга.

Бледная, трепещущая от волнения и гнева, она кинулась к своему возлюбленному, обвила его шею руками.

— Соколик мой ясный, не пущу, не пущу я тебя! Вещует мое сердушко, что ежели пойдешь ты в поход — быть беде. Не вернешься. Сложишь ты там свою головушку. Не ходи, соколик, не ходи!..

— Да что ты, Ольга, ай очумела? — возмутился Кондрат, отталкивая ее. — Не дури! Как же я не пойду? Как не пойду в великий мой поход? Атаман я ай нет?

— Ничего, мой голубь. Есть кому итти и без тебя. Побудь дома. Ох, чует мое сердце — быть страшной беде... Не пущу я тебя, Кондратушка, не пущу!

Она повисла на нем, не отпуская от себя.

— Да пусти ж ты, баба! — озлобленно закричал Кондрат. — Пусти, сейчас полковники придут.

— Не пущу, не пущу, родимый!

— Пусти! — уже гневно кричал Кондрат, колотя ее кулаками по цепким рукам.

— Бей, родной, все равно не пущу, — рыдала Ольга.

Кондрат, взглянув на дверь, увидел на пороге усмехающегося Илью Зерщикова. Он покраснел от стыда.

— Погодь, Ольга, человек пришел, надо погутарить.

Ольга отпустила его.

— Проходи, Илья, — сказал Кондрат. — Вот скажи,— смущенно усмехаясь, как бы оправдываясь, проговорил он. — С бабой свяжешься, сам бабой станешь.

— Ну, уж и бабой, — засмеялся Зерщиков, проходя в горницу, — тож скажешь. Ты, Кондратий Афанасьевич, послухайся бабы-то. Она дело говорит. Чего тебе самому-то идти под Азов? Ты наш войсковой атаман, тебе надобно сидеть тут, в Черкасском, да всем распоряжаться. Одними своими руками всего не сделаешь. Ведь ежели ты везде сам будешь бросаться, так тебя ненадолго хватит. Почему ты сам должен войско вести под Азов? Что, у тебя нет помощников, что ль, походных атаманов? Среди нас, казаков, еще полковники не перевелись. Хоть я поведу войско...

Слова Зерщикова показались Булавину убедительными. В самом деле, почему он, Кондрат Булавин, должен сам

вести войско под Азов? Или мало у него полковников, храбрых, достойных, опытных в военном деле людей? Он, Булавин, атаман всего войска Донского, у него не только это дело, но много и других забот.

— Правду говоришь, Илья, — сказал он, подумав. — Но пойду я сам под Азов, назначу походных атаманов. Но и тебе, Илья, не след туда идти. Ты мне будешь нужен тут... Ну, уже, Ольгушка, — мягко улыбнулся он ей, — не реви. Видно, твоя слеза до бога дошла. Останусь я в Черкасском. Ступай в светелку, а то сюда зараз полковники придут.

Ольга, отирая слезы, счастливая тем, что настояла на своем, благодарно взглянула на Зерщикова и вышла.

Вскоре горница заполнилась полковниками и войсковыми старшинами. Пришли Хохлач с Митькой, есаулы Соколов и Степан Ананьин, поп Питирим с писарем Титом, рыковский казак Карп Казанкин, куренной атаман запорожского отряда Марк Подопрыбока. Важно, один за другим, вошли начальник калмыцких конников — толстый скуластый мурза Яман Ороптан и татарин в пестром шелковом халате Такан Хасан, приведший в ряды повстанцев отборный двухтысячный отряд. Последними вошли дюжий и широкий в плечах, с ярко-рыжей бородой, походный атаман отряда казаков-раскольников Антон Шарапов со своим молодым чернобородым есаулом Васькой Прокудиным.

— Все собрались, атаманы-молодцы? — обвел взглядом горницу Кондрат.

— Будто все, — ответил Зерщиков. — Василия Позднеева нет. Да его дома нет.

— Послухайте меня, атаманы-молодцы, — встал и торжественно начал говорить Кондрат. — Долго мы с вами собирались идти на приступ Азова, да все была неуправка. То сено казаки косили, то казаков с речек поджидали. А теперь со всеми делами управились: сено покосили и казаков дождались. Собралось у нас теперь войско немалое. Пришел час выступать в поход. Пришла пора, атаманы-молодцы, свою молодеческую удаль показать. Пора идти каторжников да работных людишек в Азове освобождать, чтобы войском пополниться да в великий поход на кременную Москву идти. Сам я вас, браты, тогда поведу. А сейчас идите на Азов... Походным атаманом конного войска назначаю я, браты, Карпа Казанкина, — взглянул он на высокого смуглолицего, красивого рыковского казака. — Как ты, Карп, не супротив этого?

Смуглые щеки Казанкина порозовели от волнения. Назначение было почетное.

— А что ж мне супротивничать? — ответил он скромно. — Раз на то воля войскового атамана, значит, послужу, как сумею.

— А вы, атаманы-молодцы, — оглянул Булавин старшин и полковников, — не против того, чтоб Казанкин был походным атаманом конного войска?

— В добрый час! — воскликнул Зерщиков. — Лихой рубака!

— В добрый час! — подтвердили и остальные.

— А все пешие гультяи и работные люди пойдут водой на стругах. Быть над ними атаманом Лукьяну Хохлачу. Не против того, атаманы-молодцы?

— В добрый час! — согласились старшины и полковники.

— Ну, ежели так, то помолимся, — сказал Кондрат, вставая. — А завтра чуть свет трогаться в поход.

Поп Питирим вышел к переднему углу под образа. Широко осеняя себя крестным знамением, он загудел нараспев:

— Во имя отца и сына...

Старшины и полковники, крестясь и взглядывая на иконы, шептали молитвы и дарования победы. Калмыцкий и татарский мурзы хотя и не принимали участия в общей молитве, но стояли благоговейно, вслушиваясь в рокочущий бас попа.

— Ну, а теперь, атаманы-молодцы, — сказал Кондрат, когда поп закончил молитвы, — погладим путь-дорожку, выпьем прощальный ковш, чтоб дорожка была гладкая да ровная. Зейнаб! — позвал он старую ясырку. — Накрывай стол, давай меду, вина.

Выпив на дорогу, как полагалось по обычаю, прощальный ковш хмельного, полковники разошлись по своим отрядам предупредить казаков, чтоб готовились назавтра к походу.

ГЛАВА XII

На многие версты растянулись по голубой, ослепительно сверкающей под лучами солнца реке струги, плоты и лодки, доверху нагруженные вооруженными людьми, припасами, пушками, харчами.

Шум и гром висят над водой. Гультяи, мерно ударяя веслами, поют медлительные, как течение реки, песни.

Собирались мы, ребятушки, во единый круг,
Запевали мы, ребятушки, песню новую,
Песню новую, вот веселую...

На переднем струге, где сидит белоголовый, чубатый Лукьян Хохлач, лихо гремят литавры, гудят бубны. На ветру в воздухе, как пламя, полощутся кумачовые хоругви, сверкая позолоченными древками; развеваются белые хвосты бунчуков.

А берегом, едва видно в высокой траве, идут колонна за колонной конные отряды. И там тоже шум и гром от песен, литавр и бубен.

...В дрожании мглистого марева все яснее выступают угрюмые очертания азовской крепости. И чем ближе подходят струги и конные полки к Азову, тем задорнее и громче раздаются песни и звон тарелок, как будто не на бой смертный шли булавинские полки, а на пир веселый.

Вот уже совсем близко перед взором развернулся во всю свою грозную мощь Азов. Хмуро смотрел он на приближающихся незваных гостей своими бойницами в зубчатых каменных стенах и укрепленных каланчах. Угрожающе торчали, пронизывая низкое южное небо, тонкие спицы минаретов. Над главной башней, у ворот, гордо реял в воздухе русский флаг с московским гербом — Георгием Победоносцем, поражающим копьем змия.

Не доходя версты три до крепости, Хохлач велел причалить струги к берегу. Он решил дать отдых гультяям, чтоб завтра с утра начать штурм крепости.

Расположившись на берегу в сочной траве, булавинцы зажгли костры, поставили на таганы варить похлебку. Недалеко расположились конные полки. К Хохлачу пришел Кари Казанкин.

— Как, Хохлач, будем приступать? — спросил он.

— Пойдем, обсоветуем, — предложил Хохлач и повел Казанкина на высокий холм, откуда хорошо была видна вся местность вокруг Азова.

— Вон, глянь, — указал Хохлач на тесно прижавшиеся к крепостной стене беленькие домики Плотницкой и Матросской слободок. — Завтра с утра я войду в эти слободки,

а оттуда начну приступать к Азову. А ты, Карп, веди своих казаков к Петровскому раскату: там, говорил атаман, азовские заговорщики откроют тебе ворота.

— Откроют ли?.. Еще неведомо, как у них дело обернется, — заметил Казанкин и призадумался.

Он стал молча осматривать местность.

— Нет, так нельзя, — возразил Казанкин. — Пойдем все вместе... и мои и твои казаки к Деловому двору. Вон, глянь, — указал он плетью на большое здание у пристани, пылавшее в лучах заходящего солнца красной черепицей, — видишь, там лесные припасы навалены? Вот за тем лесом нам неплохо будет от азовских пушек да пищалей укрыться.

— Нет, — упрямо сказал Хохлач, — я с своим войском пойду на слободки. Там плотники, матросы да работные и всякие гулящие люди к нам на помощь придут...

— А я говорю тебе, что так нельзя делать, — раздраженно убеждал Казанкин. — Там место открытое, много людей зря загубишь. Надо под прикрытием на приступ идти, чтоб людей уберечь.

— Пойду на слободки, — хмуро буркнул Лукьян. — Ты мне не указ.

— Лупька! — гневно вскричал Казанкин, хлопая себя по голенищу сапога плетью. — Я, как походный атаман конного войска, приказываю тебе слушаться меня.

— Фью! — насмешливо свистнул Хохлач. — Приказывает он мне... Птица какая! Я такой же атаман над моими людьми, как и ты над своими.

На смуглых щеках Казанкина заиграл злой румянец. В глазах вспыхнули острые искры.

— Гультяйская морда! — скрипнул он зубами. — Я тебя заставлю меня слушаться!

— А ты не ляскай попусту языком-то, а то я тебе по твоей домовитой башке вот этим стукну, — показал кулак Хохлач.

— Ты... меня? — непельно посерев, прохрипел Казанкин и молниеносно сверкнул саблей, выхватив ее из ножен. — Зар-рублю, чигоман!

Хохлач отпрянул от взбесившегося Казанкина и, выхватив из-за пояса пистоль, потряс им.

— А ну, налетай!

Они с минуту стояли друг против друга, вздрагивая от ярости и пронзая один другого горящими ненавистью

взглядами. Потом Казанкин, зло плюнув, бросил саблю в ножны. Резко крутнувшись, процедил сквозь зубы:

— Ладно, я ужо тебе, гультяю, припомню! — и быстро зашагал с холма.

— Вот как начнем с домовитыми расправляться, — кричал ему вслед Хохлач, — я тебе первому башку-то срубаю!

Вечерело. Лучи заходящего солнца вяло шарили по старой крепости, ослепительным блеском зажигая слюду на оконцах мечетей. Огромные длинные тени ползли от городских стен и башен. Поникший флаг на шесте казался кровавым пятном на фоне темнеющего неба. Чуя битву, на небе бесшумными тенями скользили орлы, вороны и ястребы.

Хохлач стоял на холме, пристально вглядываясь в таинственно примолкший город. Он видел, как на стенах его, сверкая оружием на заходящем солнце, толпились молчаливые вражеские бойцы.

С луга, где расположились конные полки Казанкина, доносилась грустная тягучая песня. Хохлач сел и, по-прежнему всматриваясь в вечерний город, прислушался. Пели запорожцы.

Сильный высокий голос под звон кобзы * печально выводил:

Як из земли турецкои,
Да з виры басурманськои,
Из города, из Азова, з тяжкой неволи
Три братика втикали...

Звон кобзы становился все тише и тише, пока совсем не затихал, потом вдруг с новой силой доносилось до Хохлача нежное рыдание. И десяток мужских голосов подхватывал плач кобзы:

Два конных, третий пишеныця,
Як бы той чужий чужениця,
За конными бижить-нидбигае,
На сыре кориння, на быле каминня
Ножки свои козацки посикае,
Кров'ю слиды заливае...

Хохлач думал о том, что напрасно он поссорился с Казанкиным. Завтра предстоит кровавая битва, она требует согласованных действий обоих атаманов. Если каждый будет делать по-своему, то из штурма может ничего не получиться. Хохлач решил помириться с Казанкиным. Он пос-

лал своего есаула к нему сказать, что за давешнюю ссору просит прощения и приглашает его прийти к нему для беседы о завтрашнем штурме. Есаул скоро вернулся.

— Он, батько атаман, ответа не дал. Послал тебя...

— Ну и черт с ним! — выругался Хохлач.

И снова стал смотреть на город, теперь уже густо окутанный ночной тьмой. Ни одного огонька не блеснет в нем, ни единого звука не доносится оттуда, как будто там все вымерло. Но Хохлач знал, что в городе не спали и лихорадочно готовились к защите.

Он забылся в чутком сне. Его разбудил гром литавр в лагере Казанкина. Хохлач поднял голову и увидал сквозь мглистый рассвет утра неясные колонны всадников, готовых к выступлению.

«Запоздали мы», — тревожно подумал он и вскочил.

— Подымайся! — закричал Хохлач с холма. — Садись на струги!

Люди, вскакивая и хватая оружие, торопливо бежали к стругам и занимали свои места.

Хохлач флот свой повел к слободкам, как он и говорил Казанкину.

— Гони вовсю! — кричал он, стоя на носу переднего струга. — Гони!

Гребцы с силой налегали на весла. Струги, как стрелы, пущенные из лука, легко и быстро скользили по розовой от восходящего солнца реке.

— Наддай! Наддай! — хрипло приказывал Хохлач.

Голос его рокотал эхом по курящейся голубым паром воде.

На высоких крепостных башнях, словно грозные стражи стоявших по обоим берегам Дона и охранявших проход к реке, вспыхнули облачка дыма, гулко прогрохотали залпы из пушек. У борта струга, на котором был Хохлач, всплеснулись столбы воды.

— Наддай! — дико взвизгнул он. — Гони!

Все чаще и чаще вспыхивали дымки на крепостных башнях, ядра тяжело шлепались у бортов стремительно несущихся стругов, точно дождем окатывая булавшихся брызгами.

На струге, следовавшем за первым, на котором стоял Хохлач, раздались крики о помощи. Он оглянулся. Ядро попало в судно, и оно тонуло. Вокруг барахтались в воде люди.

— Гони! — кричал Хохлач. — Гони, не останавливайся! Задние подберут.

С разгону струги врезались в берег. Булавинцы стремительно высыпали из них и, не останавливаясь, побежали к слободкам. С крепостных стен открыли ураганный огонь из пушек и пищалей. Ядра взрывались среди сгрудившихся людей, гультяи падали сраженные. Всюду слышались крики и стоны раненых, искалеченных.

Добежав до небольшого оврага, булавинцы залегли в нем. Дальше бежать под убийственным огнем крепостных пушек было невозможно. Хохлач с огорчением подумал, что Казанкин, видимо, был прав — штурм надо было начинать за штабелями леса, наваленными на берегу для постройки кораблей. Он посмотрел туда. В какой-нибудь полуверсте от него, за этими штабелями, маячили всадники Казанкина, видимо, недосягаемые для огня крепостных пушек. Хохлач вздохнул, горько раскаиваясь в своей ошибке...

Он велел установить пушки и палить из них по крепости. Подбежав к одной, он отстранил пушкаря и, наведя орудие, зажег фитиль. Пушка громыхнула. Хохлач проследил за полетом ядра и усмехнулся. У главных ворот флаг с московским гербом, как подстреленная птица, затрепыхав, упал с верхушкой перешибленного шеста. Считая это хорошим предзнаменованием, булавинцы воодушевленно закричали:

— Атаман, веди нас на приступ! Веди!..

— С богом, браты! Ура! — выхватив саблю, крикнул Хохлач. И, опьяненный азартом битвы, бросился вперед.

— Ура-а! — подхватили гультяи и бурлаки, побежав за ним.

Хохлач во что бы то ни стало намеревался пробраться в слободки, а оттуда уже наступать на Петровский раскат, где, как он надеялся, заговорщики должны открыть городские ворота. Со стен крепости с возрастающей силой, в вое и грохоте, градом сыпались на наступающих ядра. Из пушек били сразу с Алексеевского и Сергеевского раскатов. Загрохотали пушки и с морских кораблей, стоявших на рейде.

Хохлач с своими гультяями был почти у цели, когда заметил, что крепостные ворота у главной башни широко распахнулись. Он радостно вскрикнул, думая, что их открыли заговорщики, чтобы впустить булавинцев. Он уже

хотел отдать команду, чтобы устремиться туда, как понял, что ошибся.

Из крепостных ворот хлынул поток всадников. Конница рассыпалась в широкую лаву и, размахивая сверкающими саблями, стремительно понеслась на гультяев.

— Не робей, браты, не робей! — вопил Хохлач, бегая среди своих казаков. — Вперед!.. Вперед!..

Булавинцы, выставив рогатины и вилы, ожесточенно ринулись навстречу несшейся на них лаве конников.

— Бей! Круши, браты! — озверело ревел Хохлач, несясь впереди гультяев.

«Сейчас самый раз бы броситься в бой Казанкину со своими конными полками», — подумал он и оглянулся на штабеля леса. Сердце его радостно дрогнуло. Оттуда, также сверкая саблями, с криками мчались всадники.

«Слава богу, — подумал снова Хохлач, — Казанкин, видать, уж не такой плохой казак, как мне казалось». И, обернувшись к своим гультяям, обрадованно закричал:

— Браты, наши скачут на помощь!.. Скачут!.. Ура-а!..

По полю из конца в конец ликующе разнеслось:

— Ура-а!

Гультяи, бурлаки и работные люди ринулись вперед с удвоенной стремительностью.

Хохлач заметил, как из крепостных ворот с треском барабанов выходили колонны солдат.

«Ничего, — утешал он себя, — со всеми справимся».

С гиканьем и свистом обрушилась конная лава азовских и черкасских домовитых казаков на булавинцев. Зазвенели остро отточенные сабли домовитых о рогатины и вилы гультяев. С храпом взвивались на дыбы опалевшие от испуга лошади, сбрасывая седоков. Люди с предсмертными криками, пронзенные рогатинами, валились на землю...

Лунька Хохлач, подобрав у убитого гультяя рогатину, яростно метался по полю битвы, пронзая врагов. Сабли домовитых не раз опускались над его головой, но он ловко отбивался рогатиной и прикалывал врагов.

Напор домовитых был ожесточенный. Лунька чувствовал, что долго такого кровопролитного боя его гультяи не выдержат. Преимущество явно было на стороне азовцев. Но вот с сокрушающей силой на азовцев налетели полки Казанкина и опрокинули, смяли их. Вражеская конница отхлынула, однако тотчас же снова, поддержанная подоспевшими солдатами, с яростью ринулась на булавинцев.

Завязалась упорная битва. Три часа она продолжалась с переменным успехом. Успех стал явно клониться на сторону булавинцев. Тогда губернатор Толстой выслал из крепости последние свои силы. Из ворот крепости выскочили стрельцы в своих цветных кафтанах и бегом бросились на место битвы.

Почувствовав поддержку, азовцы с новой силой врезались в ряды булавинцев. На этот раз булавинцы не выдержали и побежали.

— Стой, дьяволы!.. Стой! — осипшим голосом кричал Хохлач. — Стой!

Но теперь уже ничто не могло задержать бегущих в панике булавинцев. Сломя голову они неслись, сами не зная куда. Сзади их, как коршуны, воя и крича, клевали саблями и дротиками азовские казаки.

Хохлач, убедившись, что теперь все пропало и он не в силах удержать эту обезумевшую от ужаса толпу, побежал к стругу, поровя сесть в него и оттолкнуться от берега.

— Эй, чигоман! — услышал он чей-то озлобленный крик.

Лукьян оглянулся. К нему мчался на своем уставшем, потном коне разъяренный Карп Казанкин. Он налетел на него, чуть не сбив с ног.

— Сволочь! — заскрежетал зубами Казанкин. — Не я ль тебе говорил, что надобно с лесных припасов приступать. Не послухался меня, дьявольский гультяй! Что наделал, гляди! — махнул он саблей на рассыпавшихся по полю, бегущих булавинцев, на которых, как хищные птицы, налетали азовские и черкасские домовитые казаки.

Хохлач молчал, он ничего не мог сказать в свое оправдание, так как чувствовал правоту Казанкина.

— Молись богу, так твою!.. — гаркнул Казанкин, с силой взмахнув саблей.

— Карпушка, что ты? — с ужасом взглянул на него Хохлач.

Сабля со свистом опустилась на его голову. Лукьян вскрикнул и повалился на траву, заливая ее кровью.

Губернатор азовский, Иван Андреевич Толстой, в этот день написал донесение царю Петру.

«Великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу холоп твои Иван Толстой со товарищи челом

бьют. В нынешнем, 1708 году июля в 5-й день подошло к Азову многолюдное воровское собрание... И сего ж июля в 6-м числе, в первом часу дни, те воры, ополчась воинским поведением от реки Калančи, конницей и пехотой шли с великой наглостью к Азову и к Петровскому и, пришед к Дону, засели в лесные припасы близ Делового двора и хотели перебраться в Матросскую и Плотничную слободы, а не тех мест итить на приступ к Петровскому. И был послан из Азова конной службы полковник Николай Васильев с казаками да с ним же посланы были из Черкасского казаки. И с теми ворами против Делового двора учинили бой и за многолюдством того воровского собрания одною конницей из тех мест выбить было их, воров, невозможно, для того воровской их пехоты было многое число. И той конице в помощь было послано, государь, четыре роты солдатских. И те солдаты, сообщаясь с конницей, из тех воров наступили мужественно и учинили бой, на котором три часа стрельба была непрестанно с обеих сторон. И во время того боя из Азова, с Алексеевского раскату и из Петровского, и из Сергеева, и от Морского флота с кораблей по тем воровским людям была непрестанно пушечная стрельба... И помощью бога на том бою тех воров побито многое число и прогнали их, воров... И те, государь, воры, видя свою гибель, побежали наутек, и потонуло их многое число. И от того их воровского собрания в приходе к Азову было числом 5000 человек. И из того числа побито их воров 423, потонуло с 400 человек и больше, в полон взято 60 человек. Да на том бою взято знамя, ружья и лошадей побрали немалое число».

ГЛАВА XIII

Проводив войска на штурм Азова, Кондрат не сомневался в успехе. Сейчас, как никогда, складывалось все по-хорошему. Семен Драный успешно продвигался к Тору и Изюму, Некрасов с Павловым одерживали победы на Волге. Неплохо шло дело и у Голого с Беспаловым. Теперь одержать бы победу над Азовом, и тогда можно было начинать задуманный Кондратом большой поход на Москву.

Утром 6 июля Кондрат встал в особенно хорошем настроении. Сидя за завтраком с Ольгой и Галей, он посмеивался.

— Ну, донька, — говорил он дочери, — надобно тебе готовиться к свадьбе. Офицер-то твой небось уже сдал Азов нашим казакам. Будь, донька, готова: как Азов заберут, так сейчас же поедем туда, захватим с собой попа Питирима, повенчаем вас.

— Ну что ж, батя, — вздохнула девушка. — Раз уж обещала я за него выйти — стало быть, пойду. Знать, такая судьба. Изменять своему слову не буду.

С улицы донеслись крики.

— Пустите! Мне к атаману надобно! — кричал чей-то взволнованный голос.

В ответ заглушенно гудели голоса казаков из охраны. Видимо, кто-то пытался проникнуть к Булавину, но его не пускали.

Вошел Митька.

— Атаман, там к тебе какой-то казак просится, говорит, что он сын Семки Драного.

— Пусть войдет, — сказал Кондрат.

Митька вышел, и сейчас же в комнату ворвался бледный, взъерошенный, весь запыленный молодой парень, сын Драного — Мишка.

— Атаман! — крикнул он. — Отца убили под Тором.

— Что? — выскочил из-за стола Кондрат. — Ты не пьян, Мишка?

— Не пьян я, — всхлипнул парень, отирая грязным кулаком глаза. — Отца, говорю, убили.

— Когда его убили?

— Первого числа, атаман... у рощи Кривая Лука... Все наше войско разгромили... коих казаков побили, коих в полон забрали, а остальные разбежались.

Весть была неожиданная, страшная. Семен Драный хотя сам был из домовитых, старожилых казаков, но честно служил делу гультяев и был преданным товарищем. На него Кондрат возлагал большие надежды. Драный пользовался среди казаков огромной популярностью, пожалуй не меньшей, чем сам Булавин. О нем с уважением отзывались даже домовитые. Он обладал необычайной храбростью, имел ясный ум. У него было самое отборное войско. И теперь не стало ни этого лучшего булавинского полковника, ни его войска. Потеря огромная и тяжелая.

Кондрат сидел несколько минут подавленный, растерянный.

— Кто ж, Миша, разбил отца? — спросил он, удручённо взглянув на парня.

— Шидловский с полковником Кропотовым.

— Опять Шидловский? — гневно воскликнул Кондрат. — Всю жизнь он мне покою не дает! Доберусь я до него! Вот те господь, доберусь!

Положение осложнялось. Теперь, с разгромом войск Драного, вся западная сторона Донщины была открыта для наступления правительственных войск. И, по-видимому, наступление это пойдет очень быстро, так как сдерживать его теперь некому. Через несколько дней правительственные войска могут появиться под Черкасском. Нужно что-то немедленно предпринять. Но ведь все войска посланы под Азов. Теперь, как только они заберут крепость, нужно будет немедленно отозвать их оттуда и послать на заслон Черкасска.

И Кондрату только сейчас неожиданно пришла мысль: «А что, если войска под Азовом постигнет неудача? Что тогда?.. Тогда гибель! Неминуемая гибель!..»

Мысль эта так поразила Кондрата, что он долго сидел за столом недвижимо, закрыв лицо руками.

— Нет!.. Не может быть!.. — Он порывисто вскочил и ринулся из горницы.

— Митька! Зови ко мне всех старшин!

И снова у Кондрата собрались Зерщиков, Позднеев, Соколов, Ананьин, писарь Тит, поп Питирим. Пришли на этот раз и дед Остап с Мишкой Сазоновым.

— Слыхали, браты? — обвел их тяжелым взглядом Кондрат.

— Что, Кондратий Афанасьевич? — дрогнувшим голосом спросил Зерщиков, предчувствуя, что Булавин скажет что-то ужасное.

— Семена Драного убили, а войско его разгромили.

Зерщиков переглянулся с Соколовым. Остальные молчали, подавленные страшной вестью.

— Про Азов-то что-нибудь слыхать? — беспокойно спросил Зерщиков.

— Покуда ничего не слыхать, — ответил Кондрат. — Как, все едино, сгинули. Я послал в Азов гонцов узнать, что там деется. Я, атаманы-молодцы, так разумею: как только наши заберут Азов, так в сей же час пополнимся войском: там работных людишек да каторжных тысяч двадцать будет. Это ж войско, эхма! Сей же час это войско

пошлю на заслон под Тор да Маяк... Погонят они этого дьявола Шидловского, погонят...

— А ежели Азова не возьмут? — испытующе посмотрел на него Зерщиков.

— Как так не возьмут? — вспылил Кондрат. — Возьмут! А ежели... — запнулся он, — ежели, к тому, не возьмут, то... — И решительно докончил: — Уйдем в Запорожье ай на Кубань. Там у меня есть друзяки... А тогда еще посмотрим. Как думаете, атаманы-молодцы?

— Везде за тобой, атаман! — воскликнул Митька Туляй.

— Куда ты, милостивец, — вздохнул писарь, — туда и мы.

— Куда пастырь, — прогудел поп, — туда и агнцы.

— О чем толковать! — вильнул глазами Зерщиков. Но думал он о другом.

— Митька, — сказал Кондрат Туляю, — на всякий случай, чтоб у тебя лошади были наготове для всех.

От Булавина Зерщиков вышел вместе с Соколовым, Позднеевым и Ананьиным. Долго они шли молча, каждый думал о своем.

— Куда мы поедем? — как бы сам с собой размышляя, проговорил Зерщиков. — Что нас там, в Запорожье, ждут, что ль? Предадут нас запорожцы. Истинный господь, предадут. Голова кругом пошла, не ведаю, что делать.

— Ты, Илья, все ж поезжай. Вольготное дело, — насмешливо взглянул на него Соколов и серьезно спросил: — Уж не думаешь ли ты в самом деле ехать?

— А ты? — остро, испытующе взглянул на него Зерщиков.

Соколов отвел в сторону глаза, тихо сказал:

— Пока не думаю... Пропащее это дело. — И пробурчал: — Ежели Азова не заберем, должно, повиниться надобно.

Сказал и сам ужаснулся своим словам. А вдруг Зерщиков схватит за горло да заголосит: «Вот он, предатель, хватай его!» Но ни Зерщиков, ни Ананьин, ни Позднеев не возразили ни слова. Видимо, Соколов сказал то, о чем думали и они. И он уже смелее заговорил.

— Видать, подходит гибель. Драного разбили. На Волге гультяев тоже, слыхать, бьют. Азова нам не взять. Что ж остается делать?.. В Ногайскую орду, что ль, скакать? Да пропади она пропадом! Что там, мед будет? За-

порожцы нас к себе не пустят... А голову-то, братцы, жалко на плаху класть. Будь он трижды проклят, этот Кондрашка! — выкрикнул он озлобленно. — Мне ведь жизнь еще не надоела!

— Азов покажет, что надобно делать, — хмуро буркнул Зерщиков.

— Нет, браты, зарал надобно подумать, — совсем осмелел Соколов. — Тогда будет поздно. Погодите!

Он остановился и задержал своих спутников.

— Сейчас нечего о том толковать, — сказал Василий Позднеев. — Илья правильно сказал: Азов покажет, что делать.

— Нет, браты, — настаивал Соколов, — тогда будет поздно. Ежели мы сейчас не сделаем дела, то нас могут, как воров, всех показнить. Ты как разумеешь, Степан? — обратился он к Ананьину.

— Да отчего ж не поговорить? — произнес тот нерешительно.

— Что ты хочешь сказать? — придвинувшись к Соколову, пристально посмотрел ему в глаза Зерщиков. — Говори.

Соколов смутился и опасливо взглянул на Зерщикова, все еще боясь его.

— Чтоб избегнуть погибели, повиниться надобно, — прошептал он. — Повинную голову меч не сечет.

— Хочешь к Толстому идти?

— Да не только... — Соколов запнулся. Он не решался досказать свою мысль.

— Кондрашку предать? — спросил Зерщиков и криво усмехнулся.

— Да не то что предать, — уклонился от прямого ответа Соколов, — а так это... не дать ему уехать отсюда...

Зерщиков зло рассмеялся.

— Здорово придумал, — и, схватив Соколова и Ананьина за руки, потащил их в пустынный закоулок.

Соколов испугался. Он подумал, что Зерщиков хочет его выдать, и решил сопротивляться. Но Зерщиков, приведя казаков в закоулок, расстегнул дрожащими руками ворот рубахи, снял с шеи нательный крест.

— Целуйте, что все промеж нас потайно будет.

Соколов перекрестился и поцеловал крест, то же сделали Ананьин и Позднеев.

— Ну, теперь, браты, можно и поговорить, — облегченно сказал Зерщиков, надевая снова крест на шею. —

Я, браты, так разумею: с Кондрашкой, видать, нам не по дороге. Все мы тут казаки домовитые, а надобно начистоту говорить. Я сперва думал, что Кондрашка, как он сам домовитый, потому за нас будет стоять... Ан дело-то по-другому обернулось, с гультяями он связался, за них да за бурлаков стоит. Какая нам от того польза? Хочет всех уравнять — и бедных и богатых. Я думал, что это он так, для приманки говорит, а он всамделе начал на их сторону гнуть... Раз такое дело, то на что он нам сдался? Я так разумею, браты: ежели с Азовом выйдет незадача, то сейчас же надобно поймать Кондрашку да заковать в кандалы... По правде говоря, браты, я всегда был привержен великому государю нашему Петру Алексеевичу, — начал было хитрить Зерщиков, но, вспомнив, что и Соколов и Позднеев знают, что он первый стоял за убийство князя Долгорукого, осекся, замолк, нахмурился: все равно ему не поверят.

— Да о чем толковать? — махнул рукой Соколов. — Все ж мы против вора Кондрашки были. Так что ж будем делать?

— А вот что, — оживился Зерщиков. — Как только придет весть о том, что воров под Азовом разгромили, так сейчас же со Степаном Ананьиным бегите в Рыковские станицы, кличьте казаков. Окружим со всех сторон дом Кондрашки и всех их, проклятых, тепленькими заберем. Только, ради бога, чтоб все это промеж нас было.

— А ежели воры Азов возьмут? — спросил Ананьин.

— А ежели возьмут, ну, тогда видать будет, что делать.

ГЛАВА XIV

Кондрат не спал всю ночь, его давила страшная тоска. Он предчувствовал, что наступающий день принесет много бед. Из Азова до сих пор не было вестей, посланные гонцы пропали. Что там делалось — неизвестно. Как будто многотысячное войско, пошедшее на штурм крепости, провалилось, сгинуло бесследно. Он встал с постели и, подойдя к оконцу, распахнул его. Утренний прохладный, ароматный воздух полился в горницу.

На пустынной улице четко застучали копыта мчавшейся лошади. У атаманского куреня топот оборвался. У крыльца раздались голоса. Кондрат выглянул в окно.

В утренней мгле какой-то всадник, размахивая руками, что-то взволнованно говорил караульным, требуя, по-видимому, чтобы его немедленно пропустили к атаману.

— Ты не из Азова ли послан? — спросил у него Кондрат.

Всадник подскакал к окну. От усталости он едва держался на замореной, покрытой хлопьями пены лошади. Лицо его было черно от пыли и запекшейся крови.

— Атаман, — сказал он глухо, — все пропало!.. Все!.. Разбили нас под Азовом. Луньку Хохлача убил Казанкин...

Кондрат побледнел. Все рухнуло. Теперь надо было спасать свою голову.

— Значит, разбили?

— Разбили, атаман, — горестно поник головой казак.— Весь день бились, народу уйма полегло...

— Митька! — крикнул в сильном возбуждении Кондрат. — Давай лошадей! Казаки, готовьтесь в путь!.. Галя! Ольгушка! — заметался он по дому.

Ольга, почувствовав, что случилось что-то страшное, непоправимое, вскочила с кровати, разбудила Галю и, мелко вздрагивая всем телом, торопливо стала одеваться.

Под окнами снова послышался конский топот. Митька Туляй закричал с улицы:

— Атаман, лошади готовы!

— Сейчас, — откликнулся Кондрат. — Сейчас, Митька!

Он был готов в дорогу, но терпеливо ждал, пока оденутся Ольга с Галей.

— Скорей, скорей! — торопил он их.

С улицы вдруг послышались тревожные крики Митьки:

— Атаман!.. Атаман!..

И тотчас же затрещали выстрелы. Послышался заглушенный рев толпы. Кондрат вновь выглянул в окно. По улице бежали толпы черкасских и рыковских домовитых казаков. Угрожающе крича и потрясая оружием, они запруживали улицы вокруг атаманского куреня.

Митька Туляй с сотней гультяев, среди которых были поп Питирим и писарь Тит, поблескивая обнаженными саблями, сидели на танцующих откормленных лошадях, настороженно вглядывались в подбегавшие толпы.

Кондрат понял, что путь к побегу отрезан.

— Митька, — закричал он Туляю, — бегите!.. Бегите!..

— Без тебя, атаман, не побежим, — сурово отозвался Митька. — Умрем, а не побежим.

— Беги, сатана! — гневно закричал Кондрат. — Беги, покуда еще можно пробиться.

— Браты! — гаркнул Митька своим казакам. — Кто хочет, беги. Может, пробьетесь... А я остаюсь возле атамана.

— Митька, — попробовал уговорить Кондрат упрямого Туляя. — Да беги ж ты, ради бога! Может, еще проскочишь, а то ведь погибнешь.

— Ну что ж, пожил, и хватит, — с напускной веселостью ответил Митька. — Погибну — туда и дорога. Смерть мне, атаман, не страшна. А ты, атаман, — вспомнил он, — поглядишь, сволочь и ай нет.

Сотня казаков Туляя разделилась пополам. Половина решила умереть у куреня, а другая половина во главе с попом и писарем попыталась пробиться сквозь густые толпы, заполнившие улицу.

Поп, подняв саблю, загремел:

— Браты, за мной! — и, рванувшись на своем гнедом мерине в толпу, вытаращив страшно глаза, заорал: — А ну, разойдись! Разойдись! Дай дорогу!

Гультяи ринулись вслед за ним. Навстречу посыпались выстрелы. Поп орлом налетел на толпу и сильно, наотмашь рубил саблей, расчищая дорогу. Казаки сторонились его свирепых ударов, а кто не успевал посторониться, валился рассеченный. За Питиримом следовал писарь, прижавшись к седлу; за ними пробивались гультяи, последовавшие за попом. Они ожесточенно рубились, прокладывая в толпе путь, но под ударами домовитых их становилось все меньше и меньше.

Пробившись сквозь толпу, поп воинственно гикнул и помчался к мосту. От него не отставал писарь и три гультяя, только всего и пробившиеся сквозь стену домовитых.

Лишь уйдя от опасности, выбравшись из городка, они осадили взмыленных коней.

— Так-то, друже Тит, — еле отдышавшись, басовито прогудел Питирим. — Остались мы, друже, с тобой неразлучны, сызнова вместе.

— А как же! Ну и рубились же мы с тобой, поп!.. Я, никак, десятерых порубал, — врал писарь.

— Ну, держись, Титка, держись!.. Поживем еще!

— Поживем, поп! Попьем еще хмельного!

Между тем толпы все плотнее и плотнее обступали атаманский курень. Кондрат хотел было впустить Митьку с его гультяями в курень, но сделать это было уже невозможно. На крыльцо взбежали домовитые казаки и рубили топорами обитую железом дверь.

Митька с гультяями долго под окнами куреня отстреливался от напиравшей толпы, но, видя, что им долго не устоять, вскочил на коня.

— Садись, браты, поиграем саблями!

Гультяи, вскочив на коней, рванулись вслед за Митькой на домовитых.

— Круши! — исступленно хрипел Митька, рубя саблей налево и направо.

И каждый раз, как только Митька чувствовал, что под удар его сабли кто-нибудь попадал, он злорадно кричал:

— Это тебе за Луньку!.. Это тебе за Хохлача!..

Жестоко рубились гультяи с домовитыми, дорого продавая свою жизнь. Но один за другим, сраженные меткими пулями, они валились с коней. Митька так увлекся схваткой, что даже и не заметил, как очутился вне толпы.

Он изумленно оглянулся и, не видя перед собой врагов, ударил ногами под бока лошадь, гикнул. Добрый конь рванулся с места в карьер. Вдруг Митька услышал странный свист над своей головой, потом что-то рвануло его со страшной силой с седла. Митька упал на землю. Его крепко держал аркан. Тотчас же на него с руганью навалилось несколько дюжих казаков, скрутили руки и, крепко связав, поволокли.

Кондрат сорвал со стен пистоли и ружья, разложил их у распахнутых окон. Он видел все, что делалось на улице. Видел, как пробивался сквозь толпу домовитых пеш с гультяями, и удивился его необычайной храбрости; видел, как мужественно бился Митька Туляй и свалился с лошади, схваченный арканом; видел, как все до единого пали гультяи, самоотверженно защищавшие своего атамана.

Кондрат упал на колени перед иконами и горячо зашептал:

— Господи, предаю тебе свою душу!

Приподнялся он спокойный, лишь слегка трепетали губы.

— Видно, конец, — сказал он сам себе. — Прости меня, Ольгушка, — поклонился он ей в ноги. — Прости, родимая, согрешил я перед тобою... Загубил твою жизнь...

Ольга крепко обвила его шею, зарыдала:

— Кондратушка, любимый мой, убей ты меня! Убей, не оставляй на издевку!..

В окна ворвался шум, толпа яростно ревела:

— С бабой связался!

— Выходи, вор, подобру!

— Смерть изменнику!

— Тебя, Ольгушка, может быть, не тронут, — сказал Кондрат и подошел к дочери. — Прощай, Галя, прощай, моя родимая донюшка, — со слезами на глазах проговорил он. — Прости меня, ради бога.

— Батя... батя... — только и могла вымолвить сквозь рыдания Галя, повиснув у отца на шее.

— Ничего, донюшка... ничего, я уж пожил на белом свете, а тебя не тронут... Только вот, — слабо улыбнулся Кондрат, — на свадьбе-то твоей мне не довелось гулять.

— Выходи, вор, подобру! — захлебывалась в вое толпа. — Все едино тебе смерть! Выходи добром! Вынись!

Дверь гудела под ударами топоров. Кондрат, схватив пистоль, выбежал в сени и, просунув пистоль в слуховое окошко, выстрелил. Дородный казак, с топором в руке, грохнулся и покатился по ступенькам крыльца. Толпа отхлынула. Кондрат кинул пистоль Ольге.

— Заряжайте, Ольгушка, Галя!

Казачки, живя в постоянной опасности, не только умели заряжать ружья и пистоли, но и метко стреляли из них, часто сражаясь рядом со своими мужьями и отцами. Умела это делать и Ольга, превосходнейший охотник, и Галя.

Кондрат, схватив новый заряженный пистоль, подбежал к окну. Впереди толпы, о чем-то рассуждая и размахивая руками, стояли Зерщиков, Соколов и Ананьин.

— Предатели! — гневно крикнул Кондрат и выстрелил.

Ананьин упал, Зерщиков и Соколов отбежали. Ананьин пополз вслед за ними, оставляя на земле кровавый след.

Кондрат, схватив новый пистоль, выстрелил в Соколова.

— Это тебе, побратим!

Соколов с руганью попятился, заорал:

— Пали в него, браты!

Рой пуль с щемящим свистом влетел в окно, впиваясь в стены. От окна к окну перебегал Кондрат, стреляя из пистолей и ружей, которые заряжали и подавали ему Ольга с Галей. От его метких выстрелов уже немало домовитых корчилось в предсмертных судорогах на земле.

Как только Кондрат слышал, что с улицы начала гудеть обитая железом дверь под ударами топоров и ломов, он тотчас же выбегал в сени и стрелял через оконце в ломившихся. Казаки, топоча по ступенькам крыльца, испуганно убегали.

Долго еще мог отбиваться Кондрат, и домовитые не скоро бы взяли его. Но вдруг на улице все затихло. Кондрат понял — враги что-то задумали. Он встревоженно выглянул в окно. Казаки огромными охапками таскали сухой камыш и обкладывали им курень. Кондрат содрогнулся. Ему стало страшно — не за себя, а за Галю и Ольгу. Он решил спасти хотя бы дочь, надеясь, что, быть может, ее отыщет Матвеев и как-нибудь убережет от гибели.

— Доченька! — крикнул Кондрат Гале. — Пойди открой дверь на улицу.

— Батя! — ужаснулась Галя. — Разве ж это можно?

— Раз велю — значит можно! — сердито прикрикнул Кондрат. — Открой! Да так, чтобы они видели.

Галя покорно вышла.

— Спалить нас хотят живьем, — сказал глухо Кондрат, беря пистоль. У него сдавило горло. — Прощай!

Ольга кинулась к нему.

— Кондратушка, сначала убей меня! Ради бога, убей! От твоей руки мне сладко умереть, а то ведь они надо мною будут измываться. Убей, соколик мой ясный, — просила она. — Убей!

— А не страшно, Ольга?

— Нет, Кондратушка... от твоей руки не страшно...

— Помолись богу, Ольгушка.

Став на колени перед образами, побелевшими губами Ольга зашептала молитву. Выждав немного, Кондрат выстрелил ей в затылок. Ольга ткнулась лбом в пол, как бы делая земной поклон. По желтому выскобленному Ольгой полу поползла темная змейка крови. Кон-

драт схватил новый пистоль, только что приготовленный для него любимыми руками Ольги, печально усмехнулся: «Для меня ты, любушка, готовила эту пулю». Он приложил холодное дуло к виску и выстрелил...

Недоумевая, содрогаясь, Галя выполнила приказание отца — отперла и приоткрыла дверь.

Когда Галя вернулась в горницу, она не испугалась и даже не удивилась, увидев распростертые, обливающиеся кровью, еще вздрагивающие тела отца и Ольги. Столько было пережито в это утро, что ничто уже не могло испугать ее! Она лишь почувствовала себя сразу осиротевшей, одинокой.

Растерянно оглянув горницу, она не знала, что же ей сейчас делать. Она хотела помолиться и взглянула на образа. Лампада у икон гасла. Галя подошла и поправила ее. Лампада загорелась ярче. Какая-то мысль тревожила Галю, как будто она забыла что-то сделать. Она присела на скамью, силясь вспомнить. Под тяжелыми шагами заскрипел пол. Галя наконец вспомнила. Она схватила со стола заряженный пистоль и, как только дверь в горницу распахнулась, выстрелила. Лохматый рыжий казак ахнул и, роняя из рук пистоль, замертво свалился у порога. Девушка взяла второй пистоль и навела на дверь.

— Галюшка, — послышался из-за двери ласковый, воркующий голос Зерщикова, — положь пистоль-то, голубица, положь. Мы тебе худого не сделаем. Не тронем. Положь пистоль.

— Не тронете? — спросила Галя.

— Вот те господь, не тронем! — заверил Зерщиков. — Ты только положи пистоль на стол, чадушко.

— Ладно, — сказала Галя и покорно положила пистоль на стол.

Зерщиков не сразу решился войти в горницу. Он сначала осторожно выглянул из-за двери. Увидев распростертые на полу трупы Кондрата и Ольги, он смело шагнул через порог. Галя порывисто схватила пистоль и выстрелила в него.

— Умри же ты, собака, предатель!

Но она промахнулась, пуля пролетела над головой побелевшего Ильи. Он рванулся к Гале, но она, схватив со стола остро отточенный кинжал, с силой вонзила себе в грудь.

Кто-то шумно ворвался в горенку, и Галя услышала над собой знакомый, полный горечи и страдания голос:

— Галечка, родная, любимая!..

Галя приоткрыла глаза. Взор ее был мутен, но она узнала Матвеева.

— Прощай, Саня! — прошептала она.

— Не успел! — зарыдал поручик, склоняясь над ней.

ГЛАВА XV

В тот же день Соколов повез тело Булавина в Азов к губернатору.

Иван Андреевич Толстой долго и внимательно всматривался в смелые, решительные черты лица Кондрата.

— Знатно ты, вор, помучил нас, — сказал он, — а теперь пришел тебе час расплаты за злодейские деяния твои... Что ж ты, Тимофей, — посмотрел он с укором на Соколова, — допустил его до самоубийства? Надобно б живьем поймать его. Эх, ты!

— Все меры принимал к тому, боярин, — смущенно оправдывался Соколов. — Проклятый, не допустил нас, застрелил себя.

— Ну, спасибо тебе и на том. Жди теперь, Тимофей, награды и милости себе от великого государя, отпишу ныне ему обо всем... Михайло, — обратился Толстой к своему адъютанту, — вели-ка ты лекарю отрезать у вора Кондрашки голову, пусть хранит ее в спирте. А тело привесьте за ногу на шест у речки Каланчи. Пусть проклятого клюет воронье... А ты, Тимофей, езжай в Черкасск, скажи моим именем всем старшинам и казакам, чтобы не боялись и тихо, смирно ждали б государева указа.

...А в Черкасске в это время шумели казачьи круги: выбирали нового войскового атамана. После долгих споров, криков и драк атаманом войска был избран наконец Илья Григорьевич Зерщиков, есаулами по-прежнему остались Соколов и Ананьин.

Приехав из Азова и узнав об избрании атаманом Зерщикова, Соколов вознегодовал, считая, что по праву атаманом должен быть он.

Между ним и Зерщиковым произошла крупная ссора, закончившаяся дракой. Оба поклялись отомстить друг другу. И оба в тот же день написали царю доносы один на другого, обвиняя в сообщничестве с Булавиным.

...Майор князь Василий Долгорукий подходил со своими войсками все ближе к Черкасску. Зерщиков с приближением его испытывал тревогу, сердце у него ныло. Шел ведь в Черкасск не кто иной, как родной брат убитого князя Юрия Долгорукого. Если он дознается, что Зерщиков был вдохновителем убийства брата, то жестоко отомстит. Об этом знали Соколов да Позднеев Василий. Позднеев, положим, не выдаст, но Соколов ненадежен, особенно после ссоры. Нужно с ним помириться или... убить. Но убить не так легко. Соколов один почти никогда не бывает. Лучше помириться.

Как-то Зерщиков сказал Соколову:

— Тимоха, ты все серчаешь на меня, а? Не серчай, брат, давай помиримся. Что нам с тобой делить?

Соколов угрюмо молчал.

— Ты думаешь, я за атаманством гонюсь? — продолжал Зерщиков.— Да на дьявола оно мне сдалось! Хочу отказаться от него. Буду тебя атаманом кричать. Не серчай.

Соколов поверил и сразу же повеселел.

— Да я не серчаю, Илья, — расплылся он в улыбке. — Зря мы с тобой тогда поцапались.

Соколов знал, что Зерщиков был влиятельным человеком среди домовитых. Если поддержит, то могут и выбрать. И Соколов уже пожалел, что послал на него донос царю.

С первых же дней своего атаманства Зерщиков разослал по всему Дону увещевательные письма, предлагая казакам принести повинную правительственным войскам. Написал он письмо и гультяям на Волгу, представлявшим грозную силу, которую возглавлял Игнат Некрасов. Описав события, происшедшие в Черкасске, убеждал принести повинную и, поймав атамана Ивана Павлова, везти его в Черкасск.

В ответ Зерщиков получил от Некрасова грозное письмо:

«...И мы, собранное войско, — писал Некрасов,— и верховые казаки многих городов требуем от тебя, Илья Гри-

горьевич, учинить отповедь нам, за какую вину убили вы Булавина и стариков его. Вы же сами налюбили и выбрали его атаманом, и тех стариков вы же посадили старшинами при войске. Если вы не изволите отповеди нам учинить о Булавине, за какую вину вы его убили, а стариков, коих держите на цепях в погребах, не освободите, то мы всем войском придем к вам в Черкасск ради оговорки и подлинно розыску, за что вы без съезду рек * такое учинили».

Письмо Некрасова испугало Зерщикова. После смерти Булавина и разгрома его основных сил восстание прекратилось не сразу. Еще долго тлели отдельные очаги. Особенно бурно после гибели Булавина восстание протекало в Поволжье, куда стекались казаки, беглые крестьяне и дворовые люди, работные и солдаты, где скоплялись бурлаки и всякий гуляющий люд. На Волгу, к Некрасову, устремились остатки булавинских отрядов, разбитых под Азовом и Изюмом. На соединение с Некрасовым шли со своими отрядами Голый и Беспалов. На Волге скоплялась сила не малая. Не прекращались волнения и во многих других местах. Письмо не было пустой угрозой.

Зерщиков оказался между двух огней. С одной стороны шел брат убитого князя майор Долгорукий, с другой — угрожали повстанцы Поволжья. Если булавинцы придут в Черкасск, то, конечно, не пощадят его за предательство. Он долго раздумывал, что делать, и решил написать письмо князю Василию Долгорукому, упрашивая скорее идти со своим войском в Черкасск.

Двадцать пятого июля нарочный сообщил Илье Зерщикову, что князь Долгорукий подходит к Аксаю. Илья засуетился, готовясь к встрече грозного гостя.

На следующий день ранним утром Зерщиков, войсковые старшины и есаулы, одевшись в лучшие свои кафтаны, со знаменами и бунчуками, поехали в Аксай.

Еще издали Зерщиков и старшины увидели на лугу стройные шеренги войск. При приближении старшин затрещали барабаны, грянула музыка. У Зерщикова от умиления на глазах выступили слезы. Их встречали не как преступников, а как почетных, именитых людей. Это был хороший признак. Зерщиков и старшины приободрились.

Посреди войска, в новеньком офицерском кафтане иноземного покроя, окруженный офицерами, стоял князь Василий Владимирович Долгорукий.

Не доезжая до него сажен пятьдесят, старшины слезли с лошадей и, низко опустив войсковые знамена, со склоненными непокрытыми головами, со скорбью на лицо, пошли к нему. Приблизившись к Долгорукому, старшины бросили к его ногам все свои знамена и булчуки и повалились ниц перед ним.

Долгорукий, человек лет за сорок, высокий, красивый, с холеным, чисто выбритым лицом, загоревшимися глазами, смотрел на спины лежавших перед ним старшин. Тонкие губы его гневно задрожали, но он сдержался. Он был неглуп, понимал, что гнев его сейчас неуместен.

— Встаньте, атаманы-молодцы, — сказал он строго.— Зело велика ваша вина. Но раз вы пришли ко мне с повинной, то... повинную голову меч не сечет. Встаньте!

Лица у старшин просветлели. Они повставали, отряхивая пыль с колен. Но Зерщиков продолжал стоять на коленях. Всхлипывая, он заговорил:

— Милостивец, боярин Василий Владимирович, послушай ты нас, холопей великого государя. Велики вины наши. Приносим тебе повинную. Хочешь, князь, — казни, хочешь — милуй. Но пришли мы к тебе с повинной от чистого сердца, и просим мы у великого государя и у тебя, князь, прощения нам. Мы завсегда послушны были государю, честно ему служили... Попутал нас грех — предались мы вору Кондрашке. И не потому, князь-милостивец, что хотели того, а потому, что испугались, страх на нас напал. Как подошел тот вор Кондрашка к Черкасску, мы долгое время сидели в осаде, отбиваясь от него. А потом сил наших не стало сдерживать его осады. Сначала к нему склонились рыковские казаки, а потом уж и наши, черкасские. До поры до времени мы молчали, боялись. Вор Кондрашка многих из нас, домовитых, побил до смерти, многих угнал в ссылку, курени поразорил, а пожитки гультяям да бурлакам роздал... Невозможно нам стало жить, — заплакал Зерщиков. — Сговорились мы — Тимофей Соколов, Василий Позднеев, Степан Апанькин и все черкасские казаки — поймать вора да вашей светлости доставить. А он, вор, видя свою неминучую гибель, застрелил себя. Единомысленных с ним мы кого побили, а кого переловили да заковали в железо, под караулом держим до твоего прихода... Вот и суди нас, князь-милостивец, как хочешь. Даем тебе топор и плаху...

А ежели великий государь и ты, княже, помилуете нас, то мы, холопы великого государя, обещаем всеусердно ему, великому государю, служить и кровь свою за него с радостью проливать будем...

Долгорукий поднял Зерщикова.

— Встань, атаман, вину свою вы уже искупили верной службой великому государю. Государь наш милостив, он простит вашу вину. Я напишу государю, что усердно вы ему служите.

— Спасет тебя Христос, боярин, за такие слова! — радостно воскликнул Зерщиков и, схватив руку Долгорукого, поцеловал ее. — Отпиши, милостливый князь, отпиши... А теперь просим тебя, княже, пожаловать к нам в Черкасск хлеба-соли донской откушать. Милости просим, не гневись, — низко поклонился он.

— Милости просим, — поклонились и старшины.

— Ладно, будь по-вашему, — согласился Долгорукий. — Поедемте к вам, в Черкасск.

Он отдал команду. Войска построились в походные колонны и направились к столице донского казачества.

Долгорукий ехал впереди отряда вместе с войсковыми старшинами. Всю дорогу он милостиво разговаривал с ними. Зерщиков совсем ободрился, к нему вернулась прежняя его самоуверенность. На душе стало легко, сразу же улеглась тревога, которая камнем давила его все это время, в ожидании прихода Долгорукого.

«Пролетела гроза. Пролетела. Слава тебе, господи!» — радостно думал он. Он не знал, что в кармане майора Долгорукого лежало письмо царя Петра, в котором царь велел майору, «чтоб взял с собою Илью Зерщикова и вез его за караулом».

Долгорукий решил пока что повременить с выполнением повеления царя. Он считал, что сейчас не время арестовывать домовитых казаков. Такая мера многих толкнула бы снова в ряды повстанцев.

ЭПИЛОГ

В древней столице, белокаменной Москве, в новом городе Санкт-Петербурге, в ставке царя — Горках и повсюду на Руси служили благодарственные молебны по

случаю гибели вора, государственного преступника, злодея Кондрата Булавина. Царь, сановники его, бояре и весь чиновный люд ликовали. Войска палили из пушек и пищалей.

А по Дикому полю стлались огромные облака черного дыма, ночами небо зловеще багровело от пожарищ, кровь казацкая оросила донские привольные, ароматные степи. По казацким рекам плыли плоты с виселицами. На них покачивались на зыбкой волне повешенные булавинцы.

Тучи крылатых стервятников, охмелевших на кровавом пиру, ожесточенно дрались, кружась над плотами. Молчаливые караваны страшных плотов, сопровождаемые беснующейся хищной птицей, медленно плыли в низовья Дона, наводя повсюду страх и ужас.

То гвардии майор князь Долгорукий огнем и мечом подавлял восстание.

Все городки по Донцу, Айдару, Деркулу, обеим Калитвам, Медведице, Хопру, Бузулуку и Иловле были разорены и выжжены. Исконные казачьи земли по Донцу были причислены к Бахмутской провинции, а верховья Хопра — к Воронежской губернии.

А тот, кто уцелел от казни Долгорукого, погибал от голода и болезней в опустошенном краю, на цветущем когда-то Диком поле. Обнаглевшие дикие звери ходили по пепелищу городков, пожирая трупы казненных и умерших от голода людей...

Более семи тысяч человек было казнено в те дни. Не щадил князь ни стариков, ни женщин, ни детей.

Как ни избегал Мишка Сазонов мучительной смерти на колу, а все ж пришлось ему умереть на нем. Черкасские домовитые казаки, его приятели, выполнили свою угрозу. Сложил свою буйную голову на плахе и Митька Туляй. Он умер героем. Перед тем как положить голову на плаху, он дал оплеуху Зерщикову, руководившему казнью. Казнили в Черкасске и сына Булавина — Никиту, и брата его — Ивана, и сына Драного — Мишку... Поп Питирим, забулдыга писарь Тит и старый разинец Иванка Лоскут бежали. Жену Кондрата Наталью долго томили в тюрьме, бесконечно допрашивали, пытали. Где и когда погибла эта мученица, осталось неизвестным.

Уныло тянулись дни в Черкасске весною тысяча семьсот девятого года. Одна лишь природа жила своей обычной жизнью. Как всегда весной, бурно цвела на Диком поле степь. Солнце жарко пылало, голубые дни были ярки и прозрачны. Высоко поднялась сочная трава, отливая изумрудом. Разноцветными огоньками горели степные цветы. Веселый мир беззаботно и беспечно звенел и щебетал на разные голоса...

Но уныло встречали ту весну в Черкасске. Не пели там разбойных песен молодые казаки, не водили хороводов девушки, не пили бражный мед старики в беседушках, не вспоминали прошлые удалые походы свои.

Голод и мор проникли в веселый, разгульный городок Черкасск. Каждый день тоскливо гудели в похоронном перезвоне церковные колокола, каждый день таскали домовитых, гордых и кичливых черкасских казаков на погосты. А те, кто уцелел еще от цепкой хватки смерти, сидели в своих куренях и ждали с тревогой — минует их кара божья или нет.

И вдруг по городку разнеслась весть: сам великий государь Петр Алексеевич плывет на кораблях к Черкасску.

Заволновались старшины войсковые, забеспокоился атаман Илья Григорьевич Зерщиков. Заныло, защемило сердце у атамана. Милостив ли будет государь, пронесется ли на этот раз гроза над атамановой головой?

Двенадцатого апреля на городской стружемент вышла жидкая толпа домовитых казаков. Парчовые и бархатные кафтаны на их истощенных телах свисают нескладно, нечищенное оружие тускло. Лица бледны, глаза окружены синевой. Знать, не сладко пришлось пережить домовитым эту зиму. Царь жалованья в этом году не давал; купцы боялись везти в Черкасск хлеб, а все запасы были поедены булавинской голытьбой. Впереди долговязый атаман Зерщиков с булавой в руках и старшины с войсковыми знаменами и бунчуками.

Снова из-за лесистого мыса вынырнул корабль. На этот раз вслед за ним плыли корабли с войсками.

На колокольнях тоскливо звякнули колокола. Со стен городка прогрохотал залп десятка уцелевших пушек. На берегу толпа слабо отозвалась:

— Ура-а!

С кораблей на приветствия не ответили.

На корме переднего корабля стоял высокий человек.

— Он... он... — тревожно пробежало из уст в уста по берегу.

Корабль все с той же страшной нептуньей мордой на носу ткнулся о берег. Матросы засуетились, сбрасывая сходни на пристань.

Высокий человек, в больших походных сапогах с огромными звенящими шпорами, в зеленом коротком кафтане с серебряными галунами и в черной, надвинутой на глаза треуголке, быстрыми, твердыми шагами сошел на берег и суровым взглядом обвел старшин.

— Ура-а!.. Ура-а!.. — закричали с дрожью в голосе старшины, цепенея от его тяжелого, не предвещавшего ничего доброго взгляда.

Атаман Зерщиков метнулся к высокому человеку, бросил наземь булаву, кинулся в ноги.

— Великий государь... — начал было он.

Лицо царя Петра передернулось. Он отвернулся.

— Заковать в кандалы, — коротко бросил Петр.

Зерщиков поднял мертвенно-бледное лицо, глянул воспаленными глазами на царя.

— Великий государь, смилостивись! — из глаз его полились слезы. — Смилостивись!.. Верной службой своей заслужу твою милость.

— О, ехидна подлая! — с омерзением вскричал царь.— Зреть не могу на такую гадину. Знаю я тебя довольно: в любой час можешь предать. Уберите его с моих глаз!

Солдаты подхватили рыдающего Зерщикова и увели.

Соколов Тимофей стоял впереди старшин, губы его кривились в радостной усмешке. Он был убежден, что Зерщиков попал в опалу по его доносу. Если б он, Соколов, не написал царю о Зерщикове все подробно, откуда бы царь мог знать о его предательстве, о его участии в заговоре против царя? Мечта Соколова теперь сбылась: царь казнит Зерщикова, а его, Соколова, уж, наверное, за преданную службу щедро вознаградит и, вполне возможно, повелит казачьему кругу выбрать его войсковым атаманом.

Соколов всячески старался попасться царю на глаза. И он этого добился. Петр не мог не заметить среди испуганных старшин самодовольно усмехающегося Соколова. Его удивило веселое лицо казака.

— Ты кто такой? Чему радуешься-то?

Соколов еще более приосанил. Самоуверенно выступив вперед из толпы робко жмущихся друг к другу старшин, он с достоинством отвесил царю низкий поклон.

— Холоп твой, великий государь, Тимошка Соколов.

— А-а... — протянул царь. — Помню. Сволочь тоже знатная. Заковать и его в кандалы! — приказал он солдатам.

Соколов побелел. Он подумал, что царь ошибся, и начал было разъяснять:

— Великий государь, так я ж Тимошка Соколов, тот самый, что по приказанию губернатора Ивана Андреевича Толстого соглядатаем был над Кондрашкой.

— Знаю, знаю! — гневно перебил его Петр. — Такой же подлец, как и Илюшка Зерщиков. Уберите и его!

Солдаты подхватили Соколова и увели.

— А кто же из вас будет Васька Позднеев? — спросил царь, строго оглядывая старшин.

— Я, великий государь, — выступил из толпы едва живой от страха Позднеев.

— Забрать и его!

Позднеев зарыдал.

Видя, что старшины стоят понурые, скорбные, ожидая себе такой же участи, Петр ободрил их:

— Что головы-то повесили? Ведите, угощайте! Более никого брать не буду.

Старшины повеселели и повели царя с его свитой угощать скудными яствами и питьем.

На следующий день состоялась казнь Зерщикова и Соколова и заодно — вместе с ними — в третий раз над полусгнившим толом Кондрата Булавина. Головы троих казненных были воткнуты на шесты и выставлены на городском майдане.

Войсковым атаманом царь пожизненно назначил до сих пор ничем не приметного, тихого черкасского казака Петра Емельяновича Рамазанова. С той поры войсковой казачий круг на Дону потерял свое прежнее значение. Власть перешла к атаманам и старшинам, назначаемым царями.

Многих рядовых участников булавинского восстания Петр простил и, сформировав из них полки, послал на войну против шведов. Донским казакам было суждено участвовать своими доблестными делами в разгроме

шведской армии Карла XII, в бессмертных подвигах русских воинов под Полтавой.

Многие годы спустя после этих событий можно было видеть в Черкасске, неподалеку от городской стены, в тени мохнатой вербы, сидящего дряхлого домрачея с длинными запорожскими усами. Перебирая звонкие струны, он водил вокруг незрячими мутными глазами и дребезжащим, старческим голосом пел:

Приумыл и прикутих, кормилец ты наш, славный Дон Иванович,
Залегли пути-дороги на сине море козацкое...

Это был дед Остап. Его не тронули. Он ослеп и целыми днями просиживал теперь в людных местах, под звон домры вспоминал былое.

1945—1951

ПРИМЕЧАНИЯ

Работать над романом о Кондрате Булавине Петров (Бирюк) начал в 30-е годы. Отдельные главы были опубликованы в журнале «Дон» (№ 1, 1945 г.). Впервые полностью роман вышел в Ростовском областном книжном издательстве в 1945 году под названием «Дикое поле» в двух книгах. В 1946 году роман под тем же названием вышел в издательстве «Советский писатель». Название «Дикое поле» родилось не случайно. Так называлась территория придонских степей между владениями Русского государства и Крымского ханства. Дикое поле было освоено русскими в XVI—XVII веках. Из вольных поселенцев здесь образовалось донское казачество. В 1951 году роман был значительно переработан автором и назван «Кондрат Булавин».

Стр. 19. *Войсковой атаман* — глава казачьего войска. С начала XIV в. войсковые атаманы выбирались самими казаками, а с 1723 г. — назначались царями.

Стр. 20. *Булава* — короткий жезл или древко с массивным, обычно шарообразным наконечником. В средние века булава была знаком военной власти, ее носили военачальники. В XVI в. булава появилась у запорожских и польских гетманов, а затем стала символом власти и донских войсковых атаманов.

Фряжского — заморского, иностранного. *Фрязин* в старину употреблялось в значении иноземец.

Ерчак — вид верхней одежды калмыков.

Стр. 21. *Струженент* — укрепленный причал.

Мурза — представитель мелкой феодальной знати в татарских государствах.

Ясырь — пленник, невольник.

Стр. 22. *Черкасы* — казаки северной полосы Украины. В данном случае казаки, служившие на Слободской Украине, в слободских полках.

Стр. 25. *Кубелек* — старинная верхняя одежда донских казачек.

Односум — друг, товарищ по походной жизни, пользующийся общей сумой.

Стр. 28. *Бунчук* — конский хвост или хвост индийского быка на украшенном древке. Был символом атаманской или гетманской власти у донских и запорожских казаков.

Клейнод — почетный войсковой знак.

Стр. 31. *Войсковая старши́на* — выборная командная верхушка, как правило, из зажиточного казачества.

Ендова — широкий сосуд с носиком для разливания напитков.

Стр. 32. *Кныш (книш)* — на Дону — круглый пирожок.

Трубички — блинчики.

Чилипеки — печенье.

Марафеты — конфеты.

Сайдак — сумка, чехол для лука, обычно делался из кожи, нередко сайдаки украшали серебром или золотом.

Дуван — дележ. Не дуванное — не деленое.

Стр. 34. *...сей минерал если не нам, то нашим потомкам будет весьма полезен...* — Первые сведения о каменноугольных залежах в Донбассе связаны с именем Петра I. Во время одной из своих поездок в Азов Петр случайно познакомился с образцами каменного угля и предсказал ему великую будущность.

Стр. 36. *Тулумбас* — турецкий барабан большого размера. Бьют в тулумбас одной колотушкой.

Шандал — подсвечник.

Стр. 40. *...придет время, когда столицу вашу перенесут отсель в другое место.* — Впоследствии, в 1805 г. атаман М. И. Платов основал город Новочеркасск, который и стал главным городом донского казачества.

Стр. 43. *Построим храм такой, что и крепостью вам он при нужде послужит.* — Храм действительно был выстроен. Он сохранился до наших дней. На одной из стен висят цепи, в которые был закован Степан Разин.

Стр. 45. *Ингрия (Ингерманландия).* — Так называлась область по берегам Невы и побережью Финского залива. В XVII в. эти земли захватили шведы. Петр I отвоевал их в 1702—1704 гг. В 1719 г. Ингерманландская губерния была переименована в Санкт-Петербургскую.

Свейские немцы — шведы.

Стр. 46. *Чирики* — здесь в значении туфли на шерстяной подкладке.

Стр. 48. *Царский стольник* — придворный чин на Руси. Первоначальное назначение — служить за столом государя, подавать блюда и наливать напитки в чаши.

Стр. 50. *Шершь* — мелкий лед.

Таврида — древнее название Крымского полуострова.

Кафа — так назывался в XIII—XV вв. город Феодосия, основанный в VI в. до н. э. греками.

Синоп — город и порт на севере Турции, на побережье Черного моря.

Стр. 52. *Трухменка* — шапка. *«Атаман трухменку гнет»* — означало: «Атаман хочет говорить».

Стр. 63. *Косяк* — гурт кобыл с одним жеребцом, табун, стая.

Тарпан — дикая лошадь.

Стр. 67. *Ирян* — так казаки называют кислое молоко, разведенное водой.

Зернь — старинная азартная игра в кости (или зерна).

Стр. 74. *Зальян* — парень.

Стр. 78. *Взгальный* — взбалмошный, сумасбродный.

Стр. 80. *...расточатся враги его* — развеются, исчезнут враги его.

Стр. 87. *Чекан* — род молотка с рукояткой длиной в метр.

Стр. 89. *Сыпуга* — вьюга.

Блазнится — видится, мерещится.

Стр. 91. *Горобец* — воробей.

Надолба — защитная ограда из вкопанных в землю столбов.

Тараса — крепостная стена.

Стр. 92. *Вентерь* — рыболовная снасть.

Айданчики — мелкие косточки.

Заводная лошадь — запасная лошадь.

Бизилики — браслеты.

Стр. 93. *Косник* — лента, вплетаемая в косу.

Стр. 94. *Ичиги* — род легкой обуви на мягкой подошве.

Чикилеки — женские украшения.

Анчибел — черт.

Стр. 95. *Верстки* — украшения из разноцветного стекляруса.

Стр. 105. *Посольский приказ* — правительственное учреждение в Русском государстве XIV—XVIII вв., ведавшее отношениями с иностранными государствами.

Стр. 108. *Август.* — Здесь речь идет об Августе II, польском короле (1670—1733). В Северной войне участвовал против Швеции.

Стр. 108. *Карл* — имеется в виду шведский король Карл XII (1682—1718).

Стр. 115. *...я буду отписывать великому государю о воровстве...* — *Воровство* в старину означало нарушение законов, порядков, распоряжений власти. Петр I в своих указах называл вором Кондрата Булавина.

Стр. 118. *Тайша.* — Калмыки так называли своих князьков.

Хорунжий — первоначально означало знаменосец, позднее — первый офицерский чин в казачьих войсках.

Стр. 122. *Шлиссельбург* — город на острове Ореховом (Ладожское озеро). Первоначально назывался Орешек, основан был в 1323 г. новгородцами. В 1611 г. город захватили шведы, назвав его Нотебургом. В 1702 г. Петр I вернул город России, назвав его Шлиссельбургом (ключом-городом). Ныне Петрокрепость.

Апраксин Петр Матвеевич (1659—1728) — государственный деятель, один из сподвижников Петра I, участник Северной войны. В 1705 г. участвовал в подавлении Астраханского восстания.

Стр. 123. *Меншиков* Александр Данилович (1673—1729) — ближайший сподвижник Петра I, полководец и государственный деятель. Был первым губернатором Петербурга, прославил себя победой над шведской армией в 1706 г. и во время Полтавской битвы. При Петре II попал в немилость, в 1727 г. сослан в Сибирь (Березов), где и умер.

Стр. 136. *Галман* — несообразительный, олух.

Стр. 140. ... *сорок сороков...* — По преданию, в Москве было сорок сороков, то есть сорок раз по сорок, церквей.

Стр. 141. *Грановитая палата* — одна из дворцовых палат Московского Кремля. Служила для приемов, заседаний и празднеств. Название получила от граненых камней, которые покрывают восточный фасад здания.

Мы, холопы твои, великий государь, атаманы и казаки... приехали за жалованьишком. — В царствование Михаила Федоровича Донскому войску было установлено жалованье. За жалованьем донские казаки ездили в Москву. Петр I это жалованье значительно увеличил.

Стр. 151. *Узорочья* — драгоценности.

Гаманок — мешочек для денег и ценностей.

Стр. 188. *Голутвенные* — голытьба, беднота.

Стр. 202. *...вестовая станица выехала в Москву с докладом государю о подавлении булавинского мятежа.* — В докладе царю атаман Лукьян Максимов писал о том, как жестоко они расправились с восставшими. За усердие в подавлении булавинского восстания

в декабре 1707 г. атаману Лукьяну Максимову государь Петр I пожаловал десять тысяч рублей.

Стр. 206. *Шереметев* Борис Петрович (1652—1719) — выдающийся русский полководец и дипломат, генерал-фельдмаршал. В 1706 г. за подавление Астраханского восстания получил титул графа. Участник Северной войны.

Стр. 217. *Пенный* — здесь провинившийся.

Стр. 223. *Саква* — сума у верхового, перекинутая через седло по обе стороны.

Стр. 242. *Бельмюки* — глаза.

Стр. 249. *Вапница* — чернильница.

Стр. 251. *Лиментарь* — полковник.

Оселедец — длинный чуб на бритой голове.

Стр. 257. *Довбиш* — литаврщик, созывающий казаков на раду.

Стр. 270. *Кайданы* — кандалы.

Стр. 272. *Охотные люди* — добровольцы.

Стр. 276. *Аркебуза* — старинное огнестрельное оружие.

Пернач — булава, украшенная перьями. Служила знаком атаманского звания у казаков.

Стр. 289. *...тебя, дьявола, поймаю. Повешу.*— Впоследствии Петр I действительно повесил Мюленфельда, взяв его в плен в битве под Полтавой 8 июля 1709 г.

Стр. 294. *Долгорукий* Василий Владимирович (1667—1746) — генерал-фельдмаршал. Не обладал особенными военными способностями. В русской истории имя Василия Долгорукого известно в связи с восстанием Булавина, которое он жестоко подавил в 1708 г., а затем в связи с заговором царевича Алексея Петровича против Петра I. За участие в этом заговоре он был лишен всех чинов, орденов, имений и сослан в ссылку.

Стр. 310. *Струг* — старинное русское судно.

Стр. 336. *Сакма* — лошадиный след на траве. Казаки узнавали по сакме о численности противника, куда пошел, когда проходил.

Стр. 357. *Салы* — привязанные к хвостам лошадей плоты, на которые складывались, чтобы не промочить, снаряжение, одежда, припасы. Все это крепко связывалось. Всадник, держась за гриву, плыл вместе с лошадью.

Багнеты — штыки.

Стр. 364. *Чигонак* — насмешливое прозвище казака.

Стр. 433. *Огарковать* — окружить.

Стр. 463. *Кобза* — старинный струнный щипковый музыкальный инструмент.

Стр. 483. *...без съезду рек...*— без участия всего казачества, проживающего по реке Дону и его притокам.